

ISSN 0321—1878



6

1991

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1991 ГОДА «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Роман «ЖИВИ» — последнее произведение известного автора «Зияющих высот» Александра Зиновьева, едкое, саркастическое повествование о современной жизни.

Повесть «МАСКИРОВКА» Юза Алешковского, одного из оригинальнейших авторов русского зарубежья, до сих пор не печатавшего свою прозу в Советском Союзе. Предисловие к ней — «БЕЛЕЕТ ЛЕНИН ОДИНОКИЙ» — написал Андрей Битов.

Роман Альберто Моравиа «СКУКА» — анатомия любовной страсти, один из прославивших итальянского классика романов, от которого долгое время оберегала нашего читателя стыдливая цензура.

Повесть «ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ» Марины Рачко, смешную и горькую историю из жизни современных эмигрантов: ленинградская семья привезла с собой в Америку столетнюю бабушку, плохо соображающую, что же творится на белом свете.

Повесть ленинградского прозаика Михаила Чулаки «ГАВРИЛИАДА», название которой напоминает об известном пушкинском творении, но содержание — о нашей запутанной действительности.

Книгу мемуаров недавно умершего в США прозаика Василия Яновского «ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ». В книге содержатся живые и емкие характеристики едва ли не всех ведущих деятелей отечественной культуры, живших в 30-х годах в Париже: Бердяева, Булгакова, Федотова, Мережковского, Гиппиус, Ходасевича, Георгия Иванова и других представителей первой волны русской эмиграции.

Кроме этих произведений «Звезда» опубликует:

Документальную книгу А. Антонова-Овсеенко о Берии «КАРЬЕРА ПАЛАЧА» (окончание).

Интервью Андрея Дмитриевича Сахарова.

Документальную книгу Виктора Френкеля о выдающемся советском физике Я. И. ФРЕНКЕЛЕ.

Документальную повесть С. Кульневой «СОРЭЛЭ» (трагические страницы из жизни актеров театра Михоэлса).

Исторический очерк Якова Гордина «ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ».

Повести и рассказы Н. Катерли, Р. Погодина, С. Вольфа, В. Ляленкова и др.

«ЭТЮДЫ О ЛЮБВИ» Ортеги-и-Гасета.

Сонеты и терцины Льва Карсавина.

Дневники Дмитрия Философова.

Письма Марины Цветаевой к Ариадне де Берг.

Письма Сергея Эфрона к Максимилиану Волошину.

А также статьи:

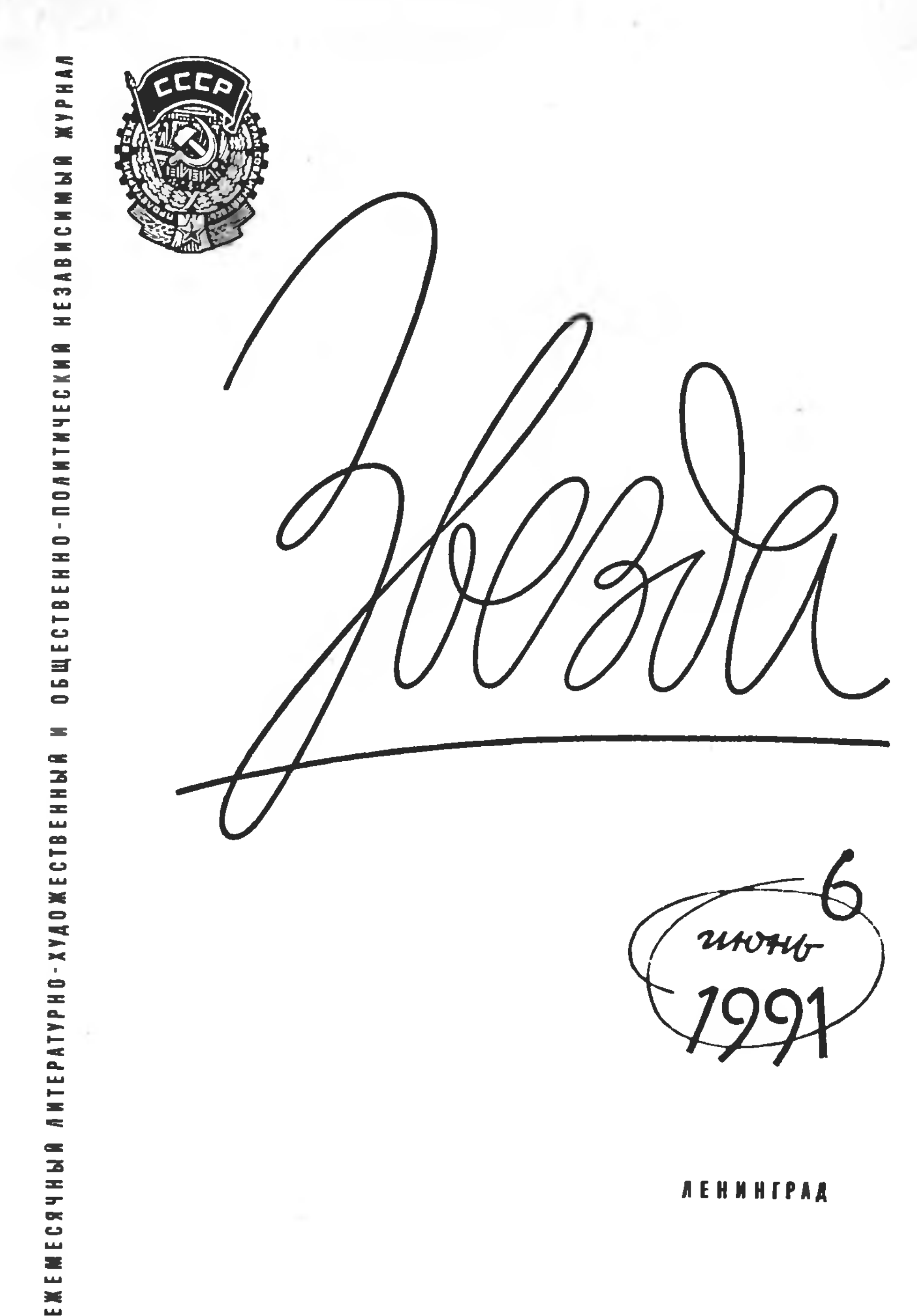
Виктора Гофмана «О ЛИРИКЕ МАНДЕЛЬШТАМА».

Аркадия Белинкова «ПОЧЕМУ И КАК БЫЛ ОПУБЛИКОВАН ,,ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА“».

Бориса Парамонова «НОЙ И ХАМЫ».

Игоря Ефимова «ЖЕМЧУЖИНА СТРАДАНЬЯ».

Петра Вайля и Александра Гениса о русской литературе XIX века.



ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Учредитель: Союз писателей СССР

Издатель: редакция журнала «Звезда»

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 19.02.91. Подписано к печати 23.04.91. Формат 70×108 1/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,4 уч.-изд. л. Тираж 140 770 экз. Заказ № 771. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.



* * *

Я уезжаю, мне здесь одиноко и горько.
Нить оборвалась. В стог сена упала иголка.
Только сверкнуло на солнце ушко золотое.
Ах, не ищите, я этого, право, не стою.

Так я сказала. А может, подумала только.
Палого яблока мне предназначена долька,
Четверть улыбки прохожего с острой косою.
Не насмехайтесь, я этого, право, не стою.

Так я сказала. А может, подумала молча.
Ливень исхлещет, а лужи мне ноги промочат.
Здесь я чужая, твердило мне чувство шестое.
Не провожайте, я этого, право, не стою.

Так я сказала. А может, и вправду сказала?
Ночь просидела в продутой коробке вокзала.
Мне все равно: на вокзале, в вагоне иль дома.
Чувство бездомности мне с колыбели знакомо.

Так я сказала. А позже в тетрадь записала
В потном буфете, где старились кильки и сало.
— Жалобу пишешь? — спросила буфетчица злая,
В мутный стакан тараканий компот наливая.

* * *

Лет немного. Много дела.
Надрывалась как могла.
Написала: «Заболела.
Обессилела. Слегла.

Тучи серые нависли.
Окна в доме не видны.
Все идут плохие мысли.
Все плохие снятся сны.

То телок тоскует в клети,
Что приучен есть из рук.
То за юбку тянут дети —
Взрослым сниться недосуг.

Всё у них дела, заботы
Да бутылочная страсть.
Целый век ждала чего-то,
Вот, как видно, дождалась.

Все мы — временные гости.
Жизнь одна и смерть одна.
Хорошо, что на погосте
Есть береза и сосна.

И понять могу едва ли
На обрыве бытия:
Для чего меня рожали?
Для чего рожала я?

Надежда Михайловна Полякова — поэт. Печатается с 1940 года. Первая книга стихов — «Право на счастье» — увидела свет в 1955-м. Том «Избранного» — в 1989-м. Живет в Ленинграде.

Не ахти какого рода,
Чтоб фамилию продлить.
Без меня полно народа.
Каждый хочет есть и пить.

В грех впадаем, будто в сети
Неразумная плотва...
Господи, прости за эти
Несмиренные слова...»

* * *

В. Д.

Молюсь за безродных, которые умерли днесь
И в моргах лежат — номерки на лодыжках холодных,
Им хлеба не дать, родниковой воды не поднесть.
Все стало ненужным для душ их бесплотных.

Как дети в трясине, увязли при жизни в грехах.
Не мне их судить, я грешнее всех грешных на свете.
Покуда не срок превратиться в туманность и прах,
Мы все умножаем грехи неизбежные эти.

И где-то осинка звенит на ветру поутру,
Покуда фанерой под звонкой пилою не стала.
Фанерную бирку бечевкой, когда я умру,
Привяжут к ноге у болевшего ночью сустава.

Не вспомнит никто, как носили меня на руках,
Как юные ноги мои, к ним припав, целовали.
И тело, и страсти, и смерти мистический страх
Прикрыты условностями и словами.

Молюсь за безродных, последняя в нашем роду.
И после меня ни отростка, ни корня, ни ветки.
Как жить, чтобы с совестью век оставаться в ладу,
Узреть благодать сквозь прижатые пальцами веки?

ЧИТАЯ ГЕРОДОТА

Уподобиться Ксерксу и море бичами стегать.
Дикость древних царей в нашу плоть глубоко вкоренилась.
Но какими плодами чревата такая гневливость?
Развалились мосты и болотом засосана гать.

То затмение солнца, то смерч, то затменье луны.
О неверье разбившись, пророки вещать перестали.
Мудрецы, и глупцы, и жрецы поменялись местами.
И не слышат друг друга, собою лишь упоены.

Над толпою то свист, то звучат вразнобой голоса.
И какой Геродот окончание века опишет,
Где добро в дефиците, безумства и злобы излишек.
Брызги битого моря врезаются солью в глаза.

Прахом стали бичи, царь, его колесница, наряд,
Шитый золотом,— всё перемолото, втянуто тьмою.
Но, как прежде, валы поднимает и пенится море,
А на дне кандалы, как железные спруты, лежат.

* * *

Сними с меня цепи, узлы разруби, раскрути,
На мокром граните под бронзовым ангелом ночью
К Тебе обращаюсь, расходятся, тая, круги
Печали, и ангел, склонившись, глядит беспорочно.

Не может приблизиться, слишком тяжелым крестом
Он скован с колонной, да полночь, да ливень к тому же,
Да черное нечто плеснулось под черным мостом,
Там, может, кому-то еще одиночей и хуже.

И если уж бронзовым к нам снизойти недосуг,
То крест символический, пальцы в святом троеперстье,
Лицо сострадания, тонкие линии рук
Всю горечь земную помогут забыть в поднебесье.

Там наша душа не узнает родных и друзей,
Не вспомнит рыданий в подушку иль здесь, на Дворцовой.
И свыше назначено стать равнодушною ей,
Лишенной желаний, блаженствовать в радости новой.

Но ей расставаться не хочется с милой землей,
С тяжелою плотью, усталостью и со слезами.
Сними с нее тяжесть, прикрой, защищая, полой,
Пусть будет что будет, и не обольщай небесами.

* * *

— Коричневый ястреб с налету ударил в окно
Стремительным телом. Блеснул обезумевшим оком.
Как предупрежденье о том, что уже суждено,
Что свыше назначено и обозначено сроком.

— Не думай об этом. Немало на свете примет.
Сбывались не все. Забываются все постепенно.
— Но круглого ока янтарный пронзительный свет —
Мгновенье одно,— но какая в нем ярость кипела!

— Считай, что за ласточкой гнался охотник лихой
И вдруг промахнулся иль просто ошибся в расчете.
— Но был он прекрасен, как будто из бронзы, литой,
И высшая сила его направляла в полете!

— Забудь о примете. Вот ласточка вновь над гнездом
Заботливо вьется. А ястреба нет и в помине.
— Но как виртуозно он вырулил правым крылом,
Послушное тело для нового взлета пружиня!

Зоя Журавлева

И услышал я иной голос, или Глубоко личные разговоры с пустыней Гоби

Повесть

Я лежу на черных камнях, черное тело мое распростерто, черное лицо мое запрокинуто
в синее небо, черные горы обрамляют небо, за черными горами снова черные камни, за
теми камнями — опять черные горы, за теми черными горами — снова черные камни,
может, я лежу, распростерто, на тех камнях. Я лежу всюду, и меня нигде нет. Во мне нет
мыслей, воспоминаний, надежд. пульса, нервов, аппендикса. Я не помню, откуда я родом,
как я сюда попала, ничего не знаю и никому ничего не скажу. У меня нет «сегодня» и нет
«вчера», откуда я знаю — что будет завтра, у меня нет и «завтра». У меня есть Вечность.
Вечность опрокинута надо мною огромным небом, теплым ветром меж пальцами ощущаю
я эту Вечность, блеском черного камня, острым сколом радуги, торчащим надо мною
прямо из синевы небесной, сроду не видела, чтоб радуга торчала из безмятежной ясности,
но она торчит и блестит и кажется резанной по металлу, об нее можно порезаться самому,
но — по счастью — она не достает до меня. А черные камни шелестят, будто листья. Они
шелестят, переливаются, перетекают и меняют цвета, они уже не черные, в зеленые, ли-
монные, голубые, синие, розовые и красные. Нежен их блеск, глянцевость их матова,
матовость их блестяща, ледвяна их теплота, которую я ощущаю затылком и всей своей
распростертостью, холод их горяч, угольчатость их плавна́, мягко лежать на них, и ни
один, самый неуклюжий, нигде не давит. я как бы лежу поверх камяей, как лежишь —
бывает — в воде. И блеск этих черных камней — не каменный, как знала я камень до сих
пор: он живой, текучий...

Откуда я знаю, что такое Гоби, когда я себя не знаю? Кто я — вдова безутешная или
пучеглазая девочка, ожидающая возлюбленного в тени цветущего тамариска? Путник,
ведущий груженого своего верблюда в поводу, или этот верблюд у Вечности, и во рту моем
перекатывается горькая зеленая слюна? Ворон ли я, низко пролетающий сейчас надо
мною с вытаращенными глазами и открытым ртом, из которого рвется инфарктный хрип
и астматические придыханья? Или кремовый, мучительно перекрученный Временем
остов древнего саксаула, в котором нет ни единой зеленой тени, но корни его уходят в чер-
ную глубь и где-то там, меж камнями и в глубине, находят жизнь и воду? Сколько лет
этому саксаулу, сколько лет мне, и давно ли мы ждем дождя, который бывает — настоя-
щий — от силы один раз года в три, чтобы воспрянуть к жизни и упруго выкинуть к сол-
нцу зеленые стебли? Откуда я знаю, сколько мне лет? Когда будет мой дождь? Будет ли
он — вообще? Может — уж был? Я только чувствую, что жизнь во мне еще есть и она
бродит в глуши меня томительяым соком. И томление мое распростерто на черных камнях
и под выпуклым небом, окаймленным черными горами. Хотя горы теперь тоже меняют
цвет — они уже синие, синее Байкала, а я-то считала, что синее Байкала ничего не бывает
на свете. И над синими горами народилась синяя тучка, из которой аккуратно и четко
торчит синяя лопатка дождя. Тучка пыжится, распухает, она — уже туча, можно поду-
мать, что там, над горами и под ней, дождь сейчас льет стеной. Но я жила здесь всегда,
и меня не обманешь — никакого дождя нету под этой тучкой сейчас, дождь этот куда-то
девается, не достигая земли, до земли долетают лишь редкие, счастливые и круглые кап-

---

Зоя Евгеньевна Журавлева — прозаик, журналист, драматург. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Автор повестей «Сними панцирь», «Ожидание», «Выход из Случая» и других. Живет в Леаинграде.

ли, и их можно ловить ладонью, если повезет — можно, пожалуй, поймать и две таких капли в одну ладонь...

Ветер исчез.

«Стих» — уж не скажешь, в этом ветре нет постепенности. Ветер здесь абсолютен, он как бы бессмертное дыхание Гоби, первороден и чист, без запахов, он будоражаще пахнет лишь ветром, то есть — собою, он беспощаден, разрывая брезентовый тент, как носовой платок, и он нежен, скользяще касаясь моих ногтей, в одном порыве его ощутимы — раздельно и сразу — горячие, обжигающие жаром пряди и пряди, покалывающие игольчатым снегом ближних и дальних снежников, в нем ярость сорвавшейся вертикали, как бы отвесное падение скал, и безмятежная, танцующая горизонталь полета бабочки. Если ветра нет, значит он захотел — вдруг здесь не быть, вот что я знаю теперь про этот ветер. Значит — он захотел вдруг свернуться внутри самого себя и беззвучно рухнуть в какое-то, ему лишь ведомое, ущелье, чтобы внутри себя самозабвенно и глухо упиться своею же силой. И в потаенном этом ущелье, вот что знаю я, царит сейчас сокрушительная и совершенная, ни с чем в миру не сопоставимая, лиловая неподвижность — свернувшегося в самом себе ветра: когда ветра сразу так непредставимо много, что ему уже, самому, не пошевельнуться...

Когда ему надоест эта стеклянная, оглушительная тишь? Когда он сорвется? Через минуту? Через полчаса? Сейчас? Я ощущаю внутри все растущую, как бы уже распирающую изнутри тревогу безветрия. И все вокруг — ее ощущает. Солнце, которое мягко стекает сейчас по фиалковому небу к черному прогрызу горы, но как-то словно бы пугливо стекает, как бы спешит — втихаря закатиться. Сиреневые тени, криво брошенные от саксаулов и как бы сквозисто подрагивающие на черных камнях. Бурая ящурка с красноватыми точками вдоль спины, что тревожно-недвижно глядит на меня блестящими своими глазами. Что ей моя тупая громадность? Что она думает обо мне? И что я знаю о ней? Мы глядим друг на друга — как звезды, как миры, разделенные миллионом световых лет. Я моргнула. Ящурка вздрогнула. Что будет с вами, если в лицо вам моргнет гора? Нет, она не сбежала, только нежное тело ее напряглось нежнейшими мускулами. Отвага была в ней? Бесстрашье неведения? Смутная томь безветрия, толкающая на безрассудства? До сих пор льщу себя надеждой, что она — почувствовала мое дружелюбие...

А может, и нет никакой тревоги в этом безветрии? Тревогу небось подсунуло мне утлое — городское — воображенье. Что мы знаем о воле, рожденные в зоопарке? Тишина подозрительна нам, как крик. Мы и в природе — подозреваем насилие, которое лишь сами в себе несем. Мы и Природу — подозреваем. Неподвластное нас страшит, еще более — непонятное. Как легко соскальзывается на безликое «мы». Я. Гоби. Я боюсь тебя, Гоби? Бесконечность твоя размывает мне душу, тишина твоя оглушает мне сердце, царственная безнервность — укор моей суетности, краски твои — удар, краски твои — намек, я ведь догадываюсь — на что: на несовершенство мое, на мизерную мою конечность, на скудость моего восприятия, неспособного различить и назвать эти плавные — текучие, льющиеся — переходы твоих тонов, ты не знаешь банальной середины, о Гоби, столь мне милой! Ты поэтому мне даже и не понравилась в первый момент, вот тебе моя правда, если нужна тебе эта жалкая правда.

Черные скалы твои черной — безлунной — ночью пульсирующе светятся изнутри, я подглядела это случайно. Скалы твои излучают, и упругое их сиянье — сиятельная белизна света — перешибает черноту ночи, не смешивается с этой горной чернотой и стоит четким ореолом. Что это, светящийся радиоактивный распад? Иррациональное истечение духовной твоей энергии? Скалы твои будто тешатся этим блистающим светом, словно бы им — играют, осторожно его поворачивают, чуть сдвигая спектр, чуть добавляют холодной голубизны, чуть утепляют молочной розовостью, как бы настраивают этот могучий инструмент и вдруг застывают надолго — в чистом и белом, окружая себя пронзительным этим сияньем и в него же до глубины веков погружаясь. Этот бьющий из Вечности свет я никогда не смогла бы себе представить, если бы не видала сама. Мне бы его никогда не вообразить, не придумать и не измыслить, кабы я сама не видала. Значит, стоит мне на миг отвернуться, заснуть, отойти за угол, отвлечься — хоть бы на эти вот строки,— как я сразу же пропущу нечто — сокровенное твое и прекрасное, о чем не узнаю уже никогда. И даже не смогу упиться своею потерей, ибо никогда, хоть надсадись я в кровь, мне даже приблизительно не представить — что же я потеряла...

Значит — не спать, не есть и не отвлекаться, да, Гоби? Но глаза мои и так круглосуточно вытаращены, вспухли в пересохших глазницах, шея моя давно извертелась, ухо мое — истончившаяся до прозрачного перламутра огромная раковина, которой я шевелю, как локатором, оно уже способно улавливать гравитоны, но все равно — слишком грубо для твоей тишины, рук моих — много, не знаю — сколько, бессчетно, не меньше, чем на изображениях дармапалов, борцов за веру из ламаистского пантеона; руки мои наловчились трепетно трогать, беззвучно касаться, мгновенно отделять и жадно подносить к жадному моему носу, но все это, поднятое, сорванное и выделенное, сразу же — перестает быть тобой и не открывает мне твоей тайны, вот в чем беда; пятки мои оглохли и задубели, я бегаю по твоим просторам в домашних тапочках, и мне другой одежды — не надо;

вечером, когда ты шарахнешь вдруг от сорокаградусной жары до плюс, к примеру, пяти, я забираюсь прямо в тулуп, и пещерная шерсть тулупа утишает мою пещерную дрожь; тело мое давно обгорело и покрылось новой, гляцевой и блестящей кожей, это уже — твоя кожа и твое тело, оно не помнит других широт, не знаю, как я буду потом с этим своим новым телом, если действительно будет — это «потом», неужто тело мое когда-нибудь снова станет вялым и блеклым; ноги мои растут из подмышек, я постоянно, даже во сне, ощущаю их прыть, ноги мои ударяют мне в голову, неподвижность — мука для них и пытка, эти ноги хотят нестись вечно, карабкаться вверх, цепляясь когтями за редкие кустики караганы, балансировать на оскольчатом — черном — гребне, пружинить на спуске в черном ущелье, пересекать бесконечные сайры твои и гаммады. Остановка, чувствую я, просто убьет мои ноги. Но ведь нигде и не пахнет остановкой. Не представляю, что я буду делать с этими своими ногами потом. В городе. Если он и вправду где-нибудь есть и я действительно в нем почему-то живу. Лягать этими неуемными ногами автобус? Бегать вверх-вниз по эскалатору? Шаркать по казенным паркетам или бессильно сучить ими перед телевизором? Ноги мои сойдут там с ума, хорошо, что этого никогда не будет — телефона, трамваев, лестниц, толпы, асфальта, потому что в принципе — быть не может. Я не пойму сейчас даже писем оттуда, если кто-то вдруг сбросит мне прямо с неба письмо, я не пойму писем оттуда и много позднее, даже — уже в Улан-Баторе, хоть прочитаю их с жадностью, но это будет жадность еще без чувств и без смысла...

Вот что ты уже наделала со мной, Гоби!

Но, увы, не стала — понятней. Все в тебе — чужеродно, не имеет во мне аналогов. рвет привычные связи, жизнь мою — рвет, не пускает вовнутрь, но захватывает постепенно и безвозвратно, как бы всасывает и засасывает: овладевает. Как же мне не сопротивляться тебе, о Гоби? Как же мне сопротивляться — Тебе?

Кстати, величие, на мой взгляд, могло бы позволить себе и роскошь — быть снисходительным к слабому. Ты бы могла, хоть — поначалу, окружить меня чем-нибудь попроще, чем гаммады твои и сайры. Могла бы, хоть — для начала, слегка присыпаться светлым песочком, расчертиться бы светлым, в изогнувшихся к солнцу аккуратных плитках, полынным такырчиком, накидать бы, ну хоть самую малость, плавных — песчаных — барханов в красивых эоловых росчерках, а еще лучше — густо испещренных бы знаками доступной мне жизни: скорописью бесчисленных ящериц, стремглавых — как птицы, смешными овальчиками муравьиного льва, как бы пропаханными бороздками черепах с небрежными впечатками лап по краю, привольными извивами змей, легким припрыгом саксауловой сойки. Это так славненько связало бы тебя с Каракумами, которые я люблю, где бывала подолгу и неоднократно. Наивно считала, что в пустыне — была. На худой конец, ты могла бы хоть иногда расцветить накипным лишайником голую наготу твоих камней, хоть бы изредка — прикрыть их оранжевым либо желтым каким узором, чего не чурается даже тундра далеко за Полярным кругом. Я была: видала. Это, может, хоть как-то связало бы тебя с тундрой, мне бы сразу — полегче. Но ты ни с чем не пожелала себя связать! Пока сыщешь в тебе горстку песка, сапоги-скороходы стопчешь до дыр. А коли и наткнешься вдруг на бархан, то сперва он, конечно, счастливо ошеломит солнечным своим тоном, но вглядевшись в него поближе, испытаешь еще только бóльшую тоску отверженности. Ибо бархан этот — будет стерильно бес-следен, как неоткрытый человечеством пляж, и резанет бездушная его деревянность — полное и совершенное отсутствие хоть каких-нибудь признаков жизни, словно бы бóльшая еще голость, чем откровенная нагота камня. Черепахи тут не живут вообще: их нету как класса; ящерицы — интригующая индивидуальность, а не бессчетное племя; змеи редки, только — в предгорьях, встречи с ними — всегда нежданная радость, потому что змеи твои, о Гоби, похожи на змей, за что спасибо тебе, им радуешься, как добрым родственникам, узкое лицо полоза умиляет родственной интеллигентностью, отяжелевший, до специфической треугольности, лик щитомордника кажется простодушным до родственной кротости.

Ты, Гоби, здорово сбиваешь спесь человечью и властно уравниваешь все живое в правах, это великое твое свойство. Выжить тут трудно. И, ощутив это на собственной шкуре, начинаешь как-то по-новому — почтительно и на равных — ценить любое проявление жизни. Как бы вдруг прозираешь оголенным сердцем мировую эту цепочку, о которой давно и тщетно толкуют философы: что моя, единственная и столь для меня драгоценная, жизнь неразрывно зависит от этой любой-другой, тоже единственной и для себя драгоценной, это круговращение жизни, ускользающее и вечное ее колесо: сансару. Живое при этом обретает достойную жизни штучность. Я помню шмеля на вершине Алтан-Обо, под три тысячи метров над уровнем гипотетического моря и под вполне реальной скалой, прозрачной до призрачности голубизны. Шмель сидел на роскошной синей голове горного лука, и в бархатной богатой шубе его блистали мини-капельки влаги. Может, на него недавно снизошло облако? Может, он только что прогуливался по снежнику? Может — просто вспотел? Откуда ж я знаю! Был он задумчив и отрешен, в позе его сквозила некая даже благородная чопорность, словно бы он без слов и заранее пресекал бестактные мои попытки к общению. Был в обозримом пространстве — единственным кроме меня живым существом. Я вдруг ощутила щемящую гордость за эту крохотную, блистательную и хрупкую жизнь. Он таким навеки для меня и остался — торжествующе-живым, ослепительно черным на ослепительно синем, а вокруг — острые, молодые, зеленые перья горного лука, тоже — живые. Мне кажется, я даже узнаю теперь этого шмеля, коли выпадет от судьбы — встретиться еще раз.

И белый мак, единственно и отважно расцветший в каменном — сером — распадке Адж-Богды, тоже узнаю. У этого мака была чуть искривленная — в грубоватых ворсинках — нога, три слабеньких листика, близко прижатые к телу, я еще поразилась его отчаянному излишеству — три-то сразу зачем, а цвет его лепестков был болезненно-обморочно-белым, что особенно бросалось в глаза рядом с крепко-желтоватым пятном неохотно подтаивающего снега. И еще. У него один лепесток как-то смешно и трогательно налезал на соседний, как порой налезает у ребенка молочный зуб, а в том месте, где этому лепестку надлежало бы быть, торчала вдруг как бы важничающая пустота. В маке, таким образом, была пленительная асимметрия, которая легко позволила бы мне отыскать его даже в необозримом поле сплошь белых маков, если б только хватило терпения — заглянуть каждому маку а глаза и если б было поблизости такое поле. Но мак мой вряд ли даже видал когда-нибудь другой мак. Небось не подозревает, что есть — другие. Он так навеки — пожизненно — одинок в сером каменном распадке возле вершины Адж-Богды. И тем ценнее для меня его бесстрашное жизнелюбие! Без этого мака этот горный массив потерял бы для меня половину сумеречного своего очарования, ибо даже большая красота, чтоб не стать потом расплывчатой в памяти и абстрактной, нуждается в горячей — эмоциональной — точке. Я верю, что этот мак жив и сейчас. Вера эта поддерживает меня в моей сумбурной жизни.

Вообще, горы — по первости — очень меня поддержали: ведь Байтак-Богдо-Ула и другие хребты, даже Адж-Богда, это еще не твои горы, Гоби, это еще — Монгольский Алтай, и горы эти — при всей подавляющей их безразмерности — еще оставляют душе возможность привычных ассоциаций: то вроде бы — это Тянь-Шань, то, может, Саяны. Круто и высоко взбираются вдоль ущелий могучие лиственницы, страстно цветущие красными шишечками, дремуче зелен в щелях арчевник, ива — нежна, живительно жжется крапива, стоят высокие колокольчики, цветут астрагалы и остролодочник, курчавится жимолость, узнаёшь еще мятлик, осоки, пырей, чуть стертые незабудки, пищухи свистят занудно, а кеклики, горные — каменные — куропатки, квакают, как лягушки, они так плотно обсели каменистую осыпь, что осыпь эта будто уже раскачивается от синхронного их, самозабвенно-жизнеутверждающего хора, как словно бы ходуном ходит и упоенно полощет болотное свое горло сомнамбулическим тетеревиным бульком Гусиное болото возле Печоры в разгар токованья. Низвергаются узкие — летящие в скалах — речки, разливаются рукавами в мягких развалах гор, шебуршат, ревут и скребутся своими камнями, в камнях, расшибаясь о камни, в пенную их прозрачность можно еще на миг погрузиться, чтоб ощутить мгновенный — обжигающий пенным ознобом — восторг и молодецкую удаль полного обновления.

В широких долинах, средь мелкого разнотравья, ликом — к востоку, непонятно стягивая долину — к себе как к центру, каменеют в закатном солнце каменные бабы, скифские, то ли тюркские, они только помнят — чьи, сероватый с голубизной и белыми прожилками камень, какого кругом полно. Бабы эти — всегда мужик, метра в полтора ростом, каменный портрет этот — поясной; хваленый наш реализм, изнемогающий в подробностях быта, кажется рядом с этой бабой — мимолетным порхом бабочки-однодневки, в ней цепенящий реализм Вечности и властный прорыв Интеллекта из глуби веков, думаю — это почтительный прогиб Пространства перед силой Искусства, недоступного даже всемогущей Природе. Голова занимает треть и приковывает как главное: глаза навечно раскрыты, они вбирают в себя эти шири, восходы, шорохи вод, острие гор, буйную скоротечность цветенья, слабые вскрики мгновенной жизни, снеговые штормы, ошеломляющий этот блеск ни для кого, пронзительную синь неба, левое ухо задрано выше брови, и в нем — серьга, нос прямой, ну, с легкой горбинкой, рот — не наш идеал красоты, мал, пухл, так и тянет ляпнуть — чувственный рот, но это мы небось позднее придумали, усы врезаны четко и как бы сами собой переходят вдруг в плечи, мощно выступающие вперед и приподнятые усилием жизни, может — перед ней удивлением, сильный подбородок глубоко вдавлен в сильную, каменную грудь, да, еще,— рука бережно держит чашу, может — руки, а не рука, не разобрать, чаша почти начисто стерта временем, руки — скорее нежно угадываются, но есть в этой чаше некая надежда из глубины веков, тайный знак пониманья и мира от нам подобных, чаша, я думаю,— милосердия.

А кругом по сопкам — уже неведомые, огромные, низко и кругло раскинувшиеся, под два метра в диаметре, напряженно цветущие розетки в мелких красных цветах, ноги мои — сразу будто в крови, кровь — живая, темная, видать — избыток гемоглобина, листья же незначительны и малы. Розетки эти кажутся хищными, способны небось по-

полати за мною, окружить, ссосать. Кого-то уже ссосали, и потому так горяч их цвет. Они прожигают гербарную папку, вздрагиваешь, осторожно меняя листы, но даже и через месяцы эти цветы поражают живым, неистребимым и концентрированным багрянцем, неподвластным ни времени, ни широтам, и в гербарной папке они — все еще вампиры...

А взберешься вверх по ущелью, выше и еще выше, где оно уже — каменное горло и ветер трубит победно, поток летит вертикально навстречу, скалы — красны, лучше — на лошади, ах, как сладостно — сладко — пахнет лошажьим потом от разгоряченной конской спины, я втягиваю этот запах ноздрями, и ноздри мои дрожат; лучше б не в монгольском седле, что ведь узенькая деревяшка и через пару часов собьет европейский, легко ранимый зад в кровавую, живую лепешку, но хоть как — все равно. Заберешься, свернешь, перевалишь за гребень, низринешься, обдерешься о карагану, что вездесуща, хоть цветами неотличима от нашей акации, глотнешь из горсти ледяной водички или жевнешь снежку, словно бы — от себя украдкой, ведь пить на подъеме — плохо, да разве удержишься, снова уже лезешь вверх, отдуваясь и дальше нога не зря, и опять — перевалишь. И дух сомлеет: мир — сдвинулся, будто я оттолкнулась ногами от шара земного и этот глобус под собой слегка провернула: где глухо стояли стены — разверзлись шири, где был просвет — встала отвесно горища, и вершина ее кажется сейчас самой вершинной, так и тянет — увидеть с нее весь свет, сибирскую, может, тайгу, карельские, может, озера, тебя, Гоби, тебя, тебя-то уж — непременно, убедиться, что ты имеешь конец и начало, а я — выше и могу охватить тебя одним своим взором. Чтобы этим — тебя унизить, вот моя натура! Хоть и знаю наверняка — нет, не карта меня убеждает, карта — бумажка, знаю как-то пещерно сейчас, утробным сродством своим со всем миром и нутряным каким-то охватом единства этого мира, колющим холодком в брюшине, что вершинная эта гора — только рядовая горушка, за ней — будет выше, другая, девятая, сотая, до Тибета, до Гималаев, до океана, чтоб кинуться потом — в океан и сокрыться от глаз людских, но ведь — не исчезнуть, а лишь сменить выси свои на глубины, поменять лишь шило на мыло и для вида прикрыться валами морскими, чтоб шагать и шагать своими вершинами до Большого Кораллового Рифа и дальше, откуда знаю·я — до чего. Нет, не буду замахиваться столь далеко. Это даже опасно. Можно перегореть — как настольная лампочка, вообразявшая себя солнцем.

И вокруг — хватает чему подивиться. Тугим саваном летят к перевалу белые облака, их только что — не было, несет от них хладом, тьмою, космической необузданностью, космическую их скорость ощущаешь физически — своей неуклюжестью. Облака на миг накрыли промозглой мглой, покачались в ближайших скалах, вдруг сорвали с гор перевал, растворили его в себе, сделали — не-существующим, мгновенно и бережно, не порушив неповторимости, вернули перевал в то же место и стремительно-плавно унеслись в сторону Китая, оставив упругий ветер, холодное солнце, самозабвенный простор, невозможно синее небо, громадные, бьющие зеленью шлины ферул, прошлогодние, почти древесные их остовы, мясистые, грубо и глубоко иссеченные листья, полураскрытые большие кочны в камнях возле ручья, словно бы — кочаны капусты, в сердцевине их — тугое сиреневое соцветье, гибко окруженное листами наивно зелеными, а вокруг и снаружи — листы эти пронзающе белые, легкие, в дымящейся седине. Даже в этих камнях они кажутся — не от мира сего, будто присели тут на секунду, сейчас взовьются и улетят в поднебесье — так с виду они легки. Но попробуй этот кочан отодрать — в нем необоримая сила жизни и цепкая, намертво, приверженность к единственному своему, родному месту.

Кеклики пересекают пересохшее русло, хрусткая галька под ними не хрустнет, я впервые их вижу так индивидуально и близко, бинокля не надо: пепельные, на груди светлый галстучек с черной окантовкой, крылья — пестрые, полосатенькие. Они шествуют внимательно и неторопливо, на высоких ногах, выпятив грудь, выставив зад, смешно и важно раскачиваясь и высоко держа маленькую гордую голову. Кеклики похожи сейчас на второстепенных придворных, призванных вдруг на дворцовый прием, не привычных ни к одеянию, ни к этикету, они не привычны, но очень-очень стараются. Крикнуть, что ли? Но они все равно взлетят лишь до ближнего кустика, до ближней травы. И снова идут неторопливым своим, смешным и чванным шажком. Я им нелюбопытна, действительно — чего во мне любопытного для приличного кеклика? А страху перед человеком они — не знают. Зря, вообще-то, я не единожды их видела потом в супе. Но страх тут, похоже, и никому неведом. Можно чуть не вплотную столкнуться с горным козлом и вполне разглядеть в его вертикальных зрачках его козлиную остолбенелость, в которой медленно вызревает его козлиное любопытство, чтобы только потом — как-то неохотно — смениться настороженностью. Еще не факт, что этот козел уступит свою исконную тропку, пробитую в горе предками. Других-то тропок тут нет.

Я как-то, позже — уже в твоем оазисе, Гоби,— повстречалась нос к носу и на рассвете с сухощавым, сутуло-интеллигентным зайцем, и он чрезвычайно долго и вдумчиво глядел мне прямо в лицо, прежде чем одним махом сигануть в тростники и сгинуть навек, так осмысленно долго, что это уже никак невозможно объяснить заячьим скудоумием и внезапностью ситуации. Он явно меня изучал. И, увы, составил обо мне мнение, видимо, далеко не лестное, о чем — несомненно — поведал всем другим зайцам оазиса, ибо больше ни один из них мне на глаза не попался. А до этого случая я их видала там пачками. Это небось был сильно авторитетный заяц. Я его специально потом искала, чтоб объясниться, все бегала на рассвете, как дура, на то же место. Но он, значит, не нуждался в дополнительной информации, ни разу на это — наше с ним — место так больше и не пришел. Я и в машину, когда уже трогались дальше, залезала с тяжелым сердцем: все оглядывалась. Ужас как не люблю — оставлять за спиною кого-то, кто плохо обо мне думает. Ощущаю судорожным напрягом в спине. Да и кто это любит, Гоби? Никто. И сейчас, бывает, ловлю себя на горячечном монологе, обращенном к этому зайцу. Такие субтильные, с пониманьем во взоре, сутуло-интеллигентные, обычно становятся мне друзьями. Почему же — с этим не вышло?..

В предгорьях еще иногда, очень редко, вдруг вблеснет юрта, полоснет сердце нарядная ее белизна, все красоты на миг отступят, вдруг проколет гордыня — перед праздничным ее совершенством, пахнёт человечьим уютом, дымком, слабостью своего организма, неодолимым желаньем — прильнуть, распасться, остаться в этой юрте навек. От совершенного совершенства отделится вдруг всадник, неразрывно слитный с конем, он стремительно нарастает навстречу, движение его — лёт, свобода его сравнима лишь с ветром. Сила художественного потрясенья от монгола на лошади сопоставима, думаю, только, может, с дягилевским балетом. Особенно — спина поражает, привыкнуть к этому невозможно, такая в полете свобода и пластика — это гены, тренажом, даже с пеленок,— уже не достичь. В степи либо в полупустыне впечатление, правда, еще оглушительнее: плоскость нужна как сцена, горы только мешают как слишком пышные декорации.

Юрта все ближе. Донесется заспанное, блеющее дыханье отары, теплый и душный дух, как бы уже тяжелее воздуха, стелющийся над землею, овцы, обросшие, словно сроду нестриженные болонки, расступаются неохотно, бегут разлаписто и мохнато, по-овчарочьи, непривычно — целиком белые, только морда всегда черна или хоть уши, других расцветок нету. Коровы скачут, как рысаки, отменно опрятны, до блеска, бело-бурые, черно-белые. Их рога впечатляют особо: остры, чувствуется отменный роговой материал, симметрично изогнуты, не верится, что такие рога — не для смертных боев, а для мирной коровьей жизни. Верблюды благородно двугорбы, горбы стоят статно, что девичья грудь, ни потертостей, ни унылого взора, чистый — с достоинством — зверь, чья тяжеловатая грация до-потопна и перво-бытна, вдруг ощущаешь изначальное, из глубин Времени, звучание этих слов, их библейскую перво-сущность. Верблюдам горы как раз идут, они дополняют и усиливают друг друга, горбы — на горбах, извечное — на вечном. А юрта просыпится вдруг ребятишками, мал мала меньше, самые мелкие — голяком, черные глаза так и шныряют, зубы у всех — белы и стройны, они ослепляют, кто-то кого-то заботливо волочит на закорках, и тени раздражения нет друг к другу, драки, хоть и шутейной бы потасовки,— не видела, детского плача не слыхала ни разу, капризной растяжки в голосе — тоже, дружелюбие их жизнерадостно, даже сопли — это не наши тягучие, изнуряющие бессилием и эстетически скомпрометированные сопли, а здоровые, словно бы охранительные, сберегающие их обладателя от серьезного нездоровья и потому — сами как бы пышущие уже здоровьем, такие сопли не сгоняют с лица смышленость, зато сроду никто не кашляет. Прямо на юрте, в особых формах, сушится кислый сыр: квадратики, типа — среднеазиатский курут, там-то — обычно шарики, или продолгоаатые, с виду напоминающие пастилу, а по вкусу — ни на что не похоже...

ГАЗ-66 взревет, горы сзади беззвучно сомкнутся, оранжевое чуть наедет на серое или черное чуть заслонит бурое, мир снова неуловимо сдвинется и навсегда сокроет от меня крохотный теплый мирок, свитое человеком гнездо, живой кокон бесстрашной, мирной, кочующей вечно жизни, где была я чужой, безъязыкой, нежданной, но все равно ведь — своей; снова кругом лишь ущелья, вздыби и пади, вершины, скалы, затерянность моя и восторг, затяжные подъемы и протяжные спуски. *Было:* горы нарезаны только горизонтально, из них сложены любые фигуры, монахи в клобуках, кормящие женщины, ощерившиеся черепахи, улыбающиеся носороги и печальные ящеры, веселые старцы и скорчившиеся — титанические — младенцы. Непонятно, как все это не рассыпается, как держится друг на друге, почему так громадно — ввысь, как из плоскости сложить такую чисто вертикальную модель мироздания, почему ничто и нигде не расколото по вертикали, даже трещин нет, словно Тот, кто делал, знал один лишь прием: вдоль, а потом — друг на друга. Есть плиты с площадь величиною, есть — с книжку. И все это непостижимо сцеплено, огромное покоится вдруг на малом, не гремит, не катится, не шатается под шквальным ветром, а лишь беспощадно и насладительно каменеет в бессонном солнце.

И *было:* тянулись десятками километров светлые, взбитые, будто пена, легкие, как папье-маше, белые почти — горы, чихнуть страшно — они завалятся, вздохнуть нельзя — упадут, какая-то доведенная до абсурда и полного безвесья театральная — оперная — неправда, совсем уж сбивающая с последнего толка, потому что сзади и на всем протяже-

нии была она как бы подперта мрачновато-коричневыми, настоящими горами. Будто Тот, кто делал, тоже боялся: не подстрахуешь — рухнут, рассыплются в прах, растекутся взбитою, вспухающей пузырями каменной пеной. Так в душе и застряло — сдрейфила, не решилась ткнуть пальцем, они повалились бы друг на дружку и на все свои километры, но грохота бы, наверное, не было, может — был бы шелест или хоть слабый, изнемогающий шорох царственной протяженности? Но скорее всего, думаю,— это было б беззвучно и страшно, как немое кино, нет, еще немее, как бывает только во снах, о которых никому не расскажешь,— до того там всевластно и страшно. Мне нужно было лишь точно рассчитать направление и толкануть точно — вдоль. Но не хватило духу, честно признаю́сь тебе, о Гоби! С этим теперь и жить. Больше небось такого мига всевластия для меня в этой жизни уже не будет. Это, поди, отпускается — один раз на жизнь. А порою я думаю — никуда бы эти пенные горы не завалились, черта с два, не все в этом мире так просто, они небось были как-то подвешены, вот что мне сдается. Может — просто утешаю себя?

И еще *было:* Он знал одну вертикаль, остальное — отринул или забыл, шел сплошь апокалипсис вертикали, небо было истыкано, кровоточило, я ни разу не видела в небе том синевы, бесконечно торчали вверх каменные пики, каменные шпаги и шпили, режущие высь странные купола, словно нарочно вытянутые до рези, заостренные башни и крепости, неприступье, таящее ножевую угрозу, ножевыми взмахами мелькала багровая молния, далеко и зловеще, совершенно отдельно от молнии, чего разницей скоростей сроду не объяснишь, всхрапывал гром, как смертельно напуганный конь, он намеренно откатился подальше, я его не виню, апокалипсис — не баран чихнул. Припахивало концом света. Пронеслась летучая мышь и исчезла, никуда не свернув. От крыльев ее резанул вокруг черный ветер. Я искала глазами череп, чтоб достойно встретить его немигающий взгляд. Чтобы не заорать, коли он — мигнет. Черепа пока не было. Серые каменные прутья вертикально вознеслись ввысь и разрослись там, вверху, как крона гигантского древа, каждый прут-ветвь оканчивался отточенным острием, острые каменные зазубрины — были листья. Я узнала вдруг сабельное дерево, что идет обычно на дамасскую сталь, из плодов его добывают бритвы, в женских плодах — безопасные, в мужских — опасные, дерево это двуполо. Молния, не рассчитавши зигзага, беззвучно шваркнула об верхушку костела, костел на миг полыхнул белым пламенем в страстно-архитектурных своих деталях, и окрест разлилось глухое шипенье, как бы яичница прогоркло вскипела в сатанинской сковороде. Я изготовилась увидеть первый скелет, спешно привинчивающий берцовую кость. Мало надежды, что это будет мирный крестьянин. Что за народ тут воспрянет? Умереть, в ламаизме,— сменить одежды, выражение это вполне даже официальное, так извещается о кончине достойных лиц. Это, по-моему, эвфемизм мудрейший, точно снимающий напряжение. Если, конечно,— не правда. В крайности, значит, я всего-навсего сменю одежду, только и всего. Что за одежды они сейчас напяливают на себя, второпях и пока незримо? Какое явят лицо? Мятежное? Я примкну! Воспаленное бойней? Я расхохочусь им в это лицо, вот им — мой ответ: для ненависти незачем вылазить из Вечности, ненависти и у нас хватает. Каменно-равнодушное? Вот это — не надо! «О если б был ты холоден или горяч, но ты не холоден и не горяч, беда твоя — в середине». Кавычки тут неуместны, это цитата из моей же души, хоть ощутимо влиянье Великой Книги. Душа моя устала от равнодушных. Из плесневело-зеленых каменных перьев, затмевающих небо, вырвалась темная — песчаная — струйка, вылетела, скрутилась жгутом, выстрелила собою вверх, свернулась тугим крылом и унеслась в сторону, медлительно опадая. Смерч? Пока — мини-смерчик, но песку-то тут нет. Это — начало? Что нужно сделать, чтобы спастись? Есть ли хоть один шанс?..

И вдруг — рывком, как вывалиться из кошмара,— все разом кончилось. Горы отстали, идиллически окаменели вдали, вылупилось огромное солнце и небесная синь, ладони вспотели, слева и справа миражно качнулись призрачные будто озера, сельские развесистые будто деревья, к которым не приблизиться никогда, как не дано потрогать за плечо духа, расстелилась вдруг плотная и надежная твердь, шариками покатились врассыпную мыши-полевки; толстые светло-коричневые тарбаганы сидят на толстом заду возле нор, столбиком — как и наши сурки, а норы их потрясают мощью, вход — как в подземный гараж, всегда — арка, камни выкинуты громадные, первобытно-могучие, непонятно, как это можно выломать-выгрести лапами, тут и с техникой накарячишься; в тарбаганах вальяжная и расслабляющая лень абсолютного вне-временья, где всякая жизнь длится вечно и торопиться не надо, им лень — даже свистнуть; встала кругом грубая и вездесущая трава чий, грива его сиренева до красноты, раздавить его невозможно, этот чий так же грубо и непреклонно выпрямляется сразу за колесом, только что его переехавшим; полупустень эта, полупустыня вздернута, куда ни глянь, пупками привычной уже караганы, возникает ощущенье плохо посаженной и плохо взошедшей как бы картошки до горизонта. Какой банальный — плоский — финал! А ведь было Нечто. Что это было? Что-то высокое и трагическое, а-ля Шекспир, прошмыгнуло мимо мышкой-полевкой. Верещагина бы сюда, Верещагина, от меня — что проку?

Все горы во мне смешались, чистая горизонталь и чистая вертикаль — это ведь даже и не Монгольский Алтай, это еще тысяча семьсот километров от Улан-Батора до Алтая, неустанно — на запад, на юго-запад, чтоб вечернее солнце било в правый висок, это ведь еще севернее тебя, о Гоби, где тобой еще, кажется, и не пахнет, белыми — в низкорослых травах — степями, где цвет всегда задают эдельвейсы, эдельвейсов — как грязи, бессчетно, неужели взаправду эдельвейсы где-то — реликт, символ недоступности, их отважно где-то срывают, считая на штуки, и преподносят любимым, любимые преисполняются гордостью за свершивших бесстрашное дело, зато здешним местам неведома наша жирная — плодоносящая — грязь, я о ней вспоминала тут с нежностью, это еще каменистыми полустепями-полупустынями, где хоть что-то хоть как-то еще растет, иногда даже — течет, красноватыми, монотонными, где след машины, даже единственной, остается на долгие годы рубцом, как в тундре; безоглядная эта монотонность постепенно входит в меня и как бы незаметно подтачивает и размывает границы моего обожаемого организма, потихоньку сливая его со своей безоглядностью, может, я бы уже и не узнала себя, с детства привычной до скуки, хорошо, что нет — зеркала, может, знакомого моего тела давно уже нету, я давно — органическое желе или каменный — плоский — панцирь, слитый навеки с вечностью, но, между прочим,— вполне себе мыслящий, что, как известно, значит — вполне еще существую. Этих превращений сам в себе логически не уловишь: они иррациональны. Просто — вдруг ощущаешь, что форма твоя — не единственная для жизни, может — не лучшая, а Мыслящий океан Лема, столь поразивший когда-то, не фантасмагорическое воображение, а скорей — прозрение реализма, заложенного в природе Космоса, может — даже бытописание: я, может, и есть. Просто — монотонность в какой-то момент вдруг перестала быть для меня монотонностью. Я вижу краски, полутона, детали и звуки. Горы, обязательно — горы, они понаставлены тут повсюду, прерывают, соединяют и организуют пространство. Я их нарочно смешала, Гоби! Это все равно ведь уже твоя страна, хоть ты неведомо еще к югу и за снеговыми хребтами, страна-то уже — твоя, и на тысячу семьсот километров не растет уже ни единого деревца, к этому ведь тоже нужно было еще привыкнуть.

Все эти горы, полупустыни и степи — они ведь меня уже изменили, они ведь меня — властно и бережно — как-то уже готовили, я только не знала — к чему. К Тебе, Гоби! Если б я рухнула в тебя прямо из московского своего самолета, без всей этой трепетной подготовки, меня разнесло бы сразу в куски, расплющило и разорвало. И никакие мозги бы меня не спасли, никакая форма!

Это счастье, что ты разверзлась — не сразу, нет, не сразу, вот счастье-то. Ведь даже Джунгарская Гобь, хоть и носит уже твое имя,— это еще не настоящая Гоби, нет еще резкой, непереходимой грани меж пустыней этой и всей предыдущей моею жизнью, это еще прелюдия и присловье, хоть уже — близко. Дело совсем не в размерах, хоть Джунгарская Гоби по твоим масштабам и невелика: можно проехать с севера и до юга, с запада на восток — тоже можно, мы пересекли так и эдак. Длинно тянутся бэли — это уже твое, исконное, Гоби, это оплывающие в пустыню горы, будто стекающие в тебя от жара, словно затянутые твоею силою в глубь тебя же, вечной, бэли стекают километров на десять, запросто — и на двадцать, горы нигде не кончаются — сразу, обрывом, склоном, скалой, этого ты им не дозволишь. Горы укладываются наконец, покорно и плоско, как бы необозримой щебенкой, уже безликой, серовато-темных тонов, не поручусь, что в этой безликости не порассыпано драгоценных, наверняка, более крупные камни взблескивают отдельно и горячи даже на взгляд, как раскаленный утюг, кое-где проступает соль, морозная как бы вязь, тоже — блестит, неинтересно, шероховато-розовыми шариками отцвел и висит кандым, у нас в Каракумах он куда интенсивнее цветом и разнообразней, солянки бьют насыщенной зеленью, полынь — сединой, низенькая эфедра-синика в легкой голубизне, колюче-сухой кустарничек эуроция цератоидес, это полное — торжественное — имя его я узнала позднее, сейчас же панибратски называю его — «эротика», нас так друг другу представили при первом знакомстве, не знаю, как он меня именует, надеюсь, что — тоже попросту, какие тут церемонии, саксаул пока малоросл, мне — едва по колено, как-то наивно — впрямую — зелен, чтобы представить себе живой и зеленый его побег, проще всего, пожалуй, взять школьную указку, что выдергивается сама из себя, удлиняясь, или ручку от зонтика, словом — нечто, что само из себя вылезает себе подобно, саксаул мне простит столь прозаические сравнения, он — великое дерево, а величие — необидчиво.

В Джунгарской Гоби, как ни странно, сразу возникла для меня какая-то вроде даже домашность, как бы — теплая обжитость души. Как теперь понимаю, я там — передыхала: в долгожданной ее жаре, что попервости еще не казалась пеклом, после горного ледяного холода; в ровном ветре ее, что не срывался еще на шквалы и не изнурил пока своим постоянством; после сплошных перепадов подъемов и спусков — на надежной тверди ее. А главное — поняла! — была же еще вода, глаза мои еще не забыли, как она выглядит, губы мои еще не спеклись без нее и в тоске по ней, волосы — не иссушились до шелеста, живая вода не ошеломляет еще — как чудо жизни, хоть речки исчезли начисто, но изредка попадаются еще булаки, где вода пресная, или кудуки, на худой случай, где

онв — горьковато-соленая, но все равно вода. Она еще порою струилась, богато обрастала настырным чием, пропадала, являлась вновь, блестела, блистала, отражала небо и даже вдруг слабо причавкивала под ногой, что вовсе уж блаженство непереносимое. Раз я видела даже жабу, ей-богу!

Я сижу на корточках посредине Джунгарской Гоби и слежу в интимных подробностях, как рождается родник. Кругом, неостановимо,— все те же неостановимые камни, но передо мной — маленькая лужа, если уж совсем честно — лужица, в любом другом месте я бы перешагнула ее, не глядя, просто-напросто бы и не заметила, но сейчас она поражает меня геройским своим размахом, это ж надо же — так растечься! Лужа эта, вдобавок, со своею, домашней, тиной и яркими придворными кустиками, верноподданно обсевшими ее по краю. И лужа эта — живая. Она пульсирует всей нахальной глубиной своей якобы мелкости, в ней бьют гейзеры, родные братья знаменитых камчатских; да, они — мини, но кто сказал, что маленькому — чтобы пробиться — нужно меньше сил, чем большому, я думаю — наоборот, лужа вспучивается крохотными живыми пупырышками, овальчиками, кружками, шевелит морскими своими волнами. Неборимым трудом, может — за тысячелетья, она истолкла камни в себе — в песок, и что-то упругое и неуемное сейчас подбрасывает этот песок изнутри, песок скачет, словно под ним снизу — жвр, скачки все чаще, выше, мощнее. Вдруг его резко пробивает изнутри, и крутым фонтанчиком вырывается вода. Уф, свершилось! Я изнемогаю от счастливой со-причастности к этому блистательному рождению. Миг — и вода опала. Лужа опять неутомимо пульсирует, набираясь сил, энергии, мужества. Я тихонько погружаю руку на дно — лужа моя едва прикрывает водою мою распластанную пятерню, но нам с лужей это неважно. Я осторожно прижимаю руку ко дну и ощущаю вдруг холод, прожигающий сразу до пяток, и как без-донно там бьется внутри: в этих овальчиках, пупырышках, в бунтующих этих кружочках — вообще нету дна, там без-донная глубь, на сотни метров, может, до центра Земли или вообще насквозь. А из лужицы слабо сочится обычный, как от вульгарного крана, тоненький ручеек. Будто не он — только что, на моих глазах — народился в муках, будто не из каменной пустыни пробился. Непостижимо и просто. Булак.

Стоит кулик на высоких ногах. Запросто носится саранча, чтоб угодить энтомологам,— может, не истинно саранча, но — саранчовые, один черт, красные крылья и тело красное, даже в полете — упитанное, в кабинное стекло они бьют башкой, как снаряд, такая орда может небрежно сожрать и машину, это очень чувствуешь. Куланы летят вдалеке светлыми тенями. Коричнево светятся на ближнем гребне джейраны, на джейраньем заду сверкает белое зеркало. Ну, к этим-то — привыкаешь, их следов, да квк на любом кудуке, полно. Ввечеру и всю ночь с ясного неба, со звезд, сыплется мошка́, прожорливая и до меня ненасытная, нудят и нудят шумулы — поджарые светло-рыжие комары, радуются легкой поживе, впиваются вмертвую. Нет, Джунгарская Гобь — не настоящие еще Гоби, нет, нет, ибо эту мошку́ и этих шумулов еще хочется — всех поголовно — убить, гордости за единственную их жизнь — нету еще и в помине, не обмираешь еще в восхищении от ихнего совершенства, что они тут выжили, приспособились, что для них тут — дом, что они бесстрашно тут заводят семью, детей и хозяйство, ни в какие другие, благостные и щедрые, места даже не рвутся. Это позднее придет, позднее. И шумул будет — в радость, и мошку́ — в уста поцелуешь, коль доведется встретить.

Истинно Гоби начинается после массива Адж-Богдо, «Богдо» — это «Святая», «Адж» — это не знаю что, а имя твое, о Гоби,— Заалтайская Гоби, и ты лежишь к востоку. Значит, было во мне пред-чувствие, ибо именно на вершине Адж-Богды, три тысячи восемьсот два метра — для вящей точности, я сложила себе персональное обо́, что есть посильная кучка камней в форме конуса, как бы тур рукотворный, и умиротворяет духов. Всемогущие духи отныне покровительствуют тому, кто сложил обо, и всем, кого он при этом держал в сердце своем. Лучше все-таки, как-то вернее, по-моему, назвать каждого поименно: кладешь камень в обо и называешь имя, можно — не вслух, духи все равно услышат. Я вспомнила всех, кто мне дорог, постаралась — ни одного не забыть, так что обо мое созидалось медленно. Камни при этом я выбирала помельче, чтоб не больно тяжелые, тут запросто и надорваться, эффект же от величины камней не зависит. Я вдумчиво припомнила всех, кто мне дорог, их получилось много, никогда не знала, что их — так много, обо мое все росло, ощутимо уже торчало на вершине Адж-Богды и наконец увенчалось венчающим камнем: мною самою. Напоследок я вспомнила и о себе, думаю — это не было с моей стороны нескромно, ведь каждый вправе и себе пожелать хорошего, если уже обеспечил прекрасным — других.

Я обеспечила честно. Теперь все, кто мне дорог, будут навеки здоровы, окружены любовью ближних и дальних, им отныне не грозит одиночество — ни в детстве, ни в старости, они будут счастливы в дому своем и в трудах, им будет захватывающе интересно — жить на земле, с каждым годом — все интереснее, сны их будут легки, улыбка ясна и поступки — всегда высоки, дв, чуть не забыла, отныне никому из них никогда, ни на миг, не будет скучно — с самим же собою, это очень важно и многое объясняет в хаосе

жизни. И никто из них даже не подозревает, что всем этим обязан щепетильному моему трудолюбию на лысой вершине Адж-Богдо, так и должно быть с воистину добрыми деяниями. Так было. Так будет. Никто, кстати, не понуждал меня к этому титаническому свершенью, кроме собственной совести. Свой шкурный и персональный камень я вполне бы могла внести и в чужое обо — общее, безымянное, столь же желанное духам, вечное, каковое обязательно есть на всякой недоступной вершине и сложено, может, три тысячи лет назад бескорыстными, как и я, паломниками. Но что бы было тогда со всеми, кто мне так дорог?

Ты же — начинаешься за Адж-Богдой и лежишь к востоку, где солнце. Как передать тебя, Гоби? Память моя не вмещает тебя, воображение мое меркнет перед тобою, воля моя — паралич, слова мои немо ворочаются в моем же зобу, я могу лишь бессмысленно и бесконечно тянуть «о-о-о-о-о-о-о, Гоби...». И пока я тяну это бессильное и расслабляющее, в запредельность катящееся «о», я вдруг ощущаю приближение и разрастание в себе твоего присутствия, как бы сокровенная Вечность подергивает меня за юбку. Словно бы слепые зрачки мои вдруг прорезались сквозь мою слепоту, словно бы застилающая пелена спала с моих очей и незрячая моя душа омылась прозрачной росой всеведенья. Я вижу тебя, о Гоби, я вижу!

О-о-о-о-о-о, Гоби...

Тянутся, тянутся, тянутся десятками километров, на сотни километров, необозримо расстилаются, образуют весь видимый и весь представимый мир, реальный и ирреальный, исключающий даже возможность других миров, отшибающий даже память о них, ничем не прерываемый, всепроникающий и вечный, сплошь черные каменные россыпи, уложенные ровно, словно Кто-то изо всех сил старался — так уложить, был опять недоволен, еще выравнивал, камнями всех размеров, от макового зерна до булыги; черные россыпи вздымаются в широченные гряды, длятся, длятся, вдруг вздымаются в горы, они стоят беззвучно и черно, как гигантские отвалы Кохтла-Ярве, титанические отвалы титанических рудников, где работники были — Боги и работали на себя и на вечность;ваблескивают своей матовой чернотой, глянцево светятся ею, стекают, длятся, растут, прогибаются вместе с небом и опять же к небу вползают, чтоб беззвучно скатиться, как им удобней, и снова длиться, литься, тянуться, идти и идти. На них, в них, вокруг них, они сами — камни. Ночью эти черные камни шелестят в черноте, как лес, шуршат, шевелятся, может — меняются местами, все равно потом не заметить, шепот и шорох идут ниоткуда и сразу со всех сторон. Из черных глубин пробивается слабый, необъяснимый, влекуще-пугающий свет и неясно сливается с лунным...

Это твои гаммады, о Гоби! *Громадная гаммада сжевала храбреца, оставив только шкурку и капельку лица,* просто — чтобы запомнить, но, кстати, физиологически — точно.

Суровые гаммады твои черны и голы, десятками километров нет и тени живого, пусть бы иссушенного, корявого, хоть бы какой рассухой былинки, вообще — ничего, и кажется — нигде быть не может, не верю, не знаю, не видела никогда, чтобы что-то росло, летело или бежало, камни, камни, черные камни, бесстрастно-черные, напряженно-черные, оголтело-черные, остервенело-черные, до отчаяния черные, до дури, благостно-черные, торжественно-черные, черные до рези, до крика, до тошноты, черные до последнего моего вздоха перед последним моим концом и много еще чернее черные камни, аспидно-черные, спереди, сзади, подо мною, навечно и навсегда. Чернота их уже непереносима для глаз. Наблюдая за своими глазами со стороны, я вижу, что они обезумели, уверились наконец-то, что мир этот — сошел с ума, глаза мои, много чего как-никак повидавшие, давно бы, по-моему, могли прийти к этому ценнейшему выводу, но как-то еще держались до тебя, Гоби, ты — их добила. И именно сейчас, когда эти глаза нужны мне буквально позарез! Но я их вполне понимаю.

Глаза мои давно уж на грани своих глазных возможностей, уже — за гранью, они безумно фосфоресцируют, стремясь вобрать твою безмерную черноту, и все еще, видно, надеются хоть в чем-то вырваться за пределы того, что видят. Но ведь не боги же мои глаза, Гоби! Им, бренным, уже спасительно кажется, что это — кругом — не камни, камней не может быть столько и только — черных, глаза мои скатываются куда-то в полубред и спасительно расцвечивают тебя привычно-радужной гаммой, вдруг возникает как бы зеленоватый отлив, серебряные сплетенья, охровые словно разводы, голубеющие узоры, пробиваются оранжевые бутоны и вспыхивают огненные, извивающиеся цветы, это ужв не камни, а заросли, все — кругом — отчаянно и безумно заросло, это джунгли. И я сама, дряхлеющая и слабая ящерица, вижу сейчас эти джунгли вместе со своими сбрендившими глазами: мы — вместе и рядышком — отдыхаем сейчас в этом веселеньком, пестром бреде, чтобы всерьез не попасть в психушку от твоего величия, Гоби. Но я прихожу в себя первая, чем горжусь. Я резко бью по безвинным своим глазам тыльною стороною твердой своей ладони. И сразу привожу мои глаза в чувство. Голо. Каменно. Вечно. Черные россыпи перетекают друг а друга, льются, плавятся в солнце, плавно приподнимаются вместе

с горизонтом и медлительно опадают, празднично-черные камни, бессмысленно-черные, одуряюще-черные, прожигающие насквозь, навылет, черные до боли, до бешенства, до восторга...

Уникальное чувство пережила я, Гоби, в черных и диких твоих гаммадах, такого — мне уж не испытать никогда: вот стою я на этих твоих камнях, вся одетая в твой же ветер, как бы обернутая сейчас в ветровой и незримый плащ, или лежу, приникая к тебе всем страждущим телом, или сижу, все равно, и никто, никогда, от сотворения мира, от самых потаенных и недоступных нам истоков его, никогда и никто, ни одна живая душа, во всяком случае — человечья, не сидел на этих камнях, не стоял на этом вот месте и, тем более, не лежал никогда. И вовеки — не будет сидеть, стоять и лежать. Странное, по правде-то, чувство. Вне-бренности, что ли. Над-бренности? Помню, что даже в тундре, где тоже на сотни верст — никого, все как-то подсознательно ждешь, что из-под карликовой березы или хилого астрагала какого вдруг вылезет брат по разуму. И в тайге — тоже ждешь. Здесь — не ждешь никого. Может, уже мания величия? Дорвалась наконец, в кои-то веки до дражайшей своей единственности? А еще всю жизнь почитаю себя за матерого коллективиста! Тебе, Гоби, этих мелкостей моих не понять, я понимаю — ты выше.

Но вот что мне показалось еще более странным, чем это странное чувство. Именно в тот момент, да, именно, я вдруг ощутила, что дикие и черные твои камни — имеют память. И, по всей видимости,— завидную, изощренно развитую, отлично натренированную Вечностью, мне — с моей, секундной, с которой ношусь всю жизнь,— только заткнуться. Камни твои — все помнят. Я открыла это чисто случайно, как Ньютон — тяготение. В своей егоэливой радости, что никто, кроме меня, сроду тут не стоял, не сидел, не лежал, я стала суматошно перемещаться по твоей гаммаде, чтобы, видимо, застолбить себе как можно больше и покрасивше мест для своей единственности. Носилась, как угорелая, благо никто не видит. Застревала — где сильнее понравится, пыталась небось покрепче впечататься в эту нетронутую твою вечность. И, бездумно и сладостно перемещаясь, стала вдруг замечать, что в некоторых местах мне — покойно и безмятежно, век бы сидела не шевелясь, даже вроде мысли подходят, ну, не мысли — пусть образы, тоже — вещь, хоть и более скользкая, а кое-где — я как на раскаленном колу верчусь, то не так мне и это, небо вздернуто косо, в бок давит камень, у солнца — нахальная и кривая морда, дискомфортно, хоть застрелись. Пару раз вперлась в такие местечки, откуда тотчас и пулей вылетела: на меня там наваливался угрюмый ужас, безысходный и неодолимый, прямо фатум. Дрожь всходила по позвоночнику.

Повезло, что я сразу после такого налетела на самое для меня удачное место: тут одолел вдруг счастливый смех, ни с чего, как бывает только с очень здоровенькими младенцами, жизнь моя вдруг представилась мне такой забавной изящной штучкой со множеством пресмешных нюансов, сто раз бы еще такую жила, и все б было весело. Ах, как с этого места уходить не хотелось! Я там — присохла. Все разглядывала, разглядывала новую свою, веселую жизнь и, вот смех-то, так ведь и не смогла найти в ней хоть чего-нибудь черненького, кроме этих твоих весело-черных камней, о Гоби, от которых самое веселье и было, я уж смекнула.

А догадка требовала проверки опытом, только это меня и сдвинуло. Отошла три шага — веселья как не бывало. Спасибо, возник тут же на смену вяловатый, флегматический, вовсе и не из моего характера, но все же покой, а не какая-нибудь душераздирающая гадость. Да все я давно поняла, Гоби, поняла! Тут и глухонемой крот бы понял. Но места-то совершенно же неотличимы на глаз, интересно же, да и опыт есть опыт. Я науку люблю. Я уж не поленилась теперь — все места как-нибудь для себя пометить, последние шорты на метки перевела, и опять обошла, без спешки уже, без эмоций и хладнокровно. Ни черта не помогло мое хладнокровие! Все в точности повторилось: покой, ужас, смех, флегматичная вялость. Будь здорова у твоих камней память, Гоби! В доисторическом каком-нибудь четыреста седьмом году здесь, может, впервые в жизни своей поднялся на ноги крошечный теплый куланенок, и мама-куланиха нежно облизала его ласковым языком. Вот и мой счастливый покой. А в тысяча, может, двести двадцать втором старый желчный коршун разодрал тут в куски юную, полную жизни, может — даже влюбленную мышь-полевку. Или в тысяча шестьсот восемьдесят первом жук-чернотелка скончался в страшных муках от дифтерии. Вот и мой ужас.

Насчет флегматичности — я не совсем поняла, подозреваю, пожалуй что, ложного скорпиона, он мне показался несколько вяловатым в сравнении с шустренькими орибатидами, когда я единожды разбирала под бинокулярным микроскопом почвенную пробу, изъятую, кстати, в твоем оазисе, Гоби; не исключаю, что этот лжескорпион был вообще дохлый, как-то он мне не понравился, позой, что ли, или вымороченным своим цветом, орибатиды же — наоборот — прямо цвели здоровьем и так бойко перебирали ножками, будто — притопывали, любо глядеть, только множество их, по совести, показалось мне несколько чрезмерным, четыреста с чем-то на одну почвенную пробу, зато сама проба красива до перехвата дыханья — словно подводное царство, глубина, водоросли, мягко желтеющие тона. От орибатид — тоже вполне могло быть мое веселье. Да мало ли — от чего! Всего мне не охватить. Жара. Недосып. Общая ограниченность. И провалы в памяти.

Только твои неискоренимые, вечные, недвижные и живые камни, Гоби, все помнят...

Другое теперь мучает: что же эти камни запомнили обо мне? Ведь входить в нашу мелкость они, думаю, не умеют. Вдруг в две тысячи восемьдесят седьмом году именно в том месте, где я пять минут постояла, недовольно выпятив губы, может — восход опять проспала и была раздражена на себя, вдруг да в этом именно месте красавец джейран, ни за што, вроде, ни про што, сломает свою джейранью ногу, что будет явная же для него гибель? Или в каком-нибудь четыре тысячи первом там, где я слегка на камнях твоих повалялась, вся из себя колючая, как воспаленными гвоздями утыкана, может, мне кто-то что-то не так сказал и я теперь мстительно рожала ответ, достойный своей воспаленности — мы же всю дрянь волочим с собою хоть в какую пустыню,— а потом на этом именно месте агаму вдруг разобьет паралич? Или веселая полынька, чудом возросшая, вдруг задрожит, скрутится судорогой и рухнет со своего корня? И я, я одна, буду виновата! Страшно подумать.

Я, правда, достаточно вовремя еще, по-моему, это осознала — что тут, как нигде, нужны корректная сдержанность, чистота помыслов, дружелюбие к миру и трепетность ко всему живому и к тому, в чем мы живого не зрим исключительно по своему органическому недомыслию. Но всегда ли это столь красиво у меня получалось, как тебе, Гоби, нужно? С твоим-то максимализмом? Да и по моим скромным нормам? Ох, не всегда, далеко еще не всегда,— должна я с прискорбием констатировать, если хочу быть хоть относительно честной. Дни свои я листаю порой с прискорбием, признáюсь тебе, о Гоби! И еще мысль не дает мне теперь покоя: вдруг память эта — на доброе и на злое — генетически свойственна не только твоим гаммадам и сайрам, а всему на Земле, нашим соснам, зарастающим в нашем же безобразии нашим озерам, искорененным нашим болотам, исписанным нашими надменными именами горам, небрежно обрываемым лютикам, стоптанным лесным тропкам, беспечным вроде бы одуванчикам на газоне, измызганным сельским откосам, орхидеям из Красной книги и всеядной вроде бы бузине? Что, если и они — все помнят? Тогда ведь можно и Вечность изгадить запросто, и Будущее — перерезать небрежно. Как же — тогда? Вот в какие глубины, сама того и не ведая, ты завела меня, Гоби, хоть гаммады твои и сайры — безгрешны.

Ибо кроме гаммад есть еще и сайры, они едины и друг от друга неотделимы в тебе, как неотделим звон — от колокола, облака — от неба, слезы — от лука и дух — от плоти, последнее для меня-то, впрочем,— как раз под вопросом. *По светлым сайрам тени облаков проносятся, как чьи-то души, и солнце мягко утекает вдоль, и тишина пронзительна, как боль, еще мгновенье — и меня задушит*, опять же — для памяти, детская привычка при переизбытке впечатлений. Ибо сайры твои ошеломляют не менее гаммад, они так же огромны, неостановимы и широки, неведомо где начинаются, нигде — не кончаются, идут и идут параллельно гаммадам, их разделяя, вдруг прорезают гаммаду насквозь, пробивая себе высокие, каменно-многослойные берега, плавно мелеют, не теряя ни глубины, ни шири своей, втягивают в себя солнце, блестят, и все длятся и длятся бесконечно. Сайры твои светлы среди горячечно-черных гаммад, они и в самом-то деле — светлые, но рядом с этой чернотой светлость их отдает уже исступленной белизною, пронзительно белым, хоть сайр скорей — сероват, настоящего-то белого, может, и нету почти, мощно являет себя контраст. Сердцевина сайра плавна, тщательно выложена камнями помельче, может — окатной галькой, по сторонам же камни постепенно крупнеют, темнеют и наливаются цветом, уже темно-серое, с синевой, к черноте, гаммада наваливается сбоку на сайр, сайр мягко и необоримо отпихивает гаммаду, как бы плавно взбирается на нее, величаво сливается с нею, и они, медлительно-вечно, растворяются друг в друге, что ты, Гоби, и есть.

И при этом гаммады и сайры, в вековечном своем единении, никогда не теряют своего, что ли, лица и существуют при этом и каждый в своей отдельности: сам по себе. Гаммада — это гаммада. Сайр — это русла несуществующих рек, речек, речушек, это русла, терпенье которых неистощимо и вечно, они ждут воду долгие месяцы, по году, по два, когда — и три, чтобы сразу ощетиниться селем, закипеть, понестись, обернуться бушующим торжищем жизни, пропитаться ею, ее запомнить, упиться бунтующим, победительным ее торжеством, сокрушить ее натиском и напоить ее соками, прожить свой предначертанный — редкостный — Миг, равный Вечности, взахлеб и на всю катушку. А потом опять ждать, неистощимо, потаенно и вечно, может — год, понадобится — и три. Никогда не терять надежды и ровно светиться в обожженном солнце, словно втянутом в немые каменные берега и густо, медлительно, тяжело истекающем вдоль.

Терпению и надежде нужно учиться у твоих сайров, Гоби! Но для меня это недостижимо, прости. Я, если — откровенно, вообще не могу даже представить себе никакой воды в твоих сайрах. Я ее никогда не видала в них, боюсь — уже не увижу. Ну, слыхала: рассказывают. Ну, читала. И что? Мало ли чего болтают да пишут. Ну, умом-то я, может, даже и понимаю, что — коли это русло, значит, должна же быть и вода. Но, во-первых, воды-то нету. А во-вторых, обнаженного русла такой мощи, шири и бесконечности даже и вообра-

зить невозможно, вполне вероятно, что и никакое это не русло, а просто — так называется, мало ли в науке идентичных терминов, каковые значат — чего угодно, как ученым вздумалось. Воды-то — нету. И никакое это не русло, а сайр. А сайр, и клещу понятно,— это сайр. Никакой воды тут быть и не может. Это сколько же надо воды, чтобы налить такой сайр? Чтоб она в нем бурлила или хоть слабо чмокала? Где и кто видал столько воды? Пусть — мне его покажут! Я лично — никогда и нигде не видала. И даже измыслить такого немыслимого не могу. Я не фантаст!

Вода бывает в бидонах с притертой крышкой, она неизъяснимо прекрасна, чуть горьковата, припахивает сероводородом, тепловата на вкус, ее всегда мало, от жадности я заглатываю ее слишком много одним глотком, счастливо давлюсь, вода стекает по моему подбородку, я ловлю эту воду в ладонь и слизываю потом с ладони. Это — вода! Водой этой, напомню себе, ни в коем случае нельзя мыть посуду, слишком роскошно для мисок с кастрюлями, на то есть бак, он втиснут между кабиной и кузовом, от него идет вялый резиновый шланг, крутанешь краником, и из шланга вяло выдавится красноватая горячая струйка, но потом эта струйка — окрепнет, мой — не хочу: посуду, руки, лицо. Умываться тоже надо из бака. Вода эта, конечно, похуже, но тоже прекрасна. Я, кстати, частенько путаю: то присосусь вдруг к шлангу, то прямо из чайника полощу вдруг кружку, что не украшает меня, о Гоби,— таким невнимательным даже к воде нечего делать в пустыне!

Еще вода бывает в булаке, коли повезет и она там — есть: на всем протяжении от Адж-Богды до Эхийнгола повезло — дважды, хоть указаны в карте еще булаки, и они — были, штук, если не ошибаюсь, шесть. Да хоть переверни этот булак вверх дном, живой воды нет и капли, только — красно засохший, будто завяленный, тамариск и могучие мертвые саксаулы, могучести такой я в саксауле доселе не знала, не обхватишь никакими руками, это ж дубы, кряжи, дерева-острова, вздыбившие песчаные бугры под собой и вокруг, вырвавшиеся словно бы даже из тебя вечной, Гоби, своей саксауловой вечностью, кладбища — торжественные и живописные, как бы даже — живописующие, а потому — уже и не печальные, не подавляющие своей могущественной мертвенностью, словно бы, напротив, подвющие душе намек — на вечную жизнь, которая всюду все равно выстоит и пробьется. Хорошо пошарив средь них, потусторонних, цеплястых и мертвых, и впрямь отыщешь хоть бы одну, слабую, тоненькую, живую ветвь, оглушающую сердце надеждой. Но воды не найти, хоть сдохни!

А это все же булак, и имя ему — булак. Сайр! Сайр! В сайре — никакой воды вообще не бывает и быть не может, вот мое мнение, если уж — откровенно.

Любопытно, Гоби, что именно с водой был потом связан для меня самый сильный, так сказать, афтер-шок: когда, уже покинув тебя, уже севернее, перед снежным Хангаем, что и прикрывает тебя с севера, я увидела вдруг первую речку, такую равнинную, прямо из детства, блескучую, ласковую, в песочных пляжиках, в наивных извивах, мире, ивовых кустиках, как только я эту журчливую речку увидела, все во мне вдруг внутри ощерилось неприязнью и неприятием. Это — вместо радости-то! Я и глядеть не хотела на эту речку, ничего с собой не могла поделать. Я в нее даже ногу не сунула, а обычно кидаюсь в любой омут башкой. Слышать не желала, как она там себе нежно трется об камушки. Я к ней вообще — поворотилась спиной. Даже пить не стала, нацедила себе из посудного бака и стойко выхлебала эту гадость.

Все во мне ощетинилось: зачем кто-то сайрик испортил, зачем кто-то налил воды в этот замечательный сайрик, это ж противоестественно и бездарно — столько воды, из-за этой воды мне не видно же самого-то сайра, каковой есть совершенство. Я даже поймала себя на том, что мне ужас как хочется — конкретно — найти виновного и учинить ему скандал, но я не знала: кого, кому. Да что там эта безымянная речка, с коей мы свиделись один раз в жизни и разошлись небось навек! Я ведь даже в Ленинграде, стоя сразу по возвращении на Кировском мосту и посреди родной красоты, испытала вдруг приступ щемящей тоски — что главной-то прелести Невы так никогда и не увижу: невского ее сайра, который сразу и навсегда сделал бы меня непоправимо счастливой. Дай мне волю в этот момент, я бы, пожалуй, даже Неву куда-нибудь минут бы на десять — вылила, чтобы полюбоваться Невой — без Невы.

Сильнейший был приступ ностальгии по тебе, Гоби!

Вообще, удивительна эта сила, с какой организм бережет и лелеет совсем недавно ведь нажитые, но уже — беспрекословные штампы: вода должна быть в булаке, а русло должно быть сухим, оно — обязательно уже сайр, речек — не надо. Эта сила, по-моему, сравнима лишь с силой жизни — как таковой. И далеко не безопасна, сужу по себе. Хорошо, коли это — образ, но раз — образ, два — образ, три — уже штамп. Привычка. И сдвинуться — уже тяжко. Я в какое-то время вдруг заметила за собою, что как-то помене радуюсь — другу, коряге в луже, чужой мысли, осени, письму, муравью, неусыпным своим трудам, филигранной мудрости паучьей сети на рассветном лугу, сливе, лени своей, даже дороге, это уже вообще — завал. Стало куда-то утекать удивление. А мир постигаешь лишь удивлением, шумулу ясно. Будто меня от макушки до пяток кто-то намылил серым хозяйственным мылом и усадил, неизвестно — зачем, сохнуть и вспучиваться посередь явлений, страстей и предметов. Ощущение, прямо скажем, неконструктивное: все я уже тысячу раз видала, всюду — была, все заранее знаю, и скука уже наперед сводит аж диафрагму.

Тут-то ты, Гоби, и подкралась ко мне, разверзлась и шарахнула копытом овна — по мозгам, по эмоциям, но бессильным образам моим и возлюбленным штампам, по всеведущей моей диафрагме. И все разлетелось в прах. Я узнала — за что по гроб тебе благодарна,— что и ничего не знаю, никогда не узнаю, нигде не была и нигде не буду, мне и так-то ничего не успеть в своей мимолетности, какое там мыло, хозяйственное, да еще — в нем сохнуть, когда мир этот ни на что не похож, всякий миг — другой, простодушно распахнут в своей открытости и загадочно замкнут в тайнах своих, я могу хоть тысячу жизней биться об него исступленной грудью, как мотылек — в стены Нотр-Дама, мне не хватит и тысячи жизней, чтоб ему удивляться, всякий миг — по-новому свеж и вечен, ничто не повторяется никогда, аналогии мои иллюзорны, смехотворна моя усталость. И великое удивление, наново народившись, как юный день из беспросветности ночи, взыграло в моем организме, дивитесь мне, люди добрые и твари морские, ребенок передо мною — старик, ай да и, исполать тебе, Гоби!

Я иду по светлому сайру меж черных, жирно отсвечивающих гаммад. Неотвязно прилипла какая-то строчка: *«такой неуправляемо-прекрасный, как полнозвучье полной тишины»*, и зудит, и зудит, кто — интересно — такой прекрасный, и где он, опять небось какой-то стишок да еще, подозреваю, что — свой, вот занудство, тишина же — к месту. Я иду по сайру и слушаю его тишину, пытаюсь поймать в ней хоть один звук, ползвука, хотя бы тень звука. Но попытки мои тщетны. Тишина эта — тиха абсолютно, неразложима городским моим ухом, грохочет во мне грохотом сверхзвуковым, закладывает мне уши, уши мои скрутились, как привядшие лепестки, их уже — нету, тишина давит на веки, просачивается мне в кости, оплавляет кости, может оплавить меня целиком, и меня — не будет. Я все медленнее продираюсь сквозь эту тугую прозрачную тишину, с каждым шагом — все тяжелее, хотя сайр приветлив и солнечен. Тишина эта так плотна, что ее, наверное, можно уже нарезáть беззвучными и сочными ломтями, прихвати бы ломтик с собой, но мне нечем — резать, как всегда — я забыла ножик в машине, вот тетёха.

Останавливаюсь. И тишина останавливается, ослабляет напор, уже не так давит. Можно перевести дух.

Я такая мизерно крошечная в ее необъятности, от меня даже нету следов, будто ноги мои только что и не касались этих светлых камней, от меня — нет и тени, хоть бы махонькой, с огрызок карандаша. Вдруг меня — уже нет? Я трогаю себя с осторожностью, готовая ко всему. Тишина плотно вздрагивает. Нет, пока — я есть. Я знаю тишину горя, тишину понимания, сна ребенка, одиночества среди толпы, тишину восходящих соков зацветающей лиственницы, летящего снега, оркестровой ямы без оркестрантов, бутона, давно заброшенного колодца, губ. В любой тишине, мне известной, ощутимо дрожание отзвучавших звуков и пред-ощущение будущих: ребенок, засыпая, смеялся, бутон раскроется с неуловимым — порхнувшим — треском, понимание прорвется словом. Тишина, знакомая мне,— всего лишь пауза, сколько бы ни длилась она. А этой тишины я не знаю. Она замкнута на самое себя, как бы — сфера, всепроникающа и гармонична, объемлет асе, не нуждается ни в каких звуках. Она и есть полнота, включающая в себя любой звук снисходительно и любезно, как не стоящую внимания паузу. Ну, заори я сейчас, даже — завой протяжно на глухую гаммаду, тишина меня вежливо переждет, я же — быстро охрипну и наконец заткнусь, я ее не порушу, не прерву, не сделаю для себя понятней. Не буду и пробовать. Лучше всего о ней вообще не думать, забыть, будто ее и нету, не замечать, как она ведь не замечает меня.

Я иду по светлому сайру меж черных гаммад, их каменная дремучесть уже мне привычна, одинокой себя — не чувствую, поддаю ногой камушки, они пошуршивают, от меня уже народилась тень, потихоньку растет, это мне лестно, светлый ветер ерошит мне волосы, что-то ищет в моих волосах, небось — мысль, летит дальше, я не думаю решительно ни о чем, во мне только легкость бездумия и радость своих легких шагов, я могу обойти так весь земной шар и по этому же сайру вернуться на это же место, у меня тоже есть свое самолюбие, никакой такой тишины, вообще-то говоря, и нету, я слышу, например, как шуршит ковбойка, дырка трется об дырку, зашивать их бессмысленно, один рукав я выбросила тут же в сайре, а второй закатала повыше, еще подержится, я слышу ветер, шорохи камня и своих мозговых извилин, наслаждаюсь покоем, любуюсь окрест.

Вдруг я чувствую резкий спазм в спине, словно кто-то мне смотрит в спину, что всегда неприятно, или будто мне кто-то целит мелкашкой точно между лопаток, что тоже не сахар. Ерунда! Я иду себе дальше, любуюсь и наслаждаюсь. Нет, смотрит и целится. Чушь! Я иду. Иду. Ноги мои цепляются друг за дружку, больше-то — не за что. Оборачиваюсь рывком. Позади, что и так понятно,— безмятежный и чистый, пропитанный солнцем сайр. Ох, нервы вы наши, нервы! Как приятно тут обобщить: «наши», естественно, не «мои». Кому здесь целиться? Восплачешь и возрыдаешь, чтоб кто, живой, хоть бы глянул тебе в затылок! Некому — глянуть. Я иду. И даже посвистываю, мне легко

и вольно: идти. Но в спине моей, до судорог, мрак — не могу расслабиться, хоть убейся. Я уж несколько раз — оборачивалась рывком, самой себя стыдно. Повернуть обратно? Дудки! Я тут гуляю, и впереди у меня, может, высокая цель. Иду и буду идти.

Но глаза мои уже обострились, им уже мнится, что сайр вокруг вовсе не так уже безупречно светел, он вроде подернут невнятной дымкой, что-то словно уже таит. И уши мои — топориком, они уже непонятно радуются тишине, что недавно была еще в тягость, а сами тайно копаются сейчас в ней, тишайшей, снуют, перебирают ее оттенки и словно бы ждут от нее какого-то, тайного, знака. И вдруг я сразу всем телом, до селезенки, которая, ей-богу, и теперь-то не представляю — где, слышу сзади настигающий меня грохот, будто там, позади, летит на меня бешеная лава, цунами, взбесившийся сель. Я сиганула влево, к гаммаде, до нее скакать и скакать, волосы мои — встали, голова втиснулась в плечи, второй рукав оторвался и отлетел, лопатки врезались крыльями, крылья вспухли, взревели и бессильно упали мне на лицо. Нет, такое надо показывать цветным экраном и замедленной съемкой. Я все-таки заставила себя — обернуться навстречу гибели. Ни грохота, ни цунами, ни лавы, ни даже невнятной дымки. Далеко, дружелюбно и кротко расстилался идиллический, сияющий солнцем и тишиною сайр...

Что это было? Вконец распоясавшаяся образность, от которой всю жизнь страдаю? Шалости внеземных цивилизаций, о коих столько разговоров по кухням? Нервы? Не знаю, Гоби, как бы тебе и объяснить, что это такое, столь для нас почтенное и все извиняющее. Нервы есть нервы, как гаммада есть гаммада. Большего, пожалуй, не скажешь. Тем паче, я-то уверена, что это — совершенно другое, не первое, не второе и не десятое. По-моему, мне в тот день на миг приоткрылась душа твоего сайра, мастерски скрытая обычно внешней его безмятежностью, простором и светлотой. Я, вольно или невольно, на миг проникла в глубинную суть твоего сайра, что есть — энергия ожидания. Разве не так, признайся! Ожидание — блоха мне соврать не даст — одно из самых трудно переносимых состояний, оно и минуту растягивает порой до вечности. Ожидание же — постоянное, месяцами, годами, вечно, как ждет воду твой сайр,— непредставимое напряжение, которое должно рождать энергию, страшную по раскруту, и только ею держаться. Я в тот миг, случайно или неслучайно,— точно попала на эту скрытую, чрезвычайно болезненную даже для сайра, волну. И раз и навсегда поняла, что сайр — это воистину и навеки ложе несущегося потока. Тихость его, кроткая сухость и зазывная плавность меня уже не обманут. А что это прозрение так пóшло у меня материализовалось — сразу, конечно, и лава, и цунами, и сель,— это уже органика человеческого восприятия, бессильно сводящая все великое до своего скромного уровня.

Я, Гоби, еще одну тонкость, пожалуй, для себя поняла, скорее всего — тоже посередь сайра, он как-то стимулировал мою вдумчивость: что тут качественно другие связи чего-то с чем-то. Ну, предметов, если их можно так бытово означить, у тебя, прямо скажем, немного: гаммады, сайры, оазисы, горы, булаки, ветер, кудуки, небо, солнце. Все вроде. С натягом — такыры, солончак, барханы. У нас же этих структурно важных предметов — тьмища, хоть по габаритам они обычно куда как мельче: квартира, отпуск, работа, дети, ум, глупость, деньги, знакомые и друзья, незнакомые, сроки, темпы, болезни, плотины, шляпы, книги, ремонт, продвиженье по службе, дачи, борьба друг с другом, дружба и тяжба. Нет, не берусь исчислить. Горы, к примеру, тоже есть, но существенной роли не играют, отодвинуты чаще к отпуску. Это тебе не понять. Зато полно снегу, что для тебя — редкий праздник. Леса еще есть, ты и не представляешь.

Занятно — другое: у нас все эти, если опять же можно так выразиться, предметы страстно и безразборно перемешаны и переплетены, они вроде как связаны между собою даже теснее, чем твои, таких безразмерных пространств, само собой, нету, вечностью и не пахнет, скоротечностью — очень. Но связь эта, по причине кучности и спешки, не всегда плодотворна, достаточно выношенна и проверена временем, суетлива, блудлива, случайна, частенько носит поэтому как бы захватнический, что ли, характер: кто, чего, кого и первый схватил, увидел — сразу подай, захотелось — повернул, хоть человека, хоть реку. По изобилию — пока сходит.

Но я сейчас не о реках. Я, как ни странно,— о песнях, вернее — о чувствах и способах их выражения. Могла бы небось осознать это гораздо раньше, и в песках Туркмении, и в Казахстанских степях. В песках кочевья я ведь тоже ощущала как бы вкрадчивую, осторожно и бережно опутывающую меня ворожбу, как бы что-то ненастырно и исподволь, чтоб не спугнуть меня неловким и спешным каким движеньем, заговаривает и заговаривает мне душу, вне слов, вне логики, все заговаривает и заговаривает, пока душа моя не расстанется наконец с исконным своим неприязненным недоверием к непривычному, не расслабится в этой плавно истекающей доброй энергии и не растворится в мягкой, засасывающей ее силе. Я как-то все это относила скорее к ритмам, к мелодике. Известно же — песня кочевника: а-а-а, саксаул, а-а-а, еще саксаул. Стыдоба мне! Не знала я, что ли, что слова — поверху никогда не стоят, что корни их — даже саксауловых глубже, что именно слова искривляют эмоциональное наше пространство, как гравитация — космос, что они рождены из ритмов и сами несут в себе ритм, что музыка — это оплавленные до полной неузнаваемости тоже слова, как бы переведенные Кем-то в качественно иное структурное качество, непереносимое для нас своей тайной, мы же и музыку объясняем друг другу потом, когда вырвемся из нее,— только опять же словами, больше-то нам — нечем, объяснить все равно — не можем. Ну, знала. И что — с того?

Именно твои протяжные песни, Монголия,— поют же тут все, от велика до мала, а вся эта раскинувшаяся необъятно страна — для меня — твоя страна, Гоби, может, я даже пристрастно преувеличиваю, если можно преувеличить великое,— вдруг открыли для меня нечто, простое и мудрое, что отличает песни твои — от наших. В твоих — никогда нет лобового нахрапа, этих наших мгновенно и сладко для нас вскипающих, выраженных впрямую и намертво пригвожденных словом: люблю, единственный, жить без тебя не могу, любимый, коли сей секунд не ответишь на мои чувства — помру, под транспорт, тебя — об скалу, мой либо ничей, все равно не отстану, ни покоя не дам, ни продыху, мой, мой, заревную, занежу, зарежу, мой, будешь мой, приди и возьми меня, причем — немедленно и навек, хоть развод, может,— послезавтра, плевать. Вот этого всего — начисто нет. Думаю, тебя, Гоби, эта наша нахрапистость, и мелодично выраженная, должна небось коробить, кажется, поди, грубоватой, даже — противоречащей изысканности наших чувств. Кто к чему привык.

Нам твоя благородная сдержанность как бы — не пламенный переруб солнечного потока словесным дрыном, а кропотливое и ненавязчивое вплетение в солнечный свет своей, тоненькой и дрожащей, единственной нити, поначалу кажется, наоборот, некоторой вялостью, что ли, чувства, недопроявленностью его. До нас трудно доходит художественная сила твоих деликатных намеков. Ведь в песнях твоих чувство проявляется всегда опосредованно, стесняясь своей же силы, трепетно скрывая ее в отдаленных ассоциациях, в легкой акварельности красок, стыдливо лишь на нее намекая. Всегда оставляет тому, на кого направлено светом своим,— полную свободу, всячески чураясь даже малейшей малости — посягнуть на эту свободу и хоть как-то ее порушить. Да пусть и неземная любовь вдруг подперла под горло! Под мое ведь — подперла, может — не под твое.

Овцы блеют вдали, и по склонам они — как нежные светлые камни, камни эти задумчивы и вечны, будто овцы. Юрта моя белоснежна, и ветер нежно обтекает ее, и ластится об нее, и кумыс мой — крепок. Конь мой оседлан, он горячо перебирает молодыми ногами, ноздри его — свежи, чист и прозрачен запах его потеющей шеи, нетерпение влажно дрожит в удлиненных его зрачках. Верблюды мои ступают беззвучно, их поступь — прохлада. Небо раскинуто надо мною, как юрта голубеющей вечности, купол ее — совершенство, солнце стоит в ее конусе и растяжки ее — нежные солнечные лучи. И я чувствую почему-то, что за черным ущельем, за синим хребтом, за красными скалами расстилается такая же ласковая долина, где овцы задумчивы, словно камни, а камни светлы, как овцы, и блестит юрта, и кто-то, нежный, смотрит сейчас на солнце, которое надо мною. И в сердце моем почему-то радость. Это, Гоби,— твоя любовь, твоя песня.

Во всех учебниках небось есть, но я открыла это сама, а свой-то велосипед — дороже. Я даже пыталась, как свойственно человеку, свое прозрение реализовать. Вот что у меня вышло. Я сижу над пишущею своею машинкой, вечные глаза мои неподвижны, как камни, мысли мои — блеют, машинка — стара и исправна, она зеленая, как лягушка, машинка отстукивает мысли и без меня, это вообще — ее мысли, а не мои, я сижу — для компании, чтоб ей не было скучно. И мне почему-то сдается, что за лесами и за долами, за феноламиза подзолами, за синим автомобильным лязгом кто-то нежный, вернее — нужный, сидит сейчас, может — к югу, возможно — к северу, возле ласково-загнивающего пруда и глядит сейчас, бессмысленно, неостановимо и вечно,— на лягушку, зеленую, как моя машинка. И мне хочется, чтобы этот кто-то вдруг выиграл по лотерейному билету сто тысяч и купил себе такую же пишущую машинку. И она отстучала бы мне письмо. И в сердце моем почему-то печаль. «Письмо», пожалуй, уже перебор, европейские штучки. Да и печаль, как бы помягче выразиться, довольно-таки стервозна своей активностью. Нет, это не твоя любовь, Гоби, не твоя песня. Это все — мое.

Ничто так не изматывает, как понимание, может, только непонимание изматывает так же сильно, оба они — хороши. В первые дни я так от тебя уставала, Гоби, что к вечеру была уже никакая не я, а избитый в тряпье саксаул. Об одном лишь молила моя избитость — не видеть тебя, не слышать тебя, не чувствовать, рухнуть в кулек, уснуть, умереть, забыть, дать себе от тебя передышку хотя бы на миг, чтоб выдержать — завтра. Но поначалу ночи твои, о Гоби, были кромешнее дней: ночью ты бесновалась в моем подсознании или это мое подсознание билось в тебе, откуда мне знать. *Знаю* — каменная трясина раскачивается подо мною, жидко дрожит, черные волны идут уродливыми валами, дыхание их — зловонно, ноги мои не имеют опоры, подламываются, как спички, погружаются в омерзительную жадно-каменную пучину все глубже, все безвозвратнее, меня всасывает уже целиком, бездна смыкается надо мною, я слышу ее довольное, жирное и утробное чавканье, силюсь из последних сил — крикнуть, позвать кого-то, передать хоть последнее мое желанье, рот мой — забит камнями, крик рвется сквозь уши, рвет барабанную перепонку, перепонка лопается с бессильным треском и оглушает меня черною немотой.

Знаю — во тьме и со всех сторон расквчиваются, вспухают и опадают, вздымаются и крошатся деформированные, как лемовское дитя, важные в жизни моей фигуры и незначительные, о коих годами не помнила, их всех выносит сейчас наверх, выдавливает из вязкой глуби, все они чего-то требуют от меня, взывают к моей душе, плачут своим бессилием, обморочно обмирают моим бессилием, растворяются и снова грозно вспухают, наливаются голубоватым, кошмарно мерцающим светом, своею болью и муками моей совести. *Свидетельствую* — никогда в жизни я не видала разом столько кончин, безвременных и ужасных, я потеряла всех близких, потерянных еще в детстве и, слава богу, здравствующих и ныне; все, что неосмотрительно встретились со мною хоть раз, кого я случайно запомнила, кто бездумно спросил у меня когда-нибудь, который час или нет ли лишнего билетика,— скончались в мучительных судорогах, расплатились жестоко и несправедливо, мир был опустошен за какие-нибудь две-три ночи, душа моя обезлюдела и иссохла.

Не знаю, чем бы это все кончилось, кабы парочка-другая еще таких сновидений. Всему человечеству — грозила уже опасность. К несчастью, я порядочно ездила и память у меня — ничего. Но даже ты, Гоби, не ведающая границ и пределов, видно, вдруг что-то почувствовала. И вдруг — удержалась на грани. Я провалилась в блаженное не-бытие, в бес-памятство, в оздоровительный сон, который хотел длиться вечно. Через сутки меня грубо из него выраали, вырвать, по слухам,— было непросто. Кому охота расставаться со счастьем?! До сих пор не знаю, что это было. По-моему, ты в первые ночи просто меня переваривала, переварив — оставила останки в покое, я же — бодренько регенерировала, что вообще мне свойственно, и с тех пор у нас с тобою уже не было неразрешимых конфликтов.

К востоку от Адж-Богды — к Атас-Богде ты, Гоби, постепенно светлеешь, нет, гаммады по-прежнему беспросветно голы и темны, они — всегда темные и повсюду, гаммады даже еще вроде бы черные, но это не та уже чернота, прости, таких растлевающе-черных, отупляющих чернотой, черных до остроты, до лезвия, до спазматического восторга — уже нету вокруг, больше уже никогда для меня не будет, и тоска по ним, озаряюще-черным, пронзающим чернотою — как светом, пребудет во мне навеки. Я ищу этот цвет в черной проталине первой весны, в черноте своих неудач, в узком, как ущелье, чулане, где черные остатки варенья черно замшели в литровой банке, а на голову мне с черным грохотом рушится, черная от черной пыли, вековая подписка журнала «Театр», в глубине моей радости, в черном косноязычье оратора, в сажевом выбросе на снегу, в мелких предметах быта, заслоняющих мою жизнь от меня же самой, в птице сороке, где белое — по контрасту — жарко усиливает черноту, в волосах любимого, в ручке от унитаза, в полноте моего совершенства и несовершенстве ближних. Но мне нигде не найти его, Гоби!

Над черной гаммадой вдруг слабо плеснула первая бабочка, бледная, как смутное воспоминанье о бабочках. Не уверена, что бабочка была настоящая. Вдруг аозник справа из ничего и долго, вымороченно тянулся сухой саксаул, белые — обглоданные до больничной белизны — его кости, мучительно перекрученные до выворoченности. Гаммада перетекла в сайр, сайр — солнечен, обжито для меня пуст, бесконечен, сайры твои не меняются, ни к востоку, ни к западу, Гоби, я цепляюсь за них в своей памяти — как за истинно вечное, укрепляющее шаткую душу неизменным своим постоянством. Но и в сайре мелькнул вдруг клочок «эротики», где так бешено много длинного, сухого и острого, что — торчит во все стороны. И уже почему-то странно тревожит — намеком на жизнь, словно бы ты уже и не хочешь более этой, даже ботанически-скромной, жизни. Вдруг пролетел удод. Я едва узнала его. Пышность удода была — безумием, каким-то разнузданным выпадом, недосмотром, грубой обмолвкой твоей, о Гоби! Что он тут делал? Кто ждал его в этой глухой черноте? Или это удод-отшельник, удалившийся суетных радостей? Но где ж достает он акриды, классический корм отшельников? И зачем — столь вызывающе ярок, как тропический попугай? Ведь лишь гаммады твои имеют право на яркость, они блестят и справа, и слева, и бесконечно, а сайр твой пропитан солнцем и утекает вперед и вперед...

Горизонт вдруг наехал мне прямо на нос, сайр плавно спружинил, опал и еще расширился, ударило чем-то страшным, забытым, непредставимым и сладостным, это — зелень была, зеленое море, но глаз еще не мог вспомнить этот цвет, назвать его и вместить, с боков — остро взнуздались острые черные горы и остро блистали ветряным блеском. Открылся оазис Атас-Богдо.

Когда я взвешиваю на весах своего сердца два твоих оазиса, о Заалтайская Гоби,— Атас-Богдо и Шар-хулсны-булак, чаша Шар-хулсны-булака мгновенно и с таким мощным звоном бьет в камни моей души, что сомнений для меня нету: Шар-хулсны-булак здорово перевешивает. Но Атас был первым, а ошеломление от него казалось — последним, больше уже не вынести, да большего и не бывает. Я увидела вдруг баобабы, как знала их в телевизор, только — куда баобабистее. У меня нет меры для их обхвата, для могучей пупырчатости их шкуры, для их вознесенности, воссиянности их гулко-зеленой кроны, чтоб охватить взором этот живой шатер, я так резко закидывала назад свою голову, что голова моя отрываалась с шеи, и я долго потом разыскивала ее среди двухметрового тростника, чиев и тамарисков. Голова была, собственно, даже и не нужна. Я, визжа, носилась меж баобабами, и визг мой — стоны восторга. Из баобабов — на уровне моего роста — торчали гибкие букеты в узеньких, ивовых, листиках, а наверху листья были другие: разлаписто-широкие, крупные, с характерными зубчиками по краю. Это был разнолистный тополь во всем своем разнолистном великолепии. И от этого он ни на миг не переставал быть баобабом!

Я насчитала в оазисе Атас-Богдо пятьдесят три баобаба, целый баобабоаый лес. Не понимаю сейчас, как я между ними носилась, ибо понизу этот лес непролазно зарос огромным, отбеленным ветрами — до белизны, чием, таким проволочно-железным, что и кусачками не перекусишь, и даже собственные листы на этом чие не могут расти попарно, а только с отступом, через один, зарос тростником, аж отдающим от силы жизни в зловещую красноту, буйно цветущим малиновым — тамариском, селитрянкой. Кусты селитрянки усыпаны черными, с черемуху, спелыми ягодами и красными, дозревающими еще. Я не стала ждать, пока они все поспеют, и объедала селитрянку прямо с кустов, стоя, жадно и без помощи рук. Селитрянка дрожала при моем приближении и рождала ветер. Но ветер и так был — всегда. А в ягодах была свежая сочность и привкус аптеки. Я даже пыталась сварить из селитрянки кисель, но аовремя вылила все ведро в костер. Сама, конечно, сперва попробовала. Довольно большая колония песчанки полуденной, чей пещерный город был рядом, с интересом наблюдала потом, как меня корежило. Песчанки даже свистеть перестали, все — до одной. Но ничто не смогло отбить любовь мою к ягоде селитрянке!

Это была единственная съедобная ягода, которой ты меня одарила, Гоби, и ягода эта была прекрасна, я тщетно разыскиваю ее теперь по базарам и рынкам. Я сладострастно принюхиваюсь теперь к аптекам и боюсь, как бы не заподозрили меня в наркомании, что сейчас — модно. Я глодала селитрянку прямо с куста еще и потому, что так — легче, чем сломить, например, всю ветку, буквально устланную ягодами, и спокойно откушать потом на досуге. Но оторвать от любого живого ветку — необоримый труд: что уж растет в тебе, Гоби,— держится за жизнь, крепко ее в себе ценит, тянется, режет, скользит и не поддается, поучиться бы нашей ольхе, нашим подснежникам и нашей рябине, которую частенько — есть кому заломати.

Сперва в девственной этой щедрости неясен был один пустячок: есть ли в оазисе Атас-Богдо — вода, чтоб ее хоть увидеть, зачерпнуть как-то, что ли бы, из горсти или напиться ртом, распластавшись хоть навзничь, не такая, само собою, вода, квк пыталась в своей схематичной гигантомании внушить карта, мол, родник, где больше нтисот литров в час, то есть — приблизительно — ведро за минуту, водяная феерия, бред, никто такого и не искал, потому что такого-то — не бывает. Но хоть какая-нибудь!

И вода, наконец, нашлась: крошечная, затерянная, солоноватая. С первою же лопатой полез черный ил, лез тяжело, медленно, долго, но родничок заметно уже углубился, через сутки вода стала прозрачна, пробила себе неровно-бугорчатый ручеек метров в семьдесят, пожалуй, длины, дальше — не сочла нужным биться, на том — закончилась. Бак и бидоны давно полны. Я сижу возле родника в благостном умиротворении и в проницательной тупости. Родник саетится голубым окошком в белой, серебряной окантоаке посреди темно-коричневых, до истошной красноты, прядей тростника. Мягко свисают вокруг тамариски, отцветающие сиренью. Соль выступает всюду, в ручье, в самом роднике, меж тамарисками, проступает легкой белой серебристою изморозью. Валяется устрашающе много костей — белых, до немыслимо-неестественной белизны,— берцовые вроде кости, длиннющие черепа, видать — верблюжьи. Волк подходил на рассвете, был — его голос, следы его четкие. Козьих следоа понатоптано, еще следы хавтагая, это — их место. Куда ни глянь, торчат — с кукурузный початок, коричнево-яркие растения, небось паразиты, думаю, проживают на тополиных корнях, может — на селитрянке, в других местах не встречала, типа каракумской нашей цестанхе, но не бочонками, а загогулины. Еще всюду — баглур, как треугольные наконечники у него, зарисоаать бы, да лень. Жарища. Ни звуков, ни даже запахов. Да, еще — почва. Или как ее называть? Почва, растет же на ней! Да еще и сколько!

Почва видится на взгляд таердой, шершаво-комкастой, должна — на взгляд — отталкивать ногу. Но ступаешь неожиданно мягко, абсолютно беззвучно, никаких не надо сил — для ходьбы, ни преодоленья тебе, ни трения, даже слегка проваливаешься, как от собственного безвесья, не обломом, а тоже мягко, легко и так же беззвучно. Я беру якобы комок в руку, и он беззвучно рассыпается — а прах, он по сухости ломче безе, распадается мгновенно и молча, быстрота эта — даже уже одурачивает, словно фокус тебе показали. Вот, значит, что такое прах! Этот якобы комок и есть прах, имеющий видимость почвы, так он легок, изветрен и сух. От малейшей влаги он будто вскипает, я уж видела, известка в нем, что ли? И из этой пепельно-серой, тишайшей пыли, что сейчас у меня в ладонях,—

все это буйство? Эти джунгли? Тропики? Баобабы, мошка и волки? Роскошь и излишества жизни? Из нее, из нее, из этой. А зелень вокруг мучительна до почти синевы. А душа моя мучительно зряча почти до провидчества. А в то место, где у трусов резинка, мне давно уже впился клещ до почти своего клещёвого копчика. А горы кругом четки, и там опять крепнет ветер, раскаленный до почти багрового холода...

Тут у меня свирепо зачесалось то место, куда клещ впился. Эх, Атас, Атас, на моем-то языке, Гоби, «атас» и есть сигнал к бдительности, а что это по-монгольски — я до сих пор не знаю.

Горы Атас-Богдо бегут себе остренькими хребтами, узко к друг другу прижатыми, бегут и бегут аккуратными узкими складками, узенькими, как коридор, ущельями, нигде ничто не оплавлено, не округлено, но острота эта вроде бы точно в меру, доступна ноге и вестибулярному моему аппарату, иногда сыпуча, но не рушится подо мною, а сперва — пропустит, лишь после — скатится. Изредка в скально-отвесной стенке ущелья вдруг торчит, зацепившись — неведомо как, оранжевая эфедра, и кончики ее томно изгибаются книзу, припекло и эфедру. Черный камень повсюду — привычно уже — кажется то сплошь зеленью, то сплошь синью. Ни лишайников, ничего такого, чтоб прикрыть сиятельную наготу. Зато много интимных выбоин, куда так и тянет, пещерок и закутков, навесиков и занорок. И залезть в них — можно.

Бегая по Атасу — кроссовки, шорты, верх от купальника, рубаха — узлом на заду плюс крестьянский платочек по волосам, чего там, не светский прием, не альпинистские выси, две тысячи с небольшим, мелкота,— я ощущаю непотребную легкость, пьянящий экстаз и победительную сродненность, вдруг — во всем удачливость, козьи эти тропы — мои уже, а не козьи, я их помню с рожденья, меня мама сюда водила — играть, меня папа, умудренный козел, тут учил — мудрой осторожности жизни, мне вниз, в оазис, не надо, оазис я люблю видеть — сверху, знать — ноздрями и дрожью, что он на крайний-то случай — есть, только — на крайний, когда уже — или напиться, чтоб сладко раздуло бока и сердце треснуло от наслаждения, или умереть; выход к роднику, в тенистые его джунгли — риск всегда смертельный, выбеленные до больничной белизны кости блестят там — предупреждением, пахнут смертью, я помню этот запах — ноздрями и дрожью, жизнь — это горы и ветер, скачки мои по хребтам — недосягаемы для меня в прошлом моем миру, но я не знаю этого, прошлого, мира сейчас, его нету и не было.

Как-то я не рассчитала гигантского своего скачка, вдруг соскочила с Атаса прямо на сайр и, в миг безветрия и удачи, сделала, кстати, очередное открытие. Ты, Гоби, теперь буквально усеяна моими открытиями, учти, их там — что агатов твоих, один — я взяла на память, он похож на змеиную розовато-светящуюся голову в черном чешуйчатом капюшоне, в нем — вкрадчивая загадочность, как бы тайная готовность к чему-то, чего мне никогда не сделать, даже и не постичь, но эта недоступно мерцающая тайна таинственно возвышает мне душу, побуждая душу мою к недосягаемым для нее, ленивой, скачкам, у него — есть глаз, острая точка, бьющая изнутри светом, глаз аидят почему-то не все. Этот агат приносит мне счастье. Мне все предлагают — расколотить ему голову, чтоб поглядеть — внутри, но я скорее дам — расколотить свою, я знаю, что там внутри, там — ты, Гоби!

Я застыла на сайре, как бы споткнувшись о плоскость, соскок с гор был слишком стремителен, во мне дрожала еще козлиная прыть, генетическая настороженность, страх — открытого места, но смертельного риска вроде бы не было, оазис — на хорошем еще отдалении, редкий, замордованный саксаульчик, пучки полыни, ноздри мои втянули ее горьковато-живительный запах, парнолистник, вполне даже — зеленый, крошечными голубыми цветочками цветет реомюрия, а куст сам — седой, колючий, и сверкают в нем красные носатые плодики. Ветер застрял в Атасе, еще за мною не выбрался. Нет, опасности вроде нету. Я присела на корточки, тело уже отдыхает, но с этой позы еще легко — сорваться и полететь, яко вихрь, коли что не так. Подняла, от нечего делать, самый черный и плоский камень, плитку толщиной в палец, и вдумчиво изучила камень с тыльной его стороны. Отсюда он гораздо светлее, все равно — черный, но чернь эта — спокойная, без надрыва, ласкает глаз ровным тускло-шершавым цветом, а не лупит припадочной чернотой.

Ничего нового для себя я в этом камне не обнаружила: пустынный загар. Загар этот — всюду: на горах, в глубине ущелья, на гаммадах и в сайре. Может, оно, конечно, и окисные соединенья железа-марганца с примесью глинозема, и кремнезема, и чего-то еще. Но, хоть всю таблицу Менделеева припутай сюда, пустынный загар от этого не станет понятней и припадочная его сила ни на миг не отпустит тебя, а все так же непостижимо будет жечь, давить и блистать кругом. Я, честно, думаю, что и не надо — ничего объяснять. Какое — железо? Какой еще — марганец? Кто и зачем — лезет куда-то по каким-то еще капиллярам? Это все небось научная заумь. А камень — просто и естественно загорает в пустынном солнце, как мое пузо. От пуза моего тоже бьет давно припадочной чернотой. Ну и что? Я же не раскладываю свое загоревшее пузо на химические элементы, ибо пуза как такового — тогда не будет, хоть элементов, может, даже прибавится...

Тут я вдруг ощутила бедром слабый, но сильный толчок, как бы направленное дуновенье, причем — понизу, вот что странно. Я опасливо передвинулась. Тихо. Переместилась еще. Дуновенье окрепло, в бедро мне садил теперь откуда-то сбоку живой — ветряный — гул. Скакнула обратно. Ничего. Застылая тишь. Что за штучки? Я маленько прошла и осторожно присела. В колени, в лицо — ударило свежим гулом, как роща. Рокот этот живой был отчетлив, легко выделяем, шел властно и низко. Я торопливо сменила место. Тут вроде бы я вмурована в тишину, как муха в янтарь. Нет, опять! Но так слабо и так уж понизу, что пришлось — распластаться и замереть не дыша. Перебежала подальше. Еще и нагнуться-то не успела, а в спину — уже загудело, крепко, туго и как-то скошенно-узко — на всю ширь спинную, даже — мою, там не хватало сил. Обернулась. Свежий — прохладный — шум ударил теперь в живот, левее пупка, на большее — не хватило. Как же я раньше-то не слыхала? Что? Откуда? Слева, вблизи, невинно и неуклюже раскинулся куст саксаула, в лохмах его торчали зеленые пряди.

Тут меня — стукнуло: это ж шумит его, персональный, ветер. Он — местный, ниоткуда не прилетел, гор, может, и в глаза не видал, о роднике и не слыхивал, домашний, дальше своего двора не ходил. Он — тут живет. Родился в этом кусте саксаула, где рожден — там и счастлив. Я стала лихорадочно носиться по сайру и слушать всех подряд: парнолистник, мертвый саксаул, ну, тут — ни звука, эфедру, саксауловый кустик, крохотную — цветущую — реомюрию. Куда уж ниже, слабже, нежнее, но ветер жив. Я теперь и слепая, как Лир, не пропаду в просторах твоих, о Гоби!

Я могу отныне идти сквозь гаммады твои и сайры, закрыв глаза, и, коли есть в тебе что живое, я уж не пропущу его никогда. И оглохнув вдупель, я могу отныне смело шагать сквозь сайры твои и гаммады: не ушами, а всем своим телом я услышу живое — как свежий тугой толчок, как рощевый гул. И смогу определить, где же это живое, высоту его, мощь или стойкую, почти неуловимую уже слабость. Я ведь знаю теперь: если живы еще хоть две-три ветки на куст — свой ветер всегда уже есть. Единственный проблеск зелени — уже дуновенье, уже нежный и вещий знак всемогущей жизни. Вот что теперь я знаю еще про твой ветер, Гоби!

Это открытие, видно, крепко меня пошатнуло. Иначе я б уж давно заметила, что по сайру, сравнительно даже — неподалеку, прогуливается хавтагай. Он-то небось заметил меня гораздо раньше, подозреваю — нарочно приблизился, даже его крепким диким мозгам мое поведение, поди, показалось странным, эта судорожная мельтешня с припаданьем тела к камням и конвульсивными бросками ввысь, хавтагай, полагаю, позволил себе несвойственное ему любопытство, чтоб разобраться в этом мятежно-блудливом и незнакомо-пахучем предмете. Я же сперва скользнула по нему воспаленно-невнимательным взором, отметила мимолетно, что — вот и тэмэ, а уж потом меня обдало жаром, что никакого верблюда тут быть не может, поскольку на сотни верст кругом нет ни юрты, ни отары, ни табуна, ни тэмэ, ни даже яка-сарлыка. И коли это — верблюд, а не двугорбый мираж, то никак не тэмэ, а исключительно уже — хавтагай, то есть дикий верблюд во всей своей переозданной дикости. И это, значит,— тот единственный случай, когда я могу рассмотреть его без бинокля. И этот неповторимый случай едва ведь не проворонила!

Я замерла. Дико вытаращилась. Лишь успела засечь, вполне бессознательно, что хавтагай как-то поджарее домашних верблюдов, не вымолвишь — мельче, но явно компактнее, посаетлей тоном, горбы вроде поменьше, но, непонятно как — ощущаешь глазом, полновеснее и тяжелее, а вся стать его — напряженно-мускулистая. В этот миг, по-моему, я почувствовала на себе его взгляд — как пронзивший меня насквозь укол вечности. Под этим уколом я совсем потеряла чувство реальности, вдруг решила, что он — подпустит еще и ближе, сделала один-два идиотских шажка на нетвердых ногах. Хавтагай плавно развернулся на сто восемьдесят градусов, я увидела его дикий хвост, как недосягаемый мираж хвоста, и беззвучно, мощно и прямо полетел от меня по сайру. Миг — и его не стало.

А я так и стояла, вытаращившись. Из-за остреньких гор Атаса успела вывалиться серо-блеклая тучка, распухнуть, стать лиловой, перекраситься в алую, побагроветь, заболеть манией величия, выдавить из себя капель, может, пятнадцать, облить ими сайр, ослабеть от такого свершенья, сделаться серо-пепельной и неслышно убраться обратно в Атас, но уже с другой стороны. А я все стояла и тщилась — удержать в себе этот бег: ровную беззвучную тяжесть типа полет. Задним-то умом я, пожвлуй, сообразила, чего тут было не так. Обычный тэмэ убегает небрежно, в раскачку, благородно вихляя задом, как бы — более понарошку, чем на полный серьез, у него ведь и в мыслях нету — удрать от меня, человека, навек, он ко мне все равно вернется. Да и куда ему, домашнему, деться? Как он себя обслужит? Кто его подоит, острижет буйную его шерсть и наденет ему седло промежду горбов?

Тэмэ убегает — рабски, вдруг поняла я сейчас, хоть он по-прежнему для меня красив и величествен. Хавтагай же — несся от меня по прямой, не уклонившись и на сантиметр, мощно, всерьез и целенаправленно: от. Он, без сожалений, покинул меня навсегда, как предмет, неинтересный ему, чужой и ненужный. На черта я хавтагаю? Его ждут вещи позанимательнее: небо, воля, травы, не попавшие еще ни в один гербарий, булак, которого

н никогда не увижу, минус пятьдесят без снега, соленые камни, дикая и свободная любовь, гордая, может, смерть, да мало ли что. Я вдруг ощутила свою богатую жизнь как коровий загон, где я мешу старательными ногами все одну и ту же милую жижу, все мешу и мешу. Лучше б я этого хавтагая — вообще не встречала! Запросы его непомерны, может, конечно, и возможности его безграничны, но и моя жизнь чего-нибудь стоит! — вот что я отвечу ему, если он посмеет приблизиться ко мне еще хоть бы раз. Но больше ни единый хавтагай — не посмел.

Я видала их только у горизонта: хавтагаи летели над черными твоими гаммадами, Гоби. Я следила за ними, признáюсь,— уже пристрастно. И знаешь, что я еще заметила? Хавтагаи, в отличие от джейранов с куланами, никогда не бегут — друг за другом в цепочку, хавтагаи бегут завсегда в один ряд и чрезвычайно широким разбросом. Думаю, каждый из них — хочет иметь весь горизонт, не затмеваемый и на миг ничьим телом. Вот до чего они непомерны!

Чтобы спастись от этого хавтагая, я после Атаса — вдруг стала думать о людях. Ух, давненько они меня не свербили! Я даже вроде бы и не осознавала — своей к ним принадлежности. Тоже небось хотела иметь весь горизонт, не заслоняемый ничьим телом. Хоть и вблизи меня — были люди, куда без них человеку, целых — четыре, это у них, не у меня же, был бензин, интуиция, завидное умение — обходиться малым, великодушие к моему неумению, сила — закинуть в кузов неподъемные бидоны с водой, аппетит, увлеченность, тоска по дому, ружье, ловкость — поставить палатку на шквальном ветру, чутье на булак, головная боль, способность — мгновенно заснуть, где стоишь, привычка к жаре, к холоду, к молниеносным перепадам того и другого, деликатность — ничем не выдать, что ко всему этому привыкнуть нельзя, громкий смех, заноза в ступне, закрытость, общительность, свои разочарования и свои открытия. Нет, ими я не могла заслониться от хавтагая, потому что они — были уже как бы часть меня, я их не воспринимала отдельно и выделять из себя не хотела.

Даже их, Гоби, я не хотела сейчас — поставить между тобой и собою, даже от них — берегла сокровенные отношения наши, чтобы неосторожно — не потерять бы хоть какой малой малости. И от хавтагая я защищалась сейчас — другими, которых никогда не было рядом со мной и давным-давно нет уже и нигде, если только не их это души беззвучно скользили над сайром легкими, как воспоминание, облаками, если только не их жгучей памятью обжигают меня черные твои камни, если только не они — сложили вечные остренькие обо, не разрушимые ни ветром, ни временем, на острых твоих вершинах, куда я нахально подсовываю теперь и свои суетные желанья, страстно нашептывая их камню, если не они это пробуждают меня среди ночи и томительно шелестят во тьме таинственно мерцающим шепотом, в котором я бессильна уже разобрать окраску их голоса, беды их и надежду, заблуждения, горечь и взлет, веру, может — предупреждение мне, боль и прозренья их духа.

Это они укрепили меня — против хавтагая и против всего, они — моя вечность, и потому нет во мне зависти к твоей вечности, Гоби!

Помню — спальник кинут на камни, я лежу поверх спальника, меня душит даже и вкладыш, я лежу поверх вкладыша, ветер ночи твоей горяч, я легла бы и поверх ветра, но меня гнетет закон тяготения, я лежу в законе, полуголая, и в бессоннице, но бессонница меня не гнетет нисколько, она — желанна сейчас. Чело мое, может, хмуро, брови, может, насуплены, нос свисает — как банановое дерево, шерсть моя влажно скаталась под мышками, но мысли мои — ясны. На спелой круглой луне четко проступают горы и кратеры, что не мешает сильному и ровному ее, тоже — круглому, свету. Звезды как бы приглушены этим светом, вдруг крупно вспухают, тщатся выпасть из неба и страшно сверкнуть, но тут же сдаются, осознают — в полновластии полнолуния — немощь свою и вторичность, лишь тактично помаргивают, лишь скромно потрескивают в космическом своем далеке. Спутник пронесся, как псих. Но ему эту ночь не встревожить. Это — ночь Шумýла, так я ее для себя называю, как бывает же год Обезьяны или час Быка.

Шумул поет надо мною, то подальше, то ближе, голос его — тонок и вечен, он — нигде и повсюду, это сейчас — единственный живой голос во всей Вселенной, он тянет какую-то бесконечную, узенькую — как острие иглы, строчку, тонким голосом вышивает сейчас по лунному, томно-струящемуся свету, вышивает что-то сакрально-немыслимое и возбуждающе-притягательное по своей тайне, меня вдруг пронзила кропотливая мудрость золотошвейной работы, раньше-то, помнится, я преступно равнодушна бывала к вышивкам, прелесть их не доходила до грубого моего организма, сейчас я, может, даже разорвала бы эту прекрасную ночь, лишь бы только увидеть — что же он вышил. Но тогда я эту работу, явно — еще не законченную,— грубо прерву. Кто ее закончит тогда? Не я же! Вдруг у шумула пропадет вдохновение? Нет, я и не шелохнусь: лежу тихо, как лунный свет.

Шумул поет надо мною, дальше, ближе, уже над моим банановым носом, над голым плечом. Вдруг он умолк. И тишина эта мучительна сейчас концентрацией моего ожиданья, чтобы он запел снова, чтоб не оборвалась совсем тоненькая — чудесная — нить,

которой мне не дано увидеть. И в мыслях у меня нету, что, пока он молчит, он, значит, сосет сейчас мою кровь. Что мне, крови своей для него, что ли, жалко? Да ее во мне — больше, чем в булавке воды! Лишь бы шумул поскорее справился с этим нужным для него делом. И опять зазвенел бы тонкий и вечный голос его. Справился. Зазвенел. Поет.

Лучше всего меня поймет тот, кто залег наконец в своей тихой комнате на родную свою постель, вырвал телефон с корнем, задушил радио, вывернул лампочку и впал уже в долгожданную истомную дрему. И тут вдруг услышал слабое, разрастающееся до самолетного гуда, зудение одинокого комара, обмирающее краткими — невыносимыми — паузами, неотвратимое до шелушения пяток, всепроникающее, ниоткуда и отовсюду, взлетающее вдруг до визга в собственном ухе и слабо вибрирующее в дальнем углу, чтобы тут же опять близко впиться тонким отвратительным зудом. Только тот меня и поймет, кто дрожащей рукою вкручивал обратно лампочку, полночи швырялся подушками в стены, а своим ботинком исступленно лупил себя же по лбу. И забылся под утро тяжелым сном среди безобразного этого неистовства, так и не нанеся комару даже легкой травмы, хоть бы царапины. К счастью своему, комар — не злопамятен, и будущей ночью он, надеюсь, вернется.

Или тот, кто это испытывал, меня — наоборот — не поймет? Мне, впрочем, все равно. Лишь бы никто не спугнул сейчас моего шумула и тонкая, золотошвейная и живая вязь по лунному свету — никогда бы не кончилась. А тот, кто на моем месте поступил бы както иначе,— просто никогда не бывал в пустыне, да, Гоби?

На рассвете мне повезло: я его увидела. Мой шумул низко летел над гаммадой, выше бы он, по-моему, и не смог, и был похож на обыкновенного рыжего комара, заглотившего целиком обыкновенного, вульгарного, бегемота — вместе со шкурою и с копытами. Я надеюсь, что он теперь благополучно перезимует, что потомство его — будет здоровым и полноценным, что сны его будут легки бесшабашной сытостью. Будь счастлив, шумул!

Но, по правде-то, я думала в ту ночь не о нем.

Я в который уж раз пытаюсь представить себе тех, кто проходил тут — впервые. Кто шел — первым. В семидесятых годах прошлого века, в девяностых, в начале нашего, чуть раньше, чуть позже. Это ведь не так и давно! Но как же — непредставимо давно. Древний Рим, по-моему, ближе, о нем я хоть что-то знаю. Я пытаюсь представить себе Александру Викторовну Потанину, но опять наталкиваюсь — только на фотографию, что кочует из книжки в книжку: строгие губы, холодноватая отстраненность черт, высокий лоб, гладкие волосы, полная для меня — закрытость, академический лик.

Мне кажется почему-то, что кожа ее была прохладна в любую жару. Как она улыбалась? Как щурилась на яркий свет? Какие у нее были руки? Пальцы? Любила ли она сгущенку без сахара? Прикусывала ли губу, когда задумается? Как держала она карандаш? Какой цвет — любила? Боялась ли она змей? Жестокости? Одиночества? Грубого слова? Хоть — чего-нибудь? Рисовала ли она уже маленькой? Какие стихи повторяла себе, засыпая? Сколько языков знала? Десять? Двадцать? Нравился ли ей запах кандыма? Полыни? Страдала ли она, что не имеет ребенка? Оборачивалась ли в пустом сайре — внезапно, чтоб застать — что сзади, когда никто это «что» не видит? Верила ли она в приметы? В какого — Бога? Мне бы хоть почерк ее увидеть сейчас! Как она расписывалась? Были ли там — завитки? Легко ли она запоминала растения? Лица? Какие у нее были глаза, когда она смотрела на спящего Григория Николаевича? Ссорились ли они когда-нибудь? Как они сохранили свою любовь, если мы не умеем сберечь ее даже под теплой крышей со всеми удобствами? Думала ли она о смерти?

Верила ли она, что вернется из последней, четвертой, их экспедиции, из которой — уже не вернулась? Ведь знала ж она, что больна — тяжело. И Потанин — знал. И все-таки эта, последняя, экспедиция состоялась, и они ушли в нее — рядом, вдвоем, как всегда — вместе. Из-за него она на это решилась? Из-за себя самой? Или для нее даже и не было этой проблемы — выбора? Что она видела в последний свой миг, когда самодельные носилки тяжело раскачивались меж верблюжьих горбов и она умирала в этих носилках? Отроги Тибета? Небо? Лицо Потанина? Может — тебя, Гоби?

О чем думал Григорий Николаевич Потанин много-много спустя, лет двадцать спустя, уже полуслепой, печальный и одинокий человек, великий путешественник и ученый, медленно бродя по тихим улочкам города Томска, где старейший в Сибири университет и беспечно снуют смешливые студенты? С чего это мне примстилось, что Томский университет носит теперь — его имя? Этого — нету. Но архив Потанина точно — в Томске. Кто им занимается? Или архив этот — ждет меня? А Александра Викторовна похоронена в Кяхте, на границе нашей с Монголией, я хочу посидеть у ее могилы, мне это почему-то нужно. И где-то, хоть у кого-нибудь, должны же сохраниться и ее письма, ее дневники. Они — тоже ждут.

Что были это за люди? Имена которых мы невнимательно знаем с детства: Пржевальский, Певцов, Г. Н. Потанин, А. В. Потанина, Цыбиков, Роборовский, Семенов-Тян-Шанский, Обручев, Козлов, так привычно — скользяще — их перечислить. И о которых мы так невнимательно — ничего не знаем...

У них не было мази от комаров, карманного фонарика, машины ГАЗ-66 или пусть бы

«Рено-Сахара», никакой, нашей тушенки, спальных мешков, которые мы вяло поругиваем, но лезем в них с таким насладительным проворством, что рвутся завязки, цветных слайдов, анальгина и бисептола, авторучек, чтоб в темпе зафиксировать свои бесценные наблюдения, сгущенки, примуса «Турист» — дрянь порядочная при хорошем ветре, но все-таки, растворимого кофе, монографий, что жадно заглатываешь перед маршрутом, ничего не запоминая, программ, изготовленных кем-то на десятилетье вперед, где каждый шаг — расписан, дружеских напутствий — оттуда уже вернувшихся, нашей блажливой — обустроенной, однако, посильными дарами цивилизации — привычки к перемене мест; в них, напротив, жила внимательная и недоступная нам, бережная приверженность к местам родным, глубинные корни, еще не выкорчеванные и не перерубленные, и все-таки и вопреки — они шли за пределы представимого мира, в полную по тогдашнему уровню науки — тьму, без карт — ведь карты им еще предстояло для нас — составить,— и они-то действительно же не знали, что ждет их за горизонтом, куда мягко стекает сайр, пропасть, Шамбала, пуля или оазис Атас-Богдо, не было еще плавок, микроскопа в кузове, рации, ну, рации, положим, нет и у нас, хоть, по слухам, она уже изобретена человечеством, заранее запланированных статей, мозольного пластыря, рюкзака Абалакова, молнии в джинсах, и самих-то джинсов, полевых, чаевых, ничего ж у них не было, господи! Что же было-то? Что?

По-моему, у них был — качественно другой патриотизм, рангом — много повыше нашего. Тот патриотизм, что всю жизнь питает душу чистыми соками, коли была рядом в детстве, рискну — означить, своя Арина Родионовна, пример до боли хрестоматийный, зато — понятен. Патриотизм этот бессознательно разлит в так называемом простом народе, где первый импульс — пожалеть, и структурно заложен в высотах интеллекта, где главный движитель — понять. Его научно обосновал Владимир Иванович Вернадский, говоря о ноосфере как единственном нашем будущем, если мы отважимся — иметь будущее. Этот патриотизм явил нам жизнью своею Альберт Швейцер и смертью своей — Януш Корчак. Качественно иной его уровень вроде бы прост: душа должна расшириться до размеров Мира и гармонично замкнуться в любви и уважительной гордости, вместив весь этот мир как Родину. Только и всего.

Потанин, первым изо всех, кто тут шел, отказался от оружия. Они шли в неизвестность, месяц за месяцем, сквозь глухие кочевья, неведомые нравы, пустыни и горы — принципиально безоружными. Верили — только в доброту, в мирное слово, в понимание друг друга вне слов и наций, в улыбку, мирный жест, мирные помыслы, в естественный — дружелюбный — интерес любого человека к любому человеку же, в со-причастность, со-страдание, со-единение, со-дружество, в совесть, со-весть, сердце сердцу добрую весть подает. Записывали сказки. Изучали обряды. Обычаи. Травы. Птиц. Собирали коллекции, которые и сейчас потрясают. Лечили. Чувствовали — красоту. Это очень видно по их экспедиционным отчетам: зоркая неторопливость их — завораживает, свежая информативность — густа, одна фраза — роман, фраза — поэма, фраза — трагедия, один абзац — уже диссертация, образность ошеломляет своей простотой, точностью простоты, нам уже недоступной, ассоциативные связи их — та античность, которая у нас — еще впереди, которую мы смутно осознаем уже как спасение в профессиональной нашей разъединенности. *«Только мирный пришлец нагибайся в шатер...»* Этот Фет, это — о них. И, насколько мне помнится, на отряд Потанина ни разу никто с оружием и не нападал. Доброта — излучает.

Ты, Гоби, мой патриотизм, кстати, тоже явно расширила: самое же сложное — принять как свое совершенно же на твое, родимое, ничем не похожее. В этом — вся тайна. Я теперь, правда, обижаюсь на Нубийскую, там, пустыню, что она — тебя больше, особенно — на Сахару, ну, ее-то размеры я бы попросту давно засекретила, все равно — их даже не назову, не желаю — и все; имею свой зуб — на пустыню Атакаму, да как она смеет — чтоб меньше, чем у тебя, осадков, совести у ней нет; сутками дуюсь, может, на пустыню Нефуд — зачем она ярко-красная, «подобно густому вину», ага, так прямо и сказано в книге «Пустыни», которую я — ради тебя, Гоби,— выучила наизусть, чтоб гордиться тобою — профессионально, а не абы как, но «подобно густому вину» — это уже любого выведет из себя, это чересчур, такой-то, «подобно густому вину», я тебя помню только единожды — где, среди серых и плоских гаммад, гигантски застыли в солнце гигантские жадные черепахи, напялившие на себя сразу штук по семь панцирей, один — на другой, скалы эти — сплошь глина, что небось вранье, и нашпигованы они динозавровыми костями, это — правда, костей там — плечами едва распихиваешь, чтобы пройти; брюзжу с недосыпу на пустыню Мохаве, что есть-де у нее, у Мохаве, будто бы знаменитая Долина смерти, где человек теряет за час — литр воды, это сколько же баков там надо за собою тащить, о боги, и мухи — будто — исключительно уже ползают, а не летают, «боясь опалить крылья», та же книга, нет, поэзия сохранилась — только в специальной литературе, это неопровержимый факт, но зачем изнемогающие эти мухи вообще-то лезут в столь знаменитую Долину смерти и в эту пустыню Мохаве, тоже мне, пустыня, в наших-то

с тобою гаммадах, о Гоби, никаких мух и в зародыше нету, а то — Мохаве, Мохаве! Я на них на всех раздражаюсь, порою — злюсь, но, заметь,— по-родственному. А раньше я ни одной из них вовсе не знала, то есть — их для меня как бы не было на Земле, и Земля моя была меньше, беднее, скучнее, несчастнее. Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует — обводнить Чиуауу или прокопать канал в Руб-эль-Хали! Знаю я, чем это пахнет, я их всех в обиду — не дам, они мне теперь — через тебя, Гоби,— свои навеки. Вот как разросся мой патриотизм! Тайно даже надеюсь, что это вдруг да как-то упростит лично для меня переход в ноосферу, я, может,— залезу туда даже и попервее других, когда скажут, что — надо.

Но почему же тогда, о Гоби, я лежу сейчас в лунном твоем сиянии, внимая шорохам камня и нежной трели шумула, а не кидаюсь грудью — на дамбу в Финском заливе, не крушу ее до дна ледорубом и не расшвыриваю на кирпичи богатырскими своими руками? Не потому ведь, что местнический патриотизм ведет к шовинизму и творческой деградации, что уж доказано. А потому, что далекое — легче любить да беречь. Поэтому я люблю — тебя, Гоби, и нет мне прощения!

Я уже могу, по-моему, представить себе даже пустыню Тхал, о которой не помню — где она есть, но мне все равно не представить себе их караван, уходящий вот в такую же ночь, в неизвестность, на долгие месяцы. Сколько же всего они тащили с собой? Как все это заранее подсчитать, предусмотреть, запаковать, погрузить и сберечь? Что за словечко, свое — любимое, произносил Григорий Николаевич Потанин, окидывая прощальным взглядом место очередной стоянки? Оглядывалась ли Александра Викторовна на это место? Или не было у нее этой, моей, привычки — вечно оглядываться, будто все самое прекрасное — всегда позади? Нет, не представить.

Ну, была я когда-то, давным-давно, в одном караване: мы из Чарджоу ходили на северо-запад, в глубь Каракумов, за саксаулом. Мой верблюд все почему-то чихал, я боялась, что он простужен и сляжет в температуре, даже — трогала ему лоб. Он терпел и жевал янтак, свою верблюжью колючку, у тебя ее, Гоби, нету. Верблюды там — одногорбые, седло надевается поверх горба, сидишь — высоко и просторно. Мы везли с собой длинный рис для Большого плова, запаслись по пути бараном, баран тогда стоил — грош, набили зайцев. До сих пор не понимаю, почему это называлось «охота», зайцы так и глазели на нас и не думали убегать, это была, по-честному,— чистая сто вторая статья, пункт — не помню, злостное убийство с заранее обдуманным намерением. Впрочем, не возьму в толк, с чего бы именуется тоже охотой — массовое убиение тарбаганов в предгорьях хотя бы Хангая, где их на квадратный метр — миллион. Охотники еще надевают белые, карнавальные, курточки и белые шапочки с заячьими ушами — это уж небось, чтоб любознательный тарбаган своим толстым доверчивым задом садился бы прямо уже на ружье. Ладно, охоты мне — не понять.

Мы съели плов, он роскошно во рту истаивал, съели всех зайцев, что наивно глазели на нас, набрали саксаула бессчетно, саксаул не распилишь и не уложишь в поленницу, его можно — лишь грубо сокрушить, выломать и посильно потом обхватить веревками могучую его дикость, он все равно дико торчит во все стороны, верблюдов под саксаулом уже не видно, странно движутся по бархатным дремучие, пещерно-первобытные вороха и почему-то оставляют за собою верблюжьи следы. И вернулись опять же в Чарджоу. Я потом видала наш саксаул на железнодорожных платформах. Это зрелище! Все равно как возле кулинарии вдруг притормозит аккуратный грузовичок, набитый до неба не синими курами, а половозрелыми птеродактилями.

Но караван мой, наверное, не совсем то, что я хотела бы представить сейчас. Нет, не могу. Был, пожалуй, один — единственный и мгновенный — миг, когда я вдруг как бы что-то такое в себе поймала. Это не было осознанным ощущением, ни мыслью, ни картинкой воображения, ни даже чувством. Не знаю, чем и назвать. Скорее всего это было — пролетевшее вдруг сквозь меня не мое воспоминание. Да, ближе всего. И был этот миг — в ночь Козы...

Помню, Гоби, я вспомнила,— ты осталась уже порядочно к югу, за Хангаем, уже за долиной Чулута, Камень-реки, где скалы в каньоне — как зубы, и лимонные островки, над которыми висит лимонное солнце; за Цэцэрлэгом уже, что так на горе живописен, где в музейном раскрашенном дворике дружелюбно скалятся ласковые драконы, а в дальнем углу притаился камень самого Чингиз-хана, серый, невидный, и на нем — непостижимые знаки, что-то написано ведь; за мягкими — здельвейсовыми — холмами, где, как дети, играют лобастые яки, прямоугольные, без этой привычной, домашней сглаженности форм, как бы обвешанные исключительно для красоты — могучим мехом, а съедобные, крепкие телом грибы-дождевики вымахивают со шляпу-дождемер, но их все равно тут никто не ест; там уже, там, где хариус и линок запросто берут в речке прямо на палец, там это было. Это и была — ночь Козы. *Вспомнила* — слабо шелестит надо мною громадная лиственница, я лежу в палатке, под спальником — мягкие травы, уже не камни, потрескивает костер, сквозь палатку я вижу отблеск его, слышны голоса, смех, в теле моем — истомная обволакивающая слабость покоя. И тут — она закричала.

Эту козу уже несколько дней возил за собою отряд, с которым мы столкнулись случай-

но, а может — и не случайно, место это, по-моему, всем отрядам известно своею щедростью. Коза была никакая, конечно, не дикая, обычная, пестрая, хитроглазая, с холодноватой пристальностью зрачков, у нее — было тут все для счастья, вдоволь сладкой травы, она нежилась в солнце, всласть — пила, отдыхала в тени, обгрызала — что хочет, без этого козьего счастья нету, ей давали хлеба, с ней разговаривали, она охотно общалась, козы ведь чрезвычайно контактны. Мы ночевали вместе вторую ночь: в первую — она не кричала. Тут была, правда, одна тонкость, но коза не могла ее знать, убеждена я, что она не понимала по-русски. И, следовательно, не могла же подслушать, что именно завтра — ее торжественно запекут в углях и тем отметят конец полевого сезона, кстати — нелегкого, больше четырех месяцев поля. И все-таки она — знала.

В крике ее поначалу меня поразила отчетливая ритмическая организованность, как бы — смысловые периоды, как бы риторические вопросы, как бы стонущие метафоры. Жизнь свою, что ли, она рассказывает этой — своей последней — ночи? Потом ритм сломался, смялся — смятением, отчаяние прорвалось. Теперь она кричала короче, выше, страшнее. Чаще. Я едва успевала накопить силы, чтобы вынести следующий крик. В крике ее был ужас. Предчувствие. Непоправимость. Невозможность — принять свою участь. Неотвратимость — принять. Взывала она к чьей-то родной душе? Нас — проклинала? Прощалась с кем-то, для себя дорогим? Молилась? Порою я просто уверена была, что она — молится.

Кричало последнее одиночество, которое — приходит к любому, живому, в самом конце, придет к каждому, и от него не уйти. Все проходят через него. Кто как. Кто — как сможет. Она — кричит.

Все меняется, Гоби, даже ты, но крик смертника пребудет вовеки, он — вечен во все времена, вот что я поняла этой ночью. Эта коза кричит сейчас всюду, у меня, у них. Были же и у них в караване овцы, такие же козы, закланники, чтобы выжить — самим. И тут что-то во мне вдруг как бы сместилось: я их вдруг увидела. Потанина. Александру Викторовну. И еще был кто-то, словно — в четкой тени, очень белый, меня удивило, что можно быть таким белым в пустыне. Почему-то этот неведомый, третий, был особенно четок, будто глядела я именно на него. Кто он был? Зачем? Не знаю. Не знаю, что это было. И дикое ощущение, что вижу я — не со стороны, а как бы — изнутри, сама нахожусь в этом лагере. Поэтому мне и кажется, что не мое это было воспоминание, чье-то вдруг пролетевшее сквозь меня в ночь Козы. Она кричала всю ночь.

Утром мы снялись рано. Я ни разу не оглянулась. Коза молчала.

Если так далеко забираться в себя, о Гоби, можно прозевать даже оазис Шар-хулсны́-була́к, своя душа — всегда рядом, в ней не устанешь рыться всю жизнь, он же — дается от судьбы один раз. И в нем я искала Шамбалу. Я еще дома решила, что уж ее-то — не пропущу. Внешние признаки, по-моему, общеизвестны: внезапный, без видимой причины, трепет организма, доходящий до ужаса, у некоторых — до восторга, душевный катаклизм типа катарсис, смутные голоса ниоткуда, возможна — музыка, не исключено — отдаленное хоровое пение, слова неразборчивы. Так что почувствовать ее близость, судя по всему,— несложно. Самый же вход в Шамбалу гораздо труднее поддается научной персонификации: это наверняка — не дверь, вряд ли — нора, вообще — нечто, по́д уводящее, представлять дело так, по-моему, упрощение, веревочную лестницу вверх, ни к чему там не привязанную и раскачиваемую ветром, я тоже отрицаю, это уже метафизика. Чтобы оказаться в Шамбале, нужно просто-напросто переместиться в иное пространство, то есть как-то преодолеть энергетический барьер, отделяющий одно — от другого.

Это, следовательно, может произойти в любой момент, как помереть или оступиться. Но, с другой стороны, есть все основания предполагать, что переход — потребует специальных усилий индивида. Я, во всяком случае, заранее настраивала себя — на усилия, вряд ли Шамбала сама собой сваливается каждому на голову. Может — ее надо заслужить? Заработать честным трудом? Или поразить — неотступностью поиска? Искать где-нибудь, к примеру, в районе Зеленогорска — представляется мне бессмысленным. Место должно быть тайным, нехоженым, подальше от населенных пунктов, иначе в Шамбалу попрут все, как на выставку Шагала, любопытных сейчас — навалом. Я, кстати, и не любопытна, но склонна к разнообразию: достаточно уже долго живу своей жизнью и не прочь пожить какой-нибудь иной. Вернуться — всегда успею. Уверена, что насильно в Шамбале никого не держат, это уже мистика. Я вообще люблю возвращаться. Вспоминать — порою даже еще занятнее, чем где-то — быть. Может, к Шамбале это мое в какой-то мере субъективное умозаключение и не применимо, не знаю. Нужно — сперва взглянуть...

Едва оглядевшись в оазисе Шар-хулсны-булак, я ощутила внезапный трепет, мгновенно взлетевший до ужаса и восторга одновременно. Здесь! Это — здесь или нигде. И не в том дело, что на Атасе, как я сразу же поняла, никакие были не баобабы, а банальный разнолистный тополь средних размеров, никакие — не джунгли, а лишь слабо поросшие кое-где кое-чем торфяные выработки. Баобабы-то — здесь. Под ними сам собою шевелился сухой многолетний опад ростом с меня. В тополиной этой хвое бегали ящерицы-круглоголовки. Глаза у них были — синие. Если б круглоголовки могли хоть на миг перестать шнырять, сосредоточиться и заглянуть мне в глаза, они бы увидели, что у меня глаза — тоже синие. Такое над Шар-хулсны-булаком небо! По баобабам, тесно их обвивая, всползали кверху лианы — толщиною в фал, каким прикручивают обычно подводные лодки к мостовым сваям для равновесия, чтоб мосты — не взлетели, а лодки — не потонули. Лианы где попало цвели клубящимся — белым — вихрем, непонятно как удерживая этот пенный взрыв — приблизительно — в своем месте. Пониже мотались синие бабочки.

Воды было даже, пожалуй, избыточно много, при желании — можно и ноги промочить. Она лезла сбоку прямо из скал, лениво взблескивала в хвое, вдруг собиралась почти что в омут и продиралась почти что ручьем, чтобы вдруг исчезнуть бесследно. И появиться вдруг снова. В ней резвились жизнерадостные головастики, висели задумчивые рачки, по виду — мыслители, на нее приседали голубые стрекозы со свирепым лицом и срывались в угрожающем треске. С гор падала вдруг мошка, беззвучно роилась, флуктуировала, обволакивала живым толчливым туманом и беззвучно, как по свистку, вдруг уматывала обратно в горы. Чий стоял — прямо и насмерть. Я поняла, что никакой на Атасе не тамариск, а вялая немочь. Тамариск здесь изнил своей яростной краснотой, кисти его — просто орали цветом, до него страшно было коснуться — сразу пойдешь ожоговыми волдырями.

Но это все — пустяки. Главным в Шар-хулсны-булаке был, несомненно, тростник. Все тростники, что я когда-нибудь в жизни встречала, перед ним — перышки. Он же тут — царь, недаром сам-то Шар-хулсны-булак в переводе — Родник желтого тростника, ох недаром! Тростник этот метров в пять ростом, могучий — что дерево, плотен, даже солнце не может пробиться, там внутри — всегда мрак, он аж черный и непроходим — абсолютно. Оазис тянется меж черных гор километра на три, а ширина, может, метров шестьсот, где — и сто. Мне ни разу не удалось прорваться вглубь хоть бы на десять метров. Пересечь этот тростник можно лишь козьими тропами, их — порядочно. Местные дикие козлы небось давно скинулись на бульдозер, без бульдозера с танковым мотором тут тропу не прорубишь.

Я сперва наивно пыталась — протиснуться боком, но нужно, видать, утончиться до тени, и то навряд ли пролезешь. Потом попробовала — нахрапом: разбегусь и всем телом рухну вперед. Разбегусь-то я разбегусь, а вот — насчет рухнуть! Тело мое, по дури-то, горячо налетит на стальные прутья-решетку, взвоет от резкой боли, тростник отклонится любезно, может, градуса на два от неколебимой своей вертикали, и я зависну на нем, как беременная лягушка на телеграфном столбе. И вишу, пока цепкости в пальцах хватит или не скинет ветром. Вишу, все еще вишу. Наконец обваливаюсь назад, на понятные камни. Тростник, любезно уступивший мне два своих градуса, тут же их забирает обратно и уже снова стоит — ровно под девяносто, угломера не надо. Сроду не встречалась с беспроигрышным таким геометрическим чутьем. Ну, сижу, посильно зализываю раны, играю мускулатурой, вставляю на место кости.

Я, вообще-то, довольно упряма. Кабы не так, мне, Гоби, сроду бы сюда не попасть, меня секретарши в президиуме Академии наук СССР — узнавали по голосу в телефон, когда я еще и звука не издала, академики-из-начальников, как какие-нибудь мэнээсы, улепетывали по своим институтам в сортир, где, дрожа, запирались на персональный ключ, если успевали засечь в окно мое приближение, в разных инстанциях изготовили — исключительно для меня — одинаковые таблички, золотом по металлу: «Осторожно — идет совещание!» и «Все ушли на фронт!», предлагали — послать с делегацией куда угодно и хоть за чей счет, я готова была, о Гоби, ехать к тебе — за свой, магазинов тут нету, денег не надо, я и вообще-то — к ним непривычная, думала — от внекорыстной моей глуповатости инстанциям вдруг полегчает, но их от таких заявлений — била кондрашка. Они не знали, по какой графе меня провести! Самое невозможное — доказать, что тебе что-нибудь или куда-нибудь нужно для дела. Нет, я сюда — попала лишь чудом, и никакой тростник, коль уж это чудо свершилось, не сможет меня одолеть. Но, вот дикость-то, я, по-моему, запросто возьму теперь президиум Академии наук — голыми руками и в одиночку, а перед оазисом Шар-хулсны-булак и я сробела.

Ничегошеньки не могла придумать своими изворотливыми мозгами, чтоб этот, небось — поболее моего мыслящий, тростник, из коего так и рвались смутные голоса, словно бы хоровые хоралы и словно бы музыка внеземных инструментов,— обороть. Я затравленно бродила по краю, огибая оазис и так и этак, все еще не теряя, значит, надежды — отыскать в тростнике какую-нибудь слабину, поймать его на оплошности, на случайной, что ли, забывчивости, на прорехе или недогляде. Кое-где кидалась опять на нахалку — всем телом. Эффект был тот же. Не было уже сил — зализывать раны, вправлять кости и щупать мускулы. Полагалась уже — только на врожденную выносливость, больше — не на что было. Иногда взбиралась на горы и окидывала ненавистный тростник с птичьего как бы полета. Сверху он — лучше не выглядел, ни оплошки и ни прорехи.

Кроме же тростника, ни на что другое я давно уж не реагировала. Подвернулся как-то под локоть корсак, был он изыскан, высоконогий и пристальноносый зверь, серо-бурый и по хвосту — грациозно-черная полоса. Может — красивый. Но я только чертыхнулась:

сбил с мысли. Корсак шмыгнул в тростник и пропал. Он был мелкий, лисы здесь помельче наших. Я тут же — скрючилась, всею волею втянула в себя, что могу, сжалась, по моим ощущениям — стала даже мельче, чем этот корсак, и рванула, ползком, туда же. Тростник зажал меня так, что я с полчаса дергалась в нем, как червяк — в пневматической двери, пока удалось выпятиться обратно на волю. Думала уж, что он перережет меня пополам, вверх — от низа. Болтаясь в зажиме, никак не могла решить, какую часть потом выбрать: от головы вроде бы — проку чуть, но и ноги — невелика пожива.

Зря, между прочим, колебалась: ставить всегда надо — на голову. В конце концов я кой до чего додумалась, специалисты по теории эволюции сильно порадовались бы на меня. От полной безвыходности я, как некогда — обезьяна, дозрела наконец до орудья труда. Делать его сама — я не стала, возможно, к этому была еще не готова, да и морока лишняя, некогда. Обезьяна, рассказывают, попросту взяла готовую палку, я же — ружье. Не собиралась я в этот тростник — палить, даже не знаю, с какого конца стреляют. Я взяла ружье в руки, чтоб удесятерить свою мощь: поперек, на уровне груди и сильно в него вцепившись. Тростник-то ничего и не подозревает, где ему. Теперь я бросаюсь на него не телом своим, как по дурику — раньше, а этим ружьем во всей его ружейной длине и неотвратимости, удесятеряющей мои слабые силы. Тростник, конечно, шарахается, отгибаясь от нас. Трещит. Мы с ружьем лезем по нему наверх. Тростник гнется. Это тебе уже не два градуса! Гнется как миленький! Мы с ружьем еще напираем. Гнется! Мы с ружьем лезем выше. Еще выше. Трещит! Лезем. Уже не знаю — где мы. Так высоко, что небось весь оазис — как на ладони. Жаль, некогда полюбоваться. Гнется! Мы с ружьем еще поднаперли. Я прямо чувствую, как тростник из последнего — напрягся. Знай наших! Выше. Еще!

Тростник резко спружинил, нагнулся, мы с ружьем перелетели через голову и резко шврахнулись обо что-то башкой. Искры взметнулись у нас из глаз. Ружье вроде цело. Мы сидим с ним в глубокой — пропастной — яме, далеко вверху — узкая режущая полоска неба, ее перекрывают тяжелые — темно-коричневые — метлы, тростник безмятежно стоит тесно по кругу, не понять — где перед, где зад, откуда нас сюда сошаырнуло, хоть бы один бы переломился, хоть бы один-единственный не был сейчас так прям, неуязвим, вечен, я бы, может, сориентировалась, сколько он нас пронес на гибком своем горбу, три метра, шесть, восемнадцать, вдруг он куда-нибудь в середину Шар-хулсны-булака нас зафигачил, как мы с ружьем выберемся отсюда, нам же сроду не выбраться. А смутные голоса где-то рядом, вблизи уже и повсюду. Какие там — голоса! Гул, скрежет, визг. Может — уж Шамбала?

Налетел такой порыв аетра, что ружье встало дыбом, поквчалось, как кобра, и въехало мне стволом между глаз. Снова — искры. Ветер — как сорвался с цепи. Он был странен, метил — точно и только в меня, тростник под этим ветром не шатался, не гнулся и не раскачивался, ветер летел сквозь него...

Даже это меня не остановило в неусыпности поиска. Лишь поздно ночью я впадала в краткое забытье, мне, против обыкновения, ни разу не удалось проспать на Шар-хулсны-булаке рассвет. Ружье, кстати, оказалось менее стойким: стало после — давать осечки, чего никто объяснить не мог. Я его не выдала. Но с собой тоже брать перестала. Бродила одна, как волк. Обносилась. Оглохла. Сдичала. И замкнулась в себе. Раз на козьей тропе, куда вывалилась случайно из чия, увидала свежий след мазалая, отпечатанный четко на чистом песке: словно бы детская ступня, три пальца вдввлены резко, четвертый был помутяее, пятого — вовсе не было. До меня даже не сразу и как-то тупо дошло, что это же — мазалай. А меж тем редко кто из людей может похвалиться, что собственноглазно созерцал его след. Самого-то мазалая, думаю, не видал — никто: их на Земле и осталось-то, может, штук сорок восемь, ну, пятьдесят четыре. Это — медведь-пищухоед, который только в Гоби аодится. Судя по следу, ростом он невелик. Может, «пищухоед» — даже еще и гипотеза, потому что именно в Шар-хулсны-булаке я так и не встретила ни одной пищухи. Может, мазалай питается, наоборот, баобабами? Или семечками лиан? Пузатыми головастиками? Кто знает, что у мазалая на ужин, если его с мезозоя никто не видел?

Я теперь ни во что не аерю. Но — по пытливой инерции — я все-таки поглядела, нет ли поблизости и копыта лошади Пржевальского. Не было — ни следа. Если уж лошади Пржевальского нет и в оазисе Шар-хулсны-булак, где есть всё, значит, и вправду она сохранилась лишь в заповеднике Аскания-Нова, жует теперь репу, нюхает клевер-кашку, берет печенье с руки, и кто-то, может, раз в месяц заботливо моет ее антиблошиным мылом. По слухам, лошадь Пржевальского собираются зааезти обратно, обратно акклиматизировать, разрастить в дикие табуны с дикой челкой, не знаю, не знаю, по-моему, это теперь посложнее, чем запустить чем-нибудь на орбиту.

Не открылась мне Шамбала. И скептицизм мой — от личной моей неудачи, во всяком брюзжании следует, прежде всего, найти шкурные корни, это известно пристальным людям; она — не открылась, и я кидаюсь на бедную лошадь Пржевальского, которая, ведь не исключено, сразу дико заржет и счастливо разбежится по этим просторам, но вряд ли. Не приняла меня, значит, Шамбала. А ведь натиск мой был бесспорен, намерения бескорыстны и желанья чисты. Но чего-то все-таки не хватило. Может — веры? Боюсь даже думать об этом, это ж — идеализм.

После Шар-хулсны-булака я как-то притихла, видать — перенапряглась. Мне вдруг даже уютно сделалось среди сайров твоих и гаммад, даже как-то благоприятно почти вдруг до постности; тянутся, бесконечно тянутся, ну, кулан, ну, джейран, ну и на здоровье, не поведу и бровью, ну, такырчик светлый мелькнул, до чего ж неестественный цвет, ненормальный какой-то, то ли дело — гаммада или, там, сайр, может — тростника никакого и не было, так, примстилось с устатку; тянутся, тянутся, чуть повыше, чуть потемнее, теперь пониже и опять плавно ваерх, саксаулина, и еще саксаулина, многовато для одного-то места, к чему такие излишества, даже противно; вот этот сайрик хорош, пустота, ветер, голые — нормальные — камни, в каждом камне — все краски сразу, вот в чем секрет, поэтому цвет словно бы перетекает, как вода, как море, под каким углом я гляжу, как упал на камень солнечный луч, даже что у меня в душе — белый день или черная ночь; удивительно неприятны, должно быть, обросшие камни, ну, таких-то и нет, но — в принципе, если б — где-нибудь были, как ромашка вдруг обросла бы замшелой плесенью или папоротником, красиао, что ли, разве умно, была бы — плесень и был бы, само собою, папоротник, но ромашка-то бы — пропалв, с камнем — то же, он прекрасен лишь голый, каким родился, и тогда любому профану видно, что он — прекрасен.

Поняла я, Гоби, чего тебе не хватает! Шамбала у тебя есть, это факт, зато нету у тебя юмора. У тебя, Гоби, все какое-то чересчур серьезное, все на тыщи верст да на вечность, все — глобалы, то соленой слезы из тебя не выбьешь, не говоря про булак, то несешься — как ошпаренный кипяток, то уж тишь такая — слыхать, как ворочается мочевой пузырь в карликовом тушканчике, то — машину набок, и шмотьё по кругу на пять кэмэ, собирай — как знаешь, мерси или, чтоб понятнее, баярла́, коли дерево — баобаб, не меньше, коль медведь — сразу уж мазалай, а простого осла — не сыщешь, осел, значит, тебе не нужен. У тебя все как-то очень уж неспроста, все — не как у людей, больно уж закручено философски и уходит куда-то за грани разума. Вставить в вечность свою каой-нибудь миленький пустячок — просто так, без смысла, чтоб на миг себя перебить и над собою же посмеяться,— это ты решительно не умеешь. Подозреваю, что рассказывать тебе анекдот — дело пустое. Или даже — в твоем присутствии. Нет, не буду и заводиться, себе — дороже. Неизвестно, чем ты ответишь. Обдашь — в солнце — градом с яйцо фламинго, это граммов в двести, или вдруг проткнешь подо мною кратер до Калахари?

Но обрати высочайшее внимание: я все рввно — рискую, я все время ведь бесстрвшно привношу в тебя, о Гоби, собственный юмор, хоть и боязно. Может — это бестактно? Может — я много на себя беру? И иначе — как? Ты ж раздавишь и не чихнешь. Да хоть бы тот же Шар-хулсны-булак! Разве мне б его перенесть, не прикройся я каким-никвким, посильным мне, юмором? А твои вытаращенно-черные гаммады, что лежат давно теперь к западу. Уже забыла? Куда я от них теперь? Куда я — без них? У меня, Гоби, нет и не было от тебя другой-то защиты, кроме хрупкого моего юмора. Между нами, Гоби, в жизни, по-моему, и нет ничего спасительнее, чтобы эту жизнь саою — пережить. Я про каждого перво-наперво выясняю, как — с чувстаом юмора. Минуты через четыре это обычно ясно. Если нету — бегу от него в пустыню, если есть — тоже бегу в пустыню, но вместе с ним. Тоже небось не метод. Но юмор — понятие не вовсе чтобы вполне понятное.

Какой, скажем, юмор у муравья? На поверхностный взгляд — и вопроса нет. Существо стадное, цивилизация качественно иная, нам чуждая в принципе: коллектив — это бог, личность же — тьфу, все друг на друга похожи до отвращения, ни тебе любви, ни семейяых радостей или хоть дрязг, ни орденов, ни карьеры или хоть — выслуги лет, вкалываешь с рожденья, все чего-то тащат по тропам, и ты — тащишь, призадуматься — некогда, усомниться — не моги думать, выпало — доишь весь свой век тлю, приказали — лязгаешь всю жизнь боевыми челюстями или, наоборот, трепетно перекладываешь личинки, с холода — на тепло, с тепла — на холод, судьбу уж не сменишь, сдохнешь на производстве — по тебе побегут другие, никто и не остановится. Ну, появились надысь в широкой печати некие, слегка выпирающие из этой модели, сведения, что муравьи, мол, считают — до шестьдесят. Но мы-то цифры ценить еще не умеем, прелести в них не чувствуем, выводов из них — не делали сроду. Считают, подумаешь! Небось счетный инстинкт, счетная машинка вон — тоже считает, что она от этого, интеллект? Душа у ней? Юмор? Насекомое — оно и есть насекомое. Даже труд, который нас вызволил, вырвал из общего ряда, тут — дал осечку: их в человека не превратил. Теперь уж — не превратит.

Тот, однако, кто хоть когда-нибудь держал у себя в дому муравейник, что чрезвычайно хлопотно, не может — хоть поневоле — не обратить озадаченного своего вниманья на странную одну странность: мураавю, при всем его безмозглом коллективизме, присущ и жизненно, как нам сие ни странно, необходим — момент одиночества, чтобы ему каждый день и хоть какое малое время — побыть одному, в сторонке, покачаться бы, в полную одиночку, на какой-никакой былинке, приспособленной для качанья, или бы пошвырять ногами ненужный, без смысла, катышек. Если же эту, по правде-то необъяснимую, придурь муравьиную — никак не учесть, не обеспечить и не предусмотреть, то этот генетиче-

ский коллективист, увы, не протянет долго, зачахнет и вовсе, безо всякой вдруг видимой причины даст дуба.

Можно, конечно, к таким сообщениям — отнестись по-разному: это, к примеру, вульгарный антропоморфизм. Уже — относились. Мы — не Фабры, и Фабры — не мы. Сейчас как бы принято — умилительно сразу вздрогнуть, ах, экология, и лишь потом — муравейник этот втихую порушить к черту, все равно ведь — не до него. Допускаю, что муравей в одиночестве отнимает, предположим, от шестьдесят — пятьдесят девять или даже делит свои шестьдесят на пять. Но зачем ему тогда — обязательно качели, что из былинки, и пинать муравьиными трудолюбивыми своими ногами беднягу-катышек? Да еще — ежедневно? Чего он при этом — имеет?

По-моему, муравей — *играет*, вот единственное доступное моим мозгам объяснение, все объясняющее: чтобы жить, и муравью необходима — игра. То есть юмор, ибо любая игра неотделима от юмора, игра — всегда уже образ, художественная абстракция, выраженная индивидом исключительно уже субъективно, на свой личный манер и по собственному своему вкусу. Юмор — всегда сдвиг, образ — это всего-то навсего тоже сдвиг; чем изощреннее образ, тем сдвиг поболе, как бы уже — сдвиг сдвига, чтоб ощутить его насладительность, требуется уже специальная подготовка, отважная, что ли, разработанность души, напряженье ее, готовность и радость — принять новое; порядочный образ сам-то собою на голову любому не свалится, как и Шамбала, образ-то может и не открыться, и не впустить попросту, услышишь лишь смутные — раздражающие своей неразборчивостью — голоса да увидишь по кругу — только глухой, без неба, тростник. По себе знаю, было.

Юмор, по-видимому, изначально заложен в художественное мышление как структурная его составляющая, но вполне вероятно, что он — даже и не составляющая, а специфическая и равноправная ветвь саморазвития духа, один из бесчисленных путей его спонтанного самораскручивания во времени, как муравьиная цивилизация, к примеру, один из путей эволюционного процесса, вполне равноправно и для нас поучительно с нашей цивилизацией сопоставимая. Не уверена, Гоби, что тебе увлекательны эти миниатюрные частности. Я. Муравей. Слишком для тебя, по-моему, мелко. Может, совершенное величие и не нуждается в юморе? Но, с другой стороны, мне порой сдается, что какая-нибудь несуразная мутация, с нашей-то кочки — абсолютно тупиковая, может — тоже игра, мимолетное развлечение самодвижущегося мироздания, непостижимый для нас — его юмор? Тогда ведь многие и твои, о Гоби, несусветные проявления вполне реально отнести бы за этот счет? Я бы и рада, честное слово, но моего-то юмора не хватает.

Что мой робкий юмор перед твоими Пестрыми скалами, а?!

Но Пестрые скалы еще впереди, я про них пока и не знаю, что они есть, я сижу пока на крыльце лаборатории в Эхийнголе, на горячих и деревянных ступеньках, и слежу, как внимательно закатывается за горы солнце, осторожно подбирая к себе поближе свои лучи, чтоб не порезаться ненароком об острые края гор, зрелище это не повторяется никогда, хоть век сиди на этом крыльце, только свято блюдет свое время, я давно уж не знаю, где у меня часы, это лишняя вещь в природе, где все точно знает свою минуту, когда — зацвесть и куда — поворотиться лицом, мне лень даже подбирать слова, я хотела бы быть сейчас небрежной и естественной, как закат и как эти горы, что раскинуты вдалеке и вокруг, эти горы, что тут — обычно, не имеют даже названий, небрежно именуются «мелкосопочник», у меня дома, Гоби, каждую вершинку благоговейно бы нарекли — имени кого-то или хоть бы — чего-то, ходили бы на них семьями, чтобы ощутить свою крепость и крепость своей семьи, или брали бы штурмом, торжественно оповещая через газету о своей победе, да мало ли — чего можно придумать, имея на каждом углу такие-то горы, мне сейчас — лень придумывать, я так и не научилась ориентироваться в твоих горах, твои ущелья идут по кругу и заводят, как бы спиралью, исключительно в глубь себя, а доступных ориентиров нету, чтобы, допустим, бетула нана, карликовая березка,— по южному бы склону, а сухой лишайник, ну, алектория,— чтобы по северному, ничего этого — как не было, так и нет, пропаду я в твоих горах именем «мелкосопочник», выберусь — разве на юрты, блеск их виден издалека, в Эхийнголе юрт целых двадцать, в ряд — будто улица, эта улица мне теперь — дика, юрты твои белокрылы, крылья загнуты кверху, чтоб ветер славно летел насквозь и ушастые ежики прохлаждали бы свои уши, юрты твои — шатры, в темноте свет тянется изнутри к куполу, где у юрты дырка для дыма, я не знаю, как называется эта дырка, во тьме — юрты словно раздуваются своим светом, свет натягивает их туго и стоит над каждой пронзительным, плавно истекающим сквозь дырку, сияньем, в Эхийнголе есть даже — дома, их, по счастью,— немного, глаз мой их настойчиво избегает, он дивится странным приборам за оградою метеоплощадки, без сомнения — беспрецедентным свершеньям технического прогресса, особливо — шесту, что он гладок и прям, совершенно не измочален ветром и ни капельки даже не перекручен, но, дивясь, глаз мой стыдливо минует и метеоплощадку как крайнюю, до бесстыдства, все-таки неестественность, зато мне приятны и любы дикие, с вывернутыми руками-сучьями, дикие заборы из саксаула, нечто тут ограждающие, не хочу даже думать — что они ограждают, ибо ограждают они помидоры, дыни, огурцы и арбузы, полнейший нонсенс уже, о Гоби, огурцы твои — несколько деревянны, что мне нравится, помидоры же — сочны и мясисты, что меня в них отталкивает, хоть я уплетаю помидоры за обе щеки, дыни, ура,— еще не поспели, надеюсь — никогда не поспеют, хоть действительность меня и опровергает, ничего нет — лживее фактов, и зачем они — мне, факты — бледный отблеск воображения, факты — только верблюд, коего я веду через Эхийнгол за узду своего воображения, он трубно перхает и отваливает губу, он высокомерен и стар, он — единственный верблюд в оазисе Эхийнгол и привык — чтобы с ним фотографировались, имя ему — Херу́ль, я сберегу в сердце своем гордое его Имя, а вот — воды тут, по-моему, переизбыток, извини, Гоби, твое право, конечно, но все-таки в Эхийнголе не то одиннадцать, не то тринадцать булаков, из области астрономии, мне страшно их и пересчитать, самый могучий засажен в трубу, как джинн, и труба эта ревет, под ней промывают от почвы корни, важные для науки, по виду — типичные корни сосны, только — побольше, но это небось корешки полыни, корни твои — несусветны, можно бы постирать и джинсы, хоть смысла я в том не вижу, джинсы иссохнут до рези, пока я их выжимаю, и сразу станут — как были, но слаб человек — перед соблазном воды, я сдуру их постирала и раскинула по сафоре, сафора-то для меня в новинку, это кустарник бобовый и смахивает на солодку, у нее волосатые головы или стручки, изогнутые серпом, цвет у сафоры победоносный, громко-зеленый, мне понятны истоки этой победительной зелени, сафора, хоть и сильно лечебная, но ядовита настолько, что ее не трогает даже Херуль, сафору жрут только козы, рога их — архарьи, они болтливы, как Лев Толстой, волосаты, как староверы, и молоко у них — горькое, козы пожирают сафору с восторгом, но сейчас они временно прекратили это святое дело и уже жрут мои джинсы, едва отбила, овцы, как идиотки, стоят по кругу и смотрят, я поскорей отошла, я шарахаюсь и коров, кто их знает — большие, лягнут, укусят за ляжку или на рога себе вскинут, я, честно-то, стараюсь обогнуть стороной — все непонятное и чего — более чем один, душевный покой, по-честному-то, я ощущаю лишь возле Разбойничьего обо, что на самом дальнем подходе к оазису Эхийнгол и где все для меня знакомое — сайр, барханы, взнузданные саксаулом, и гаммады, мягко переходящие в бесконечность, за которой уютно торчат горы, я отдыхаю в мирной этот стабильности, это обо мне особо близко, потому что цвет его бесшабашно-черный, черный до взрыва, умиротворяюще-черный, другого такого на сотни верст уже нету, напоминает мне, Гоби, нечто уже родное, утишает сердце мое сладкой, понятной ему печалью и, кроме того, еще и объединяет меня — с мировой культурой, поскольку именно тут, по слухам, когда-то проходил караваном Рерих, и не то — на него напали, не то он на кого-то напал, вот обо и «Разбойничье» — в просторечии и обиходе...

Ты заметила, Гоби? Я ведь потратила на Эхийнгол всего одну только фразу, она, может, получилась великовата, но не тебя — поразить мне размерами, это и не важно, а важно мне, что фраза эта — одна. Я больше и не хотела. Потому что оазис Эхийнгол, самый крупный в просторах твоих, о Заалтайская Гоби, для меня — из тебя все равно выпадает. Он для меня — как бы уже и не совсем ты, хоть он тоже навек врос теперь в мое сердце и в нем тоже осталась моя любовь. Здесь, в Эхийнголе, много уж лет подряд — стационар Советско-Монгольской биологической экспедиции, заслуги которой бесспорны и неисчислимы, здесь бывает и до сотни специалистов, широких и узких,— сразу, нынче их единицы, так-то — мне лучше.

Ибо сейчас меня интересуешь ты, Гоби, а не наука. Каждый, по-моему, в коротенькой своей жизни имеет право на свой интерес, так что широкие специалисты, надеюсь, меня простят, коли что — не так. У меня, Гоби, наедине с тобою — куцых два месяца, единственный и, увы, последний мой раз, и я не могу позволить себе — отвлекаться даже и на науку. Ну, намекали мне узкие специалисты, что за один-то раз — ничего не увидишь, они — положили на это жизнь, ездят сюда и ездят, работают по девять сезонов, может — уже тринадцатый, а видят — все меньше. Тут есть своя правда. Но, с другой стороны, думаю я сейчас, и мое ехидство сравнимо лишь с их сарказмом,— что́ для тебя, Гоби, тринадцать сезонов, семь, двадцать три, когда ты считаешь исключительно вечностью? *Поклон вам, узкие специалисты, чья мудрость — далеко, а глупость — близко, поскольку глупость шире всех границ, а мудрость так легко — валится ниц, когда она узка и специальна.*

Я и не тщусь — создать монографию, не замахиваюсь даже и на статью, о портрете — и не помышляю. У тебя, о Гоби, есть Рерих. И есть у тебя Шарав, которого у нас — не знает никто, когда-нибудь картины Шарава, надеюсь, дойдут и до наших мест удаленных, и будет — бум Шарава. Но вряд ли это случится маргаш, то бишь — уже завтра. Чтобы воссоздать твой портрет, Гоби, сюда нужно бы не меня, слабосильную, а Боттичелли и Босха, Веласкеса и Куинджи, всех бы скопом французских импрессионистов, наших бы мирискусников, друга бы моего сюда, Женю Орлова, живописца, который чувствует цвет, как некто, может,— душевные нюансы начальства, что, как известно, одно из самых тщательно разработанных нами чувств, уже — талант. Нам с тобою, Гоби, и таланта — не надо, я тщусь передать лишь эмоциональный сгусток, моментальный и субъективный...

После оазиса Эхийнгол ты, Гоби,— лежишь для меня на север, только на север, уже на север, всегда на север, необратимо на север, слишком быстро на север, все — короче, вот моя — печаль, печаль моя растекается по гаммадам твоим и сайрам, вздыхает в редких барханчиках, затвердевает на жестком такыре, рыдает ветром в кремовых саксаулах, захлебывается возле кудука, освежает себя твоими булаками, печаль моя рвется к югу, к западу и к востоку, но путь мой — лежит на север, с этим — мне ничего уже не поделать, но я не вижу ответной печали в тебе, о Гоби, ты, великая,— щедра, как и прежде, и всякий день преподносишь — что-нибудь новенькое.

Далеко впереди и слева маячит аккуратный конус вулкана, он черно-базальтов, так правильно-совершенен формой своею, словно Кто-то долго оглаживал его бережными руками, еще подравнивал, подправлял, добиваясь до идеала. Недостижимого идеала — добился. Вулкан этот, ничего в себе не меняя, сам собою — растет, он — не приближается, он — не удаляется, он растет тут вечно и он — уже гора. Он вырастает внезапно из ровной каменной тверди, возносит ее до конической своей выси и плавно опускает ее обратно на плоскость — вокруг и везде, чтобы сайры твои и гаммады тянулись вечно.

А справа, очень еще далеко, все явственнее, все нереальней проступает какая-то вовсе неземная уже страна; я уже различаю обрывы, скалы и все цвета сразу, все — нежны и сочны, все — навязчивы и неистребимы, графика, акварель, темпера, масло, линии и мазки наотмашь, все присыпано словно бы инеем, иней этот пронзительной нежности и чистоты, белым крылом он вынесен вдаль, в пустыню, и горит пронзительным белым огнем.

Подъем был почти и не ощутим. И страна эта вдруг — ударом — вся открылась навстречу. Не мираж. Не сон. Не бред. И не явь. Таким может быть только Путь безгрешной души в Райское блаженство, если там по дороге где-то есть краски и камни. Или — Нирвана, что есть сокровенная Полнота, столь совершенная и невыразимая в представлении, что мы вынуждены, чтобы не разорваться в испепеляющей муке — вырваться за пределы себя, считать ее — ничем, Пустотою. Или нужно всю жизнь, неотступно и беспощадно, идти к этому постижению, не отвлекаясь уже ни на что? Чтоб оно резануло блистающей, все постигающей разом болью в последний твой миг, когда никому, ничего, никогда уже не расскажешь. Или нужно — родиться и вырасти здесь? Остаться тут навсегда, чтоб раствориться в этой невыразимости и безличностно разметаться по твоему сайру, о Гоби, осеняющим легким крылом белого инея?

Или *это* надо — увидеть именно на мгновение, чтоб внутри осталось навек физическое обмиранье и непереводимость языка Вечности на наш, бренный и суетливый? Красота эта — бьет мгновенным ознобом, организм — бессилен ее в себе удержать дольше мгновенного мига, как непереносимую боль. И потом, Гоби, позже, Пестрые твои скалы преследуют меня — именно мгновенным ударом, когда не ждешь. Вдруг — настигают, как нестерпимая боль, что, может, перенесена когда-то и скрытно живет во мне теперь навсегда. Ощущай я ее в себе постоянно — меня б давно уже не было, тут организм устроен с достаточной мудростью. Красота твоих Пестрых скал и потом, и на любом расстоянии так сокрушительна, что я и поныне — не могу удержать ее в себе дольше мига, она будто взрывает душу мою изнутри: болью.

Что толку, когда я скажу, что сайр тут вздымается в небо красно-слоистым откосом, что он — широк и блестящ, что сами-то Пестрые скалы — невеликие плавные горки и проходы вглубь — узки, как удар гибкого ножа? Что толку, коли перескажу я своими словами стихотворение Анны Андреевны Ахматовой, сыщу в нем сюжет, назову прототипа, проанализирую рифмы, сосчитаю эпитеты и глаголы, составлю даже и полный исторический комментарий? Это — уже мои радости, не ее. Но почему же я плачу над нею опять? Почему мне так свеже, по-первому, вдруг хочется опять жить? Почему оглушает меня опять надеждой и горем? Я ведь знаю эти стихи наизусть и сколько помню себя. Почему же я жить-то без нее — не могу? Как же я раньше-то жила, Гоби,— без твоих Пестрых скал? Невыразимость Искусства в текучести этих плавных, переливающихся друг в друга, как сон, очертаний, начертаний, предначертаний, предчувствий, в мерцающей слитности и непредсказуемости тонов.

Лезть в эти горы — не нужно. И не в том дело, что тяжело, это же глины, спрессованные, обломные и сыпучие. Нет, вблизи — ускользает скольжение красок, глаз привычно цепляется за самую яркую, тайна как бы беззвучно уходит вглубь из-под самого моего носа и неслышно притворяет за собою калитку. Я уже, неизвестно зачем, вишу на зыбкой глиняной стенке, она крошится под пальцами моими в труху и я не знаю теперь, как отсюда слезть. Нет, Пестрые скалы твои — предпочитают некоторую дистанцию, как и все великое, нахрапа и панибратства они не любят, их нужно впитывать издали, как и все великое. Они еще рядом со мною, рядом, они еще тянутся сбоку, но они как бы — уже потише, поглуше, я не вижу уже ошеломительного их света, перевернувшего душу, это уже не пред-чувствие, а томительное после-чувствие, они уже отстают от машины, это уже — просто горы, стерто-сероватый колер, довольно уже пологие.

Не знаю уж, какое чутье меня дернуло вдруг. Но — дернуло. Я полезла-таки куда-то кверху и вбок по серо-скучному, каменному откосу, недобром поминая извечное свое шило, что нигде ведь не даст покоя и заставит тащиться в явную даже скуку, лишь бы даже скуки этой, упаси бог, не пропустить. Сколько я поднялась? Пустяк. И мгновенно забыла про шило, про все.

Цвет вокруг вдруг — ударом — окреп, заголубел, налился синей голубизной, и пошли вдруг кругом — лунные голубые поляны, голубые пропасти, голубые кратеры с черными блесткими ребрами, голубые вершины и голубые пески меж голубых хребтов. Кажется: только ступи — и навеки провалишься в эту голубизну, в эту лунную пыль, тебя засосет, ты растворишься в ней, захлебнешься этой голубизной, на прощанье увидишь резкую синеву неба и где-то уже вдали — полыхнувшие красным отроги Пестрых скал, так и зовет — провалиться, уйти — туда, перестать быть — тут, чтобы очнуться — там, явить себя в этой лунной голубизне чем-то нематериальным и вечным, найти себя там — другого. Непредставимо, что все это — тоже твердь, та же, как и повсюду, никуда мне — не провалиться, кроме как в яму, которую прозеваю, раскрывши рот в восторге своем, та же это — наша Земля, все, что я вижу сейчас,— из тех же — земных — ее составляющих, материалов и элементов, я запросто и небрежно, всю свою бесконечную жизнь, попираю ногами эту красу каждодневно, пока Кто-то не сотворит из этих же материалов лунного такого узора, таких Пестрых скал, чтобы я вздрогнула наконец, огляделась и у меня б заломило в пупке. Как же я дальше жить-то без тебя буду, а, Гоби?

Этого я не знаю и до сих пор: как?!

Не возражаешь, Гоби, если я втисну в тебя — только еще Их-Богдо? Одну лишь еще — Их-Богду, клянусь, потому что, как Эхийнгол для меня все равно — как бы из тебя выпадает, так Их-Богда органична для меня — только в тебе и от тебя, великой, неотделима, хоть она — уже севернее, там, пожалуй,— полупустыня, чем-то вполне поросшая, в горных изножьях Их-Богды бродят уже отары и табуны. Я потихоньку всуну ее все же в тебя, ты при твоих-то размахах даже и не заметишь. И, в конце концов, это — моя уже власть, кого куда и зачем включать, вот как я засмелела. Я, может, желаю отдать тебе — все свои потрясения, что в том худого. И, кроме того, есть у меня еще одна, глубоко личная, может, причина: я повсюду теперь ищу и не нахожу, кроме черных твоих гаммад, еще и вкрадчивую, переливающуюся, как живая вода, нежность твоих Пестрых скал, эту, меня опрокинувшую, цветовую, так сказать, гамму. Я ищу ее — даже, смех ведь, в кухонном полотенце, в нежно-фиолетовой его вдруг размытости, для меня — прямо плюха была, что полотенце-то, как мне компетентно и доказательно разъяснили,— просто слиняло при стирке. Но я все равно продолжаю таскать за собой это кухонное полотенце по всей квартире, чтобы мне его — постоянно видеть, только теперь скрываю эту свою привязанность от глаз ближних. Но нигде не найти мне этих тонов! Они были еще — только в горах Их-Богды да мелькнули потом, слабым отблеском, в ревущем каньоне Чулута.

Я раньше-то, когда еще не знала тебя, о Гоби, и твоей нежности, почему-то ждала от тебя красок — резких, кричащих, контрастных, может, до грубости, все ж — Центральная Азия, страна контрастов. Я и представить себе не могла, сколь высоко ценишь ты — недосказанность и намек, что, сдается мне, нас с тобою даже как-то — роднит, может, это с моей стороны и наглость, не знаю, я рискну все-таки вставить в тебя Их-Богду, как бы ты к этому ни относилась; с тобой, Гоби, так и так ежесекундно рискуешь, я уж — привыкла.

Я несусь прохладным ущельем Их-Богды, грубые камни его — легки мне, солнце, а мог бы быть уже снег, везет, речка прижата к другому краю, в скалы, но мне туда и не надо, высота небось чуть выше двух тысяч, надо подняться почти что — еще на тысячу, что мне помешает — подняться, ничто, я — буквально несусь, ну, слегка подводит дыхалка, я иду очень быстро, подъем пока и не крут, я миную карманы лиственниц, тополя в распадках, арчевник — это повыше уже, я лезу — как зверь, сил у меня — навалом, у меня есть банка сгущенки, немножко чаю и спички, чего же еще желать, кекликов тут — что кур, путаются у меня под ногами, мешают, проклятые, набрать спортивную скорость, язвителен свист пищух, у норы-то и бы — посиживала со свистом, попробовали бы — лезть, противно, главное, что обязательно — вверх, дыхалка все ж не насос от вечного двигателя, ничего, я лезу, помогаю себе — руками, это даже и по науке, в горах следует опираться исключительно на три точки, горы шуток не терпят, для верности — обопрусь на четыре, ущелье виляет, как дьяволов хвост, слева — вовсе глухая круча, мне зачем-то — надо туда, там, как назло, перевал, если я до него доживу, а куда я денусь, ужас как жалко расставаться с мирным этим ущельем, я была в нем — дома, круча — душит, может небось опрокинуться на меня, ну, слегка саданула камнем, мелочевка, я пру вверх, как танк, почти уж — ползком, ничего, двигаться, преодолевать, у меня сила духа, немножко чаю и спички, сгущенку я незаметно высосала, она ж без сахара, сама льется в шершавую глотку, перевал — уже виден, если это — не конец света, тарбаганы всё, тарбаганы, тоска, я залезла б сейчас в тарбаганью нору, чтоб отдышаться, интересно — втиснусь я или нет, я-то всунусь и в нору дождевого червя, кабы он — был, но главное — темп, это даже и по науке, когда лезешь вверх по камням, нужно, в первую голову, помнить — о темпе, иначе камни в башку будут попадать непрерывно, темп мой должен опережать эти камни, чтоб

они, в крайности, били бы — по ногам, небо синее — отвратительно, солнце — немногим лучше, опухшая харя, впрочем — разглядывать недосуг, полежала, налилась богатырскими соками, Антей, а не я, надо карабкаться, лезть и цепляться, перевал — уже близко, дотяну, не сдохну.

Я взошла на этот перевал, Гоби, можешь не сомневаться. и встала на перевале — на две ноги, как первый человек. А кто скажет, что я — не первый? Кто может сказать — промолчит. Ноги мои дрожат. И дрожит двуглавая, вся в белом, вершина Их-Богдо, в которой четыре тысячи метров выси, мне туда, по счастью, не надо. И весь мир — дрожит. Задрожишь, когда увидишь такое! Ты видала, Гоби, когда-нибудь совершенно квадратное озеро, чтобы не было в нем ни малейшей округлости и все четыре угла держали бы, каждый,— точно прямой угол?

Я вижу это озеро с перевала Их-Богды. Оно сейчас — цвета взбесившейся лазури, гладкое, как жизнь счастливчика, безмятежное, как дыханье панцирного клеща, одинокое, как моя душа; а чуть выше, метрах, может, в двухстах повыше, отделенное скальной осыпью, мрачновато блистает еще одно — цвета взбесившейся сирени, его затеняет черный хребет, оно — удлиненный прямоугольник, подобраться к нему я потом не смогла, видела его — лишь с этого перевала; так что, когда я говорю — озеро, сама понимаешь, Гоби, я всегда имею в виду — квадрат, имени же у него — нет, даже мне не хватило отчаянности — дать ему имя, и даже я, даже и мысленно, называю его только — Озеро, ибо оно — единственно, как Небо или как Космос, и, наверное, само по себе уже является своим Именем Собственным. На фоне Озера четко выделен черный и рукотворный Крест, это уже перебор, можно ненароком и сбрендить...

Нет, это — не крест, о боги и тенгрии, это — мертвая лиственница. Я стою на самом берегу Озера, в том единственном месте, где можно к нему подобраться, сбоку в распадке — даже низкий березнячок, мелкая крона его — цвета спелой лимонной корки, за спиной у меня — перевал; Озеро сейчас — розовое, вода вдоль берега — тверда и прозрачна, в ней наберется, может, и девять градусов обжигающего тепла, я окунулась, дальше — бездонная, концентрированная до жути розовость, сроду не знала, что розовое — бывает грозным.

Рядом с Озером я впервые ощущаю — не высоту гор, а непробиваемую их, непредставимую, на километры вглубь,— глубину, скальные корни вечности. Даже Озеро не смогло пробить себе плавности, хоть бы чуточку сгладить прямые свои углы, это квадрат и вблизи. Может, оно — только вчера народилось? Оно безмолвно, как обет праведника. Непостижимо, как йога. Загадочно, как загадка сфинкса. Оно — не расскажет.

Горы стремительно всасывают солнце. Озеро — уже зеленое, зелень ощутимо сгущается. Справа его обрамляет скальная, страшная даже глазу, осыпь, непонятно — как осыпь может быть скальной, однако — так. Прямо за Озером, напротив меня,— царственный трон, небось — уже императорский, размах этой ма́стерской выдумки подавляет, краски его — обмирание Пестрых скал, о Гоби! Роскошным веером раскинута по горе скальная — палевых тонов — спинка, кабы не нежная эта палевость, надо бы, наверное, сказать честно — спиница. Ниже — горизонтально блестит глянцево-палевое сиденье трона, чувствительная его жесткость должна небось способствовать беспощадности самодержца, рефлексирующий демократ тут не усидит. Еще ниже — резкий, как беспамятство, слом, как бы черное спадение трона, неостановимое в своем величии,— к тронному залу, что есть Озеро.

Может, шок этих красок именно в их якобы недопроявленности, не-доведенности до полного тона и логического конца? Может, поэтому я вижу сейчас словно бы уже рожденне цвета? Динамическое его становление? И сама — как бы включена уже изнутри в его динамику, как бы тоже движусь уже в этом цвете, им наполняясь? Движение красок кажется физически осязаемым, к постижению — совсем близким, еще миг — и пойму. Никогда, о Гоби, я не стояла еще так близко к этой тайной тайне — к сокровенной пружине движения, к сердцевинной само-сути ее, меня овевало уже тайное ее дуновение. Но стояла я, как всегда,— зазря. Опять не хватило чего-то. Художественной чуткости? Образования? Мистического начала? Веры в себя? Разбирайся теперь! Момент-то — безвозвратно упущен. Жизнь, Гоби, сложена из само-моментов, как гаммады твои — из камней, мы же частенько — меряем ее, единственную, событьями внешними, вполне от нас независимыми, даже и не пытаясь внести в них свой кровный энерго-момент, который вдруг бы да эти события как-то поворотил бы, справедливо ли это? Может, мы все — неправы, а, Гоби?!

Закат уже близок, отсюда ведь еще и выбраться надо, четкость вокруг тревожна уже, вкрадчивая резкость ее — это пред-сумрак, зелень воды отдает уже в черноту, у меня осталась железная воля моя и спички, чай я уже заварила в банке из-под сгущенки, и его больше нет; о перевале, что за спиной, даже думать тошно, вообще — я люблю возвращаться другой дорожкой, это как-то повеселее; я еще раз, с присущей мне проницательностью, окинула взором Озеро и окрест, можно, пожалуй, попробовать — только слева, скала-то и там — высока, это ее, скалье, дело, а над Озером — каменистая осыпь, горбатая ее выгнутость тоже не больно пристойна, но вроде еще терпима, если бегом — без упрека и страха, как рыцарь, что там — дальше, за осыпью,— все равно не видать, добежишь — увидишь, поди — еще осыпь, ее мне и надо, из нее и должно выползать ущелье, которым я желаю вернуться, а желанья мои — закон.

Осыпь и худо-бедно, но одолела, не могу похвастаться, что скачки мои были грациозны, работа — скорее топорная, горб оказался круче, чем я ждала, но угол над Озером как бы еще размыт, и Озеро не висит еще подо мною прямо-отвесно, я даже нашла ногою почти площадку, чтоб укрепиться и оценить — что же дальше. Все жилы во мне были напряжены и туго вибрировали, пот заливал чело, он был — соленый, как слезы. Озеро — черное. Осыпь, где я прошла, еще лениво обваливалась камнями, в их грубом шуршании была оскорбительная невозмутимость вечности, для которой я — ноль. Впереди же — осыпи уже не было. Там был чисто-скальный участок, может — метров в тридцать, возможно — в триста, выдавленный вроде бы колесом, он падал в Озеро под тупым углом. Кто-то там, может, прошел, вжавшись в скалу гибко-распластанным телом и цепляясь перстами не знаю в какие шероховатости. Но не я! Я-то не скалолаз, и воля моя — не железо. Жалкая моя плоть от одного только вида этой скалы ощутила приступ удушья и тошноты. Озеро лежало внизу бездонно и плотоядно, только что не облизывалось. Я ощутила к нему цепенящую ненависть, туго перевитую расслабляющим страхом. Я, Гоби,— трус по натуре, но обычно — это скрываю. Кто скажет теперь, что я — трус? Кто может сказать — промолчит.

Я собрала останки воли своей в кулак и сделала смелый шаг вперед, сантиметров на двадцать. Скала — качнулась. Весь мир — качнулся и зашатался в моих глазах, ноги мои — вросли, и тело мое — прильнуло. Я знала, что больше уже не сделаю никогда слабого даже двига, ни вперед, ни назад. Я вечно буду висеть на этой скале. Пока сил моих хватит — висеть. Час, может. Или неделю. И когда-нибудь опаду спиною, как лист, и Озеро величаво примет мой слабый, последний бульк. Будут ли от меня — хоть круги? Я небось врежусь в бездонную вечность мгновенно — как камень. И между мною и камнем — сразу не будет никакой разницы. Имя этому Озеру — моя Могила!

Как я сразу-то не поняла, еще с перевала? Эта странная форма, прощально-щемящие краски, эта заманивающая в себя тишь, этот багровый, стягивающийся, как петля, закат? Нет, жизнь моя в этот миг — не явилась мне вдруг и разом во всей своей пестроте и дорогих подробностях, это небось всё — врут. Даже родное-какое лицо скорбящей-какой печалью не омрачило сейчас помраченного моего разума. Ничего этого, Гоби, не было! Я даже не вспомнила, что о тебе — уж не напишу. А если не я, то кто же?

Я, зависнув в скале, как одеревеневший лист, вдруг просто решила — что, хоть это Озеро лопни и хоть расколись двуглавая голова Их-Богды, я эту ихнюю смерть — сейчас не приму. Рано. Некогда. И вообще — я всвотевши. Как-нибудь — по-потом, пусть зайдут попозже, когда меня дома нету. До сих пор не уверена, правильно ли я поступила. Прекрасно же понимаю, что такой могилки, как — Озеро, мне жизнь уже не предложит. Мне, Гоби, вообще рефлексии — свойственны. Авось подвернется и что-нибудь другое, ну, пусть — похуже, ну, уж не экстракласс. Переживу! Я, честно-то, и не честолюбива...

Так что, извини, я — повернула обратно, можешь считать — отступила, не преодолела, сдалась, плюнула себе в душу, перестала себя уважать, без этого уважения довольно-таки легко проскочила назад до осыпи, мне было уж там — родное, после всего-то, ну, камни, эка невидаль, отдышалась на твердом бреге, на Озеро — больше и не взглянула, оно вздулось — черным, мне-то — что, пришлось лезть за скалу в обход, чтоб попасть все равно в то, другое, ущелье, желанье — всегда закон; обход сожрал часа два светлого еще времени, то ущелье — оказалось не в пример дичее моего, прежнего, не речка уже, а конвульсивный — в пене — поток; поглядела я — какой там подъем, порадовалась, что не по нему — поднималась, мне бы тут и не залезть, ощеренное великолепие, глухой и мощный каньон, стеной вдруг смыкается перед носом, потычешься, пока найдешь щель, чтоб шмыгнуть, клубящийся — водяной — пар — так и обдаст, падаешь, скачешь, упираешься в скалы, перелетаешь через осклизлые стволы, бежишь над бешеным ревом, с такого, прости за выраженье, мостка и гадюка — рухнет, разве что успеет зацепиться хвостом.

Горы — как горы, чего тебе рассказывать, Гоби, язык мой — разгорячен и невнятен, слова мои — тлен, всеведение твое — бесконечно. Ночь застала в ущелье, это похуже, но и во тьме — можно двигаться, коли иного выхода нет, не так, может, прытко, ну, побольше — синяков, кто их считал, зато интенсивно наращиваешь в себе интуицию, зато вдруг вспоминаешь зрение теменным оком, столь неосмотрительно забытое предками, это все — опыт жизни, лишний опыт — всегда пригодится, он никогда не лишний, только его поднакопишь, пора — на выход.

Я по гроб обязана этой ночи, Гоби! Ущелье прорвалось наконец сквозь скалы и выдралось за пределы Их-Богды, теперь оно стало широким сайром, в сердцевине которого что-то бурлит, шипит и грохочет, с боков — потянулись пологие, стекающие все ниже бэли, километров через пятнадцать не будет уже и следа — ни потока, ни бэлей, пойдет сперва седой солончак, такой с виду безобидно-невинный и столь подло-коварный по своей топ-

кой сути, потом уж начнется нормальная — каменистая — полупустыня, чем-то поросшая, надоело перечислять — чем; там где-то стоит сейчас кроткая философическая овца и, может, решает для себя коренной вопрос бытия: что — первее, яйцо или курица, курицы, впрочем, она не видала сроду, наверное, мой пример поэтому — не блещет удачей. Ну, пусть хоть стоит — племенной жеребец, он, может,— нарочно выделился из жаркого общим дыханием табуна, чтобы подумать, пусть он задрал сейчас к небу свой пытливый, породистый лик и размышляет, куда же деваются все-таки звезды, что сваливаются сейчас оттуда. Ему странно, что он никогда за всю свою жизнь не встретил ни одной падшей звезды. А грива его благородно откинута ветром, чтоб — мыслям просторней, а ноздри его вбирают резкие запахи ночи, ночью — любой запах острее, а ноги его — чутки, как ухо скрипача-виртуоза, и спина его — не знает седла, хорошо.

Я стою, опираясь спиною на горный массив Их-Богдо, Их-Богда равноправно накрывает меня своей тенью, нам есть теперь с нею — что вспомнить, тень Их-Богды — черна, как и в горах, но глаза мои уже освоились в этой черноте, я вижу даже крошечного тушканчика, огибающего сейчас мою щиколотку, знать бы еще, что такое — щиколотка, но больно уж красивое слово, за моею спиной — две тысячи метров высей Их-Богды, а ниже меня — еще тысяча метров до полупустыни, где затаилась сейчас вдумчивая овца и любознательный жеребец жадно внюхивается в тишину ночи.

Ширь передо мною — безбрежна, я никогда еще не видала такой безбрежности — сверху, такое, Гоби, кроме тебя, нигде не дано увидеть, ибо повсюду, кроме тебя, хоть что-нибудь да загораживает глаза. Я вижу сейчас как бы совсем другой, мне ранее не ведомый мир, бесконечно раскинутый подо мною в совершенно иной, новой для меня плоскости — ровный, горизонтальный, открытый, беззащитный в бесстрашной своей открытости и празднично залитый лунным светом. Над этим миром давным-давно стоит, оказывается, огромная луна, о которой я даже и не подозревала в ущелье. Так, наверное, видит Землю — только орел.

Мир этот распахнут бесхитростно, сонно, простодушно и щедро, он просто взывает уже к моей бережности. Я весь его — хочу прикрыть своим телом, чтобы было ему — надежно. Но от кого мне так страстно хочется сейчас его оберечь? Не знаю, Гоби. Это какое-то чисто физиологическое уже, по-моему, чувство, но в нем ощутимо подрагивает уже и нравственное начало, даже пугающее меня своей крепнущей, страстной силой. Что-то в этом есть. Мне очень важно, Гоби,— сохранить это чувство и на потом, я уже, пожалуй, и осознаю — почему это так важно. Вдруг, коли я его в себе сберегу, во всей бережной страсти его, оно пригодится еще и этому миру?

Тень Их-Богдо осеняет меня своей тенью, чернота ее — свет, я спиной ощущаю — твердость ее и мощь, пусть мощная эта твердь — станет моею твердостью, ведь Их-Богдо для меня — это ты, позволь мне опереться слабым духом своим на вечность и силу твою, о Гоби!

Жанр мой — заклятие, Гоби, если тебе любопытны жалкие наши рамки, я не тебя заклинаю, ты безвинна и гармонична, в моих заклятиях не нуждаешься, заклинаю я — Человечество, к коему принадлежу. Ему — мое заклятье. Гибель входит в нас с каждым дыханьем, гибель входит в нас с каждым глотком, незримо и плотно — нас окружает, детей наших, которых мы невнимательно народили, и детей — наших детей, гибель бесплотно разлита в воздухе, гнездится в мирной воде наших речек, озер и морей, притаилась в сладких плодах и хлебе насущном, в красоте восхода и гор, неощутима и вездесуща, скорости ее — недоступны для нас, медлительность ее — завораживает нас беспечностью, ах, если б могли мы — вымереть сразу, за миг, ужаснуться и снова воскреснуть! Мне — мое заклятье. Я хотела б — забыть цвет кожи своей и национальность, характер свой и пристрастья, я хотела б — стать такою бессчетной и сильной, чтоб смешать все языки снова — в один, человечий, и сложить своими руками Вавилонскую башню — до Неба, и крикнуть с нее так страшно, чтоб — услышали сразу все. И содрогнулись, поняв!

Ибо услышал я иной голос.

1988 г.



Давид Раскин

Этот небольшой цикл стихов ленинградца Давида Раскина представляется мне несомненной поэтической удачей. В нем предметно и точно отражена картина сегодняшней жизни, запечатлено состояние нашего сознания ввиду катастрофических, но не весенних, бурных, какими они были лет пять назад, а зимних, тяжких, замерзающих перемен.

В то же время есть в этих стихах проблеск надежды — для меня он проступает в торжественной, неторопливой, сдержанной интонации, почти классической музыке стиха, вызывающей в памяти Блока, Ахматову, Мандельштама — современников и очевидцев другой, во похожей катастрофы — 1917—1920 годов.

Давид Раскин родился в 1946 году, в 69-м закончил Ленинградский университет, кандидат исторических наук, заведующий отделом Центрального государственного исторического архива СССР.

Пишет стихи давно, лет двадцать, но впервые напечатал их в «Молодом Ленинграде» в 1989 году.

А. Кушнер

ЦАРСКОЕ СЕЛО. СОФИЯ. ПУШКИН

Аллеи по транспаранту расчерчены. Каждую прорезь
Заполнил не столько лиственный, сколько бумажный шорох.
Слова распускаются, со смыслом споря и ссорясь,
Как маслянистые липы. Неясно только, в которых
Из них узнаешь себя. В каких речах. Разговорах.
А впрочем, любая речь держится на повторах.

Немая жизнь лишена существования, словно
Зажатая холодами древесная темная завязь.
Поэтому воля к бегству бессильна и малокровна.
И смотришь на голые ветви, покорно и тупо уставясь.
И на мосту покрыты влагою тонкие бревна.
И все, кто под этим небом, сосчитаны поголовно.

Такой вот достался словарь. И синтаксис. И пространство
Рожденного ими смысла. И ты уже поневоле,
Как дерево, с ними сросся. Их цепкое постоянство —
Источник не столько радости, сколько, скорее, боли.
Сильнее магнитного давит и гнет смысловое поле.
И стынут кусты на жестком суглинке или подзоле.

* * *

Как синеватая скрепка из нержавеющей стали,
Дельта имперской реки. Как канцелярская скрепка,
Декоративная даль. Все, кто пришел,— опоздали —
Выбелен каждый изгиб гипсовым инеем слепка.

Не виновата крупнозернистан тяжесть гранита,
И не враждебно песочное, рыхлое тесто бетона.
То, что успел рассмотреть, как выставка, было открыто,
Но закрывают сезон. И отсрочка уже незаконна.

Не утомляет прощание, не надоест возвращаться
К этой излюбленной сцене, пригодной для пышных трагедий.
Все-таки был совершенен этот подбор декораций,
Камня, воды, позолоты, охры, гранита и меди.

Все-таки что-то и мы значили в этом наборе,
Что-то успели сказать и что-то заметить успели.
Но застывает равнина, тянет забвением с моря
И покрываются инеем цоколи и капители.

Словно какую-то запись на стол, под стекло, положили
И откидной календарь медленно перелистали.
Все покоряется зимней, непререкаемой силе,
И беспощаден зажим витка нержавеющей стали...

* * *

Вырвана с мясом мембрана из телефонной трубки.
Оледеневший ток застыл в проводах колючих.
Цепь разомкнулась. Оборваны все привычки.
Сковывает намеренья и отменяет поступки
Низкое небо в хлопчато-угольных тучах,
Ветер, настолько резкий, что не зажечь и спички.

Но почему так знакомо, но, все-таки, почему же
Так предсказуемо все, что даже не страшно.
Только привычные связи вырваны с мясом?
Стягивает в один узел все туже и туже
Все обстоятельства — мысль, что это — неважно.
Медленно время ползет, словно очередь к кассам.

И достояться нельзя — не успеешь до перерыва,
Кончится все до закрытия — хлеб, чернила, свобода.
Да и никто не даст того, что взять не успели,
И не простит долги, и не выпрямит то, что криво,
И не спасет от соблазна толпу у входа,
И не подскажет ни средства, ни направленья, ни цели...

* * *

Как пар из термоса на пригородной лыжне,
Как снежный куст у кромки залива,— возник
Расплывчатый образ речи, которую не вполне
Успел осознать, которую словно извне
Воспринимаешь. Но шепот легко переходит в крик.

Бывало, слепая мысль, опериться еще не успев,
Вспорхнет, нарушая синтаксис. И знаешь, что это — ты.
Потом примешается к ней чужой перепев,
Несходство и ненадежность вызовут гнев,
Но некогда добиваться точности и полноты.

Бывало, проснешься с похмелья, и вчерашняя суета
Не кажется привнесенной, заданной наперед.
Как будто читал и пытался переводить с листа
Иноязычную книгу. Лишь мутное чувство стыда
Осталось в итоге. Неточен таой перевод.

Бывало и больше не будет. Лыжня к ледяным кустам
Выводит. И город, и мир — в одном морозном дыму.
За ясность расплатишься смыслом, за смысл — свободой, а там
Помимо тебя уже все расставлено по местам,
И лишь не осталось места тебе самому...

* * *

Цепочка текучих огней вдоль дамбы. Мерцает Кронштадт.
Пульсирует влажная ночь над Маркизовой лужей.
И плещет волна за окном, и паркетины глухо трещат.
И только пространство для жизни — все уже и уже,

И все очевиднее сложность привязки к минутам и дням,
К дрожащей, густеющей влаге, к огням, замутненно-белесым.
Как будто расплывчата цель, да и путь к ней непрост и непрям,
А то, что дано изначально,— уже и давно под вопросом...

* * *

Клейкая лента,
Жирная, полупрозрачная, прилипла коротким обрезком
К вылинявшим обоям. Темным пятном
Обозначается след
Сдвинутой мебели. Мертвая тишина.
Пыльной бумагой, как правило, пахнет итог
Прожитой жизни. Словно кусок штукатурки,
Падает под ноги время.

Все, что становится мусором, останется безымянным.
А за спиной — неизбежность. Краска. Побелка. Ремонт.
Острый, как лак, разъедающий привкус прощанья.
Рыхлый и цепкий цемент.
Грязью изгнания или исхода
Стала тяжелая скорлупа
Обитания, так что дрожат и слипаются в клочья волокна
Растревоженной паутины. Да и, в конце-то концов,
Что бы там ни имелось в виду, что бы ни затевалось,
А остаются объедки, крошки, клочки и обрывки,
Клейкая лента на голой стене.

* * *

Черной глиною осень замешена круто.
Отчужденье, изгнание, бегство, смута
Завязались пожизненным, вечным узлом.
Но порядок слов в лексиконе затертом
Обретает смысл лишь post factum,
post mortem.
И плывут облака над Царским Селом.

Почему же сохнут в ручке чернила?
Даже внятность речи тебе изменила.
И как будто нечего больше сказать.
Да и к действию нет ни привычки, ни воли.
И, в конечном счете, не все равно ли,
Что в набросках умрет, что проникнет
в печать?

Все равно любой черновик неудачей
И бессилием пахнет, как пруд стоячий
Или запертый шкаф для секретных дел.
От музейных задворков несет рогожей.
Нежеланный гость, случайный прохожий
Задержался, замер, заледенел.

Только город и пригород, вся перспектива,
Перекресток всего, чем сознание живо,
Стал отныне и, видно, останется впредь
Пустырем, где лишь ветер, дожди и простуда,
Местом гиблым и выморочным, откуда
Можно только уехать, уплыть, улететь.

Измениться? — На это и сил не станет.
И уже не соблазном — тревогой тянет
Ледяной сквозняк в приоткрытую дверь.
А уйти легко, но за этим отказом
От себя самого — не вмещает разум
Всей возможной суммы твоих потерь.

Ни родства, ни прибежища, ни оплота.
Словно выпал туман на поверхность болота
И никак не рассеется до сих пор.
И поэтому старые флаги линяют
Над вокзалом и почтой, а лес роняет
Свой багряный, свой хрестоматийный убор.

* * *

Духовые оркестры у станций метро...
На тычке, у цветочных ларьков
Медь хрипит, мельхиором звенит серебро
И пузырчатый воздух суров.

Эта дряхлая музыка с детства слышна
И, как лень, раньше нас родилась.
Почему же теперь нагнетает она
Между нами и временем связь?

Не воскреснуть прекрасной былой суете,
Не отпрянуть течению вспять.
Здесь и воздух не тот, и гулянья не те,
И прохожим другими не стать.

На три четверти счет. Два десятка зевак.
Замерзает в Смоленке вода.
Но и город, и годы звучали не так,
Да и не было их никогда.

Начинает бесцветное небо темнеть.
Постепенно пустеет вокруг.
Лишь скулит на морозе усталая медь,
И слюна забивает мундштук...

Александр Солженицын



Роман

584

Александр Иваныч вернулся в Петроград сильно усталым, даже надломленным. После четырёх дней тяжёлой поездки, и ведь внаклад на сердечный приступ, и воскресенья не было, уже второго подряд, — хотелось бы Гучкову не сразу объявляться в Петрограде, не тащиться в довмин, а тем более на заседание правительства, но понедельник пролежать дома как бы ещё не вернувшись: весь день лежать, набраться сил, удалить мысли, — а с утра во вторник в министерство.

Уговорился с адъютантом Капнистом, что тот будет в довмине наблюдать и звонить, если что. И поехали с Машей прямо с вокзала домой, на Сергиевскую, и сделал, как хотел: разделся и лёг в постель.

Маша была в заботе, и даже подчёркнуто, с твёрдостью: что вот он не обошёлся без неё в трудный момент.

Да, не обошёлся. Этот сердечный приступ обуздал его и наполнил смирением. Не только не было энергии продолжать с женой мелкую борьбу и доказывать свою правоту — но каким-то глохлым равнодушным слоем обложило всякие его залёты в будущее, всякие картины себя, ещё не старого, отдельно от тяжёлой жены. Нет уж, видно, как шло — так шло.

На столике лежала пригласительная карточка от Лидии, сестры Вяземского, — на литургию и панихиду 9-го дня в Лавру. На день, когда он уезжал в Ригу.

Ещё одно напоминание о вечности. Но живых — ведёт жизнь.

Однако покоя в постели Гучков не нашёл. Мысли, возбуждённые поездкой, не улегались, а дыбились, тревожно распирали. Бесповоротное снятие Литвинова с 1-й армии, уже решённое, — не ждало, надо было осуществлять. А по ходатайству своих молодых приближённых советчиков решил сразу снимать и Горбатовского с 10-й армии.

И — сколько ещё придётся их снять, двигаясь дальше к югу?

А ещё же — и Рузского снимать.

Брусилов — тот будет сотрудничать.

А Сахаров — куда годится?

Гучков постарался вернуть мысли в приятную сторону. Скорее заполнять эту ведомость генеральских аттестаций.

И приятно подумать, что́ за эти дни мог уже приготовить Апушкин, молодой военный беллетрист, генерал, назначенный перед отъездом Гучкова начальником управлений военно-судного и военного прокурора. Создать совершенно новые правовые начала в армии — это была гигантская и заманчивая работа. Военно-полевые суды надо решительно отменять, они сгустили в себе символ реакции, не вяжутся с образом свободы. И Гучкову, когда-то поддержавшему с судами Столыпина, — особенно неприлично. Не простят. По крайней мере, отменить вне театра военных действий. А лучше — повсюду.

Но на этих мечтах Гучкову не удавалось удержаться, а в голову, освобождённую от мельканий поездки, опять вплывало нерешённое само, на чём он тут его оставил. И всё было трудное.

Казанский Военный округ. Гучков распорядился тогда освободить генерала Сандецко-

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 4, 5.

го из-под ареста — но казанский Совет солдатских депутатов вновь посадил его, да на простую солдатскую гауптвахту и под усиленный караул. Теперь ехали из Казани или уже приехали уполномоченные Совета убеждать военного министра, что так надо, а он должен убедить их отпустить генерала. Не сегодня, так значит завтра предстоит эта беседа.

А ещё же — оставались без атаманов, отстранённых,— забайкальское и терское казачьи войска,— теперь же и туда простиралась компетенция Гучкова. Пока Гучков ездил или лежал — а войска были без атаманов. Ну в Терское, оказывается, поехал Караулов, может выберут его.

А занявшись казаками — нельзя было не задуматься о приказе: освободить их от наказаний, налагаемых атаманами. Всеобщие свободы надо непременно и поскорей распространять также и на казаков — чтоб отобрать их из мира насилия в мир свободы.

А эти, вгорячах навыбранные из солдат в офицеры? ведь их теперь так просто не разжалуешь.

А во флоте? Натворилось невообразимое: после убийства Непенина адмирал Максимов по сути не был назначен ни Гучковым и никем, а избранный матросами в минуты бунта, так и остался, нагло. Не был назначен — но и сместить его теперь Гучков не смел: при нынешней обстановке в Балтийском море вполне могло стать, что, как лёд сойдёт, Максимов приведёт эскадру и просто возьмёт Петроград в матросскую власть. Уж лучше не трогать.

И продолжал же висеть над Петроградом и над всей Россией так и не решённый вопрос об отдании чести. Совет депутатов честь отменил, министр промолчал, поливановская комиссия разрабатывала,— а каждую минуту на улицах сотен городов встречались военнослужащие и — отдавали честь? не отдавали? как же?..

Тем временем звонил из довмина граф Капнист.

Один раз: что всё — ничего, но разные люди очень ждут. У полковника Туган-Барановского важный новый проект, обсудить. Полковник Туманов вернулся из Ставки — доложить обстановку. (Да, это Гучкову надо слышать: полковник должен был посмотреть на Алексеева глазами Гучкова. Об Алексееве-то важнее всего было Гучкову иметь суждение, принять решение.) Потом: эти два дня тут ожидал барон Врангель, начальник Уссурийской конной дивизии, у него письмо от генерала Крымова, но — лично министру, отказался передать в другие руки.

— Так это очень важно! Я готов принять письмо. Шлите его ко мне!

— Сейчас как раз его нет: рано утром был — ушёл.

Вот, и Крымова проездил...

Потом: привезли из Москвы арестованного Мрозовского. Пока, в ожидании министра, поместили его в Мариинском дворце, под отдельной охраной.

Ну пусть пока. Сразу не сообразишь, на всех времени не найдёшь.

Ещё: привезли арестованного командующего Иркутским военным округом. Ну, завтра.

Пока всё. Не прислать ли газет за время вашей поездки? Есть кое-что отмеченное. Ну, пришлите.

Как нужен был бы один покойный день! Не было.

Привезли газеты. Читал лёжа.

Прочёл своё воззвание об угрозе Петрограду. Набатно звучало.

Своё воззвание вместе с Алексеевым.

Несколько правительственных воззваний.

Своё воззвание против шпионов. Совершенно необходимое: военная контрразведка чувствует себя разгромленной, все и везде подозревают полицейский сыск, не стало возможности работать. А Финляндия, после снятия пограничной жандармской охраны, наводнена немецкими шпионами.

И сюда же затёсана была большевицкая «Правда». Неужели и эту гадость должен был министр читать? Да, большая отметка красным карандашом.

Прочёл, обожжённый обидой. Звали — не верить военному министру, развязно и даже бессмысленно нападали на его приказы. И даже — на приказ о немецких шпионах. Ну, это уже чёрт знает что! Как же иначе вести военное министерство во время войны?

И не отвечать же «Правде»!..

Но Гучков сильно расстроился. Где были эти большевицкие газетчики, когда Гучков громил великих князей, громил Распутина, а его травили с верхов? Где они были, когда Гучков писал громовые открытые письма и составлял тайный заговор?

И так писала «Правда»: «в армии всех старых начальников должны сменить революционеры». С каким безумием это пишется? Сменить — да, но почему революционеры?

Да что! В газетах и лучше было! За эти дни был напечатан неизвестно кем составленный, не прошедший военного министерства, какой-то шальной проект создания особой «Петроградской армии»: «Увековечить ту огромную роль, которую сыграли войска петроградского гарнизона в уничтожении старого режима... Из всего петроградского гарнизона составится отдельная армия в несколько корпусов с постоянным квартированием в Петрограде. Всем частям будут присвоены навсегда отличительные названия, свидетельствующие о роли, которую они сыграли в историческом моменте. Нынешние запасные батальоны будут развёрнуты в полки...»

— Вот эта недоученная рвань? — Гучков расхохотался через мрак.— Ах вот что! И как же они будут вести военные действия? Какой же это стратег придумал?..

И всё это — минуя военного министра?

Да, воистину ещё не было такого военного министра в России! Чтоб о подобном проекте узнавал из газет...

Да... Бразды надо забирать потвёрже.

Опять позвонил Капнист: генерал Крымов сам прибыл в Петроград!! Телефонирует и спрашивает: когда военный министр может его принять?

Вот отлично! Это — конквистадор!

— Скажите генералу: через час, если он может. Я буду в довмине.

Старый соратник. Единомышленник. Сила! Он и поможет сейчас наладить.

И у самого откуда бодрость! — быстро одевался. Крымов — это замечательно! Это — первый и важнейший сейчас в армии человек.

По-настоящему, надо теперь Крымова — одним смелым махом назначить на Верховного! Только так и делаются великие дела. В Алексеева — Гучков не верил. Он боялся его уступчивости в любом неконтролируемом направлении. И ощущал в нём противодействие своим реформам. Но и — снять Алексеева сейчас невозможно, слишком много изменений в короткий срок, всё зашатается. Поэтому идея: пусть Алексеев пока исполняет должность Верховного, а назначить к нему начальником штаба — Крымова.

Крымов был из тех генералов, которым всё не попадается, не попадается дела по плечу.

ДОКУМЕНТЫ — 26

Ставка, 13 марта

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ,
французская военная миссия при Ставке

Считаю своим нравственным долгом во избежание тяжелых последствий от недомолвок высказать с откровенностью... Переживаемое Россией внутренне-политическое сотрясение... Запасные части внутренних округов пришли в моральное расстройство и не могут дать укомплектований раньше июня-июля.

...посмотреть прямо в глаза событиям и сказать с необходимой откровенностью, что можно рассчитывать на наше широкое участие в операциях только в июне-июле.

ДОКУМЕНТ — 27

Псков, 13 марта

ГЕНЕРАЛ РУЗСКИЙ — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

...Состояние Балтийского флота внушает опасение, поэтому правый фланг Северного фронта и подступы к Петрограду являются необеспеченными... Это заставляет меня просить вас усилить войска Северного фронта, передав сюда до четырех корпусов...

585

Сколько лет ни поживал Крымов в Петербурге, с перерывами,— то юнкером Павловского училища, четверть века назад, то учась в Академии Генштаба, то служа в Главном штабе,— никогда не мог он к нему привыкнуть, не мог полюбить. Куда б ни переводился служить — в Сибирский корпус, на японскую войну, в Даурское урочище в Забайкальи, в кубанскую казачью дивизию,— везде чувствовал себя при месте, и сердце раскрывалось. А подъезжал опять к Петербургу — заклятыми болотистыми низменностями, дрянными фабричёнками, настроенным домовым хламом, где лучше было удавиться, чем жить,— и всякий раз та же смертная тоска подступала.

Нельзя было поставить города гиблей.

А в этот раз поездка была и вся мрачная, от начала до конца. Если б Крымов и не выехал с живого фронта, о который уже ударило несколько накатов тления, и если б даже он не знал русского языка, не понимал бы ни слова, что вокруг говорилось и писалось на

плакатах,— одним своим намётанным глазом и даже только через окно вагона — от Кишинёва и до Петрограда, на все эти распущенные шинели, оружие не по форме, развязный вид и красные клочья,— он бы понял: начался небывалый развал всей воюющей армии. Но и вся сила развала в том, что никто не смеет ему противоречить, а все поддакивают. А ещё и сегодня довольно на эту слякоть всего лишь двух хороших дивизий, но — в лоб. Одну из них — прямо в Петроград.

А у Крымова, вдруг принявшего Третий конный корпус от графа Келлера, было таких дивизий три, все конные: Уссурийская, Терская казачья и 1-я Донская казачья. И все они стонли — свободные, в резерве Румынского фронта, не было трудности снять их с места — а только по железной дороге долго везти.

Получив вызов Гучкова, Крымов не сразу мог ехать, по шаткости дел в штабе корпуса после отставки доблестного Келлера. (Видя такой бесполезный исход, сам Крымов присягнул новому правительству.) Однако он послал вперёд с письмом Петра Врангеля, только что произведенного в генерал-майоры, только что получившего Уссурийскую дивизию,— редкого умницу, делового, схватчивого и бойца. В том лично тайном письме Крымов предупреждал Гучкова, что каждый день сегодняшнего образа действий погубляет всю армию бесповоротно. А Уссурийская дивизия за 2 часа может быть погружена на Петроград. Довольно Гучкову дать телеграмму условной фразой — и дивизия грузится.

Но не дождавшись телеграммы, Крымов уже ехал и сам, мрачно изумляясь на станциях, до чего довели русскую армию за две недели, как если бы был понесен основательный разгром от немца.

Приехал в Петроград сегодня утром и в гостинице узнал от Врангеля, что Гучкова эти дни не было в городе и письма передать не пришлось.

Долговязый живоглазый подвижный Врангель однако навидался за три дня в Петрограде и резко докладывал Крымову о здешнем бардаке. И что делается на улицах, и что в казармах, и что в военном министерстве, в поливановской комиссии и ещё в этой отдельной Военной комиссии, неизвестно по какому уставу приляпанной. Прошёлся Врангель по коридорам Таврического дворца, видел нашлёпки на комнатах Совета рабочих депутатов и сами лица повидал в коридоре,— Крымову и ходить не надо, с живых слов.

Крымов курил и бычился. Он горячился и бранился, когда дела и так и сяк. А когда оправдывалось худшее — сугробился и молчал.

Позвонили, что Гучков назначает в довмине.

Поехал Крымов без Врангеля, с Гучковым говорить на один. Прислали автомобиль, тот прыгал по нечищенным снежным колдобинам. Стоял серый, тучемутный денёк, к оттепели, такая погода в этом городе и неделями может стоять.

С прошлого года они не виделись. Входя в чёрной черкеске с одним Георгием в кабинет Гучкова, Крымов насмешливо щурился: не напялил ли тот военный мундир. Нет, хватило ума, в штатском.

Вышел Гучков навстречу к самой двери кабинета. Бодрился голову держать приподнято,— а глаза-то за пенсне — опухшие, отекшие, сильно помятый вид, при самом свежем воротничке.

Не похоже на торжество, как заливались газеты. (Впрочем, ни одной газеты, ни страницы, ни статьи Крымов никогда не дочитывал, покидал как порченую еду.)

Тряхнул ему руку умеренно, душу не вытряхнуть.

С того прошлого толка о заговоре — были они на «ты».

И не устал Крымов — а уж так устал, плюхнулся в мягкое кресло раньше. Гучков в другое кресло сел осторожно. Подали им крепкого чаю с баранками.

— Болеешь, Александр Иваныч?

— А что, видно? — печально улыбнулся.

— Что за напасть, будь ты трижды, сколько раз замечал: как человек сильно нужен — так болезнь.

— Креплюсь, Александр Михалыч. Что-то сердце пошалило.— (А у самого белки жёлтые.) — Ну, зато ты — глыба.

— Эт фигура у меня такая. А то и я... Ну да в общем.

Нервы и у Крымова есть.

Сразу полстакана крепкого, горячего, сахар не доразмешав, отхватил Крымов, избочился на Гучкова — и:

— Дело-то, Александр Иваныч,— дрянь!

— Ну не так уж,— отпивал Гучков глоточками и сил набирался.— А — что именно у вас?

«У вас»! Что на Румынском да на Юго-Западном, мог ему Крымов и ворох накидать: везде выбирают солдатские комитеты; от Временного правительства едут какие-то комиссары — на кой ляд они в армии; Киевским военным округом командует Оберучев, в своё время изгнанный из 37-й артбригады за неблаговидные поступки; одного командира дивизии вызвали в Петроград и тут арестовали, что ли,— за то, что послал приветственную телеграмму жене Михал Алексаныча; вся дезертирская дрянь теперь может на фронт возвращаться безнаказанно и над своими товарищами похихикивать, что они, дураки, служили; командир запасного полка прислал в боевую дивизию телеграмму: «счастлив сообщить, что присоединились к новому правительству».

— Какое мне дело, дурак, до твоего счастья? Ты мне присылай обученные укомплектования.

Лезла в голову и на язык всякая чушь, да пока ехал — одною чушью и просмаливался всю дорогу. А только не туда хотел его Гучков свернуть: у в а с, он спросил, что?

— Не у нас, а у в а с! — баснул Крымов.— Верней так, что: приказ № 1 издан у в а с, а немцы его через проволоку забрасывают у н а с. Так вот: с кем мы воюем? Если немцы заодно с Советом, и правительство с Советом, а мы правительству присягаем,— так кто за кого воюет?

И смотрел на Гучкова литым дураком.

А тот перетирал пенснишко:

— Алексан Михалыч. С Советом — сложные отношения. Сложное положение. Так сразу не объяснишь.

— Да что объяснять? — Откусил Крымов полбаранки и вторую половину стакана залпом выпил.— Получила сволочь свободу — вот те и объяснение. Что это — Совет депутатов? Самозваная кучка прохвостов. Кто их — звал? Кто их — звал? Да полезли туда тыловые, хлам, который войны не видел. Вот эти ж самые депутаты — всю войну и пропрятались в Петрограде, почему они не на фронте? И — как вы, правительство, даёте вами распоряжаться?

Гучков прихлопывал пальцами по своей коленке. Он дослушал гулкое раздражённое бурчанье Крымова и стал ему терпеливо объяснять голосом комнатным, приготовляясь к беседе долгой:

— Этого, Александр Михайлович, в пять минут никак нельзя объяснить. И тем более это непонятно с фронта. Временное правительство сформировалось уже после Совета депутатов и в сложном к нему отношении, и в зависимости от него. В те анархические дни Совет депутатов вообще мог не допустить нашего правительства. Мы только постепенно укрепляемся, опираясь на благоразумные слои общества, базируясь на успокоении публики, рассчитывая на здоровые чувства нашего народа и прежде всего на патриотизм. И все творческие силы мы стягиваем к делу. И вот поэтому я вызвал тебя.

— Да какого чёрта?! — налился Крымов, не слыша или не понимая.— Есть уставы, есть военное начальство,— какого чёрта они вмешиваются в отношения офицеров и солдат? Как вы это можете допускать? Вы — правительство! — Он кричал так, будто старшим по должности был здесь.— А теперь, я читаю, у тебя какая-то «комиссия», две дюжины из петроградских учреждений, а армейских — полдюжины, и то нестроевых,— и они отменяют дисциплинарные права начальников? Замечание — могу сделать, а наказать — не могу? Значит, солдат не выполняет распоряжения — будем через неделю суд затевать? Вы... кого дураков строите — себя или нас?

Не перенимая от Крымова раздражения, однако уже волнуясь, Гучков объяснял со штатским разведением, переплетением, выворотом пальцев:

— Алексан Михалыч! Свержение царизма — это эпоха. Это не просто смена Верховного Главнокомандующего. Обновляется вся страна, обновляется армия. Свободам — неизбежно распространиться во все сферы жизни. В конце концов, в этом и был смысл переворота. Ты не можешь не разделять этих чаяний и симпатий. Мы же вместе с тобой обсуждали переворот — ради чего?

Крымов полез за кисетом — вспомнил — достал серебряный портсигар и папиросу «Осман». Нежная долгая папироса в его большом закусе была как спичечка.

— Я — про династию нет. Я — не про династию. Хотя в Туземной дивизии плакали об отречении. И в Третьем корпусе продолжают считать наследником Алексея: Михаил — только регент, и не мог отрекаться. Ладно. Но так прыгать, никакой конь не прыгнет, как вы Россию хотите. Свернём голову все. И сама Россия.

Преодолевая крымовский тон недружелюбия, Гучков говорил всё мягче и приятельней:

— Александр Михайлович. Я знаю твой нрав. Я знаю, как ты крут. Но сейчас положение — такая нежная ткань, её не порвать надо, не разодрать, а — постепенно наращивать до крепости. Это — большое умение надо. Мы в правительстве все стараемся. У каждого сложно. А у меня, может быть, сложнее всех. Сейчас — две возможных линии: давить комитеты? или с их помощью оздоравливать армию?

— Давить! — пророк медведь-генерал. Он был на 10 лет моложе Гучкова, но грузностью набирал возраст.

А тот — уговорительно:

— Мы же этого и боялись — революции. Мы же и хотели её обогнать. Но не вышло. Но нельзя же теперь Россию бить по спине за неудачу. Ну, как получилось. Конечно, во время войны революция — это кошмар. Редким государственным деятелям достаётся такая задача. Я — не военный, перед тобой не строюсь,— и мне особенно трудно. Я только и рассчитываю на помощь друзей, и твою — в первую очередь. Я вызвал тебя, Алексан Михалыч, вот зачем, ты может быть догадываешься...

Голос Гучкова приобрёл некоторую торжественность, и уже поэтому легко было догадаться. Но Крымов, откурив, сидел совсем неподвижным бессмысленным широплечим обалдуем.

— Я вызвал тебя — чтобы предложить тебе пост... Начальника штаба Верховного!

Почти нельзя было вообразить генерала, который бы мог тут не вздрогнуть или не покраснеть. Но Крымов — может быть потемнел, а так и сидел высеченным камнем.

— Понимаешь, Алексеев... Ты сам говорил всегда, что он не настоящий воин. И я согласен. Он был хороший начальник штаба, прикрываясь именем царя и при его безмозглости. Но самостоятельным Верховным и в новой, шаткой обстановке он быть не сможет. Я назначаю тебя для того, чтобы ты постепенно всё перенял в свои твёрдые руки. А потом поднимем тебя и на Верховного.

Крымов и командиром корпуса — только-только становился, ещё не утверждён. А от корпуса до начальника штаба Верховного — три хороших ступени, даже пять очередных. Взлёт — какой и бывает только в революцию.

Ну, выдержка! Он и сейчас не пошевельнулся и не покраснел. Но Гучков только улыбнулся этому слегка. Он испытывал к этому громоздкому истукану дружественность и благодарность: нигде никогда не дрогнул. Не подвёл. Не предал. Сидел в Карпатах с конями без фуража, без патронов, без хлеба,— отдавал себя под суд, чтобы спасти дивизию. Шёл на государственный заговор без колебаний. И сейчас! Залюбоваться. Какая силища! Пока такие генералы в нашей армии есть — ничто не страшно, и — можно быть военным министром!

А вот что: Крымов — голосом сразу схрип. Он заговорил не своим басом, но каким-то громыхающим хрипом, лишь постепенно прочистило:

— Вот что... Я — одной Уссурийской дивизией в два дня тебе расчищу Петроград от всей этой депутатской сволочи. Может, крови немного прольём — а может, и не прольём, потому что силы у них — никакой, организации нет и храбрости. Пока они сил не набрали — сейчас их и чистить.

Военный министр откинулся в кресле и шатнулось пенсне на его носу, едва не сбросилось.

— Да ты что? Да ты!.. Нет, ты просто совсем обстановки не... Или ты не понимаешь — что такое революция? Республика?

— Да мать её ..., республику! — как подземно прогрохотало в Крымове.

Не без жалости посмотрел Гучков на эту глыбную голову на широких плечах: какую жестокую узость полагает армия всем людям, любому самому толковому. Арестовать Исполнительный Комитет — ну, такая мысль у самого Гучкова в первые дни мелькала. Но — разгонять вообще всю революцию?

— Да ты что, Александр Михалыч! — он тихо возражал, ему даже, кажется, страшно было, что эти слова произнесены в его кабинете.— Да у тебя представление о демократии есть?

А Крымов смотрел со своей идольской непроницаемостью.

Смотрел и удивлялся: как же он с таким хлипаком собирался идти на государственный переворот? Откуда он приписал ему военные качества,— что три раза стрелялся на дуэлях, да в юности побывал в Трансваале? Да разве можно было на него серьёзно покладываться? Да как же они не разговорились раньше: одного ли, единого ли они хотят?

Крымову несомненны были в том, что он выложил, польза и спасение России. А эти помешанные на демократии — отдавали Россию под публичный дом?

Открываться Гучкову дальше — даже и не следовало. Поостеречься.

Ну, только в последний раз:

— Всё-таки, может,— спросишь своё правительство? Посоветуйтесь там? Я могу в Петербурге — дня два подождать. Потому что действовать — сейчас момент. А потом — будет поздно.

Как ни грозно и горько, но Гучков ещё усмехнулся, улыбнулся, вообразя, что бы сделалось с Временным правительством, если бы предложить ему такое на заседании: князя Львова бы расплющило, Милюкова хватил бы апоплексический удар, Некрасов бы нагнулся для укуса исподтишка, а Керенский штопором взвинтился бы до потолка и потребовал арестовать Гучкова.

— Нет, Алексан Михалыч. Я в правительстве — единственный человек, кто может от тебя такое выслушать — и не применить репрессий.

Однако, он был и жестоко озадачен: если у Крымова такие замыслы и хватка — как же можно ему отдавать Верховное Главнокомандование?

Гучков уже усумнился, уже жалел, что так сразу предложил, не расщупавши, положась на прежнее доверие. Он искал теперь запасной ход, оттяжку. Он не назвал прямо ведь времени назначения — и тут можно было поманеврировать.

— И я тебя очень прошу: пока подойдёт твоё назначение — ты ни с кем и нигде подобного... Ты прими сдержанность за правило...

— Что? — спросил Крымов.— Какое назначение? Да если вы депутатов себе на шею посадили — так неужели я от вас назначение приму? Нечего мне с вами и делать. Этакое мне — не по душе. Ты лучше — своё окружение расчисть, у тебя шваль собирается. Уеду в корпус сейчас же.

Гучков опять пожалел. То слишком быстро приобреталось, а то слишком быстро терялось.

— Ну, зачем же так сразу отказываться? Подожди, подумай. Поживи. Поговорим.

— Не. Не,— хриплым дыханием отвечал Крымов.— Нечего делать. Завтра же уеду.

— Куда ж ты уедешь? — усмехнулся Гучков.— Это — бегство. С э т и м — бороться надо. От э т о г о не уедешь. Оно к тебе и в корпус придёт.

— В Третий Конный?! — рявкнул Крымов.— Да я первую же солдатскую депутацию нагайкой встречу.

— Нет, нет, погоди. Я тебя так не отпущу. И в крайнем случае ты должен будешь мне кого-то посоветовать. Подумай несколько дней.

— Да мне и думать нечего. Тебе — демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги — в аккурат такие, как у вас.

586″

(п р е с с а о К е р е н с к о м)

...Его первый вздох почти совпал с последним вздохом первомартовцев. Его первое воспоминание — смутный ужас, охвативший Симбирск, когда узнали о казни Александра Ульянова, сына местного инспектора народных училищ.

...Любовь к народу клубилась в его честной груди — и он примкнул к социалистам-революционерам.

...У филёров он числился под кличкой «Быстрый». На ходу вспрыгивал в трамваи, они поспевали за ним на извозчике.

...Все думские каникулы посвящал объездам провинции. Приехал — облетел всех, шутками, рассказами пробудил, спрыснул живой водой. То — как-то стих, углубилась мучительная складка между его бровей...

...В октябре 1916 в Саратове прочёл публичную лекцию с разоблачением Прогрессивного блока. Аудитория положительно дрожала от грома рукоплесканий. «Демократия уже идёт! Я отчётливо слышу шаги народа!»

...Его речи — моментные, но всегда общего характера... Его тактические предложения всегда носили отпечаток государственной мудрости.

...Он представляет интересы огромного крестьянства.

...Оратор Божьей милостью. Роковой. Одержимый словом. Избранный судьбой, историей, человечеством. С трагической печатью на челе. Такие люди рождаются в героически-порывные эпохи. Становятся вождями народов и делают историю.

...Предтечи отливаются из того же металла, что и сами революции.

...Перед выступлением волнуется до спазм в горле. Бледнеет, втягивает и вытягивает шею, глотает воздух как рыба без воды. Первая его фраза — всегда громкая, короткая как выстрел. Потом — короткая пауза. Потом — бурная страстная речь... его слова летят с быстротой частиц радия.

...Слова его — не придумываются заранее, не слагаются в красивые звучные фразы, не имеют заученной интонации, не сопровождаются прорепетированными жестами... Но внезапно родятся как молнии, льются бурным потоком, звучат музыкой сердца. Они — только пенистая оболочка честной мысли, только тигль для расплавленного чувства...

...Керенский — пророк революции. Пафос его безыскусственных слов создаёт детонацию в душах толпы, взрывает незримые залежи энтузиазма.

...«Приходят слова — спешу сказать, потому что другие теснятся, выталкивают. Когда говорю — никого не вижу, ничего не слышу. Аплодисменты входят в сознание толчками, действующими как нервные токи. Вообще всё время чувствую нервные токи, идущие от слушателей ко мне. Всё время в груди — горячие волны. Оттого голос вибрирует, дрожит. Выражений не выбираю. Слова свободно приходят и уходят.»

...Особенность его психики — нервная чуткость к политическим событиям, доходящая до предвидения их.

«...под живым впечатлением вести о вашем назначении министром группа петроградских трудовиков с гордостью вспоминает, что именно она 6 лет назад... Уже тогда оценив ваше мужество, вашу беззаветную преданность интересам народа, вашу готовность к самопожертвованию... Вы пер-

вый поняли, как обязана Дума ответить на указ о её закрытии. Вы не дали ей безмолвно сдать позиции и смело призвали её отдать себя под защиту готового к восстанию народа, чутким выразителем которого вы явились за эти вавеки незабвенные часы...»

...Смелый неукротимый борец-депутат, имевший мужество ставить все точки над «и». С ещё большим мужеством он принял на себя власть министра юстиции и тем самым, быть может, избавил Россию от ужасов гражданской войны.

...Совет рабочих депутатов устроил ему овацию, какой не видели стены Таврического дворца со дня его основания.

...Отныне стало историческим: «Я не могу жить без народа. И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне,— убейте меня!»

...Крик благородного раненого сердца первого свободного гражданина свободной России...

...Человек, которому доверяет вся русская демократия. Стал глашатаем и вождём её.

...в него влюблена Русская Революция.

...Его имя — синоним красоты, чистоты и ясности нашей «улыбающейся» революции.

...Переживаемая русская революция — зарево мирового революционного пожара. Наша революция обязана рождать мировых людей-героев. Героями такой революции не могут быть *не* социалисты, *не* представители мировой демократии.

...Первый раз войдя как министр в своё министерство, первое, что он сделал,— пожал руку швейцару. Это было так ново, неслыханно,— разнеслось по всему Петрограду.

...86 человек в приёмной, не считая депутаций. На лестнице давка, в дверях не протолкаться. Керенский ежедневно отрывает от своего времени час-два, чтоб обойти эту длинную очередь... «Сперва депутации! — предупредил Александр Фёдорович.— А уж потом деловые посетители.»

...Вот — депутация социалистов-эсперантистов с пятиконечными звёздами в петлицах. С бесконечным терпением, с каким-то особенным участливым вниманием, свойственным только ему одному, выслушивает Александр Фёдорович приветственную речь (для успехов демократии необходимо ввести в учебные заведения курс эсперанто). В сущности, министр отказывает им, но эсперантисты уходят утешенные и очарованные.

С безропотным взглядом он встречает депутацию от партии анархистов — в чёрных блузах, с чёрными галстуками. Они явились не с просьбой, а с требованием. Керенский с осторожной мягкостью напоминает им о Кропоткине. Их требование решается компромиссом, они уходят удовлетворённые.

Туркестанская делегация — сарты в тюбетейках, текинцы в чудовищных шапках из чёрной овчины. Керенский немедленно удовлетворяет их просьбу.

Представителю уезда делает мягкое внушение, что ввели у себя «сверхреспублику» и не выполняют распоряжений из центра... Трудно быть министром революционной России, не завидуйте ему...

...На приёме сотрудников заявил: «До сих пор эта высокая обязанность превращалась слугами старого режима в издательство над правом... Даю вам слово, что когда я оставлю пост министра — ни один злейший враг России не осмелится сказать, что во время управления Керенского право и законность оставались пустым словом. Моя программа коротка для изложения и титанически громадна для осуществления...»

...Семижильный он? Старый режим оставил Монблан несправедливостей. И теперь, когда можно открыть клапан — тысячные толпы устремились к Керенскому, именно к нему! Пришла одна дама и жалуется, что муж хочет бросить её...

Теперь вы представляете, какую гигантскую работу делает гражданин Керенский? Не только днём принимает — и ночью. Необходимые приёмы назначаются в 11, 12, даже в час ночи. Доклады ближайших сотрудников происходят за завтраком, за обедом и даже у постели министра. Рабочий день в 16 часов кажется ему недосягаемым идеалом. Революция не щадит своих любимцев, она жжёт пылающие факелы с обоих концов.

...Не жалея, сжигает себя на громадной работе. Явился в министерство, устало сел и сказал стоящим в почтительности чиновникам: «Простите, но я две ночи не ложился.»

...Нередко ночует в министерстве, чтобы с раннего утра приступить к текущей работе... Сколько работает Керенский? Точнее сказать: 24 часа в сутки за вычетом, что нужно урвать на сон, на еду, лишь бы не упасть на ходу. В огромных покоях из-за каждой колонны ещё выглядывает призрак Щегловитова. Трудно поправить, что тут наделали за несколько десятилетий. «Керенский идёт!» Вот он появляется с обычно усталым лицом. На нём — всё та же куртка, знакомая публике.

...В зал входит — нет, вбегает — господин среднего роста, бритый блондин, коротко стриженный, в рабочей чёрной куртке. Он весь — порыв, непосредственность, страсть. За ним едва поспевает молодой адъютант, офицер с аксельбантами. Гром аплодисментов! Это — наш Керенский! Он — на эстраде, гром не умолкает. Властный трибун! Он любит толпу — и любим ею.

...Его великодушное, насквозь проникнутое благородством, корректное отношение к побеждённым врагам.

...Фотографии не в силах передать его. Выражения и даже цвет его лица быстро меняются от душевных переживаний: стареет и молодеет, темнеет и светлеет — в зависимости от фактов русской революции.

...О последнем покушении на свою жизнь забыл рассказать даже своей жене Ольге Львовне. И когда она деликатно упрекнула его — сказал: «Всего не упомнишь. Ведь это пустяки. Теперь так много стало сумасшедших».

...Митя Алимов, обласканный в семье Керенского, обнаружился в Саратове как провокатор. Дал телеграмму министру юстиции: «расстреляйте, раскаялся». Керенский ответил: «Если можно — освободите, он в своей совести найдёт свой суд.»

...Когда говорит — часто опускает глаза. Будто углубляется в себя и в горячем сердце находит прекрасные слова, и в душе, чистой и пылкой, чреватые событиями мысли... Он скажет историческое слово, и слово это запомнится летописцами.

...Когда он говорит — жутко смотреть на него. Он говорит как сомнамбула, полузакрывает глаза и словно глядит внутрь себя, словно прислушивается к тайному внутреннему голосу. Этот невидимый голос есть голос революции. Революция служит Керенскому нимфой Эгерией.

(«Русская воля»)

...«Со сторожами здоровался за руку!» — изумлённо шепчутся чиновники Сената о Керенском. Его чёрная куртка резко выделяется на фоне сенатского великолепия... Министры все поднимают правые руки и стройным хором повторяют за сенатором Врасским слова присяги правительства. Затем подписывают клятвенное обещание. Для Керенского не остаётся места на этой стороне листа — и он «перевёртывает новую страницу истории».

...Кристально-чистый, честный, искренний, мягкой души, скромный и деликатный до застенчивости. Страстный самоотверженный борец за народное счастье, ничего для себя, всё для народа,— умеет заглянуть в самую душу его, всколыхнуть своими речами всё таящееся, великое и святое, слиться с народной душой в творческом процессе... Наш гражданин-кузнец, выковывающий республиканскую Россию.

...Есть что-то в его характере, пылающем и прямом, что даёт веру его словам. В него вложено чувство природной справедливости. Пусть она трепещет в нём, пусть она кричит, а не говорит.

(В. Розанов, «Новое время»)

...Министр правды и справедливости. Первый народный трибун-социалист, народный друг. Символ нашей благородной революции. Тысячи людей несут к нему свою радость. Незабываемая любовь пылкого сердца России...

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

...Его образ всенародно опоэтизирован.

...Стал красным солнышком русского народа.

...Его имя должно быть золотыми буквами высечено на скрижалях истории. Если бы не он — мы б не имели того, что имеем.

587

Отец сегодняшнего капитана Василия Фёдоровича Клементьева был крепостной в Новгородской губернии. Подростком научился он самоучкой читать, писать и четырём действиям. Помещик сдал его в рекруты как неженатого. Всем им, рекрутам, приёмщики обрили полголовы, чтоб не сбежали, а сажая по телегам, ещё забили ноги в деревянные колодки и заперли колодки на замки. Так началась служба Фёдора Клементьева царю-батюшке.

Через сколько-то лет он свалился с коня на учении и стал годен только к нестроевой. Тогда отправлен в команду нижних чинов бобруйского военного лазарета, где за грамотность назначен фельдфебелем. Тут женился он на мещанке из города Игумена, домашней прислуге со следами оспы на лице, и пошли у них девятеро детей, из которых трое умерло во младенчестве. Местились же они тогда в казематном казарменном помещении крепостного госпитального здания, в комнате на два окна и разделённой перегородками на четыре клетушки. Оттуда и помнил Вася своё детство.

Уже позже отец, после 25 лет сверхсрочной службы, был уволен в отставку с золотой медалью «за усердие» и тысячью рублей пособия и сумел купить на комендантской мызе дом в четыре окна. Сам же стал сторожем в банке с жалованьем 10 рублей в месяц, но имел при вешалке чаевые. Год переезда на новую квартиру особенно запомнился Васе ещё тем, что в те месяцы было всенародное радование в честь преподобного Серафима Саровского, все заказывали его иконы, а в день прославления — 19 июля, никто не знал, что это годовщина будущей великой войны! — несли иконы в храм, как куличи на Пасху, со слезами пели «преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!», а заодно с тем любили и императора, чей портрет душевно был вывешен едва ли не в каждом доме — таких, как семья Клементьевых.

Вася окончил церковно-приходскую школу, потом начальное, потом городское училище, освобождён от трёхрублёвой платы как из семьи обременённой и за то, что хорошо учился. Старшие сёстры тем временем выходили замуж, старший брат кончил юнкерское училище, а перед Васей, как перед каждым юношей, все пути ещё были равно темны и возможны. Товарищ по городскому училищу Айдик Лившиц увлёк его в нелегальный кружок. Кружок назывался «Самообразование», но всем членам выдали оружие, Васе — стальную дверную пружину, на одном конце приварена свинцовая шишка, так что легко убить человека. В том же кружке был и сын жандармского вахмистра — да и годы были самые революционные. Был у них и «технический вождь», товарищ Абрам. Партийные встречи они устраивали под видом вечерних гуляний на главной улице Бобруйска между двумя знаменитыми аптеками. А одна их сходка в еврейском домике, вросшем в землю, была окружена. С улицы стали жандармы, они бы арестовали, но зады оцепили городовые — и туда, измешивая весеннюю грязь, козий и человечий навоз, кружковцы выбрались и были добродушно пропущены городовыми. Вскоре арестовали двоих из военно-фельдшерской школы, по городу пошли пересуды о «социал-изменщиках», мать нашла васину гирю,— и он должен был отнести её назад товарищу Абраму, который был возмущён отступничеством. Так, лишь случайно, не пришатнулась васина жизнь к революции. И ещё, лишь по знакомству, удалось ему получить свидетельство о благонадёжности, без которого не открылся бы путь в юнкерское училище.

Расширенные экзамены требовали и физики, и алгебры. В Вильне, в Духовом монастыре, идя на экзамен, Вася истово молился перед ракой мучеников: ведь родители не могли его дальше содержать, но сами ждали помощи. (И в том же монастыре молился он, когда, успешному портупей-юнкеру, ему от простуды отказал голос, и его хотели списывать в отставку.)

Первый раз войдя в казарму, он задрожал от батальных картин на стенах — Восемьсот Двенадцатого и балканской, а одна была картина как проверка духа: старший фейерверкер Миронов стоял, одну руку на пушку, а над ним хивинец с занесенной шашкой: пленный Миронов отказался учить их стрелять, и сейчас его зарубят. А ты бы отказался?

За училищные годы Клементьев сжился с тем, что есть, что помнит, что несёт в себе русская армия,— и ко дню производства монаршей милостью в подпоручики, уже дики ему казались свои другие неизбранные пути. Даже и женитьба его перед войной была событием как бы посторонним, а единственно главная была — военная служба, с отцовским старым самозабвением, под началом Верховного Вождя Армии.

Оттого-то полученная на днях бумага об отречении Верховного Вождя жгла ладонь как головешка. Смертоносная бумага. Это была потеря — больше чем близкого любимого человека, а — на ком всё держалось. Знали: *там есть*,— и спокойно выполняли свой долг. У капитана Клементьева текли слёзы по щекам, только никому не показанные.

В чём совсем он не слукавил — не притворился не только радостным, как командир дивизиона, как некоторые офицеры,— но даже равнодушным. Он так откровенно и видом являл и говорил солдатам вслух, что разразилось над Россией горе и ждут горя ещё худшие. И никто из солдат не позубоскалил, не усмехнулся — но уважали его, что, вот, он верен остался царю, а не спешил выпередиться к новым порядкам. (Его все солдаты крепко уважали со Скроботовского боя, когда он сорвал противогаз отдавать команды — и долго потом ходил травленый.)

За минулую неделю как будто совсем заглохла всякая боевая и даже служебная жизнь — только что кухня приезжала дважды в день да раз сводили солдат в баню. Клементьев понимал, что службу упускать нельзя, но даже самого себя ему нужно было вынуждать на службу и догляд наблюдательного пункта, и орудий, и передков, и резерва,— внутри всё было отбито и ничего не хотелось. И со стороны немца замерщего ничего не происходило — ни выстрела за неделю. И тем более пропала вся служебная охота у солдат и даже фейерверкеров. Хотя неповиновения никто никакого не выказал, и прежним тоном солдаты привычно здоровались по-старому «здравия желаю ваш высбродь!», а заметив недовольный взгляд на свою появившуюся расхлябанность: «Это, господин капитан, я так неприбранный потому, что иду за надобностью.» Но и каждая лишняя затяжка пояса и продёржка шинельной морщи под ним так же должны были начинать им казаться лишним делом. Всё могло поползти и уже поползало — да держался порядок на фейерверкской спайке.

Без Государя станет армия — не та, не та. Такую армию построить — нужны столетия. А развалить — ничто не долго.

Особенно мучило Клементьева, день ото дня даже больше: как он мог так легко дать новую присягу? — смахнуть прежнюю как не было.

Как зашлёпался.

Но великий князь Михаил Александрович прямо призывал всех подчиниться временному правительству. И генерал Алексеев и генерал Эверт признали эту власть. И великий князь Николай Николаевич. Однако, вот не стало вдруг ни Эверта, ни Николая Николаевича,— а присяга уже дана безвозвратно, а свою душу капитан Клементьев уже повязал.

Пришёл юмористический журнал — и в нём карикатура: как два венчаных брата откидывают скипетр и корону, никто не хочет принять.

Неуважительно — а ведь так... Стыдно.

И на вечерних молитвах уже не пели «Боже, царя храни».

Думал про Государя: а как он теперь? Что, вот, делает сейчас? Ему-то с такой высоты низвергнуться — каково? И знает ли, сколько верных ему осталось в армии? Но все рассыпаны — и ничем Государю не помочь.

Ощущение было — сломившейся жизненной оси.

И ещё новое тревожное ощущение: что солдаты куда-то уходят своим настроением, как схлынывает вода. Клементьев привык солдатскую душу чувствовать близко.

И — аппетита не стало, совсем уж болезнь. Денщик приносил уговаривал:

— Ешьте, ваше высокоблагородие, ещё наголодаемся.

Отодвигал молодой капитан:

— Не хочу, ешь и моё.

От стола крестился на иконку малую в угол.

Денщик ворчал:

— Теперь, как помазанник под караулом,— тоже и морду не всякий перекрестит. А там — и кресты нательные поснимают. Коли воевать больше не будем — так на что мол они?

Начальник телефонистов бойкий старший фейерверкер Теличенко пришёл взять телефон на осмотр. Тоже звал «высокоблагородием».

Усмехнулся Клементьев:

— Зачем порядок нарушаешь? Господин капитан.

Отмахнулся Теличенко:

— А мы на старую благородию валимся, как приучены. «Господином» обзывать — как-то и язык не выворачивается.

Сам ли думал, или поддавал в тон капитану:

— Всё! Теперь подалась наша Расея — а куды? Теперь замест того, чтоб немца колотить, мы как бы один другому не наклали.

— А — по чему судишь? Что заметил? — насторожился Клементьев.

— А как же иначе? — уверенными пальцами подгонял проволочки под клемму заменного телефона.— Столько мужиков без дела собралось, да если немца не бить — кого-то же надо?

Тоже верно.

— Сейчас мы — как пьяные стали все. А накричимся, намахаемся — так может и в чувство воротимся?

Вздохнул по-старчески капитан с лёгкими молодыми усиками:

— Да, Теличенко. Ни думать, ни говорить не хочется. Кто-то за нас надумал и сделал.

Взял фейерверкер телефон под мышку — да действительно проверять надо было или он предлог искал?

— А вы, вашвысбродь, всё одно отдыхать не лягете, по вас видно. А приходить к нам на батарею. Вместях сподручней и вам и нам разобраться.

И тронуло и резануло Клементьева это «к нам», так и занозилось после его ухода. Они — звали. Им, и правда, хотелось и потребно было от своего привычного капитана услышать, что к чему. Но — к н а м уже отделяли они. Уже несомненно было для них, что протянулся какой-то шнур разделительный: мы — и вы.

Но и Клементьев же хотел — поближе к ним. Но и он — без них существовать себе не мыслил. Батарея была — одно его детище. Нельзя было допустить, чтоб отречение Государя разрубило их.

А тут вскоре пришёл,— из батарейного резерва прикатил на бричке,— фельдфебель Никита Максимыч. Пахнуло от него движеньем и решительностью: он и скрывать не скрывал, что новые порядки осуждает и доброй руки к ним не приложит. С ним было как со своим, даже своей, чем с молодыми офицерами, тем же Гулаем: сейчас они все офицеры, а в студентах, небось, прокламации раздавали.

Угольная борода Никиты Максимовича, укороченная, но буйно густая, не старила его, а молодила, ещё больше выражала его привычную власть. На большую теперь кручину, сидеть и вздыхать, у него не было времени и терпения. А приехал он вот с чем:

— Что ж, ваше высокоблагородие, войны нет, а лошади у коновязей обамуниченные, маются. Иному коньку и соломки подстелешь, попонкой прикроешь — а стоит, не лягет. Уж ноги в наливах, голова к земле гнётся, а стоит. Потому — амуницию сознаёт. А дозвольте — разамуничить? Хоть на дённую пору?

Лицо у него было набрякloе, грубое, даже разбойничье,— а лошадиные боли первее чувствовал.

— Да ведь, Никита Максимыч, теперь-то пехота и ненадёжная стала, теперь-то и побежит? Не успеем орудия взять.

— А без лошадей остаться — лучше?

— Но до сих пор не оставались?

— Так то война была...

Да, вот как... Б ы л а...

Не решился Клементьев сам, доложит командиру батареи. Но вскоре после ухода фельдфебеля подумал: а лошади-то не отделялись на «вы» и «мы». А сходить-ка их посмотреть.

Пошёл пробитой тропочкой в обгиб леска. Где соступал сапогом в тропочку — там подавался снег пружинно, сжимался. Стоял серый оттепельный денёк, к концу.

Но до лошадей не дошёл. Уже видел их, под временным навесом, сколоченным из абы чего, в хомутах, с закинутыми на спину постромками, терпеливых боевых лошадок, в сером свете нерезко различались масти. Но сбоку, из большой землянки ездовых, дослышалось Клементьеву протяжное пение. Пение — как в сказке: из-под земли, от закопанных братьев. И такой звук — бесконечно тягучий и душевно родной,— как силой повернуло Клементьева туда.

Пели во много голосов, и так сильно получалось, что и при закрытой дверке проступало сквозь дерево, солому и землю. И ещё мелодии не узнав, ни слов,— а уже понял Клементьев, что малороссийская. Столько соединяющего тепла было в распеве,— как лилась бы целебная бальзамная смазка между словами, вылечивая и в безнадёжности. А распев — медленный, как облака, плывущие по небу солнечному да над пшеничным полем.

Никакой другой музыки, кроме пенья церковного да народных песен Клементьев сроду не понимал. Ничто были ему все эти граммофонные пластинки, как любили офицеры, с ихними писклявыми романсами и раскатами фортепьян,— проходили, совсем не задевая душу. А когда мальчиком он пел в церковном хоре бобруйского собора, то выступали они с концертами и светского пения, там певали они и песни народные,— да и летними вечерами ученики собирались петь под плетнями, на крутом берегу Березины. (Дико вспомнить: помощник соборного регента внушал им петь: «Россия, Россия, жаль мне тебя! Царь Николай издал манифест: мёртвым свобода, живых под арест.»)

И сейчас это пение протяжное, как сама живая жизнь,— так и тянуло сразу за внутригрудье, тянуло своего к своим.

На солдат ли обижаться? Разве они рады этому петербургскому перевороту? Разве они звали его или делали? Да они сами растеряны, не знают, куда руки деть. Они если дерзить начинают — так пробуют, как всякий новый предмет хочется расщупать.

«Сейчас мы как пьяные.»

Но все вместе закинуты на дальний передний край против врага. Но всем вместе тут или стоять или погибнуть. Разве можно нас разделить?

Капитан Клементьев спустился по земляным ступенькам, одетым в жердяник, тихо отворил дверь. Она пригораживалась печью, и входящий не был сразу заметен, да и внутри совсем серо, да и не обернулись. Двое ближних солдат у нетопившейся печки заметили — шевельнулись будто команду подать, но и тоже не охотно, со святостью к песне,— Клементьев остановил их рукой. И так застрял в тёмно-сером углу. Да он уже со ступенек узнал песню, не в самих словах и дело было, а в душе:

Край берега по затишку привязани човны.
А три вербы схилилися, мов журятся воны.

Ездовых в землянке была дюжина. Почти все лежали навзничь на земляном возвышении, заменившем общие нары, одетые, в сапогах,— и все подпевали, свободно зная песню, но всем голосом выражая несмерно больше, чем могли передать слова:

Як хороше, як вэсэло на билим свити жить.
Чого ж у мэне серденько и млие и болить?..

588

Как в страстные часы отречения разительней всего было Государю услышать об измене Конвоя — так в эти первые дни плена всю царскую семью горше самого плена мучило сознание — измены верных. Кого считали верными. Флигель-адъютанты. Светлыми, долгими, радостными годами считали их верными — а они отпадали даже в первые минуты опасности.

Ещё на ходу царского поезда спасал себя и свои чемоданы Мордвинов. Ещё с царскосельского вокзала, даже не заметили когда,— скрылись Нарышкин и герцог Лейхтенбергский. Отстал ещё в Ставке Граббе. Но больней всего пришлась измена Саблина — почти родного, почти члена семьи, обязательного на тесных семейных карточках, милого любимца всех детей.

Ждали их, ждали день за днём, хоть кого-нибудь. Спрашивали по утрам у Бенкендорфа: «Не приезжали?..» Он качал старой головой.

А потом: «И не приедут, Ваше Величество!»

Эти последние дни ещё оставался, но не скрывал своих терзаний заведующий делами государыни граф Апраксин. Сегодня и он прощался, так бессмутительно и выражая, что его обязанности перед собственной семьёй не разрешают ему оставаться в арестованном дворце. И ушёл навсегда.

Но ведь у Лили Ден был оставлен и брошен маленький сын, и она вовсе не обязана была по службе, лишь по дружбе и верности разделила все тяжкие дни с государыней, а теперь осталась и среди арестованных, удивительная душа! Кажется — чужой швейцарец, Жильяр — добровольно заперся с пленниками.

Совсем рядом, в лицейском здании, тоже обращённом в тюрьму, томились — и не было сил им помочь — захваченные начальник дворцового управления Путятин, начальник дворцовой полиции Герарди, генерал Гротен, генерал Ресин, командир корпуса жандармов граф Татищев, подполковник фон-Таль и ещё несколько. Их не кормят, не дают постелей, они лежат на школьных партах и на полу. Их всех арестовали в ранние дни — и теперь, по измене других, что можно было думать: и из них отпал бы кто-нибудь, продлись его свободный выбор?

Эти грозные дни распахнули перед царской семьёй до сей поры непредставимые глубины человековедения. Крушились, но и возрастали в этом суровом опыте. Как же они, глядя в глаза, слушая речь,— так могли ошибаться в людях?!

И любимый духовник их величеств — отец Александр Васильев,— тоже не шёл на зов во дворец. Тоже отшатнулся? (Говорили и: болен.)

А боцман Деревенько — пестун и нянька наследника, обласканный, засыпанный подарками, всегда верный как пёс, теперь мог, заставали его: развалясь в кресле, приказывал наследнику, едва вставшему из постели, подавать себе то и другое.

«Половина Ея Величества» — остались на месте почти все, от камердинеров до низших слуг. «Половина Его Величества» — рассеялись почти все. Остался верный камердинер Чемодуров.

О Господи, Ты один, ведающий души людские,— открой же нам, научи же нас: видеть суть людскую.

И — прости им отступничество их...

Никогда б не ушёл Григорий — и вот лежал поблизости,— но и мёртвого выкопали, осквернили, увезли.

А уж обо всех великих князьях — что и говорить? Они всегда были первые враги царской чете. Теперь многие — и в газетах поносили, ища расположения публики. И даже Павел — дал пошлое газетное интервью. И, живя по соседству в Царском,— от момента ареста не пытался связаться.

Впрочем, связаться с арестованными теперь и не легко. Узникам запрещены телефонные разговоры, аппараты остались только в караульном помещении. Туда же доставляются все письма и телеграммы, все вскрываются — после чего их вручает новый комендант Коцебу,— как раскрытыми же принимает и все письма от царской семьи. (Но этот ротмистр оказался очень сочувственный человек, даже просто хороший,— и немало писем вручил и отправил закрытыми, отправлял и телеграммы, иногда украдкой передавал и сообщения, полученные по телефону.)

Охранный гарнизон действовал по инструкции, разработанной до поразительных деталей. На положении арестованных состояла и вся придворная прислуга — повара, лакеи и вся челядь, лишь внутри помещений имея право свободного перехода и исполнения обязанностей. Докторам ли, механикам — право входа (и потом в сопровождении) и выхода каждый раз с разрешения дворцового коменданта, остальным — только с разрешения Временного правительства. Дежурный офицер просматривал каждый стебель приносимых цветов, папиросную бумагу, в которую они завёрнуты. Вскрывались и истыкались банки с маслом с петергофской фермы, а булки и печенья лишь потому избегали этой участи, что их пекли в кондитерской дворца. (Впрочем, перерывался то один продукт, то другой, то даже картофель, а гофмаршальская часть обращалась к комиссару по делам бывшего Собственного Его Величества Кабинета с просьбой не прерывать доставку молока больным детям бывшего императора.)

Посторонних лиц не впускали во дворец без разрешения правительства, но революционные солдаты — развязные, вызывающие, могли сколько угодно бродить по дворцу, потому что внутренних постов не было. Они всё хотели видеть — комнаты, вещи (и воро-

вали многое, особенно серебряные ложки), требовали показать им наследника, едва не ломились в комнаты больных детей, во все комнаты, приходилось запирать двери, высказывали обо всём беззастенчивые замечания, бранились с прислугой — зачем одеты в ливреи, зачем слишком ухаживают за царской семьёй, зачем слишком сильно кормят и почему несут вино. По вестибюлям, коридорам, парадным залам они ходили в шапках, куря, шумно, вид их был страшен, собственные офицеры боялись их,— да во 2-м гвардейском стрелковом полку и сами офицеры оказались ужасны, ни одного кадрового, всё какие-то зелёные прапорщики.

Но и снаружи успевали они набедить: в парке стреляли по козам, застрелили трёх оленей, полуручных. Одного — совсем близко, и долго кровь бурела на снегу у пруда.

Самого революционного Петрограда, самой революции царская семья так и не повидала — но эти развязные солдаты, ещё недавно лейб-гвардейцы, убеждали довольно.

И чтобы меньше было столкновений и расстройств — все приняли: буквально выполнять распоряжения коменданта и охраны. С полным спокойствием и покорностью (как военный человек) относился ко всем строгостям экс-Государь, не высказав ни разу упрёка, ни даже когда приходилось у запертой двери ожидать по 20 минут конвоя и ключа.

А государыня замечала — ещё, кажется, менее его и всех. От момента возврата супруга отпало ей быть главной воительницей, да и сломлена она была минувшими десятью днями. Теперь она всё более сидела в кресле у сына или у дочерей, часто уйдя в свои неприступные мысли.

На прогулки Николай каждый день ходил с обергофмаршалом Василием (его называли Валей) Долгоруковым — на час, на полтора. Вчера и сегодня стояла серая оттепельная погода, не очень приятная. В парк ходить воспрещалось, но для прогулок оставлена была часть сада, отделённая замёрзшей канавкой. Особенно любили — расчищать от снега дорожку вокруг лужайки, друг другу навстречу. Иногда при этом Николай помахивал рукой своим, смотрящим в окна. Полукружьем стояла цепь часовых. Каждому, к которому приближался, государь говорил «добрый день». Одни вовсе не отвечали, другие — называя полковником, третьи — «Ваше Императорское Величество». Что творилось в их шинельных грудях? Что держалось в их головах? И офицеры вели себя по-разному: одни (из студентов) наседая почти на пятки и окрикивая «полковник», другие сторонясь отчуждённо. Офицеру каждому Николай протягивал руку для пожатия. Одни принимали, другие — неловко прятали руку. Иногда расспрашивал их, из каких они военных училищ. Один ответил, что — Виленского. «Да,— похвалил государь,— у виленцев развито чувство товарищества. Хорошее училище.»

Да что ж было на них обижаться? Так ли и об этом ли нужно было думать? В одно утро посмотрел Николай в окно — и увидел часового, спящего сидя, а винтовка валялась рядом в снегу. И смех и слёзы. Что же будет теперь с нашей армией? Как же пойдёт она в своё последнее наступление?

А Николай — так надеялся на нашу победу именно в кампанию Семнадцатого года!

Ах, лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, всё остальное — неважно!

Отходили ноющие удары — от ареста, от первого приёма здесь, от смотрин. От голого стыда развенчанности, от своей беззащитной доступности. Не задевали мелкие оскорбления младших офицеров, обманутых солдат. Это всё они совершали — по неведению. Вот, звали «полковником». Думали, что унижают? — ничуть. Николай и не мог сам себе присвоить звание выше, чем успел дать ему отец.

Раз отречение было необходимым для счастья страны — как же было ему сопротивляться? В те дни — жгло, и была досада на многих, и была попытка взять назад,— а вот за несколько дней, как с потерей последней внешней свободы спала и последняя ответственность,— Николай уже и не досадовал. Уже и не жгло.

Он радовался — что кровь не пролилась. (Если где и пролилась — то вопреки его воле.)

Вот за эти три-четыре дня в родном Царском Селе — в этом дворце он родился, о любил его, золотое же заточение! — к Николаю вернулась ясность духа — и смирение. Ничего больше он не мог исправить, никуда его не тянуло, не рвало,— все свои государственные обязанности он кончил. Сдал. Уже никто не мог придти к нему с докладом, иногда досадливым, или с трудным предложением, смущающим ум, не надо мучиться с выбором. Всё своё — Николай сделал и кончил. Что мог — он сделал, и как мог лучше. И не надо больше наряжаться, переряжаться. (Влез в свои чиненные-перечиненные военные шаровары, которые были у него с 1900 года, Николай любил старые вещи.) Теперь, свалив с плеч все бремена, да жить своей семьёй. Милостивый Господь дал нам всем соединиться вместе!

Бенкендорф доложил, что, по всей видимости, они останутся в Царском Селе надолго. Приятное сознание! А сколько времени теперь — читать, для своего удовольствия или детям вслух. Николай понемногу сидел то у Аликс, то у детей, особенно — у Алексея.

Очень озабочивали только их болезни. Алексей, слава Богу, перенёс корь легко и без осложнений. Две старших тоже вполне выздоравливали, ещё уши болели. Но Мария, продержавшаяся рядом с матерью самые опасные дни, теперь окунулась в корь едва ли не всех тяжелей: перекинулось и на уши, и дало злокачественную пневмонию. Около неё собирали консилиум (власти разрешили, но — дикая грубость — чтоб и тут при осмотре присутствовали офицер и два солдата), а милый доктор Боткин, добровольно заточившийся, был рядом всегда. Анастасия же — почти поправлялась, вдруг опять заболели уши и тоже воспаление лёгких. Сегодня сделали ей прокол уха.

Пошли, Господи, пошли, Господи, только бы выздороветь всем.

Семья жила вся в левом крыле дворца, выздоравливающая Анна Вырубова и некоторые из оставшейся свиты — в правом. Иногда собирались по вечерам для чтения, для музыки,— тут, в царском крыле, иногда шли навестить Бенкендорфов или то дальнее крыло — и Николай катил Аликс в кресле. И это был немалый путь, через протяжённость дворца! — ещё сколько пространства у них не отняли. Уютно было натопить камин — и в такую сырость сидеть в тепле и укромности. (Правда, жаловался Бенкендорф, что всё меньше выдают дров.)

А ещё была комната во дворце — биллиардная, всегда запертая, ключ у Николая — потому что там висели военные карты.

Кому же теперь они?..

Всё ж — Николай пошёл туда раз и, запершись, был с картами один,— смотрел, смотрел в тоске на корпуса, двинуть которые от него уже не зависело.

Перед картами он привык слышать ровный говорок Алексеева. Вчера сыну разрешили встать из постели — и сегодня отец повёл его сюда. И сам ему объяснял немного.

Теперь пришлось не посетить храмовый праздник Фёдоровского собора. Но к минувшему воскресенью хлопотали отслужить литургию в переносной церкви дворца — чтобы разрешили пропустить священника с дьяконом и четырьмя певчими. Разрешили, но подвергли их строгим формальностям и придиркам на пропуске. Собрались, кто на ногах,— семья, свита, прислуга. Так радостно было, что и в новых обстоятельствах не остались без службы. И молился Николай — за победу русской армии.

И слышал опять в ектенье не своё имя, но: «богохранимую державу Российскую и — благоверное правительство её». И — крестился истово, и — молился за Временное правительство: пошли им, Господи, этого благоверия, пошли им успеха в управлении Россией.

Он всё готов был им простить, он — уже им всё простил, лишь бы они спасли Россию!

Первыми с Аликс приложились к кресту, отдали молча общий поклон собравшимся — и ушли.

После того ночного, неоправданного, злого визита Гучкова к Аликс — никто из членов нового правительства не ехал в Царское, не высказывал намерения свидеться с отречённым государем. Их на то свобода. Они не нуждались ничего перенять, ни о чём посоветоваться. Но бывший государь был отеснён дебрями непонятности. Что будет с ним и его семьёй? Что будет с верными лицами свиты, давшими добровольно себя заточить — но не навсегда же? Что будет с прислугою и служащими? — их сто восемьдесят человек, иные здесь целыми семьями, у других семьи вовне. И — ещё, ещё. Наконец: что будет с дворцовыми гренадерами, этими седыми ветеранами, изувешанными крестами и медалями за все войны, начиная от крымской? Не выбросят же их теперь на улицу?

Но не только не было ответов на все вопросы, а даже не разрешала цензура отправлять письма Бенкендорфа, касающиеся частного императорского имущества.

Наконец, Николай сам обратился к Коцебу — передать просьбу, чтобы приехал посетить — кто же? — либо князь Львов, либо, очевидно, всё тот же неизбежный Гучков?

А пока внешний мир отвечал императорской чете только — газетами. Газеты проходили свободно. Раньше кроме «Русского инвалида» и «Нового времени» Николай не брал их в руки, он испытывал к ним брезгливость. Но сейчас и он и Аликс с интересом и с болью на каждой странице — смотрели и смотрели эти гадкие газеты, по нескольку разных за число. Странно, и остро, и обидно, и жутко было видеть своё прошлое и настоящее, и само нынешнее общество в этих неожиданных, резких, извращённых боковых лучах. И не газеты крайних революционеров занимались этой травлей — но газеты *общества*. Общий хор ненависти, глумления, поношения, проклятий — всей царской эпохе, династии и низверженной чете — уже даже не так поражал Николая и Аликс, этим пронизано было всё. Но укол мог прийти с самой неожиданной стороны: вот, читали они, что английский атташе Нокс, столько раз принятый государем не только официально, но за столом,— вот, в субботу посетил казармы 3-го и 4-го лейб-гвардейских стрелковых полков — тут, в Царском Селе, рядом,— и как ни в чём не бывало, как ничто не изменилось, будто государь, союзник Англии, не сидел арестованный в версте от того места. Постеснялся бы...

Что говорят и думают о громовом низвержении династии, о громовых русских событиях за границей — особенно больно и остро затягивало. Приходили, по подписке, иностранные журналы, приносили сейчас и их — но их номера опаздывали, ещё далеко отстояли.

Приносили в газетах и портреты новых министров. Долго и беспристрастно рассматривал их Николай: кому тут можно доверить? кто из них может возглавить Россию, не найденный вовремя им самим?

Из тех же газет узнавали и о своей судьбе: князь Львов открывал биржевому корреспонденту, что удаление династии из пределов России не вызывает сомнения, и всё будет решено в короткое время.

Вот как?..

Сидели с Аликс — грустно. Ближайшим образом это не было долгое путешествие: всего несколько часов поездом до финляндской границы, единственное препятствие — Петроград, если выступят крайние левые партии (грозятся и убить). Ближайшим образом это давало им как будто свободу и независимость,— но подлинные ли? В гостях у Георга — стеснять его перед его левыми, и быть стеснёнными самим, как гостям.

И нельзя жить гостями, надо жить на свои средства. А у нас они теперь потаяли, 20 миллионов ушло на госпитали. А за границей ничего у нас нет, на что нам там жить?

Да и — что значит жить в изгнании отречённой императорской чете? Путешествовать по Европе — как высочайшим особам, давая собой материал для иллюстрированных журналов и быть предметом атаки американских корреспондентов? Страшно этой дешёвой популярности.

Конечно, Аликс хотелось повидать Дармштадт: там умерла её мать, там жила её сестра, Дармштадт ей дорог.

Коцебу, очень доброжелательный и лояльный, посоветовал государыне — написать королеве английской, чтобы та позаботилась о ней и её детях. (Один англичанин брался передать.) Аликс встрепенулась и ответила: «После всего пережитого нами мне не к кому обращаться с мольбами, только к Господу Богу. Английской королеве — мне не о чем писать.»

И потом объяснила своим: «что же писать? Я изранена поведением России, но не могу говорить против неё».

Это — они, английская чета, должны были давно написать первые, хотя бы выказать сочувствие. Выразительно их молчание.

Такая мелочь — упала русская династия...

Николай всегда очень любил своего двоюродного брата Георга, забавлялся внешним сходством с ним. Не так-то он хотел ехать, но обидно, что Георг не отозвался, не посочувствовал. Неужели не мог прислать телеграмму?

Но если и ехать в Англию — то как бы потом, после войны, вернуться в Россию?.. В Крым.

Алексей — так любит Крым. И Крым — так ему полезен.

Но если ехать в Англию — какая грандиозная укладка вещей, страшно подумать!

А вот почему революционные партии так против нашего отъезда: они боятся выдачи каких-то мифических тайн.

От этого предположения у Николая загоралось лицо: эти низкие господа судят сами по себе. Хуже — его не могли оскорбить. Но это — писалось в газетах и внушалось всей России.

Не тайны — но интимную жизнь, но детали жизни государевой четы готовы были вырвать и вынести на базар. Газеты писали, что в Царском Селе будет производиться выемка бумаг государственной важности — для следственной комиссии.

Государственной важности — пусть берут, это теперь — их. Но того, что писалось между собою, что хранилось как воспоминания хрупкие,— нельзя было отдавать толпе. Это угадала Аликс — ещё до возврата Николая — и начала жечь свои дневники, письма. Однако в каминах нарастали кучи бумажной золы, это вызывало подозрения. А с этим надо бы спешить!

Подтолкнул ещё судорожный летучий обыск, устроенный в суматохе по дворцу: пробежали по всем комнатам, ничего толком не глядя, но всюду заглядывая. (Потом Коцебу сказал, из чего был переполох: искали — кто-то донёс — что во дворце работает телеграфная беспроволочная станция.)

И Николай с первого же дня, как работу совершая, стал проглядывать и жечь из личных бумаг такое, что неприятно было бы увидеть в революционных газетах.

И так он наткнулся на письмо генерала Василия Гурко, присланное ему уже после отречения.

Странно, ведь он читал его в Ставке, всего неделю назад, но в тот момент принял — как должное, как обычное в его долгом царствовании выражение верноподданства. Потом сунул в общие бумаги.

Но столько изведал он за минувшую неделю — измен, лжи, притворства, низости — что теперь письмо Гурко засверкало перед государем алмазно: ведь он писал это письмо п о с л е отречения, когда всё уже было бесповоротно объявлено. И — писал: что отречение было движимо великодушием! Что память народа — оценит это самопожертвование монарха. (О Господи!) И что Алексей ещё, может быть, вернётся на престол. (О Господи!)

А кончалось — так преданно, так верно,— Николай теперь зарыдал над письмом.

Какие же верные люди были около него, совсем рядом, и уже вся армия была вручена этому неутомимому блестящему отчаянному генералу! — и зачем же было его отставлять — да в самые последние роковые дни — он и был генерал для тех самых дней — и возвращать больного, маловерного Алексеева? — из одного лишь неудобства отказать ему в его посту.

А — что ж было тёмного между ними? Ах, вот: Гурко, будучи в Петрограде, посещал Гучкова.

Не настоял послать крепкий гвардейский полк на стоянку в столицу? Но, воинственный генерал, он дорожил каждым полком на передовой. И Николай сам же нехотя на это поддавался, ему и самому это виделось как нарушение патриотического долга: отзывать гвардию в тыл в разгаре войны, стыдно.

И если Преображенский полк в февральские дни и стоял бы в Царском — разве государь посмел бы двинуть его на кровопролитие, русских против русских?..

Вспомнил, как великолепно Гурко провёл всю зимнюю конференцию союзников, как независимо! Никто не держался перед Николаем так дерзко — но и никто-никто-никто — не прислал после отречения такого верного письма.

Э т о г о письма государь сжечь не мог.

ДОКУМЕНТЫ — 28

13 марта

ГЕРМАНСКАЯ СТАВКА —
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин.

Никаких возражений против проезда русских революционеров в групповом транспорте с надежным сопровождением.

13 марта

ГЕРМАНСКОЕ М.И.Д.—
ПОСЛУ РОМБЕРГУ, Берн

Шифровано

Групповой транспорт под военным наблюдением. Дата отъезда и список имен должны быть представлены за 4 дня. Возражения Генерального Штаба против отдельных лиц — маловероятны.

589

Витебск и Полоцк уже прямо были связаны с Петроградом, и с этих станций солдат в поездах ещё увеличилось,— да не командами по служебным командировкам, не возвратных отпускников — но каких-то самовольных поездчиков, это проявлялось в чём-то, и была ли у них всех станция назначения и знали ли они, куда ехали и зачем,— сомнительно. Теперь не стало им нужно брать билеты, шли в любой вагон,— отчего и не ехать?

От Витебска увидел и понял Ярослав хуже: не те солдаты оскорбительны, кто расстёгнут, чести не отдаёт, курит или семячки лускает,— а кто перепоясан, да только офицерской шашкой и офицерским револьвером. Или ещё хуже: сверх шинели, как солдаты носят Георгия, прицепил себе офицерский орден Станислав с мечами, да накривь, с поболтом,— и таких два-три мелькнуло на пересадке в Полоцке.

Это всё приходилось грозно понять: сорвали с офицеров, не подарены же.

То он всё ехал и мучился от стыда, что не смеет заступиться за своих соседей по купе, мучился, но и понимал, что он один не может изменить сломившегося общего положения. И вспоминал, что эти все солдаты — сами не виноваты, что это — наши младшие братья, которым не так объяснили.

А вот — с холодком почувствовал и себя самого под угрозой.

А на станциях не только жандармов не стало — но и комендантских пунктов как будто.

И вот что на полоцком вокзале он заметил с удивлением: на такую увеличенную массу солдат стало офицеров совсем мало, куда меньше, чем их должно быть обычно: то ли не ехали вовсе, избегали, попрятались? То ли — представить нельзя — ехали, но переодевшись?..

Такого унижения для себя Ярослав бы не пережил.

На пересадке в Полоцке он сам поволок свой чемодан — но вдруг вывернулся невысокий веснушчатый скромный солдатик и сказал:

— Ваше благородие, вам ить неловко, дайть, я перенесу!

Солдатик оказался как из своей роты, совсем родной, не тронутый общим хамством. (Да и все такие, лишь бы им очнуться, напустили на них пьяного мороку!) Он же помог Ярославу и сесть на вилейский поездок.

Тут уже и все вагоны были 3-го и 4-го класса, но прежде — да три недели назад, когда Ярослав ехал в отпуск,— на отдельных вагонах была надпись — «офицерский». Теперь такой таблички он нигде не увидел.

В вагоне, куда попал Ярослаа, было много народу, да все места заняты — и поперечные, и продольные, вдоль прохода, тут не разложишься, не ляжешь нигде, кроме верхних полок, а те уже захвачены солдатами и мужиками,— но лежать и не предстояло, через несколько часов надо было слезать на пересадку.

При посадке мелькнуло ему несколько офицерских погонов, не старше штабс-капитана. Но в самом вагоне как сел и отпустил помогавшего веснушчатого солдатика,— ни одного офицера вблизи себя, вокруг себя, на просмотре — не видел Ярослав. Сидели — солдаты, мужики, бабы. Шинели, тулупы, поддёвки, свитки, чуйки — деревня и мелкогородская публика из недалёких мест,— а офицероа как вымело, как будто не на фронт шёл поезд, не залегала рядом громада действующих войск.

В иное время и представить бы лучше не мог Ярослав, как ему попасть, в самую гущу простого народа. Но сейчас он не в себе, напряжённо сидел, с сомнением и томлением. Хотелось ему скорей бы, скорей бы к себе в часть.

Разговаривали все сразу в разных местах, но звонче всех были солдаты, их больше и слушали.

Один солдат, с наянливой игрой голоса, самодовольно рассказывал, как в Петербурге повидал всех самых крупных бывших людей — и Штюрмера, и Протопопова. Да как же это ему удалось? А он — сам их арестовывал.

Публика вся обратилась к нему, онемела даже.

— И — какие ж они?

И — мог бы сбрехнуть парень, да не сбрехнул. Наслаждаясь своим приговором:

— Да люди обнакновенные. Да я — покрасивше их.

А наискосок, у прохода, сидели два матроса гвардейского экипажа, неизвестно зачем-почему ехавшие в эту сторону, на сухопутный фронт. Не уступая ловкому солдату, стали и они рассказывать, голосом на четверть вагона, а на остановке и дальше слышалось: как они плавали на царской яхте «Штандарт» и подглядывали в каюту Александры Фёдоровны, когда у неё офицера были в объятиях.

Старый высокий мужик в продранном тулупе, в объёмистых валенках, насочавших влаги, на все рассказы только крестился:

— Гос-споди, Иисусе Христе! Гос-споди...

Яхту матросы называли правильно,— но уж так ли они плавали па ней? а всё остальное! — врали в духе этих недель, как установилось. И долг офицера и просто порядочного человека требовал бы от поручика Харитонова — строго их осадить. Но ещё в Москве насмотрелся он пакостного «Московского листка», который и в худшем тоне и даже карикатурах вязал императрицу с Гришкой Распутиным, сажая государя дурачком под стол,— и вся русская столица, и вся образованная публика — видела и не возражала, а ухмылялись многие.

Нет, сломилось, повернулось что-то выше — и ничего не мог сделать поручик Харитонов, а только внутренне возражать. И только слушать дальше: что Гришка хотел помирить царя с немцем, а князья ему не дали, убили. Что теперешнее правительство хотело отпустить царя в Англию, и о том сносился царь с царицей шифрованными телеграммами, но Совет рабочих депутатов про всё то узнал, накрыл — и посадил царя с царицей за решётку.

А что государю и государыне пришлось за эти недели испытать, пережить, подчиниться? Уж трудней, чем Ярославу перетерпеть эти несколько часов в вагоне.

В каракулевой шапке и с короткой финской трубочкой, лесопромышленник или торговец, рассказывал, как на проеханной сейчас станции на той неделе арестовали солдаты жандармского подполковника, сорвали с него погоны — а сёстры из стоявшего па путях земского санитарного поезда разодрали те погоны себе на клочки — на память о прошлом режиме. А самого подполковника солдаты повели с собой в теплушку увезти прочь — и, ведя, не давали ему переходить через тоарные составы по тамбурам,— не, ныряй под вагоны, как мы ныряем.

И — куда его могли увезти в своей теплушке? Трудно воображалось, чтобы сдать властям. Уж не застрелить ли на перегоне и выкинуть через дверь?

За минувший день сам поражаясь своей ненаходчивости и неумелости, Ярослав представил, какая ненаходчивость должна сковывать вот так неожиданно схваченного человека — уже понимающего, что сейчас его будут расстреливать, и от этого особенно не могущего найтись, как же правильно вести себя, чтобы не расстреляли.

Уж недалеко было до Подсвилья, а там скоро и ветка на Глубокое. Казался полон их вагон — но во встречных поездах виделось ещё куда полней, и всё солдаты, в такой густоте, что и на площадках стояли,— откуда же и зачем столько их ехало, прочь от фронта? Столько их ехало, не проверяемых ни по билетам, ни по документам.

Получас за получасом шла вагонная жизнь — то покачка и постук, то остановка: то, при подаче назад, перебегающий лязг буферов, то, вперёд, натужный скрип тяг. Кто-нибудь бегал с чайниками за кипятком, разливали по жестяным и эмалированным кружкам, пили на столиках и на коленях, доставали снедь из мешков и рушали. В своём отделении все притерпелись к своему поручику, он не казался тут странным, лишним,— а как в своей части. Настроение было у всех самое мирное, разговоры растекались на своекожное, а о Питере, о царе, о революции и не вспоминали больше, и не говорил никто.

Но когда-то надо было выйти в уборную. Ярослав пошёл.

Не только обычной болтанкой поезд мешал идти, но нагорожено было в проходе и мешков и ног, выставленных и поперечных,— и не все подхватывались убирать их, а должен был Ярослав аккуратно обступать или вежливо просить.

Уже серело, к вечеру было, проводник поднимался к фонарям в перегородках, проверял, менял свечи.

А в узком тесном тамбурке перед уборной, где накурено было вовсе сизо,— вольно стояли трое крупных солдат и друг другу покрикивали сквозь грохот поезда. Может быть, они только всего, что курили или для вольности стояли тут,— но не мог Ярослав тронуть ручку уборной, прежде не спросивши:

— Вы... не сюда... товарищи?

А как было спросить? Ярослав любил говорить солдатам «братцы», но здесь бы это звучало заискивающе. «Товарищи»,— теперь все говорили так...

Высокий худой солдат, черноусый дядька хохлацкого вида, с подвижной мимикой, ссутулился через дым, наклонился к поручику, одну щеку перекосив, глаз прищуря, и крикнул — перекрикивая грохот поезда, самый сильный тут, над колёсами, да в маленьком тамбуре,— нет, просто крикнул на поручика:

— А-а-а! Вот он! А ну, сымай шашку, ваше благородие! И револьвер сымай! Сдать оружие!

Холодно-горячим исполоснуло поручика Харитонова, он вскинул подбородок.

Толчком к действию.

Но — какому? Уже нельзя ответить примирительно! Уж невозможно искать добрый тон!

Но — что??

И — не первому переступить непоправимую границу.

Как знакомый неотвратимый нарастающий подлёт близкого снаряда — вот, сейчас грохнет! И — ничего нельзя остановить!

Под ногами грозно стучало, унося наискось.

А второй солдат, который ближе стоял — с тупым невыразительным одутловатым низом безбородого лица,— без выражения и без крика, рта не раскрыв, сразу взялся за портупею, за косой ремень, на котором держалась офицерская шашка,— рвануть!

Во вьющуюся секунду Ярослав Харитонов как вывился из тела своего, уже попрощавшись с ним,— всё равно подошло прощаться, уступить нельзя, и что-то случится сейчас невообразимое. Вывился — в жалости к своей несостоявшейся молодой жизни, к этому глупому попаданию, к этому жалкому концу мечтавшегося офицерского пути.

И черноусый, нагнувшийся, не выказывал, чтоб шутку затеяли,— а глядел как разбойник.

Всего-то вот так предстояло ему кончить, сейчас! Кончить, потому что отдать оружия он не мог, и остаться жить после оскорбления — тоже.

Выхватить шашку было негде, разве только подбоднуть черноусого обушком,— но отбиться руками в тесноте от трёх здоровых нельзя — и отступить назад через прихлопнутую дверь опоздано — а ещё можно было выстрелить в одного.

И — не решив, не соображая,— сама проворная правая шмыгнула по боку расстёгивать кобуру.

Молодой — широкая челюсть, уцепясь за портупею двумя лапами, а ещё не рванув, сам себе загораживал и не видел.

А черноусый дядька заметил — и долгой левой перехватил правую Ярослава, вжался пальцами:

— А-а, гадёныш, кусаться?

Это — кто гадёныш, о ком говорилось? — не успевало вместиться в сознание.

Уже не хватало силы и простора — оба локтя упёрлись сзади в стенки — освободить руку при пистолете или спасти шашку,— а тут из дыма насунулся ещё и третий.

Это был сильно широкоплечий шароголовый мрачный боровок, и глазки маленькие, страшней тех обоих.

И от этого, как не от первых двух, понял Ярослав, что пощады ему не будет сейчас: свирепый этот, с кабаньим оскалом, короткими сильными руками — как будто в разведке на языка насунулся вот на немца.

И этот третий закричал яро:

— Стой! Стой!

Уж и без того стоял Харитонов, откачиваться некуда и не хотел. С презрением к этим трём неблагодарным тупым дуракам, растоптавшим всю его веру в русского солдата. Оставалось рук — не отдать шашку, не отдать пистолет, и то уже не хватало.

— Стой! — ещё лютей кричал кабанок.— Стой, не трогай! Это же — наш поручик, это свой!

И, совсем насунувшись Ярославу к лицу, как бить его хотел головой в подбородок, и перекрикивая грохот колёс:

— Ваше благородие! Да ты помнишь меня? Я — Качкин, Аверьян! Мы — из Пруссии выходили вместе!

И — спускаясь обратно в уже покинутое тело своё, возвращаясь жить в чести, Ярослав помягчевшими, послезевшими глазами снова увидел этого увалистого кабанка, коротко-ухого, как тот показывал над ямой, что копать будто не в силах:

— Качкин, вашвысбродь, по-всякому может! И ничего не докажете.

И его решительное лицо не выражало виноватости.

Ногн огорячились, отмякли, отпадали.

* * *

Все леса зашаталися...
(из песни)

590

Стать обер-прокурором Святейшего Синода (и показать им всем!) — заносился в мечтах Владимир Львов, когда хаживал, после университета, вольнослушателем в Духовную Академию,— но, конечно, никаких реальных шансов не было у него никогда. Пламенное сердце его, не мирящееся с несправедливостью, клокотало ото всех гнусностей, которые вершились в церкви. Но всё влияние его было — членство, а потом председательство в думской комиссии по церковным делам.

И не ждал он в наступающем году сотрясательного хода событий. Однако у себя в имении в Бугурусланском уезде под этот Новый год с семьёю запели «Боже, царя храни», наливая в таз с водой смесь белого, синего и красного воска ёлочных свечей (жена считала всякое гадание противоцерковным, но под Новый год у них разрешалось),— и вдруг почему-то, необъяснимо, вся вода в тазу сразу окрасилась в красное. Вздрогнули такому предсказанию. Столько крови прольётся?

И вот — пронеслась огненным вихрем великая революция, и новое правительство нуждалось кого-то назначить оберпрокурором — а никого и близко не было, хоть чуть касавшегося церковных дел,— и все взоры обратились на Владимира Львова, приехавшего из Бугуруслана на думскую сессию, вознесло его вмиг и на обер-прокурорство, и в члены правительства,— он благодарил Провидение за такую судьбу.

Ехал ли он теперь в автомобиле или в поезде, отмахивал ли длинными ногами по залам Мариинского или по коридорам Синода,— он так и слушал, как внутренне в нём отстукивало, сердце в груди и кровяными волнами в висках: обер-прокурор-Святей-шего-Синода!!!

Ну, теперь он расчистит это затхлое гнездо! Ну, теперь он пропишет всем идиотам и мерзавцам на митрополичьих и епископских местах!

Уже знал он, что в обществе стали его звать «русский Лютер», и ждали от него великого разгрома церковной рухляди,— и такая необузданность, ой, была в нём, ой, была! (Одна жена умела его сдерживать, но она осталась в Бугуруслане.)

Да, его принцип всегда был — взаимное невмешательство церкви и государства. Но этого надо было добиваться при царе. Это можно будет установить потом, при республике. А теперь, на первое время, надо переустроить Синод, излечить церковь от язв, от удушливой атмосферы,— а потом уже невмешательство.

Но в духе общих принципов революции, на первом же своём заседании Синода 4 марта Львов так и объявил духовным детям: отныне — Синоду полная свобода по делам церкви. Цезарепапизма больше в русской церкви не будет! И предложил тут же вынести из зала символически присутствующее царское кресло. Вынесли.

Сила положения Львова была в том, что все эти старцы полностью растерялись: не только не промямлили ничего в защиту царя, но распространяли отречение оглашением в церквах и поспешно снимали поминания царя из церковных служб. А ведь сколько могло бы быть конфуза и затора Временному правительству, если б иерархи упёрлись. Но Львов пригнул их властной рукою.

А первый, кого ему надо было вышибить,— митрополит петроградский Питирим, был в дни революции даже временно арестован, перетруханный отпущен домой, в Синод не являлся, связи его с Распутиным были известны,— вышибить его не представляло труда. Уволили на покой!

И не спросся Синода, Львов телеграммой вызвал на митрополию в Петроград уфимского епископа Андрея Ухтомского — первейшего умницу, реформиста, который хотел устроить приходскую общественную жизнь, и чтобы сельские батюшки умоляли сельскую интеллигенцию помочь священникам приспособиться к новым революционным формам жизни. Пока же Андрей Ухтомский ехал — во временное управление петроградской кафедрой вступил скромненький гдовский Вениамин, в котором Львов не предвидел сопротивления.

Однако он переоценил свою победу над Синодом. Да был слишком занят на заседаниях правительства, тут решался вопрос ареста царя, царицы, смещения Николая Николаевича,— когда же через несколько дней Львов снова явился в заседание Синода, на этот раз вышибать митрополита московского Макария,— то неожиданно встретил дерзкий бунт иерархов. Синод не только отказался отставлять Макария, но заявил, что желает воспользоваться благами объявленной свободы и отделения от государства и просит обер-прокурора не проявлять свою единоличную волю, а Синод решит сам!

Ах вот как?? 200 лет жили в дружбе с поработителями народа, были рабами бюрократии, 200 лет не вспоминали о свободе выбора, а когда революция им поднесла?.. Что ж они не вспоминали о своей канонике раньше?

— Да неужели у вас такая дерзкая мысль,— загремел на них Львов,— что до Собора вы станете вершителями церковных судеб? Да вы сами не каноничны, император выбирал епископов из трёх кандидатов. Если вы такие совестливые — откажитесь сами от своих мест! В чём гарантия, что вы будете управлять церковью лучше, чем я, Львов? А разве моя власть не от Бога??

Зароптали иерархи, что Церковь никогда не переживала такого давления.

— Так переживёте! — предупредил их обер-прокурор.

Быстро же перехватили святые отцы методы революции! Львов дал волю своему гневу,— а он страшен был в гневе, знал, чёрные брови его метались, как рога у быка. Он быстро им объяснил, что сперва прометёт метлою дочиста, как требуется,— а лишь потом будет у них свободная церковь! Да он всех их разгонит, вот что!

Но иерархи не обратились в бегство, не полегли, а подали — да заранее подготовленное! — коллективное прошение об отставке. И даже самые тихие, как гдовский Вениамин и литовский Тихон,— оказались среди бунтарей, чего Львов никак не ожидал: они были — не заядлые, они были не распутинцы, их никто и не трогал,— чего они?!

Однако тут обрывалось могущество Львова, это он сообразил. Коллективная отставка Синода в такие дни могла бы подорвать и Временное правительство, большую внесла бы сумятицу! Этого Львову не простили бы в самом правительстве: он же знал по тайным заседаниям, как у всех голову ломит, сколько задач.

И тогда он решил святых отцов перехитрить: смягчился, обещал подумать,— а их просил в отставку не подавать.

Он вот что задумал: ринуться а Москву, где как раз проявлялось и сплачивалось прогрессивное духовенство — протоиерей Цветков, священник Востоков, уже создали московский комитет действия духовенства,— ринуться к ним туда и общественно-церковной волной свалить Макария с той стороны.

Сказано — сделано! Перебудораженный, протелеграфировал, предупредил, в субботу выехал в перпопрестольную, а в воскресенье, вчера — уже проводил собрание прогрессивного духовенства в покоях епископа можайского Дмитрия, тут были и из мирян известные Кузнецов, Новосёлов, Громогласов,— тут Львов был как бы вполне среди своих, прогрессивной понимающей общественности, и мог говорить откровенно: что призывает их поддержать его в борьбе с Синодом и доказать, что вся полнота власти — в руках Временного правительства. Сам же он от своей твёрдой позиции не отступится ни за что! А также просил их помочь подыскать вместо престарелого безвольного Макария кандидатуру нового митрополита, который будет уставлен не назначением, но избранием, ладно.

Уж тут-то ожидал Львов дружности и сплочённости — но епископ дмитроаский зачем-то привёз на совещание бывшего епископа владикавказского, уже на покое, проживающего у него в доме. И этот владикавказский внёс не то что диссонанс, но просто сильно расстроил собрание: он с упорством выступил, что прокурорская власть не должна мешаться в дела церковного управления (с каких это пор они такие стойкие стали?),— и даже резко обвинил, что Львов в Петрограде явился в покои митрополита Макария с вооружённой командой, офицером и солдатами, для ареста митрополита.

— Клевета! — закричал Львов.— Клевета!

Однако единство собрания было сильно испорчено.

Всё же постановили: просить Макария покинуть митрополитство.

Но у Львова не осталось ощущения, что он взял верх: *просить* покинуть — это не то, что прямо отставить.

Нелегко ему было нести духовную власть!

Сегодня весь день в Москве он провёл активно. Побывал в синодальном училище, но

это больше для формы, как положено ему по службе, а по душе — кинулся в учреждения чисто гражданские, ища прилива сил. Сперва поехал к комиссару Москвы Кишкину, жаловался на противодействие синодских иерархов и просил помощи комиссара. Кишкин мялся, повёл его в Комитет общественных организаций: тут были люди решительные, овеянные революционным духом, и дружно постановили: поручить обер-прокурору принять меры к немедленному увольнению Макария на покой.

После того ещё успел Львов на заседание городской думы. Он вошёл во время речи — но заметно, и гласные приветствовали его дружными аплодисментами. А Львов — приветствовал их от имени Временного правительства, облечённого всей полнотою власти. Тогда городской голова Челноков просил передать правительству, что Москва, с восторгом принявшая перемену образа правления, ему верит и будет поддерживать во всех начинаниях. Тогда Львов выступил второй раз, уже не официально, а сердечно. Заявил он думцам: что поскольку православие — важная отрасль государственной жизни, а Москва — центр православия, то просит он городское самоуправление оказать содействие в деле очищения духовенства от тех элементов, тех плевел, тех тёмных сил, которые своим прислужничеством старому режиму позорили церковь, — а сегодня вставляют палки в колёса реформ.

— Но я — не такой человек, — гремел он, предупреждал и врагов дальних, — у кого опускаются руки! И те палки, которые вставляют мне в колёса, — я обращу против них же самих!

Рукоплескали.

Сильно подбодренный общественностью, после обеда в ресторане Львов поехал на частную квартиру, куда приглашены были видные миряне-реформисты — опять же Кузнецов, Новосёлов и сам Евгений Трубецкой. Обсуждали с ними реформы, создали комитет для подготовки Предсоборного совещания.

И наконец, уже вечером, собрали в епархиальном доме весь московский церковный актив: по обстоятельствам революции и настроению времени только свои, активные, и приходили, а реакционные сидели дома. Председательствующий Цветков благодарил обер-прокурора за его заботу о нуждах церкви и духовенства.

И Львов, растроганный, сказал: сердце его исполнено глубокой радости от такого многочисленного собрания. Он — считает своим долгом отстаивать в Синоде права церкви, духовенства и мирян. Он — просит позволения быть истинным выразителем их нужд перед Синодом.

Аплодировали дружно, и выразили полное позволение и доверие.

Постановили: послать к Макарию депутацию и требовать, чтоб он отказался. Провести в епархии сплошь выборное начало, а на 6-й неделе поста, — сегодня начиналась 5-я, — выбрать и митрополита. Настолько ясно было, что Макарию теперь не устоять.

Таким образом, Львов мог торжествовать: своей московской поездкой он хорошо подкопался под Макария московского, пока он там в Петрограде в Синоде сидит «первоприсутствующим». А теперь — закрыть зимнюю сессию Синода — и до-после-Пасхи!

Ещё принесли ему из Троицкого посада, из Духовной академии, что студенты там недовольны академическим начальством. Львов оживился: поддержать! — и назначил туда ревизию.

Но тем временем запускалось дело в Петрограде. Гнать туда! Прочёл он в газетах, что у Андрея Ухтомского, видно, лопнуло терпение ожидать митрополитства — и он поехал на фронт, агитировать за войну.

Да, в Петрограде как раз было проще: не выбирать бы митрополита, а назначить уже подготовленного. Но нельзя было придумать, как же теперь отступить от выборного принципа, республиканская идея.

И она должна разлиться на всё Мироздание.

* * *

К дням минувшим нет возврата!
Русь царизма миновав,
К светлым вольностям заката
Паровоз летит стремглав.

(«Русская воля»)

591

Стал говорить ей «ты».

Сколько близости в этом слове! — голова кружится. Сама с собой потом перебирает: ты, тебя, тебе...

Состояние, до того полное чудес, что страшно вообразить это потерянным.

И: удержать! удержать! удержать!

Говорят в городе: немцы идут на Петербург, уже взяли Ригу, Двинск. Всё это — бледной тенью, второстепенно.

Возобновились спектакли в театрах — не шла и не думала: с ним — нельзя, а без него — зачем?

Боже, как изменилась, как трудно это скрыть, все замечают, спрашивают. А в руки себя взять, притвориться — даже не хочется, от счастья. Разве руками лицо закрыть? — так ещё ясней.

Пока он здесь — глаза не пригаснут. Хотя каждый день теперь: а не последний раз?

В Нижний сейчас не поедет — будет какой-то у них съезд в Москве. Но если бы и в Нижний — к жене нисколько ревности, да по какому праву?

А только: послезавтра? — слишком нескоро! завтра? — нескоро! Хочу — ещё сегодня! И сегодня — тоже чтобы скорей! Сколько обнимая — а хочется ещё! И кажется: ещё бы один раз только!

Он полюбил, как она читает ему стихи. И сколько уже прочла.

...Ты знаешь, я люблю горячими руками
Касаться золота, когда оно мое...

А только: пить — не напиться, быть — не набыть.

А... если у меня б у д е т?..

Ответил: у н а с.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МАРТА

ВТОРНИК

592

Генерал-майор Савицкий, начальник пехотной дивизии, ещё вчера получил распоряжение из корпуса: дивизию посетят два члена Государственной Думы, они выступят с речами, устроить обширный сбор представителей всех частей.

Офицеры дивизии взволновались: государственные люди и прямо из Петрограда! В томительный клин одиночества, где офицеры казались покинутыми, входили светлые фигуры поддержки. В сегодняшней обстановке это было едва ли меньше, чем раньше бы — приезд Государя.

Устроить солдатский сбор ото всех частей, также и с передовой линии, и не помалу, тысячи на полторы, оказалась задача не простая, но штабные охотно хлопотали, то и дело перенимая телефонные трубки. За селом поспешно сбивали возвышение для речей. Убедили Савицкого, что трибуну надо обтянуть красной бязью, что все теперь так делают, иначе это даже вызов или неприличие.

Всё для всех было необычно, а уж солдатам тем более: собраться не на парад и без винтовок, и не приказ выслушать, а на какое-то говорение с посторонними — и начальство не запрещает. Отовсюду, меся рыхлый снег, сходились к назначенному часу. Их ставили в каре вокруг трибуны, но и строимые и строящие чувствовали себя не в обычае, и строй только что не растекался в круглую толпу.

У солдат кое-кого были красные лоскуты на шинелях. У двух-трёх офицеров — тоже бантики, небольшие.

Стояло оттепельно, светлеющая пасмурь: облачный заклад расходился к тонкому — а так и не открылось.

Невысокий Савицкий, туго накрест перепоясанный, при шашке, с коротко подхваченной бородкой, в шестьдесят лет — офицер-молодец на сорок, расхаживал хмурый, с поджатыми губами, не к празднику.

Ждали депутатов на автомобиле — те всё не ехали, и время текло, что-то по дороге случилось, — а приехали на час позже в выездных глубоких санях, запряжённых тройкою крупных артиллерийских лошадей — и в гривы всем трём были вплетены красные ленточки.

Из саней первый выскочил какой-то проворный штабс-капитан с непомерным красным бантом в четверть груди, да не красным, а невыносимо алым, — и стал подавать руки вылезающим депутатам, но тут подоспели и другие помочь.

У одного депутата — высокого, остроусого и с острою вскидкой, бант на шубе был поменьше, среднего размера. А у другого — приземистого, доброго вида с курчавой бородкой, — совсем небольшой, и скорей не красный, а бордовый, чуть ли не бархатный. А больше ничего в депутатах революционного не было, оба, видно, из барской породы,

и в шубах таких же и шапки дорогого меха. И шагали важным шагом как бы по петербургскому тротуару и неловко взбирались туда, на помост, подсаживаемые.

За ними поднялся сухой подвижный Савицкий. И взлетел туда же штабс-капитан с большим бантом. И этот штабс-капитан, ещё вчера императорской службы, вдруг звонко и как бы очень привычно закричал над солдатской толпой:

— То-ва-ри-щи!..

Первым начал речь депутат с курчавой бородкой, Демидов. Он снял шапку, и волосы его оказались тоже в домашне-уютной причёске. И когда чуть улыбался — то это добро получалось и успокаивало в намерениях революции. И говорок у него был приятный барский, хотя голос простуженный или перетруженный.

Напомнил об отречении Государя — но безо всякой революционной ярости, а скорей как неизъяснимый ход Божьих событий, которому все мы подчинены. Вся армия и вся страна приняла весть о перевороте с восторгом, говорил он, но и восторг звучал не как уносящий сердце, а всё из того же фатального ряда, с которым не поспоришь. Новое правительство призвано проявить мощь России во всём блеске — и не того же ли самого хотим и мы, солдаты? Так надо беспрекословно подчиняться Временному правительству, с глубокой верой в него и в Государственную Думу.

Солдатские лица с большим вниманием и удивлением смотрели туда, вверх.

Честь обновлённой России — нам дороже всего, журчал депутат. Мы победили врага внутреннего — а теперь давайте победим врага внешнего. Победа нам нужна, как хлеб насущный, как воздух. Без победы невозможно торжество свободы. Народ для того и сделал революцию, чтобы лучше вести войну. Патриотический клик «всё для победы» нашёл горячий отклик в сынах свободной России. Наш солдат готов принести свои силы на алтарь свободы и родины.

Из-под папах всё так же смотрели наверх как на диво невиданное — и молодые лица необработанные и бородатые устоявшиеся. Выражение было: что-то ивилось высшее, сверху, оно знает!

А если победы не будет — то немцы унизят нас, и мы не сможем заняться нашими преобразованиями. За недовоёванную войну на нас ляжет проклятие потомства. Если враг сейчас победит — мы не расплатимся и внуками, и нас превратят в рабов. Наш долг перед нашими матерями, жёнами, сёстрами и детьми — оберечь их от нашествия лютых иноплеменников. Неужели мы подарим злодею Вильгельму нашу святую родину, теперь освобождённую?

Про Вильгельма-то было всего понятнее.

Без разгрома проклятого германского гнезда не может быть никому свободы в Европе. И не можем мы не иметь ключа от собственного амбара: нам необходимы Босфор и Дарданеллы. Пусть не останутся бесплодными наши жертвы двух с половиной лет войны. Забыть ли наши могилы в Польше и Галиции? Теперь враг притаился и ждёт, не ослабится ли наша мощь, и тогда он бросится на нас в напоре отчаянья. Но трепет и ужас охватит немца, австрийца, турка, когда они увидят, что мы от революции не ослабли, а окрепли! А наши верные благородные союзники, которые всегда верили не старому правительству, а русскому народу... Солдаты! Не пожалеем наших сил и жизней! не посрамим земли русской!

Гладко у него выходило. Тем ли польщённые, что их вызвали слушать таких важных господ, солдаты слушали беззвучно, бездвижно, кто и рты полураскрыв.

А тут-то депутат и скажи самое главное, не упустил. Что войско без дисциплины немцам не страшно. Кто сеет раздор между солдатами и офицерами — тот губит свободу. Смута между нами была бы для врага радостью. Русский солдат должен с негодованием отвернуться от лукавых голосов, призывающих его не слушаться своих прямых начальников. Наши офицеры дали клятву быть с нами заодно — так подчиняйтесь им! Только старый строй мешал офицеру и солдату объединяться. У офицера — специальное военное образование, он прошёл все степени службы, знает дело. Во всех армиях мира есть офицеры. Без офицеров вы сами перестанете быть солдатами.

— Каждый из вас теперь — не обезличенный и забитый нижний чин, а сознательный воин, гордый своим званием. А вне строя — свободный гражданин, получивший возможность... Но это не значит, что вы не должны уважать офицеров. Офицеры и солдаты — одно целое, они вместе проливали кровь.

Поняли, что конец, и солдаты крикнули своё «ура». Кто-то папаху бросил в воздух — побросали и другие.

Впрочем, хотя «ура» звучало дружно — опытное ухо Савицкого отличило, что кричала ещё четвёртая ли часть.

— Сложим наши голоаы за родину! — ещё нашёл голос прокричать депутат,— и доплеском «ура» солдаты обещали сложить.

Добродушный Демидов надел свою круглую шапку — высокий же остроусый Гронский снял свой пирожок, обнажая гордую причёску назад,— и настороженно поглядывал. Голос его оказался острее, дерзее, взносчивей,— и держался он как летел в облаках.

— Товарищи! Мы приехали к вам от нашей славной Государственной Думы, решившейся свергнуть жалкого деспота Николая, сорвать вековечные оковы царского самодержавия. Совершилось великое чудо возрождения нашей родины. Русский народ, как могучий богатырь, стряхнул иго царизма — и пришла свободная демократия. Глаза всего мира обращены теперь на нас! Перед всеми нами теперь — широкое и светлое будущее, если мы соединимся с Временным правительством. До сих пор русский народ не мог строить своей жизни по пути благосостояния. Царь собирал деньги с голодного мужика на содержание своих дворцов. Армия не могла побеждать врага, а только жертвовала лучшими своими сыновьями. Вы, сидевшие в холодных окопах! Вы теперь не забыты! Нынешнее правительство смотрит на вас как на дорогих детей. Поверим же асей душой нашим народным избранникам! Мы устранили тех изменников, кто мешал нам побеждать. А кто теперь не подчиняется законному правительству — тот помогает врагу.

Иногда он резко-вскидчиво смотрел правей, левей, как бы увидеть, нет ли мятежа или возражения. Но стояли всё так же хорошо, не качались головы, не кривились притерпевшиеся лица,— и депутат продолжал лететь.

— Среди нас нет сторонников войны как таковой. Но победа Германии была бы торжеством дома Романовых. Как только Гинденбург распакует чемоданы в Смоленске — из них выйдет Николай II.

Впрочем, ни Гинденбурга, ни даже что такое чемодан — половина солдат не знала, «чемодан» — это тяжёлый снаряд.

— Произошло то, чего Германия боялась больше всего: русский народ свободен! Но защита завоёаанной нашей свободы, за которую мы заплатили страданиями десятилетий, должна быть теперь доведена до логического конца, чтобы были открыты пути прогресса. У Гогенцоллерна только одна цель: потопить нашу революцию в крови. Протянем же руку республиканскому народу Франции! Наш уход из коалиции подорвал бы её силы. Горе тем, кто решается баламутить Россию! В домашних счётах мы разберёмся потом. А теперь сольём наши действия с товарищами офицерами, ныне такими же гражданами, как и вы. На ваши славные суворовские штыки наколите красные знаки революции — ворвитесь в немецкие окопы и водрузите там эти знаки свободы! Петроград дал России свободу — а вы дадите ей победу! Ура-а!

И с тревожным видом протягивал тревожные руки, одну с меховым пирожком, вонзая в небо.

С тем же равным усердием покричали «ура» и этому.

Тут высунулся вперёд штабс-капитан с нестерпимо алым бантом:

— Да вы — спрашивайте, товарищи! Вы не стесняйтесь, спрашивайте!

Стеснялись.

— Да вы — спрашивайте!

И тогда какой-то немолодой озабоченный солдат спросил дребезжащим голосом:

— А прибавка жалованья — нижним чинам будет?

Второй депутат ответил витиевато, но больше в том смысле, что — будет.

— А вот,— пробасил тогда приземистый бородач.— Мы слыхали: теперь кресты и медали будут отымать? Так мы не поддадимся!

— Что вы, что вы,— радушно раскинул руки нервый депутат,— кто же осмелится тронуть ваши боевые награды!

А стоял на трибуне ещё ни слова не сказавший начальник дивизии. Отвращенье ему было гоаорить — с этой красной трибуны, своим безоружным солдатам, смявшимся в толпу, да и что скажешь, ведь чёрт не надумает.

Только теперь по захолонутому молчанию можно было сравнить, насколько при депутатах шептались. Савицкому не досталось кричать, он говорил даже как бы тихо:

— Родина наша сейчас, ребята,— в очень тяжёлом положении. Какого никогда не переживала. Враг занял много городов и деревень — и мечтает продвигаться дальше. А у нас — смута. Радоваться рано. Некоторые чины поняли пронсшедшие перемены в том смысле, что теперь упразднены воинские уставы и уважение к офицерам. Но без дисциплины не может быть победы. Помолимся Богу, чтоб он послал нам... честно выполнить саой долг.

«Ура» он не крикнул — и ему, стало быть, не крикнули.

И на том бы, может, и кончилось спокойно — если б, видно, не было уговорено и подготовлено: по знаку ли штабс-капитана — с десяток рьяных подбежало к трибуне и тянулись принять депутатов на руки. За ними тогда и ещё полсотни подбежало, уже из озорства. И депутаты отдались, привычно, как упали, в этот ручной подхват. Подхватили их вряд ли уж так ловко — под спину, под мышки, под коленки,— и, раскачав, кидали вверх с веселеющим воем. Иногда взбрыкивала нога, рука, иногда отставала.

* * *

КАБЫ БАСНИ ХЛЕБАТЬ — ВСЕ БЫ СЫТЫ БЫЛИ

* * *

Никогда Саня и не знал, что у подполковника Бойе есть сын, лейтенант Балтийского флота. А сейчас узнал от полковникова денщика, да сразу: что лейтенанта этого застрелили матросы в первые дни мятежа в Гельсингфорсе, но сперва и неизвестно было, а потом — узналось. И оттого-то подполковник уехал — искать тело.

Как чуяло его сердце! — то-то он был такой сотрясённый.

Вот уже не первой зримой потерей касалась их маленькой батареи далекая петербургская революция.

Сегодня не было офицерских занятий с противоштурмовым орудием, и Саня пошёл на наблюдательный — передний, к Торчицким высоткам, а боковой они уже сняли по теперешнему покою. Пошёл в шинели, не в бурке, полегче. Сперва, как обычно, Дряговцом, потом полем. День был светлый, но в сплошных облаках. Сколько раз он этой дорогой ходил, как домашней изродной тропой, и гадал: каково придётся с этим местом расстаться? Три пути он видел: или убьют-ранят, или вперёд пойдём, или не дай Бог ещё отступим. Ну, и четвёртый путь — бригаду перебросят. А вот наступил неизведанный пятый: как будто и на том месте, а всё уже не то.

Вот и ход сообщения. Чуть отпала опасность — и стал казаться едва ли не игрой. Часть пути прошёл поверху, потом соскочил, в слякотцу.

В блиндаже оказался один Дубровин: телефониста отослав или отпустив, себе навесил верёвочную петлю на голову, трубку к уху, и сидел на чурбаке, а не без дела: читал, и в который раз, затрёпанные «Правила стрельбы». Такого же, как Саня, крестьянского происхождения, и способный, а вот не получил образования и незаслуженно низко был поставлен.

Дубровин лишь чуть приподнялся от чурбака — неизбежным движением, обоим понятным и обоим лишним.

Подпоручик снял, накинул на гвоздь полевую сумку. И подошёл к стереотрубе, хотя ничего не предполагал увидеть. Как стали говорить наблюдатели — «пусто, одиноко сонное село».

Но Дубровин от своего чурбака внимательно ждал возврата из трубы поручиковых глаз:

— Ничего?

— А что?

— Да... может, проява будет сейчас.

— Какая проява?

Дубровинская усмешка углом губ, хорошо видная на его чистом лице, даже и она была всегда серьёзная, не смешлиаая.

— Да...— осторожно, нехотя,— скоро увидим. Или не будет ничего.

— А что, всё-таки?

Не спешил сказать. А — другое, пока ли никого не было:

— Ваше благородие, у меня до вас просьба есть.

С неуходящей серьёзностью паренька, рано ставшего головой своей семьи, матери и сестёр.

— Говори-говори,— поощрил подпоручик, для этого фейерверкера ничего доступного было не жаль. (Что срывался на «ты» — сам не замечал.)

— Защитите меня, как-нибудь, ваше благородие, помогите мне в комитет не попасть.

— В комитет?

— Да вот, будут в батарее выбирать. Ребята, бают, меня хотят. А я — не хочу.

— А почему?

Тем же осторожным складом губ:

— Да ведь это всё брехня, языками молоть. Я не люблю. Это не к делу.

— Не к делу...— думал вслух подпоручик.— А как я могу тебя отвести? Разве офицера послушают?

— Вас — послушают,— уверен был Дуброаин.— Скажите, мол: никак из разведки отпустить нельзя. Или что-нибудь.

— Не к делу-то не к делу... Но если комитеты всё равно будут — так лучше пошли б туда деловые, как ты, и подналравили. Очень возможно, что теперь комитеты будут повлиятельней начальства. Так надо, чтоб умные туда и шли. Иди, Володя.

Дубровин вздохнул, темноватый. Тянуть поклажу — он и привык.

— Я — и так думал. Но тогда уж всех деловых собрать. И тогда, разрешите, я вас предложу.

— А я-то при чём? Комитет солдатский.

— А один офицер должен быть, так уставляют. Уже говорили ребята: хотят вас. Вы только не отказывайтесь, и выберут.

— Так офицеров — наверно офицеры должны выбирать?

Дубровин смотрел умным спокойным взглядом:

— Это теперь — не великое дело. Без солдатской благодарности теперь с ними много не наработаешь.

Сидели оба на чурбаках, близко.

— Об офицерах — много теперь толкуют в пехоте,— размеренно взвешивал Дубровин.— Раньше хоть говори, хоть не говори, а теперь... Помнят офицерам всё, что только было, аж от самого начала. Вспоминают одного командира роты, как он в Восточной Пруссии револьвером отогнал роту от колодца, никому напиться не дал,— один отпил, отравленной, и умер... Вспоминают каждый случай. Отступали в 15-м году, и вот офицер, легко раненный, посадил вместо себя на телегу солдата притомлённого... Вчера во 2-м батальоне выбирали комитет, встал солдат и про одного поручика говорит: «Сидели мы под Ломжей в малом окопчике, целый день не выйти, не высунуться. А у *них* была одна только папироса. Так половину выкурили, а половину мне дали. Вот такого офицера нам и надо в комитет»...

У Сани отеплились глаза.

А верно! А — так! Вот это и есть главное! Недаром всё офицерское, воспитываемое в училище, воспринимается сердцем протиано. Надо и быть — братом. От одних осколков умираем — почему же не быть братьями?

О, настроение солдат — загадочное и мудрое, и ещё может вылиться в какое хорошее!

— Да пожалуй — и пойду, Володя. Если меня захотят — пойду.

— Хотя-ат, уже говорили!

Какой-то странный гулок донёсся сквозь щель. Дубровин первый оборотил голову, снял трубку с головы — и шагнул к стереотрубе.

— Н-ну! — вырвалось у него.— Вот и чудо! Смотрите, ваше благородие! Или вы в бинокль?

Вскинуть, приладить бинокль — тоже пять секунд. Теперь смотрели оба в четыре вооружённых глаза и видели с равной подробностью.

У главной полосы немецкого проволочного заграждения шевелилась — но не бежала в атаку, а стояла! — полоса наших солдат, спинами сюда, лицом к немцу! И все — безоружные.

Сразу нельзя было схватить, понять: достигли главной полосы — и без боя? — и никакого боя?

Да позвольте, там и немецкие каски — с десяток, меньше гораздо, чем наших шапок, наших полсотни. Но каски — по ту сторону проволочных рядов, однако тоже пробрались через оттяжки, через перепуты — и тоже к главной линии.

Как странно было ловить небегущие немецкие лица в бинокль — чужие усы, брови, чужие выражения, чужие шинели — а не пленные! и не в штыковой встрече! Просто — что?..

Они — б е с е д о в а л и! Взявшись за проволочные оплёты руками, как соседи берутся за пряслины забора,— они разговаривали!

Все раскинутые ежи, все колючие рогатки — всё как не бывало!

Немцы — впроредь, а наших куда больше и сбиваются в кучки, чтобы ближе видеть и слышать.

Третий год сматривал подпоручик Лаженицын в трубу — но такого!

Много жестов, размахиваний — от возбужденья и безъязычья. Слитный гул повышенных голосов доносился по-над землёй сюда.

Друг у друга закуривают. Смеются. Те протягивают нашим сигареты. Наши делают им скрутки, из кисетов.

Смеются! Как никогда бы друг с другом не воевали!

Смеются! Лупятся, разглядывают. А — какая у них друг на друга злоба?

Вдруг — побежали! Но только несколько: наших несколько — сюда, назад.

И в спину их — не сечёт немецкий пулемёт!

А немцев двое — к себе в окопы, там близко, на самом Торчицком гребне.

Остальные — по-прежнему у проволок — стоят, лупятся. Объясняются руками и голосом. Удивляются.

Больше всего удивительны — именно эти удивлённые лица. Сколько воевали — а так близко не видели. Сколько воевали — а ещё вот как можно?..

Нет! Самое удивительное — видеть таинственный, загадочный, полуболотистый, изрытый, изорванный взъём к Торчицким высоткам, всеми разгляженный ненавистно до комка,— безжизненный кусок земли, проклятый людьми и Богом, кажется навсегда изъятый из человеческого обращения, эти полтораста саженей медленного подъёма, которые круче альпийских отрогов, никто живой не может их преодолеть, только с адовым рыгающим огнём и грохотом может пройти их железная сила! — а вот живые люди просто топчутся на ней и смеются, просто бегут по ней сюда и обратно.

С чем это они бегут?

С кусками хлеба.

Не помещается в сознании: ничейная полоса, на которой не может быть ничего живого,— живёт! Прибежище смерти ожило как базарная толкучка.

Именно! — это и есть базарчик: наши бегут, протянувши ломти чёрного хлеба вперёд, как доказательство мира,— не стреляйте! мы несём вам Божьего хлеба!

Бегут — снизу вверх, на всклон, и оттого кажется, будто вытянутыми руками наши просят немцев: не отказаться! принять!

А немцы тоже вернулись: одна бутылка, один флакончик — спиртное?

И уже у проволоки протягивают, меняют Божий дар на дьяволов, не сосчитываясь, что по чём,— и счастливчики из наших по очереди из горлышка тут же пьют доверчиво, передают следующему. (Как будто не было тех отравленных колодцев в Пруссии.)

Боже мой! Что же осталось от войны? В несколько минут смыло всю неискоренимую войну, всю условность условной ничейной запретной непереходимой полосы.

И — хорошо!

А теперь — что ж и воевать? Как воевать? Зачем?

И — хорошо!

Только тут сообразил:

— Так ты знал?

Дубровин — гулком:

— Знал. Уже два дня как сговаривались. Немцы звали: приходите, ничего дурного не будет. Смелые и вчера уже поодиночке ходили встречаться.

— Так подожди,— начинал соображать подпоручик.— Немцы — первые позвали? Через плакат, что ли?

Тут к нему и заползло: одинаков ли результат такой встречи? Наши после этого — воевать не будут, а немцы? Отлично будут и дальше стоять. И — почему их настолько меньше? И почему *их* начальство, хоть революции у них нет, легко на это всё смотрит, отпускает?

Да уж — не приказывают ли им так? Наше-то пехотное начальство не мешает потому, что не смеет. Кто же сейчас посмеет? И чья винтовка подымется бить в эти спины? Да! Да! — только тут вспомнил подпоручик: ведь существует давнишний приказ. Когда-то где-то были подобные случаи, и офицерам артиллерии объявляли под расписку приказ: дежурный артиллерийский офицер, увидев такое, обязан открыть предупредительный огонь шрапнелью — без согласования со своим командованием или с пехотным, немедленно.

А он?

Вспомнил — смотрел в бинокль — и не шевелился.

Конечно, его батарейцы не откажутся, они не знают цели,— скомандовать им только прицел и трубку.

Но! — сам перед собой он не в состоянии был такой приказ отдать! Он даже и не задумался серьёзно. Даже если бы — высоко или в сторону, никого б и не раня.

Для проверки, отняв бинокль, посмотрел на Дубровина.

Тот не отрывался от стереотрубы. Спокойное, мужественное, юное, бронзоватое лицо его было гладко, без морщинки. Смотрел, как смотрят на явления природы. С уважением.

И назвал это — чудом.

Чудо и есть.

Двое немцев пролезли между нитками колючки — наружу, к нашим. И с одним из них один из наших схватился бороться. Покачивались, уже сваля каску и шапку, потом и сами покатились по земле — а все остальные руками взмахивали и кричали.

Всплеск хохота и крик донёсся сюда.

Посмотрели с Дубровиным друг на друга. Дубровин тоже улыбался — своею редкой, сдержанной улыбкой.

И что, правда, нам оспаривать эту изрытую землю — разве земли не хватит всем?

И как после этого ещё воевать *до конца?* — куда ж ещё концеватей?..

Что-то беленькое замелькало в руках у наших.

Бумажки.

Раздавали немцы — какую-то прокламацию?

594

Почти всего лишь за одни сутки сотрясена была революционная столица двумя ошеломляющими сшибающими новостями. Сперва как огонь распространился слух, что сданы Рига и Двинск, и немцы многими дивизиями валят на Петроград! (Этого и надо было ждать! Беспечность последних недель только и могла к этому привести!) Но не только не успели дождаться следующих газет, ни допроситься о новых телеграммах, не успели как следует перевозниться, переполошиться и решить — как же быть с эвакуацией государственных учреждений? — как разразился новый слух: что наши войска широко прорвали Западный фронт и с боями гонят немцев! (Этого и надо было ждать! Освобождённая революцией энергия должна была разрядиться!) Да не слух — а совершенно реальная телеграмма была разослана во много адресов, только нельзя было докопаться, откуда же первично она подана и кем: телеграмма о победе и чтобы отовсюду слали на Западный фронт порожние составы для приёма раненых.

Вот и верь, чему хочешь. Каково попадать на такие качели, сердце не выдержит. Каково — и всякому, но особенно — Первому лицу России, Председателю Государственной Думы!

Нет, он не должен так себя допускать, так ставить себя в оттиснутое положение. Давно ли — незабываемые дни — он был главный голос Петрограда, обращённый к неразумному Государю или к главнокомандующим. Давно ли всё правительство зависело от его ночных телеграфных переговоров — и отчего же он сам сложил с себя эту задачу? Да главнокомандующие рады будут сообщить ему в первые уши. Да особенно Рузский, с которым и были решающие разговоры. Рузский и сейчас, принявши фронтом присягу, не обошёл Председателя своим донесением.

И Михаил Владимирович сегодня с утра взял автомобиль и решительно поехал в Главный штаб. Несколько волновался, боялся унижения: вдруг штабисты не допустят его до прямого провода? в нынешних условиях всё возможно. Но штабисты оказались почтительны, предупредительны — и разговор с Рузским ему быстро устроили.

И в той же самой аппаратной, где 12 дней назад, удерживая крупную голову свою над волнами сна и бессонья, Родзянко вытягивал судьбу России,— теперь в спокойном деловом дне он говорил телеграфисту, что печатать, и опять тянулась лента от того же невидимого главнокомандующего.

Того же, и Родзянко тот же,— а не было прежней взволнованности и передвигания глыб. Ну как дела? На Северном фронте всё благополучно, настроение армии прекрасное. А были какие-нибудь передвижения? Нет, никаких решающих операций, только обычная разведка. Но, может быть, какие-нибудь успехи, по соседству? Нет-нет, все подобные слухи неверны.

О чём бы ещё?.. У двух значительных собеседников — значительный разговор, однако, не получался. Рассказывать о Петрограде? Тоже было нечего, да и не к чему. Не было такой живой проблемы, которую бы обсуждать.

И Родзянко вскоре окончил разговор. С горьким осадком. Куда испарились те горы, которыми он так легко двигал недавно? (Он даже хотел бы сейчас нового великого сотрясения.)

Что ему теперь доставалось? Конечно, не прекращался поток приветственных телеграмм со всей России (уже пришло их 14 тысяч, подсчитано,— но он уже успевал их все прочитывать и даже все предыдущие прочёл). Даже от Художественного театра — лестно восторженная. Более значительным приходилось и отвечать. К Родзянко же тянулись и разные надежды, просьба: просили его, например, отменить смертную казнь также и по воинским преступлениям. (Полагая, что это — в его руках. Впрочем, и по гражданским преступлениям правительство что-то затягивало.) То делегация петроградских коммерческих банков подносила Председателю чек на миллион долларов — на нужды революции, по его усмотрению. Конечно, деньги были, средства были, оставалась у Председателя немалая сила,— но как её применить? Таяли ряды сподвижников и помощников. Например, остались без дела все чины бывшей охраны Таврического дворца (охраняемого теперь нарядами воинских частей), обратились к Родзянко. Жаль их, былая слава Таврического. А приходилось: отправить в войска на общем основании.

Ещё стали — приезжать делегации с фронта. Вначале очень интересные, теперь они уже становились пожалуй и утомительны. Уже не мог их всех принять Председатель, поручал близким членам Думы — Шидловскому, Мансыреву. Но нельзя было те делегации и упустить: в залах Таврического их перехватывали агенты Совета рабочих депутатов и тянули к себе, обрабатывать по-своему.

Как раз и сегодня, не успел Родзянко вернуться из Главного Штаба, ему доложили, что приехала с фронта делегация моторно-понтонного батальона. Техническая часть, им нужно внимание, вышел сам. Прапорщик, унтер поляк, да тройка солдат, один говорливый ефрейтор, он и говорит за всех: посланы для выражения наших глубоких чувств Временному Правительству! (Все так понимали, что Временное правительство — это Таврический дворец, только сюда и ехали.) Но приехав в Петроград, слышим тут призывы к заключению преждевременного мира, к сдаче на милость Германии.

Ах, молодцы, вот тебе и моторно-понтонный.

— Да, вот такую мерзость изрекают некоторые...

Слышим призывы к неповиновению Временному Правительству? Какие-то самостоятельные выступления Совета рабочих депутатов? Это приближает Петроград к состоянию анархии.

(Ну, анархии — это преувеличено.)

Мы — полностью поддерживаем Временное Правительство до победного конца!

— Молодцы, ребята, так и надо! Вполне разделяю ваши взгляды. Прошу вас и дальше быть верными Временному правительству.

Бескорыстно, без всякой задней мысли и колебания, щедро подкреплял Родзянко Временное правительство,— увы, не получая от него взаимности.

А дальше на сегодня назначено было — совещание членов Думы. Это, пожалуй, было главное в деятельности Председателя: вопреки выветривающим революционным процессам, расползанию, растерянности — любой ценою стягивать, сохранять остатки Государственной Думы. Невозможно было, увы, собрать ни одного пленарного заседания,— но собирать столько членов, сколько возможно (иногда и сам звонил отдельным, уговаривая не неглижировать). И сами заседания делать сколь возможно интересными и важными.

Не удалось уговорить никого из министров придти сделать хоть коротенькое сообщение — и так хоть на четверть часа создать впечатление прежней Государственной Думы! Но сегодня очень повезло: Родзянко уговорил двух полуминистров — государственного контролёра Годнева и воротившегося из Финляндии, уже не «министра по делам Финляндии», такой должности не будет, но своего исконного блестящего Родичева.

И в библиотеке, соберя около тридцати пяти депутатов, Родзянко сдержанно сиял от удачи заседания.

Как в былое время, всё тот же нудноватый Годнев методическим голосом и не опасаясь утечки времени, излагал меры и меры контроля, приводил цифры. Совсем как отчёт в парламенте.

И как в былое время, всё тот же Родичев, который никогда не готовился к речам и никогда же не мог говорить сдержанно, снова со своим остростёклым задором и с риторическими фейерверками, не стесняясь малочисленностью аудитории, волновал членов Думы большими успехами политики нового правительства в Финляндии: русский народ заглаживает свою вину перед финским, и от финских деятелей получены заверения, что если в будущем эта политика не испортится, то мы будем прощены.

Наконец, завершая торжественно-официальную часть, и сам Родзянко мог же доложить — и доложил: о взаимоотношении Временного Комитета Государственной Думы и Временного правительства. Что (глотая обиды и острые углы) между ними полная солидарность. (А иначе и странно бы, почему Председатель не осадит их.) Временное правительство со своей стороны отдаёт себе полный отчёт, что до созыва Учредительного Собрания — выразительницей мнения всей страны является Дума. Вот, они, собравшиеся тут.

Отчасти и Родзянко сам уже перенёсся сердцем от своей любимой, но ослабевшей Думы — ко временам Учредительного Собрания.

Постановили издавать «Известия Временного Комитета», дабы страна могла следить за деятельностью своих парламентариев.

В перерыве министры ушли, без них депутаты занялись самими собой.

Неутомимый отец Филоненко, Ефремов и другие, уже вернувшиеся с Северного фронта, ярко, интересно делились впечатлениями от фронтовой поездки. Вся армия настроена бодро, все воины сознают необходимость дальнейшей упорной борьбы с врагом. Видели «настоящие революционные полки с полнейшей дисциплиной». Все понимают, что надо её соблюдать не за страх, а за совесть, и надо победить. Каждый депутат произнёс едва не по полусотне речей. Недоразумения если где и случались — то лишь относительно отдельных лиц командного состава.

— А как стоит в войсках авторитет Государственной Думы?— спрашивал Родзянко.

— Очень высоко! Невероятные овации, царский приём, да царя так не встречали: носят на руках, склоняют знамёна, целуют руки. И все кричат: «Ура Родзянко!»

Естественно, и должно быть так. Перешли далее. Два депутата, ездивших в Ревель, вынесли также и о флоте самое отрадное впечатление. Встречены были везде с триумфом. Удалось предотвратить эксцессы против офицеров. Матросы просто поражают своим сознательным отношением к делу.

— А как авторитет Государственной Думы?

— Очень велик!

Теперь предстоял разбор весьма огорчительного, волнующего, но и интересного пункта: революционным разбором бумаг в министерстве внутренних дел установлено, что несколько правых членов Думы, а именно Замысловский, Марков, Крупенский и Пуришкевич, получали деньги из секретного фонда! Так — как отнесутся к этому члены Думы? Какие нам принять очистительные меры?

Случай был — исключительно скандальный, на прежнем бы полном заседании всей Думы это был бы взрыв, аскочили бы, стучали пюпитрами, кричали. Теперь — исчезла та страсть и многолюдность, и не прозвучало ропота, но все оживились, переглянулись, сдвинулись. Прежде — громогласно бы поносили виновных и исключили бы тут же,— но что предпринять теперь?

Марков, когда-то тяжело оскорбивший Председателя словом «болван», и не мог оказаться никем другим, как таким чёрным негодяем. В пару к нему и Замысловский. О Крупенском — ещё осенью узнали, как он выдал Штюрмеру тайны Прогрессивного блока. Но — Пуришкевич?!— вот за кого было обидно Председателю. Ведь прошлой осенью Пуришкевич из черносотенца — да стал революционером! Да какие ниспровергающие речи произносил в Думе — и получал аплодисменты левых, остро-горькую популярность. И собственной рукой убил Распутина! И всё-таки — всё равно?.. Конфуз,

скандал. Родзянко очень хотелось, чтобы Пуришкевич оправдался. Но он, как всегда, был — в разъезде, в санитарном поезде, где он? Раздавал листовки на Северном фронте, слал оттуда телеграммы Гучкову. На заседаниях Думы не появлялся.

Обсудили так и этак — и постановили: всем означенным депутатам в трёхдневный срок представить удовлетворительные объяснения, а иначе будут лишены депутатских полномочий!

Но угроза эта, когда-то страшная, равносильная общественному уничтожению человека, сейчас совсем не звучала грозно. Ни даже серьёзно: четыреста человек и так разъехались сами, и не лишённые полномочий, хотя Михаил Владимирович строго-настрого отказал всем в отпусках.

Затем занялось совещание новыми назначениями: каким депутатам ещё поехать на какой фронт. Одни отнекивались домашними обстоятельствами, другие уже с ног валились от речей произнесенных,— а иные, как отец Филоненко, были свежи и рьяно готовы ехать дальше.

Назначили человек двенадцать по всем фронтам.

И тут впопыхах прибежали к Родзянко от князя Мансырева, что надо ему идти в Екатерининский зал, подбодряющая весть: 1-й Пулемётный полк, простоявший в Народном Доме две недели, совсем его перегадивший, теперь надумал и согласился уходить к себе в Ораниенбаум, вот пришёл прощаться. То ли окончив совещание, то ли прервав его, Родзянко поспешил по коридору мимо Белого зала в Екатерининский.

Но что это? Уже из коридора нельзя было выйти, так густо теснилась тут беспорядочная толпа. А спереди ощущалась предельная полнота всего огромного зала, а сверху, с невидимых сейчас Председателю ступенек, раздавался голос Мансырева, он держал подбодрительную речь к войскам: к упорной борьбе против жестокого германца!

Что за чудо? что за сон? Откуда это наполнение густое в опустевшем Таврическом? Как будто воротились счастливые могучие дни революции! А он, хозяин дворца, и не знал, что всё это здесь собралось!

Близко стоявшие объяснили ему, что сошлось неожиданно два полка: кроме 1-го Пулемётного, ещё и Павловский батальон пришёл на митинг как зачинатель революции — и построен там дальше весь.

Ах, вот что! Ах, стало быть, из ревности к Волынскому, который был позавчера, но тот не входил внутрь, построение было на улице.

Но хотя Павловский пришёл без вызова, и без спросу, по февральской памяти вломился весь в Екатерининский зал, куда только по строгим выписанным пропускам теперь пускают,— Родзянко сразу простил им это своевольство и возрадовался взмывшим сердцем — за то, что так неожиданно снова повторялась великая обстановка.

Локтями и крутыми плечами он стал пробиваться вперёд, чтобы выйти к ступенькам, подняться наверх и говорить. Не так просто!— стояли сбито растрёпанные пулемётчики и не знали в лицо этого крупнотулого, крупноголового барина, и пропускать не спешили. А спереди, над головами, там и сям, высились красные знамёна и красные лозунги, и которые не в складках — можно было прочитать местами: «Да здравствует Совет Рабочих Депутатов», «Да здравствует 8-часовой рабочий день», «Мало завоевать свободу — надо её удержать». Ах, вот это последнее правильно.

Прошибально проталкивался Председатель — а наверху над его головой сменился Мансырев и послышался скрипучий как насмешливый голос Чхеидзе. Был лидером самой слабенькой маленькой фракции, сидел где-то там на краю думского зала — а теперь своим Советом захватил почти весь родной кров Таврического и считал себя главным тут хозяином.

— Вы,— дребезжал Чхеидзе,— должны слушать только людей, которых вы знаете. Вот, говорю с вами я — знаете ли вы меня?— Он толковал с уверенностью учителя и паузу сделал для учеников.

— Знаем! Знаем!— кричали из зала.

— Нет, вы меня не знаете,— поучал.— Вы думаете, что я — Председатель Совета Рабочих Депутатов? — (Кто и не знал, так узнал.) — Нет! Я такой же с о л д а т, как и вы.

Совсем уже одурел,— возмущённо прибивался старый кавалергард.

— Вы спросите — какой я армии?— не торопился, забавлялся Чхеидзе.— Какого полка? Я — солдат рабочей армии, в ней я прошёл все должности, все чины. Теперь я дослужился до высокого чина генерала. Я — генерал-от-народного доверия.

Ну, кретин!— пробился Родзянко уже к низу лестницы. Теперь уже близко. Но и не прервёшь.

— Раньше мы учились у немцев,— глаголил Чхеидзе.— Теперь пусть они поучатся у нас. Русская революция вызовет скорое подражание в Германии. Мы создали великую свободную Россию — но не хотим лишать свободы других. А если кто захочет отнять нашу свободу — мы будем отстаивать её своей грудью.

Ну — полезно кончил, за это Родзянко ему отчасти простил.

Но ещё прежде чем Председатель занял на верхней площадке первое место — к перилам стал какой-то морской офицер. Он закричал неистово:

— Поклянёмся! — что русский народ никогда не пойдёт за тиранами! Никогда не предаст свободу!

— Клянё-омся! Клянё-омся! — сильно неслось из сотен грудей.

Отсюда виден был весь строй павловцев — во всю длину зала и загнувшись (во главе батальона — всего лишь поручик), группы оркестровых труб в разных местах, охотливые и мужественные лица воинов — и знамёна, знамёна.

Наконец — мог говорить Родзянко. Зал — уже видел его и кричал «ура».

Могучим голосом, отдохнувшим за неделю, он как пушкою выстрелил в зал:

— От имени Государственной Думы, доверенной надежды русского народа, я — приветствую павловцев как первых, перешедших на сторону народа!..— Мы исполнили одну нашу задачу, освободились от внутреннего врага,— теперь же сплотимся во имя защиты от врага внешнего! Мы надеемся, что вы, храбрые воины, постоите за м а т у ш к у Р у с ь !!! — (Ничто у него не получалось так густо и сильно, как «матушка Русь».) — Да здравствует свободная Россия!

О, какое «ура» заплескалось под потолком! какое «ура», раскачивая зал! И оркестры заиграли — эту гадкую марсельезу.

Но — цвёл зал, сияли тысячи лиц,— и вождь России Родзянко снова был на своём капитанском месте. Он — уверенно вёл революцию дальше.

595

Генерал Савицкий пригласил депутатов отобедать у него. В другой дислокации было бы хлопотно их принимать. Но сейчас стоял штаб дивизии в покинутом доме польского помещика, роскошная столовая светло-зелёной отделки, и не такие видавшая пиры, и поместительная удобная кухня, где уже с утра затеялся штабной повар, есть и припасы и вино. И столовое бельё в доме на месте, и всякое настольное убранство.

За тем и понять от них, чего он сам не понимал, или понять, что и они ничего не понимают. По речам — весь ход дел им казался благополучным. Заметно разные у них были взгляды, а вели к одному. Знали они что-нибудь особенное? Истекала эта сила из нового Петрограда? Вот послушать.

Четвёртым к столу был начальник штаба дивизии, высоченный полковник гвардейско-кавалерийского роста, намного выше их тут всех. При каждом шаге звенели как колокольчики его савельевские шпоры.

В немитинговой обстановке, вблизи, и депутаты оказались совсем доступными негордыми людьми, а приземистый с курчавой бородкой Игорь Платонович Демидов, кадет, тамбовский помещик, так даже просто милейший благодушный человек. В нём была та покойная барская несомненность, которая допускает быть уже совсем простым, и та насыщенность всеми видами бытия, которая не толкает человека выступать никаким претендентом. И голос его тут, где не надо напрягать, оказался с приятным припевом, и лицо всё время в улыбке.

А со вскинутыми остринками усов Павел Павлович Гронский, прогрессист из Твери, не так был прост, на каждой фразе чувствовались и претензии, и образование,— но ничего якобинского в близком обращении не проявил, и тоже дворянин, только что городской. И компанейский человек, с весёлым поглядыванием на закуску и выпивку.

Оказывается, депутаты уже несколько дней, с утра и до ночи, ездят по фронту, во многих воинских частях произнесли речи,— вдвоём, подсчитали, 28 речей,— оттого и осипли.

— Но удаётся везде: возглашаем «довести до победного конца» — и везде кричат «ура».

Савицкий испытывал обоих колким поглядом.

Рассказывали депутаты и о Петербурге, наверно, который раз, хотя уставшие их голоса нуждались в молчании. И события, уже известные по газетам, ещё раз узнавались — но почему-то в неточных, расплывчатых, даже миражных контурах. Все эти предметы — Государственная Дума, Временное правительство, Совет рабочих депутатов — выступали как отражённые в колеблемой воде, потерявшие свойства твёрдого тела.

— А что прикажете, господа? — сплетал пальцы Гронский, и облачко шло по его нервному лбу.— Тактикой скрывания событий, необъявления солдатам, создалась бы в частях ещё худшая атмосфера недоверия.

А вот: рождаются дикие эти *приказы*, неизвестно от кого к кому. Почему же Временное правительство не пресечёт их?

Но, господа, разве вам не сообщалась телеграмма Родзянки в штаб Верховного: все приказы Совета рабочих депутатов попадают в армию нелегальным путём и не имеют никакого значения, так как Совет депутатов не в составе правительства?

— Да в пустой след потом что угодно можно разъяснять, это уже не действует.— Начальник штаба заметно возвышался над всеми за столом.— Этот Приказ № 1 перепоранил всех как влетевшая в строй граната. И между офицерами и солдатами сразу легла вражда. А что если добавлено там же о дисциплине — то этого никто не слышит.

Генерал-майор Савицкий не давал старости собою овладевать, прекрасно ровно держался, на службе, в строю, в бою. Глаза — быстрые, голова маленькая — подвижна, седина полузаметна, и усы и бороду кругло-коротко стриг, не запуская в почтенную старость.

— Да что «приказ № 1», когда вот уже, не спрося строевых, печатаются указания генеральской комиссии при военном министре! И все они учат, как развинчивать военные уставы. Вот...— показывал газету.

Ротный командир может присутствовать на заседании ротного комитета лишь по его приглашению и только с правом совещательного голоса! Напротив, представитель ротного комитета имеет право *контролировать* совещания своих офицеров, собирать обвинительные материалы на должностных лиц — и сообщать в советы рабочих депутатов о попытках командиров вернуться к старому порядку. Если нет материала отдать офицера под суд, но офицер этот крайне нежелателен солдатам,— то дивизионный комитет докладывает в Петроград о необходимости отчислить этого офицера. Полковой комитет *разбирает недоразумения* между офицерами и солдатами. Сойти с ума?.. А младший офицер лишается всякой дисциплинарной власти и может *жаловаться* на солдата только в ротный суд.

Этим двум господам, хотя и важным таким, Савицкий выговаривал с горячностью:

— Положение офицеров, господа, вы, или ваши петербургские друзья, или правительство, или газеты,— сделали совершенно нестерпимым! Такого — никогда не бывало ни в одной армии мира, и не может такое существовать. А сейчас газеты ещё обещают скорую отмену смертной казни, даже за измену и шпионство. Армия без наказаний, и даже с выборами офицеров,— да что вы, за дураков нас считаете?

— Но господа! — изумлялся Гронский и поводил своими красивыми выразительными глазами, созданными для адвокатских эффектов.— Выборы офицеров — кто ж это принял серьёзно?

Грозно безулыбчивый начальник штаба наложил измерительную сетку. Никакие «общественные права» солдат не существуют ни в какой западной демократии. Во французской республиканской армии военнослужащие не имеют избирательного права, ни права политических собраний. Солдат никогда не имеет права переодеться в штатское и обязан быть на вечерней поверке. А у нас в тылу уже от этого освобождают. И у них командир полка имеет право дать солдату 14 суток ареста.

Когда повар с помощником входили менять, он умолкал.

Депутаты были огорчены упрёками, если не обижены: ведь это всё делают не они! После вознесенья речей, да видя их рядом, таких обиходливых, разумных, симпатичных,— и правда удивишься, как мы сами бываем не похожи на наши дела.

— Ну как же, господа, а разве вы сами, вот этим приездом, не подрываете офицеров?

Добрейший полнолицый Игорь Платонович, ещё расплывшийся в теплоте обеда, изумился:

— Мы-ы? Но мы говорим только в укрепление!

— Нет, господа. Уже то, что говорили вы, а не мы, что была форма сборища, а не военного строя,— эге, думает солдат, значит есть многое такое, чего наши офицеры не знают или сказать не хотят. Уже то подрывает нас, что вы должны их уговаривать в нашу пользу.

— Господа! — перехватил сообразительный Павел Павлович, поправляя салфетку на груди.— Положение неприятное, конечно, но оно сложилось от неизбежного революционного хаоса, от разнодействующих инстанций. Надо перетерпеть и перестоять этот короткий момент,— а уже дальше, уже вот начались все усилия к укреплению офицерства. Но и многое будет зависеть от вашего, офицерского такта. Вот — комитеты...

— Какой-то шестилапый зверь,— перебил полковник.— Как он будет в пехотном строю равняться?

— Но комитеты уже созданы, этого не повернуть. Пусть это зло — а в каком-то смысле может быть и добро? Они есть — так найдите к ним наилучшую линию. Если офицерский элемент стал бы умело направлять комитеты, то было бы отрегулировано бесформенное солдатское движение.

И ведь он искренне говорил, счастливый дар! Вот так они и в Думе говорят? — слышат ли сами себя? И сегодняшних своих крестьянских слушателей как они представляют? Или в тамбовском, тверском имении лишь неделю в год?

Военные стояли наотрез: нет, армия этого не переварит! Комитеты — это конец армии. Они уже кое-где лезут мешаться и в боевую деятельность. Сотрудничать с ними — исключено. Если уж упущено их разогнать — то надо их только обуздывать и не давать расти.

— Напрасно, о, напрасно, господа! — затронутый за важное, заволновался Павел Павлович и успевал всех собеседников охватить подвижным взглядом.— Из-за того, что политическая борьба в армии вообще нелепость,— нельзя офицерам сейчас от неё отказываться. Она уже всё равно началась — так надо войти в неё и спасти армию. Огонь, зажжённый декабристами, разве когда-нибудь погасал в офицерстве?!

Нет, глаза-таки его присверкивали по-якобински, это не почудилось. Ни к ладу, ни к ляду не приходились декабристы к сегодняшней обстановке.

Савицкий печально покачал головой:

— Господа, всё это мы переживали и в Девятьсот Пятом. Я тогда служил во Владивостоке. Сразу после октябрьского Манифеста исчезла всякая дисциплина и всякая связь в войсках. Солдаты везде стали подозревать ненавистную «белую кость», где её и помина нет. До того офицеры носили в кобурах белые перчатки вместо револьверов. А тут — стали бояться своих же солдат, и впервые вкладывали заряженные. Вы поймите этот вид нынешнего боя: столкнуться не с противником, а с бунтом собственных солдат. Если простая смена частей на позиции стала рискованной операцией. Если солдаты один раз узнали, что можно не подчиниться,— то как командовать? А уступать — тогда конец всему, станет не армия, а вооружённая толпа, страшнее для своей страны, чем для противника.

— Но надо смело вступать в комитеты,— не сдавался Гронский,— и направить их. Офицерство должно вступить в союз с лучшей частью солдатской массы!

Зоркий полковник налетел через стол со встречным:

— А вы — знаете эту лучшую часть? Где комитеты создались — кто в них? Фельдшеры, ветеринары да писари!— вот кого солдаты выбирают. В лучшем случае — прапорщики запаса да врачи, окопная интеллигенция. Они-то солдат и будоражат. И вот *им* мы должны уступать власть? А где комитеты уже ввелись — есть ли успокоение? Да никакого, только хуже.

— Но может быть,— мягкие ладони сжимал в примирение спорящих доброжелательный тамбовский помещик,— тогда помогут делу отдельные офицерские комитеты?

— А чем может заниматься отдельный офицерский комитет? Если солдатской массой будет заведовать солдатский комитет, а боевая и строевая жизнь ещё пока у командования,— что остаётся офицерскому? Разбирать внутренние офицерские дрязги?

— Но что же иное? Но что же тогда?— покидая тарелку, вилку, нож, всем откидом в стульную спинку выразил разочарование Гронский.— Если вы вообще не берётесь сотрудничать с комитетами, то что же можно делать?

Савицкий подлокотил голову, тёр по темени:

— Эх, господа. А неужели вы не могли спросить армию, прежде чем совершать революцию? Как же штатские люди могли не посчитаться с нами?

— Так вышло само, господин генерал. Не поверите: мы проснулись — и не узнали Петрограда.

Начальник штаба пересек режущими глазами:

— А зачем вообще был нужен переворот? Что особенно плохого было раньше?

Это прозвучало как бы неприлично. Демидов вежливо промолчал. Гронский тоже сперва. Но пауза затянулась, и он сказал тихо, глядя в тарелку:

— Господа, к старому возврата всё равно нет. Хорошо или дурно,— надо примириться.

— Хорошо, а вот пишут: в Петрограде в руках Совета рабочих депутатов — тысяча двести пулемётов. Значит — нам, на фронте, пулемётов не дождаться? И почему в руках Совета рабочих?

Да видите, объясняли гости, запасных пулемётных полков, как вы знаете, во всей армии всего два, и оба перешли на сторону революции. И для её поддержки оба желают сохранить свои боевые силы в Петрограде.

— *Желают*! А что же правительство?

Правительство? Правительство... Депутаты переглянулись, Гронский профортепьянил пальцами по скатерти и улыбнулся с тонкой остротою:

— Между нами, господа, Временное правительство — как хороши, как свежи были розы...

И — замерли те расплывшиеся контуры.

— А Государственная Дума?!

А Государственная Дума? Да вот, все мы в разъездах...

— ... Вот, например, с присягой курбет: Совет рабочих депутатов опротестовал присягу, и она теперь, кажется, будет остановлена.

— Как? Как?— совершенно изумились офицеры.— А которые части уже присягнули?

— Которые присягнули,—перебирал Павел Павлович удолженными пальцами, как бы отряхая прах между них,— те возможно будут переприсягать, а возможно и так останется.

Вот это так! сотни тысяч солдат поднимали руку, крестились, подписывались,— а какой-то дрянной советник из шантрапы отменил её?..

Но и: что тогда остаётся от всякой присяги вообще? Армия без присяги?

Но, кажется, депутаты не слишком были отяжелены этим злоповоротом присяги: кажется, они уже понимали, что стольких сразу неприятностей не перенести, если не относиться к ним легче. Не посидеть, не посмаковать старого винца.

Савицкий сердито выдул сквозь усы:

— И вы думаете, в таком настроении можно наступать? Значит, кампании 17-го года нам уже и не взять.

Да что вы? Да что вы?!— огорчились депутаты.— А в Петрограде, наоборот, самые лучшие надежды!..

— А почему, вы думаете, солдаты так рады перевороту? Надеются: новое правительство быстро кончит войну — и по домам.

Да откуда ж это взяли?— изумлялись депутаты.— Да кто ж такое обещал? Это поразительно!

— А зачем же иначе переворот? Этого вы солдату не объясните. Если продолжать войну — зачем переворот? Всё, что солдат мог,— он давал его императорскому величеству и без переворота.

Уж не обижал до конца, не напомнил: ваше «горе тем, кто баламутит Россию» — не к вам ли первым и относится?..

Депутаты подавлены были выставленной им безнадёжностью.

— Так это всё потому, господа,— разводя, растопорщивая все десять острых пальцев, жаловался Павел Павлович,— это всё потому... Не в революции беда, а в том, что у русского солдата нет сознания родины. Если б они любили родину — они не поняли бы событий так извращённо.

— Нет,— возразил коллеге Игорь Платонович.— Родину, Русь — они понимают. Или во всяком случае понимали раньше. Ведь спасали ж её от татар, от поляков — сами, никакой интеллигенции ещё не было.

— Вы, господа, в своих речах как-то странно сочетаете: «за родину» и «за революцию». А вы, Павел Павлович, революцию даже выставляли вместо родины. Да как вы можете их ставить рядом? Родина — это святыня и наша вечность. Революция — временная острая болезнь, умопомешательство, она не может даже года продержаться,— как вы можете их сопоставить?

Добрый Игорь Платонович, уже подхмелевший, кивал, кивал, согласительно. Да он, душка, так всё и думал, как они? Это он по должности депутата?.. Ему, может, и самому жалко прошлого быта, своего где-нибудь запущенного поместья и соловья на сиреневом кусте?

Чего-то нет, чего-то жаль,
Куда-то сердце мчится вдаль...

596 ″

(по социалистическим газетам, 11—14 марта)

КАЮЩИЕСЯ ДВОРЯНЕ. 10 марта на заседании совета объединённых дворянских обществ 22 губерний единогласно принята резолюция: «... совершился великий переворот... В эти трудные и великие для России дни все русские люди, отложив всякие разногласия, должны сплотиться вокруг Временного правительства как единой ныне законной власти. ...призываем всё русское дворянство признать эту власть и содействовать ей... Пусть же дворянство, положив упование на милость Божию, своим бескорыстным трудом...»

...Без бояр, без дворян оказался наш царь,
Кто поддержит тебя, сиротина?
Кто опорой тебе будет в новой судьбе?
Кто заменит тебе дворянина?..

...Он разрушит вконец твой роскошный дворец
И оставит лишь пепел от трона,
И отнимет в бою он порфиру твою,
И порежет её на знамёна.

...Фабрикантов-купцов, твоих верных сынов
Точно пыль он развеет по полю...

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РАБОЧЕГО КЛАССА... Соглашение о введении 8-часового рабочего дня. То, о чём товарищи рабочие мечтали, на что готовились отдать многие годы упорной борьбы,— достигнуто одним нажимом революционной воли, одним ударом революционного меча. Как бы мог рабочий участвовать в политической жизни, если б ему пришлось отдать всё своё время станку? Теперь — распространить победу петроградских рабочих на всю Россию. Если Петроград окажется единственным городом, где введено ограничение рабочего дня,— он станет притягательным пунктом для рабочих из провинции: масса пролетариев нахлынет в столицу и создаст конкуренцию на рабочем рынке, это приведёт к понижению заработной платы и другим вредным последствиям.

...Представители заводчиков заявили, что идут на такую уступку, рассчитывая на усиление интенсивности труда. Но есть разные приёмы, с помощью которых такое усиление может принять ненормальные формы. По системе Тэйлора и при 8-часовом рабочем дне и даже за 5 часов из рабочего можно вымотать все силы.

В МОСКВЕ ИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ? Эти слухи возбудили тревогу среди населения... Свергнул старый режим петербургский пролетариат. Мы понимаем тайную мысль буржуазии: она боится для

Учредительного Собрания — революционной атмосферы столицы. И хочет укрыться в Москву, где издавна господствует богатая буржуазия.

УНИЧТОЖЕНИЕ СОСЛОВИЙ И ЧИНОВ. По идее СРСД это означает **полное уничтожение сословий.** Не оставлять и невинных кличек — «дворяне», «крестьяне». 125 лет назад французский народ в бурном гражданском порыве выбросил все сословные названия... Но что **мы видим?** После стихийного уничтожения твердынь царизма наше Временное правительство ещё твёрдо держится табели о рангах и пишет о назначения каких-то «статских», «действительных»... Это неприемлемо для демократии!

Пенсионерам революции. Отстранённым губернаторам князь Львов сохранил жалованье. Низложенные помпадуры могут быть спокойны, терпеливо ждать того дня, когда начнут насаждать прежний культ нагайки... На народные деньги содержать своих угнетателей?

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА. Россия сказочно разбогатела. Сравните арестантское положение прежде и теперь. Я тоже был арестантом. Мне давали крохотную камеру, Романову — большой дворец. Мне давали 10 копеек кормовых в сутки — а Романову? Нас охраняли один надзиратель на 30 человек — а Романова 4 полка...

К амнистии. Во время войны правящее дворянство применяло как кару — призыв стачечников в войска. Амнистия должна распространиться и на них. Рабочие, отправленные на позиции, должны быть немедленно возвращены...

...приспешники и рыцари старого бюрократического насилия могут оказаться между гражданами обновлённой России... Наши пожелания о немедленном отправлении всех этих холопов и кровопийц на позиции...

ХРОНИКА. До сих пор остаётся на свободе митрополит Макарий. Он был главным организатором томского погрома 1905 года.

... Солдаты петроградского разгрузочного батальона выражают живейшую радость по поводу отмены навсегда смертной казни. Рухнул старый постылый режим, и на обуглившихся развалинах его в лучах восходящего солнца...

... В оперном зале Народного дома, где когда-то распевал для буржуазии свои песни Шаляпин, теперь заседают пулемётчики. С эстрады — речь: «Какой нам нужен командир полка?» Он должен любить свободу и выражать наши желания... Пулемётчик сам кузнец своего счастья.

Солдатский митинг в запасном полку в Сокольниках... Постановили, что приказ полковника о сохранении старого устава не имеет никакого значения... Также: московский гарнизон должен быть гарантирован от высылки в другие места.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩАМ СОЛДАТАМ ОТ РАБОЧИХ. Герои, борцы, титаны! Поколения будут благословлять вас...

ПРИЗЫВ РАДИОТЕЛЕГРАФИСТОВ. Товарищи! На ваших заседаниях говорите спокойнее; нас, солдат, истерическими криками не удивишь, а вот услышать спокойную продуманную речь нам желательно. И мы дадим своё согласие или отказ. Товарищи рабочие! Вы без солдат, как и солдаты без вас,— пустое место. Только рука об руку мы...

... Отношение железнодорожников к переживаемому моменту... Поддержать углубление начал свободы... На первый план вопросы политического характера...

МИТИНГ ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ. ... Мы не получим независимой польской республики от европейской буржуазии — а только от международной демократии.

Латышский народный митинг в Москве... Довести буржуазно-демократическую революцию до победного конца... Латышский пролетариат является одним из первых авангардов российского революционного движения...

Резолюция студенческого собрания Психо-Неврологического института. Мы, студенты и студентки Психо-Неврологического института, бывшие всегда врагами старого строя...

УНИЧТОЖЬТЕ ХВОСТЫ...

...Выходишь на улицу и встречаешь несчастные фигуры оборванных китайцев. Кто их сюда привёз? Улучшим условия их существования.

ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВ. ВОЗЗВАНИЕ. Отвергайте замыслы наложить оковы на свободу. Требуйте созыва Учредительного Собрания Деятелей Искусств — и оно решит вопрос об устроении художественной жизни России. Протестуйте против учреждения министерства искусств и захвата власти отдельными группами...

Союз сапожников. ... Настал момент великого объединения всех масс трудящегося класса, медлить нельзя, и каждый из нас должен не распылить сил... Стоя на точке зрения классовой борьбы, мы не можем объединяться с мастерами...

К товарищам по производству изделий из бумаги... футлярщикам, абажурщикам, картузникам... Товарищи! Мы должны смотреть, чтобы династия из рук Романовых не перешла в руки Родзянок, Львовых, Милюковых... Не теряйте ни минуты, вступайте в профессиональные общества...

Товарищи фотографы и фотографические служащие... Не нужна ли прибавка жалованья? Эксплоатация труда поразительная...

... Вы, товарищи ремесленники, пасынки пролетарской семьи: капитал гнетёт вас сильнее. Идите же все на собрание!

К младшим служащим в городских больницах. Погибло самодержавие, занялась заря новой жизни. Соединимся все как один и предъявим наши требования.

Товарищи конторщики и банковские служащие! Медлить нельзя, нам надо сорганизоваться, наступил момент строительства государства... Мы должны своим сплочённым выступлением заявить, какая нужна свобода.

Товарищи пекаря...

Товарищи золотосеребреники, бронзовщики, гравёры, словолитчики, меднолитейщики, гальванопласты...

Ломовики и крючники! Ка́тали, носаки́, кладчики, разгрузчики! Пришло и нам время объединиться!

Профессиональное общество фармацевтов, уцелевшее во время реакции с 1907 по 1917, примыкает к марксистам...

... прачки, гладильщицы, зовите всех на собрание...

Профессиональный союз работающих иглой...

Доставлен с Измайловского полка мальчик Коля, 6—7 лет, спросить у швейцара...

Мать убедительно просит больницы и лазареты сообщить, не находятся ли на лечении мальчик Михаил, 13 лет, Шилов, или значился ли в убитых...

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ. Исполнительный Комитет СРСД постановил **допустить беспрепятственный выход всех периодических изданий без различия направлений.** При этом ИК конечно оставляет за собой право принимать соответствующие меры против изданий, которые позволят себе в переживаемую революционную эпоху вредить делу революции...

ВТОРОЕ НАПАДЕНИЕ. ... Нападение идёт со стороны Временного правительства. Присяга, принятая правительством, направлена против Совета. Сегодня — второе нападение: военный министр приказывает объединиться всем вокруг Временного правительства. Значит: оставьте Совет Рабочих Депутатов, не верьте ему. Далее, Гучков говорит, что «в столице отдельные группы продолжают сеять раздор». Это о вас идёт речь, товарищи члены Совета. Почему же Гучков не называет вас прямо? Потому что он ещё боится вас, потому что за вас — гарнизон. Но когда вас решат разогнать или расстрелять... Гучков говорит: «Много немецких шпионов скрывается под серой солдатской шинелью.» Это — о вас, товарищи солдаты! Будьте настороже!

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ИЗ ГЕРМАНИИ. ...Радиотелеграмма из какой-то местности близ Берлина: «**Привет, товарищи, ура!**» Итак, известие о русской революции дошло до германских социал-демократов! Пожелаем же им поскорее справиться со своим Вильгельмом!..

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ. Российская демократия с нетерпением ждёт известий, как откликнется Германия на события в России. Если прусскому дворянству удастся удержать германский пролетариат в тисках дисциплины... Старой власти в Германии необходимо затушить российский пожар. Перед лицом этой опасности старая власть должна быть добита и погребена.

ПРИЗЫВ В. Г. КОРОЛЕНКО, переданный по телеграфу... **Опасность надвигается. Будьте готовы! К сражениям, к битвам, к пролитию своей и чужой крови.** Ужасно, что эти призывы приходится слышать от нас, писателей, кто всегда будил благородную мечту, что народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Но соединяя любовь к человечеству с любовью к родине, приходится подхватить тревожный клич. Я желал бы, чтоб голос печати звучал как труба на заре: **с запада идет туча!..** Я считаю свалку народов великим преступлением. Но ростки международного братства ещё бессильны. Защита родины, нужная всегда, теперь стала вдвое нужнее. Забудем распри, отложим споры о будущем! Пусть все смотрят в одну сторону, откуда раздаётся топот германца.

СТАВКА — ЦЕНТР КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. По сообщению георгиевских кавалеров, посетивших 12 марта Исполнительный Комитет, Могилёв сделался центром контрреволюционного

заговора. Офицеры-мятежники издеваются над свободной Россией, нагло утверждают, что новый строй, созданный «кучкой смутьянов», недолговечен и скоро на престоле будет восстановлен Николай II. Делегация сообщила много фактов и имена офицеров, явных противников нового режима. По мнению ИК, необходимо безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию... Правительство обещало. Будем надеяться, что оно будет действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков. Солдаты глубоко возмущены безнаказанностью реакционеров...

(«Известия СРСД»)

ГЕНЕРАЛЫ-МЯТЕЖНИКИ ВНЕ ЗАКОНА... Среди нашего высшего командного состава, как известно, много (если не большинство) ярких сторонников старого режима... И они гуляют на свободе. Временное правительство должно неотложно издать декрет, объявляющий генерал-мятежников вне закона. После издания декрета солдаты не только не обязаны будут повиноваться таким начальникам, но смогут безнаказанно убить таких господ...

(«Известия СРСД»)

АРЕСТ ГЕН. ИВАНОВА. Мы в состоянии поделиться с читателем приятной новостью: пресловутый ген. Иванов, который в первые дни революции двинулся на Петроград для подавления революции, наконец арестован. Надеемся, этому холопу Никалая II, этому сыну Иуды, будет воздано по заслугам.

ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ. По поводу таинственных знаков, появляющихся на дверях обывателей,— крестов, наклеек двуглавых орлов и «За веру, Царя и Отечество»,— комиссар г. Петрограда и Таврического дворца заявляет, что все эти таинственные знаки — дело рук провокаторов и шпионов, которые были выпущены из тюрем в дни революции. Комиссар призывает жителей уничтожать эти надписи и не придавать им значения.

Обыск у пресловутого доктора Бадмаева...

20 следственных комиссий обходят все места заключения и выясняют, за кем из арестованных не числится никаких дел. Министерство юстиции разрабатывает правила о порядке освобождения добровольно сдавшихся полицейских.

Письмо в редакцию. В номере «Правды» от 7 марта была помещена резолюция от имени резервной автомобильной роты. Просим довести до всеобщего сведения, что указанная резолюция является вымышленной... Ни один орган нашей автомобильной роты никогда не высказывал требования прекратить войну и изменить состав Временного правительства.

Одесса. Новосозданный общественный комитет отказал в своём доверии городской думе и городской управе, и взял управление в свои руки. Призыв к населению прекратить потребление спиртных напитков и сохранять порядок на улицах. Постановлено создать в Одессе Народный университет. Воздвигнуть на костях и крови павших светлое будущее России...

Арестованы председатель союза русского народа и председатель «русских людей»... Общее собрание адвокатов постановило приступить к изданию рабочей газеты.

Иркутск. По случаю дня свободы состоялся парад гарнизона. Архиерейский молебен... От Комитета парад принимал Церетели...

Ревель. Шествие на кладбище жертв 1906 года. От разных организаций несли 26 венков, среди которых были очень роскошные, со всевозможными лентами и надписями. Над участниками шествия развевалось 267 знамён и плакатов. Был изображён бюст молодого доверчивого бойца 1905 года — и рядом серьёзного бойца наших дней. Шествие растянулось на 10 вёрст.

Пенза. На улицах шумные манифестации, один митинг сменяет другой.

Аккерман. С фасада чайной союза русского народа снята вывеска.

Ташкент. Арестован вождь погромно-монархической организации Василий Орлов, бежавший из Москвы.

Киев. За последние дни произведены обыски местных деятелей союза русского народа.

Первое свободное собрание еврейских рабочих г. **Тамбова** приветствует петроградских рабочих и солдат. Вместе со всем пролетариатом еврейские рабочие готовы на новые жертвы для окончательного упрочения демократического строя.

Инжавино, Тамбовской губ. Состоялось многолюдное собрание. Народ заявил, что опека ему надоела, и сам стал избирать новую милицию. Обезоружили старую. Из деревень приезжают на базар не столько чтобы торговать, но чтобы разузнать новости. Растерянность. Спрашивают — лучше будет или хуже? В некоторых сёлах священники со слезами на глазах объявили в церкви, что настал конец мира.

Приветствия Совету Рабочих Депутатов... из Тагила от бывших жандармов... от швейцаров и курьеров министерств... от мирского схода с. Починки... от одесских портных...

... С далёких полей, залитых слезами обездоленных защитников дорогой родины, шлём вам горячий привет. Верим, что близок день, когда... ни безумной роскоши, ни мертвящей нужды... Разделённые расстоянием, но душой всегда с вами

писаря хозяйственной части 66 полка

СПИСОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ в кассу Совета Рабочих Депутатов:

от надзирателей дома предварительного заключения;
от полицейских чинов, находящихся под арестом в Кавалергардских казармах;
от парикмахеров г. Петрограда;
от судовой команды крейсера «Аврора»;
от правления Петроградского Благородного Собрания;
от административного надзора Петроградской пересыльной тюрьмы;
от посетителей трактира «Белозерск»;
от юнкеров Военно-Топографического училища;
от дворников и швейцаров участка Васильевского острова;
от прихода села Рождественского;
от американской методистско-епископальной церкви...

Пропала девочка в плюшевом лиловом пальто, в тёплом коричневом платке, Варя, 4-х лет...

Ушел из дому мальчик 14 лет, имея при себе 140 руб. денег. Одет в жёлтое суконное пальто, на голове белая папаха...

ВСЕХ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ, отлучившихся из госпиталей, просят вернуться по своим местам.

(из «Правды»)

ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ! Российская революция велика тем, что она потребует передачи всей помещичьей земли. Помещики и буржуазия, оглушённые звоном металла от военных прибылей, не думали о крестьянском хозяйстве. Теперь они задумались. На кадетском съезде они решат, как бы совсем не лишиться земли помещикам или пусть разорённый народ заплатит помещику. Но не может быть речи о покупке. Земельный вопрос может быть разрешён только революционным путём.

РАБОЧИЙ КЛАСС И РЕСПУБЛИКА. Республика — единственная форма, отвечающая требованиям пролетарской классовой борьбы для достижения Социализма... В республике президент будет принуждён чутко прислушиваться к голосу рабочего класса...

ВЛАСТЬ — ДЕМОКРАТИИ! Руль власти захватило контрреволюционное Временное правительство и прилагает все усилия, чтоб не дать начавшейся революции перекинуться на деревню и на армию. Но это случится, потому что это неизбежно. В армии революционеры должны сменить всех старых начальников. И в деревне органы старой власти должны быть арестованы и обезоружены. И в городах власть, назначенная Временным правительством, должна быть заменена городскими коммунами.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Уничтожить министерство императорского двора. Конфисковать удельные земли. Уничтожить «кабинет его величества» — целые уезды земли в Сибири. Более ста лет цари крали деньги у народа и хранили их в английском банке. Если оставить их Романовым — это будет фонд для подкупа убийц и погромщиков. В царских дворцах накоплено несметное количество золота, серебра, бриллиантов. Перевезти в государственный банк, перечеканить в монету. Художественные вещи продавать с аукциона. Использовать Зимний дворец и все дворцы. Бывших министров не меньше чем собак на свалке,— прекратить им пенсии. Жалованье высшим чиновникам представляло грабёж казны. Прекратить.

О СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ. Вопрос о том, кто начал войну, не имеет значения, обсуждать его было бы напрасной потерей времени. Господствующие классы в ненасытной жажде увеличения своих богатств...

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ...

Все храмы и утварь в них должны перейти в собственность государства — и православные общества будут получать их в пользование от правительства. Эти обязательные правила обеспечат нас от постоянного навязанного засилия духовенства, которое, в большинстве черносотенное, всегда помогало свергнутому правительству в его злодейской деятельности. Недаром попов повсюду звали жандармами в рясах. Духовенство повсюду с церковного амвона проповедовало всегда самые гнусные человеконенавистнические идеи. И в школах вливало в молодые души тлетворный яд черносотенных мыслей.

Приветствие Н. Ленину послало за границу московское бюро Центрального Комитета: «Горячо приветствуем дорогого и глубокоуважаемого товарища Владимира Ильича, неутомимого борца и истинного идейного вождя... Вы всегда неутомимо стояли на страже интересов рабочего класса и высоко держали знамя... С нетерпением ждём вашего возвращения.»

Партийная литература. В наших партийных газетах большая часть статей появляется без

4*

подписи. Это делается для поднятия авторитета партийных учреждений и для устранения рекламирования отдельных лиц. Это внесёт и больше единства во взгляды масс.

... Обращаем внимание товарищей на желательность организации спевок хорового исполнения революционных песен.

ЖЕРТВУЙТЕ ЗАРАБОТОК ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Рабочая газета не может зависеть от капризов и алчности господ капиталистов.

О митинге прислуги... Собравшиеся стояли на улице. Товарищи прислуги! Мы должны добиться, чтоб и нам было место для собраний. Просим РСДРП подать голос и за нас, не имеющих никогда свободы.

ОТКУДА НАМ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ? Демократию пугают, что «враг стоит у ворот», а Милюков заявляет, что наша цель — «ликвидация Турции»... Николай II и его приближённые грозились открыть минский фронт Вильгельму — и такая опасность существует, пока армия — в руках Алексеевых...

СИЛА СОБЫТИЙ. Две недели назад наш большевистский агитатор был арестован в Москве красной милицией за то, что призывал к республике. Сейчас и ЦК кадетов уже объявил себя за демократическую республику. Мы указали, что дяде бывшего царя и генералу Алексееву не место быть во главе революционной армии. И Николай Романов уже смещён, а об Алексееве узнаем через недельку-другую.

В БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ ОТКРЫТ ПОХОД ПРОТИВ «ПРАВДЫ». Это нас не удивляет. «Правда» поставила своей задачей защищать интересы всего трудящегося народа. Вчерашние сторонники монархии обливают потоком грязи газету, созданную рабочим классом. Предстоят ещё многие битвы. Борьба не кончена, не обольщаться словами о свободе. Мы помним 1848 год и Коммуну, когда республиканская буржуазия расстреливала рабочих. Мы сочтём нашу революцию законченной, когда вся власть будет принадлежать самому народу, когда все чиновники будут выборными, когда земля будет передана государству. Мы отдаём газету «Правду» под защиту революционного рабочего класса и армии.

... Временное правительство, выдвинутое либеральным движением класса собственников... Но революция будет углубляться и идти к диктатуре пролетариата и крестьянства. Временное правительство склонно было бы задержать развитие революции, но у них нет сил для этого. Упираясь, они принуждены идти вперёд. Мы будем разоблачать каждую непоследовательность Временного правительства, каждую попытку притушить революционный пожар. Мы должны знать, что пути демократии и Временного правительства разойдутся. Нам незачем подгонять события. Они и так развиваются с великолепной быстротой! И именно поэтому было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства. Движущие силы революции — за нас.

Матвей Муранов

О СОВЕТАХ. С быстротой молнии двигается колесница русской революции. За Петроградом тянется, спотыкаясь, необъятная провинция. Но оглянитесь кругом: тёмная работа чёрных сил идёт непрерывно. Чтоб развернуть революцию дальше — надо союз рабочих и солдат сделать не временным, а устойчивым. Орган этого союза — Советы.

К. Сталин

ЧТО НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ? Каждый гражданин или гражданка нашей молодой республики должен немедленно вступить в ту или иную организацию. Социал-демократы должны быстро стать в железные ряды. Надо, чтобы по всей России возникало множество клубов. Немедленно всюду устраивать стрелковые общества и обучаться стрельбе... До огромной массы населения России докатились только отрывочные сведения о том, что сделано Революцией.

Владимир Бонч-Бруевич

ГОСПОДАМ КЛЕВЕТНИКАМ ИЗ БУРЖУАЗНЫХ ГАЗЕТ

Лишась последнего стыда,
Старайтесь, господа!
... Большие барыши
Вас ждут за гнусную работу.

Демьян Бедный

... На заводском собрании выяснялась физиономия Временного правительства и задачи пролетариата. Признали, что Временное правительство радо протянуть руку прежнему царскому, дабы укротить пролетариат... Решено регулярно выписывать «Правду» и пожертвовать в Железный Фонд...

О ПРОВОКАТОРЕ ЧЕРНОМАЗОВЕ... Единоличным редактором «Правды» он никогда не был. Постоянно шёл разговор, чтобы сместить Черномазова. Всегда тяжело подозревать человека, который считается товарищем... Но улик не было... Недобросовестная травля буржуазной печати...

СМЕШНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ. В травле против «Правды» ничем не брезгуют. Спрашивают даже: почему мы называем Петербург, а не Петроград? Николай II пожелал показать свой патриотизм и перекрестил. Этим он не победил немцев и не спас себя. Должны ли мы исполнять всякую его бесполезную затею? Наш Петербургский комитет не желает менять своё имя в угоду Николаю II. Неужели нет более серьёзного вопроса?

«Правдой» получено приветствие от товарищей **Н. Ленина и Г. Зиновьева.**

597

Ещё десять дней назад Александр Фёдорович трепетал от гордости, что включён в правительство, и в драматически-мятежных языках пламени видел своё положение социалистического заложника среди буржуазных министров. Но за немногие дни он великолепно в этом правительстве освоился: Некрасов, Терещенко и Коновалов были его тайно-соединённые и во всём согласные друзья; Годнев и Владимир Львов, постоянно в Керенском не уверенные из-за своей правой принадлежности, голосовали всегда на стороне Керенского; сам князь Георгий Львов относился к Керенскому с растущим почтением, если даже не с услужливостью,— и Керенский уже ощущал себя как бы заместителем премьер-министра, второю фигурой в кабинете,— хотя, конечно, это место думал занимать Милюков да и Гучков. Керенский уж никак не был рядовой министр, и всего лишь юстиции, но уже — влиянием на князя Львова — приобретал как бы право *veto* на любые решения остального правительства. А каждое собственное действие его одобрялось, а каждое предложение его принималось; например, чтобы правительство ехало и Сенат и там бы присягало на верность народу.

Правда, такое положение Керенского в правительстве объяснялось не только превосходством его личности, ещё не всеми усвоенным, но тем, что плечи его были нагружены доверием революционно-демократической общественности и всего Народа.

Однако это представительство от Совета, так полезное в первые дни, эта зависимость становилась Керенскому непереносима и даже унизительна, по мере того как росла развязность и претензии Совета. Если Исполнительный Комитет Совета значил больше, чем всё правительство вместе взятое, то что тогда был Керенский в правительстве и зачем? Уронил бы он себя, если б хоть раз отправился туда, на Исполком, тереться среди них и серьёзно отчитываться о правительстве. Как признанная любовь всей России, надежда её, многогласно выраженная,— Керенский бы наилучше всего теперь совсем отменил бы своё советское происхождение, смыл бы его с себя, оно его только суживало. Но это было невозможно при том, что Совет то и дело вмешивался в дела правительства, и надо было какую-то позицию занимать.

А теперь придумали ещё эту Контактную комиссию, и вот исполкомовцы приходили развязно, вчера уже второй раз, сюда, в тихий, сверкающий, золочёно-мраморный Мариинский дворец,— и разваливались в бархатных креслах выслушивать отчёт правительства и давать свои указания. Особенно раздражал Керенского презрительно-басовитый тон Нахамкиса, как он поучал министров о доминации Совета.

Защищался ли добросиятельный князь, что Временное правительство получает со всех концов России сотни телеграмм с приветствиями, благопожеланиями, обещаниями помощи и поддержки,—

— Да мы,— добавлял Нахамкис,— тысячи таких телеграмм получаем, и все требуют, чтобы мы забрали власть себе. Вы — только потому до сих пор правительство, что мы защищаем вас от масс, а они — желают вас убрать.

Как будто не личность энергичного мелькающего Керенского привлекла к правительству симпатии российских масс!

Но самому ему было неудобно о том возражать. Его позиция и Контактной комиссии оказывалась исключительно сложной, разодранной надвое. Он вообще избежал и ней числиться — потому что не мог же вступить в полемику против Совета на стороне буржуазного правительства, но и не разделял ни одной ноты Совета. Вчера он остался присутствовать на ней — как наблюдатель, как другие министры,— и сидел молча, с презрительно-прищуренным выражением. И внутренне корёжился от уступчивости размазни князя Львова.

Вчера заседали в большой комнате, с окнами на Исаакиевскую площадь. Сидели за подковообразным столом, правительство — по внешней стороне полукруга, Совет — по внутренней. Керенский — на самом краю, отдалясь, как если б он не имел отношения ни к тем, ни к другим.

Хотя уже отошло заседание правительства, ещё было не поздно. Но заседание Контактной комиссии изнурительно затянулось в споре об Учредительном Собрании.

Одна штора была не задёрнута, и виднелись огни «Астории», уличных фонарей, полная темнота там, где громоздился Исаакиевский собор, а иногда по площади проносились световые снопы автомобилей или покачивались точки свечных извозчичьих фонарей.

Собственно, обе беседующие стороны начинали понимать, что появлением Учредитель-

ного Собрания они обе отменяются. И поэтому спешить с Собранием не было выгодно ни одной из них. Но и много раз уже было заявлено, что война не мешает созыву. Однако если Львов смущённо оправдывался, что практически невозможно созвать в мае-июне, как обещали, чтобы приготовить абсолютно-демократические выборы,— значит, не раньше всё-таки осени,— Совет показно настаивал, чтобы летом.

Согласились, что должна выбирать и Действующая армия. Должны выбирать и женщины. Согласились, что подготовку выборов будет вести совместная с Советом комиссия. Но не сумел отстоять князь Львов даже — чтоб Учредительное собралось в Москве. А Нахамкис гремел не по-комнатному:

— Вы хотите увести Учредительное Собрание из-под контроля революционных рабочих Петрограда?

От безответственного его наседания Керенский внутренне извивался. Он уже понимал, как трудно устроить эти выборы, так легко пообещанные. И не видел, почему наотрез надо было отказывать Москве, где его принимали столь восторженно. И представлял, сколько ещё столкновений с Исполнительным Комитетом будет при подготовке.

Но его двойственное положение не давало ему возражать, и он молчал.

И только после заседания остался наедине с князем и резко выговаривал ему за недопустимую слабость.

Конечно, приходилось работать с тем правительством, которое составилось. Лицезреть вечно заспанного недотёпу Щепкина, рядом со Львовым. Приходилось терпеть недостатки и своих союзников. Например, Некрасов не делал ни одного сообщения, чтоб не клянчить повысить оплату кому-нибудь из своих подчинённых, ища у них популярности. То предлагал отменить закон о лиходательстве — чтобы дающий взятку не подлежал суду, тоже кому-то обещал?

Как раз на вчерашнем и сегодняшнем заседании много и почти сплошь министры просили денег. Шингарёв — повысить суточные продовольственным комиссарам, Милюков — пособие нашему посланнику в Швеции. Коновалов — пенсий для увольняемых начальников Неокладных Сборов и казённой продажи питей, и на покупку угля для уральских заводов — полтора миллиона, и просто на усиление штатов министерства один миллион рублей. Некрасов — восемь с половиной миллионов на усиление оборотного капитала железных дорог. Сам Керенский — воспособления амнистированным, возвращающимся из Сибири. Терещенко — увеличения заработной платы рабочим Монетного Двора, а для Экспедиции заготовления государственных бумаг, которым особенно много придётся работать, он просил сверхурочные, пособие по вздорожанию, процентные прибавки плюс полуторамесячные оклады большинству.

А сверх этих всех, подряд удовлетворяемых просьб не мог не встать, и когда-то должен был встать, и Терещенко вымолвил наконец вопрос: какое же месячное содержание назначить самим членам Временного Правительства?

Ведь они уже 12 дней состояли в должностях.

Наступила пауза. Никто не хотел предложить первый, и неудобно было высказаться слишком определённо. Всем понятно, что несправедливо было бы министрам свободного правительства назначить содержание ниже, чем министрам лакейского царского правительства. А вздорожание военных лет даже могло потребовать некоторого возвышения окладов.

Но никто не был готов первый предложить. И сформулировали так: просить министра финансов представить сведения об окладах прежних членов совета министров и свои предположения.

Других крупных вопросов не возникло. Отменили правила чрезвычайной охраны на железных дорогах. Приостановили мобилизацию труда инородческого населения империи: этот вопрос должен быть решён более гуманно в соответствии с основными началами нового государственного строя. Отменили именование придворными чинами, званиями генерал-адъютантов, флигель-адъютантов и всех других. А когда Гучков — в виде насмешки?— поставил вопрос об изменении порядка передачи наследникам оставшихся от убитых казаков сёдел — не стали рассматривать, мозги усталые напрягать, а — передать Государственной Думе, ей всё равно делать нечего.

Настолько Керенский созрел и создан был к движению, к ракетному движению — лететь, прочерчивая русское небо, появляться, быть показанным, произносить вдохновляющие речи, решительно всё ломать и переделывать,— что всякая заминка, остановка, вот эти многочасовые закисшие, непламенные заседания просто нервы ему надрывали. Вот был Родичев министром Финляндии, пост его быстро упразднился (Керенский этому содействовал), и на днях надо ехать кому-то в Финляндию, произнести там несколько речей,— Керенский взял это на себя. (Он обожает финнов!)

В правительстве было тесно не от князя Львова,— Львов, конечно, старая галоша, но это со временем решится. Раздражающей помехой был, во-первых, Милюков, напыженный на своём министерстве, пока неприступный, но конфликты с ним предчувствовал Александр Фёдорович впереди. И ещё более чужая сила — Гучков. Нельзя было разумно понять его право быть военным да ещё и морским министром.

А сам Александр Фёдорович — насколько больше бы подошёл к этой роли! Как бы он выглядел, перетянутый мундиром по стройной фигуре! Как бы носился с фронта на фронт (да вот, в сохранённом царском поезде) — и как бы воодушевлял войска! Насколько бы легче и воздушнее всё совершал! (Да вот — гневался Совет, что в Ставке заговор,— и что же мешкал Гучков? И кто же раньше настиг казачий штаб карающей десницей?— генерал-прокурор!)

Юстиции? Но юстицию Керенский уже за эти 10 дней преобразил фантастически, уже сформовал новую русскую юридическую эпоху — и мог теперь перенестись дальше. Что ж, не ему достанется вознести юстицию на окончательный пьедестал — но в избытке таланта он рвался на следующий пост! (А пока — отчего не сделать и доброе дело? Он и всегда понимал, что Горемыкин — нафталинная шуба и ни при чём во всех событиях, а Голицын попал как кур в ощип, тоже ни при чём,— арестовали громко и хватит,— можно их теперь освободить из заключения, только как-нибудь понегласнее, чтобы скандала не было от Совета. И даже самому съездить в крепость, пусть старики запомнят, и история тоже отметит.)

Сдерживая вызов, Керенский помётывал взглядами на Гучкова. Нет, стар он уже, упустил лучший возраст и нет у него чувства ритма революционной эпохи. Сам для себя Керенский решил заглянуть глубже: что там делается внутри гучковского министерства?

598

Это и есть настоящая жизнь: когда ты нужен обществу каждой своей клеткой, с головы до ног, сразу в десять мест и все 24 часа в сутки. Как-то с Нусей за поздним ужином захотели подсчитать, сколько ж у него обязанностей и постов,— она взяла бумажку, стала писать — а он заснул, локти на скатерть.

Лихорадка революции схлынула, а натяжения, в которых жил Ободовский, не ослабели ничуть. Министр промышленности Коновалов предлагал ему пост своего товарища,— отказался. На него и так теперь было взвалено Особое Совещание по снабжению металлом оборонных заводов. Особыми Совещаниями до сих пор командовали только министры, а он никто,— а надо создать его в неустоявшейся обстановке, да не Совещание, но чтобы заводы получали реальный металл по железным дорогам, взбудораженным той же революцией.

Одно это Совещание должно было захватить всё время Петра Акимовича. Но как только 10 марта достигли соглашения с фабрикантами о 8-часовом рабочем дне для Петрограда,— Ободовский поослабил внимание к заводам, а тут же кипливо взялся за свой Военно-Технический комитет: провести сейчас быструю технизацию нашей армии, даже за полгода достичь германского уровня, а то и выше. До революции его проекты залёживались в Управлениях на зелёных скатертях. А сейчас пали Управления, и руки Ободовского освободились. И уже 11 марта он провёл через Военную комиссию, а 12-го опубликовал в газетах как Приказ: «О расширении деятельности Комитета Военно-Технической помощи». Поручалось ему (он сам себе поручал): устраивать при армиях телефонные, телеграфные, радиотелеграфные, прожекторные и электротехнические школы, и мастерские для ремонта всех этих аппаратов, электростанции для электризации проволочных заграждений, и получать все нужные приборы и аппараты внеочерёдно с заводов, а сносясь с начальниками воинских частей — забирать от них инженеров и студентов, кто в должностях не по специальностям.

И, собственно, ничего увлекательнее вот таких задач Ободовский не знал. Однако азарт его теснился той же Военной комиссией — ждали его и там, а вот Гучков уезжал — и членам Военной комиссии, по очереди, и Ободовскому тоже, доставалось вести приём фронтовых делегаций, желавших выразить военному министру патриотические заверения и получить объяснения о положении в Петрограде (как будто сторонний человек мог бы эту дичь понять!).

А ещё же Ободовского ждали на заседаниях поливановской комиссии по демократизации армии. Хотя по более понятной ему заводской обстановке Ободовский начинал уже бояться размаха этих демократических начал, но из-за хаотических крайностей не могло же возникнуть принципиальное сомнение в самих началах,— иначе зачем же и революцию производили. Если, как предсказано,

> Вынесет всё!— и широкую, ясную
> Грудью дорогу проложит себе,—

то эта широкая ясная дорога только и могла быть дорогой широчайшей демократии — и только она могла насытить аппетит века и удержать Россию от перехода в бесцветный социализм. Удержать на грани перелома, на грани срыва — всегда трудно, но в этом искусство и задача. Так и в армии. Дисциплина не могла остаться в прежнем виде, но получить гибкость, раздвинуться,— однако ведомая патриотическим чувством и широким умом. И в этом смысле даже те генералы, которых Гучков подобрал в поливановскую

комиссию, оказались косными, они лишь тужились казаться демократами, но не успевали за быстрым дыханием реформы. И Ободовский придумал сколотить внутри поливановской комиссии отдельно как бы «демократическую группу»: толковым и смелым собираться ещё отдельно и готовить общую линию напора. Но и такой бывал изворот у этих генералов и честолюбивых полковников, что только бы услужить новому режиму, хоть и развали армию,— и он, гражданский человек, должен был остерегать их!

А тут с другой стороны, из солдатской секции Совета, опубликовали «Декларацию прав солдата» — так Ободовский совсем за голову взялся: что ж остаётся от офицерства в армии! И это — прошло совсем вне поливановской комиссии и военного министерства!

Особое Совещание по металлу Ободовский собирал в Таврическом. Но упирался в десятки вопросов, которых нельзя решить без правительства,— и приходилось ехать в Мариинский дворец.

Сегодня он встретил там на белостенной лестнице с белыми бюстами античных героев — быстро спускавшегося Керенского, издали заметного по австрийской куртке в осиную талию, короткому бобрику и нетерпеливой походке.

Пожалуй, вот этой быстротой, гонкой торопливостью поспеть во сто мест, Керенский нравился.

Ободовского тот знал в лицо, уже намелькались за дни революции, и сейчас, полусбегая с лестницы мальчишески-лёгким шагом, узнал — кивнул — пролетел ещё шага два — но тут же позвал, не помня имени-отчества:

— Господин Ободовский! Одну минутку!

Пётр Акимович не так же быстро шёл вверх, как тот вниз, ещё поблизости обернулся — а Керенский взлетел на эти ступеньки назад — и на этот раз уже тянул, жал руку, не совсем и без силы была его рука.

Двое, вроде адъютантов, бежали позади Керенского,— теперь они тактично отошли на другую сторону лестницы.

Хотя Керенский шёл, очевидно, после заседания правительства и после уже многих часов работы в разных местах,— но вид у него был совсем свежий, даже весёлый:

— Господин Ободовский!— он легко поднял палец, как бы, однако, призывая ко вниманию.— У меня есть одно... У меня к вам один...

Нет, поблизости лицо было у него несвежее, но очень решительный вид. При улыбке обнажался верхний ряд зубов, а веки полуопущенные.

— Такой вопрос,— негромко, но ласково, но и властно говорил он.— Я бы хотел немного познакомиться... вникнуть... в военные проблемы. М-м-м,— снял серьёзность, искупил руладой,— в порядке самообразования.— И уже доверчиво, одобрительно, наградительно: — Не могли бы вы ко мне привезти, вечерком, побеседовать, несколько умных полковников из Военной комиссии?

Сощурился ещё у́же.

Странно. И лично Петру Акимовичу это было совсем ни к чему. И почему опять именно он, гражданский инженер, должен был собирать полковников Генерального штаба? Но с другой стороны, устроить подобное ему было совсем легко. А с третьей — не умел он вот так в глаза сказать дружелюбному человеку: а не пошли бы вы прочь?

— Ко мне, в министерство юстиции, вечерком, попозже,— уточнял Керенский как уже о решённом.

— Да, но...— замялся Ободовский,— об этом должен был бы знать военный министр.

— Ах, Гучков,— сухим коротким смешком засмеялся Керенский. И разрешил:— Ну конечно. Ну конечно.

И добавил, зачем-то смотря на наручные часы:

— Только... послезавтра я в Финляндии... Так хорошо бы завтра вечерком, перед поездом, часиков так в десять.

599

Два генерал-лейтенанта, два корпусных командира и два ровесника — они всем телом и видом рознились, и только разве тем схожи, что речь обоих была хрипловата и недлинна.

Крупный грузный Крымов сидел в кабинете Корнилова, на широком стуле едва помещаясь и уже навалив половину хрустальной пепельницы махорочного пепла, а под высокий потолок наоблачив дыму.

Сухонький калмыковатый сдержанный Корнилов иногда присаживался за слишком большой стол, в слишком широкое кресло командующего, а то вставал и прохаживался по ковру тонкими ногами в бесшумных сапогах без шпор, крадущимся шагом разведчика. Подходил к одному из окон — все четыре в ряд от пола, высокие, все на Дворцовую площадь,— и постаивал, поглядывал туда — так же хмуровато, как и на собеседника. Это исконное у него было выражение, будто он чего-то недопонимал.

— Ни одну часть из Петрограда убрать не имею права.— Перешёл.— Они сковались

как круговой порукой.— Перешёл.— Конечно, надо расчищать, не могу. Да пулемётные полки, сколько стволов, во всей армии не намного больше. А они тут в разврате. И не могу.

— Так отбери у них пулемёты!

— Не могу,— косоватыми сабельными бровями.

— Так кто же ты? никто?— обдымливался Крымов. Он не любил европейского выканья и всегда прорывался на русское ты, где только можно, даже и с первой беседы.— Не можешь выцерёть этих — подтягивай крепкие части с фронта.

— Не имею права,— сухими плечами.

— Как?— и в з я т ь не можешь? И — привести?

— Не имею права,— из-под литых усов, холодно, как не про себя.

— Так какой же ты к чертям командующий?! Я б — минуты не оставался.

И смотрел на Корнилова по-медвежьи. Вот это Крымов и хотел понять: почему Корнилов в таком положении остаётся командующим? Просто ради почёта? Или — затаился, а есть свой план?

Корнилов провёл по усам маленькой рукой с массивным кольцом белого металла. Молчал.

Узкие глаза, закрытый, так легко его не поймёшь.

— Да от наших генералов — и весь разврат,— признал Крымов.— Спешат, не знают, как лучше ... подлизать. Ну и кем Гучков себя окружил, вот я не ждал!— кальсонщиками, им на складах считать, а не генералы! Что это?— честь отменили, дисциплинарные взыскания отменили, даже «проступки» отменили,— а есть только «недоразумения»! А ещё — и офицеры выборные? Да бабьей метлой такую армию разогнать, это уже не армия.

Густо дымил.

Корнилов малыми шажками похаживал молча, непроницаемый.

— И Военный Совет — идиот на идиоте,— пыхтел Крымов.— Спешат засвидетельствовать солидарность, как легко армию растряхивают. Будто сами сроду не служили, старые пердуны.

Поджёг одну от другой.

— Ещё этот борода-лопата Иванов, дурак. Он-то всё и погубил, первый. Он-то почему в Петроград не вошёл? Самый первый всё держал в руках. Уж один-то боевой полк у него был, Тарутинский, а больше и не надо. Ещё когда сволочь не укрепилась — почему в Петроград не вошёл?— насупленно допрашивал Корнилова, будто тот и не вошёл.

Да на ту же должность и стал.

А вот пойди его разгадай.

— А то есть и главнокомандующие,— гудел Крымов из бочки-груди,— которые красные ленты перед солдатами цепляют. Нашли хороший способ карьеры.

Он о Брусилове говорил.

Но адмирал Максимов проявился и похуже.

Да не мог Корнилов иначе думать, чем Крымов, не мог! И Крымов решительно:

— Тебе надо делать ставку на казако́в! Два казачьих полка у тебя есть, что же ты?

— Петроградские казаки сейчас — не казаки,— не протронулся Корнилов.— Они красуются — толпе понравиться. В революцию им тут хлопали. Сейчас думают — как бы им на Дон уйти. Вот и всё.

— Да что ты?!— Уверен был:— Не, мои — не такие.

— Поопасись,— возразил Корнилов узко сдвинутыми губами.— Дойдет и дотуда.

— Не дойдёт!— Уж когда Крымов что в голову вбил — он возражений не признавал.

— До чего может дойти,— хмуро цедил Корнилов,— мы с тобой просто и вообразить не можем. Сукиных сынов если начинать считать, так... с Таврического.

Нет, он был свой! Ну-ну!

— А ты слышал, что шайка приказала? Считать уже принятую присягу недействительной! А?— Крымов гулко хохотал.— Шайка запасных отменила присягу!

А Корнилов совсем не весело щурился: до тебя далеко, а до меня дошло.

Отложил, погасил Крымов всякое курево, хлопнул по столу:

— А училища у тебя как?

— Юнкера — хороши. Одни они службу несут. Вчера в Павловском был. Отличный парад, отвечают дружно, под левую.

— И сколько у тебя всего юнкеров, со старшими кадетами? Тысяч десять?

— Около.

Большими лапами схватился за большие круглые колени — и закачался медведь:

— Так надо дело спасать, Лавр Егорыч! Ведь *такого* Россия не перескочит. Надо — армию спасать.

Корнилов остановился против, как влитый. Сощуренно смотрел.

— Я всё ж думаю — как-нибудь вытяну гарнизон. Конечно, все твёрдые меры у меня отняты, да и некем их применять... Ну вот начали приезжать депутации с фронтов. Я их посылаю на заводы. Они — в боевом снаряжении туда едут.

— И что?

— И — проверяют. И тычут: почему, мол, вооружения нам не делаете? И по частям гарнизона.

— О-о-ох,— перекосился Крымов, как штык ему в бок.— Ещё кто кого переговорит. Добрая слава лежит, а худая бежит. Как бы эти депутации, наоборот, фронта не разложили. Ведь и от Петрограда к нам ездят?

— Ездят.

— Ну вот, наездят.— И лапу на стол.— Нет, Лавр Егорыч! Россия этого не перескочит. Запускать эту заразу нельзя, потом нам всем же тяжелей придётся. Петроград надо расчистить, иначе нет дороги.

— Кем же?— сверлил Корнилов.

— Кем? Да училищами! юнкерами и кадетами!— размахнулся спешенный конный, ему всё было ясно и легко со стороны.— У вас тут всё парады — вот и собери их всех на один парад, но с боевыми патронами. С оркестром веди к Таврическому. Да и разгони этот Совет собачьих депутатов. И всё! И всё.

Всё было ему ясно.

Глаза Корнилова взблеснули угольками.

О юнкерах он уже думал. Юнкера честь-то отдают, но для многих их: вот кончился распутинский позор, наконец свобода. Ещё — пойдут ли? А за старших кадетов — родители раскиохчутся: мы отдавали детей на ученье, а не на войну.

Да вообще в этом каменном нагороженном городе был Корнилов — как у австрийцев в плену, всё чужое.

Да ещё Совет депутатов — он бы без трепета разогнал,— но правительство его о том не просит, и будет недовольно, или даже разгневается,— как же на правительство руку поднять? на Гучкова?

Служба есть служба. Крымов наехал — Крымов уехал, а кому тут досталось — послужи. Да и Крымов же не против Гучкова советовал.

Но говорить Корнилов был не мастер. И только:

— Как же так, Алексан Михалыч?.. Во время войны?

— Так именно во время войны!— опять припечатал Крымов.— А то бы — сполагоря!

В кабинете была открыта форточка — и вдруг стал доноситься оркестр военной музыки.

Приближался со стороны Миллионной.

Но это была не поганая марсельеза. Крымов первый узнал:

— Павловский марш.

Только после этого влетел адъютант и запыхавшись доложил, что Павловский батальон идёт на Дворцовую площадь на парад.

Темнокожий Корнилов, кажется, не мог покраснеть — а жар в щеках: не догадался бы Крымов, что парад назначен без командующего.

— Да,— как будто вспомнил он.— Придётся мне пойти принять парад. А ты — не уходи, посмотри из окна, какие у нас теперь парады. Павловский считается из первых революционных. Он — как бы начинал, и ревнует к Волынскому.

Крымов перколыхнулся мрачно к окну, добра не ожидая.

Смотрели.

— А это что во главе такой молодой? Капитан, что ли?

— Избранный,— вздохнул Корнилов.— Не велят снимать.

— И-и-избранный,— прогудел Крымов.— Небось, солдатам подмазывает.

Колонна уже выходила на Дворцовую и как раз заворачивала по дуге Штаба, чтобы сделать петлю. Оттого она приблизилась, повернулась сюда красными пятнами плакатов, отлекающих и от вида и от строя, от формы, от лиц, и можно было читать: «Да здравствует Временное правительство!», «Да здравствует Совет рабочих депутатов!»

— Тьфу, оскомина,— отплюнулся Крымов только что не натурально на ковёр.— И ты пойдёшь их принимать?

Лицо Корнилова было темно, угнетено, но и фаталистично. Движение перемены или гнева не пробежало по нему.

Но подходили следующие плакаты — от сердца отлегало: «В единении — сила». «Граждане! Подумаем о наших братьях в окопах». «Победим или умрём!»

— М-м-ми-ничего,— курильно прокашлялся, пробулькал в толстом горле Крымов.— Да и идут, мерзавцы, не так плохо.

— Даже хорошо,— отлегало у Корнилова.— Видишь, всё ещё можно исправить, силы добрые есть. Только надо их поддержать да соединить.

«Отложим личные счёты!» — был следующий плакат, даже умильный.

А за ним опять: «Да здравствует» — на этот раз — «Учредительное Собрание».

А оркестр тем временем перешёл на марсельезу.

Отвернулся Крымов и ушёл в своё кресло.

А Корнилов надел шинель, фуражку. Со стороны ругать — всегда легко, но если тут что-то хочешь делать, то надо в чём-то и уступить, в чём-то и потерпеть. Уж он не признался Крымову, язык не извернулся, что сам написал в два штаба фронтов просьбу

допустить туда к ним депутатов от петроградских батальонов. Он думал так почерпнуть от Действующей армии силу своему гарнизону. Этим гарнизоном он командовал — и должен был его спасти.

Вышел на площадь. Погода была предурнейшая, слякотная, грязная, лужи. Но, как и к волынцам,— натягивало любопытствующую бездельную публику.

Стал обходить фронт — стояли молодцами, отвечали дружно, громко: «Здравия-желаем-господин-генерал!» (Уже не сбивались на превосходительство.)

Стал речь говорить. А о чём?— всё о том же. Что нужна крепкая дисциплина. И спайка с офицерами. (Да половину их уже прогнали.) А со стороны офицеров — тёплое заботливое отношение к солдату. Твёрдо всем стоять на защите нового строя. Да здравствует Павловский полк в окопах!

И лица солдат были вполне довольны вниманием.

Да не может быть, чтоб не было пути к их сердцам. Русские воины — очнутся.

Перестроились в колонну поротно. Переяли — очень недурно — ружья на руку, по полковой традиции. И — пошли печатать, небрежа слякотью, очень собой довольные.

Солдаты — те же дети.

Корнилов отрывисто благодарил проходящие роты за отличный воинский вид.

Его — опять подхватила толпа на руки и понесла в штаб.

Дети.

600

Идя на войну, уверена была Таня Белобрагина, что, останься жива (а лучше — умереть),— ни за что не вернётся в Новочеркасск. После смерти матери — близких тут не было у неё, только родня подальше. Вернуться туда, где любовь её была обманута и унижена,— и на какой-то улице вдруг встретиться с *ним*? и *с ней*?

Но отбыв два года тяжкого немецкого плена — не ей тяжкого, а нашим страдальцам-солдатикам — с первой осени в лагере Гаммерштейн, без бараков и землянок, на голой земле, голодали и косил сыпной тиф, и потом цепь лагерей, где пленных могли загнать побоями в торфяное болото и не выпускать оттуда, или, в Ортельсбурге, застрелить пленного за то, что развёл огонь для чайника не в положенное время, заколоть штыком за то, что унёс две картофелины с кухни; беглецов привязывали к столбу, ноги на весу, на неделю, и круговые наказанья всем за побег одного-двоих; где собирали коренья, где отбросы из помойных ям, и к привозимой группе сестёр тянулись с жалобами на многие болезни и болячки, которых знать бы не знали в молодом теле, а в твоих руках почти никаких лекарств; — перед этими отрогами скорби начисто иссякла, излечилась, даже уже с недоумением вспоминалась боль самой Тани. И когда она попала прошлой осенью в возвращаемую партию пленных сестёр, вернулась в Петроград (получила там георгиевскую медаль 3-й степени) — то без колебаний отлилось в ней: конечно и родной Новочеркасск, где родилась, училась, стала сестрой, в неповторимую раскинутую просторную казачью столицу — с её крутыми булыжными взъёмами, лещадными плитами тротуаров, ракушечным устилом нежных бульваров, садами, садами, замкнутыми и заборах при сотнях нескученных деревянных и каменных особнячков, ветровой Соборной площадью у купола-шлема и плечей несравненного Собора, бородатым Ермаком с протянутой на ладони подарком-державой, пирамидальными тополями по Московской, раскидистыми туркестанскими по Платовскому и Баклановскому, дальними видами на аксайские луга,— да нет такого второго города в России! И вернулась. И стала работать в больнице Общества Донских Врачей на Ратной улице. Непереносимое в 20 лет — к 22-м пережито и отвалилось.

Тут и застал Таню новочеркасский переворот с его странностями: составлявшее дух города важное казачество и казачье чиновничество — враз куда-то затаилось, отошло, в свои особняки? Атаманом Дона!— стал заведующий портняжными и сапожными мастерскими военно-промышленного комитета. А власть в городе, безо всяких выборов, захватил комитет из натолкавшейся образованной не казачьей публики, объявил же себя Областным Исполнительным, то бишь — власть на весь Дон, занял Атаманский дворец и стал распоряжаться не только по Новочеркасску — распустили городскую думу, упразднили полицию, взяли телеграф и почту, призывали обывателей сообщать, где таится скрытый товар, он будет без уплаты стоимости конфискован в пользу населения,— но и по всему Дону смещали с должностей, и даже окружных атаманов, не спрашивая те округа, лишь не тронули пока Войсковой атаманский штаб да не смогли сменить начальника юнкерского училища генерала Попова: юнкера заявили, что будут защищать его с оружием в руках!

Эта мальчишеская отвага — звоном отозвалась в таниной груди! Не за короткие недели фронта в Восточной Пруссии, но за два года плена она ощутила себя военным человеком. И отец — войсковой старшина, погиб на японской. И Мариинский институт кончала, для военных дочерей.

Но рядом с «Областным исполнительным» комитетом быстро вспухало чудовище и похуже: Военный Отдел. Отдел — будто бы того комитета, а по-верному — отдельная власть над городом крикунов из солдатского гарнизона. В Новочеркасске стояло два не донских запасных полка, их 16 тысяч, в Отдел полезли все, у кого глотка, или жажда власти, или жажда мести,— и в руки этой орды попала казачья столица. Заняли протяжное здание областного правления у крутого булыжного Атаманского спуска — и там вседневно кипел их солдатский конвент. Малочисленные голоса делегатов казачьих частей там были забиты и запуганы двумя бешеными вожаками — армейским поручиком Арнаутовым и есаулом Голубовым, всякое выступление против них объявлялось контрреволюцией. Голубов на солдатском митинге в Хотунке сорвал с себя погоны: он — стыдится своего офицерского звания, а кто ещё носит погоны — тот контрреволюционер. И хотя сам он казак, но в борьбе за солдат и крестьян готов отдать последнюю каплю крови. (Потом огляделся — и снова те погоны прицепил.) Этот Голубов был — ватажник «сарынь на кичку!», и когда говорил перед толпой, то злобно захлёбывался — но и толпу увлекал. Но и обдуманные же листы «Известий Донского исполнительного комитета» печатали для Новочеркасска и Дона: «Покончить с казачьей гегемонией. Казаки — приверженцы буржуазии, отразить их удар. Сплотить крестьянский фронт для укрепления завоеваний революции».

Казачье население Новочеркасска было враз сбито и ошеломлено: у себя дома — они оказались совсем не дома! И даже громко голоса подать нельзя — а только друг к другу домой ходили и приглушённо гуторили. Молча отступившее, не высказанное, но потрясённое казачье несогласие.

И при такой развязке глоток от Военного отдела — что же творилось с солдатской тучей? И на улицах и во всех залах Судебных Установлений кричали: не верьте офицерам! бойтесь казаков! тех и других надо б и т ь ! И прямо казакам: «Доберёмся до вашей земли-цы! довольно поцарствовали! Теперь все равны!»

И всё больше пьяных солдат на улице. И начались грабежи домов. И на памятники Ермаку и Платову цепляли оскорбительные для казаков скабрезные рисунки и ругательные надписи.

И это — неужели же были те самые братцы, те самые страдальцы, на которых изливалось мукой танино сердце в германском плену?? Не те самые — но ведь братья же тех? Но ведь каждый мог попасть не сюда, а туда? не туда, а сюда?

Однажды на пьедестал Ермака рядом с Арнаутовым изобрался кряжистый вахмистр Подгорнов, да в простоте казачьих ухваток закричал:

— Эх, Ермак Тимофеевич! Что ты стоишь и молчишь? А дай-ка Арнаутову по потылице, всё он брешет, сукин сын! Когда ты Сибирь брал — не было розни между казаками и крестьянами, вместе шли! Брешет, а ещё поручик. Нехорошо, господин офицер!

И — сбил Арнаутову выступление, гоготала толпа.

Слухи о том, что в Новочеркасске всем вершат солдаты, доходили до станиц — и станицы похмурялись. Какие-то неизвестные у власти, начиная и с этого атамана Волошинова. Стали окружные комитеты там да там — не подчиняться Областному.

А среди всего беснования этих двух недель — держался нетронутый, каким и был, Войсковой атаманский штаб. К нему и тянулись последние казачьи надежды.

И вдруг вчера к этим полковникам прислал Военный отдел — своего *комиссара*: рядового солдата Рябцева.

А Войсковой штаб, с достоинством,— о т к а з а л с я его принять!

Тогда Голубов и Арнаутов потребовали, чтобы Войсковой штаб в полном составе — ушёл!

А Войсковой штаб — отказался!!

Голубов бушевал: всех переарестовать!

И вчера же Областной комитет, своим порядком, выпустил воззвание: в октябре будет создан Донской областной съезд — а до тех пор комитет будет стоять на страже народных интересов и завоеваний революции.

То есть: растянуть свою власть до октября?

А почему *областной* съезд, а не *войсковой*? Чтоб обошлось без строевых казачьих частей? опять подавить казаков?

И тут же вдруг подоспела, напечатали. телеграмма от Гучкова: разрешает комитету временно управлять Донской областью.

Только т е п е р ь разрешает? А они, злыдни,— уже что намесили, накруговоротили?!

И в несколько часов — замелькали казачьи смельчаки по городу: в Войсковой штаб, из штаба.

Немедленно учредить наш Донской Казачий Союз!

В другом бы русском городе — как объединиться? А мы — донцы, вот и сразу все вместе.

Дон — это н а ш е !

А — где собираться? Все общественные здания уже захвачены и м и .

А у нас же есть в Новочеркасске — ещё Новочеркасская станица, отдельность одних казачьих жителей. И её правление близ соразмерно стройной Троицкой церкви — сегодня к вечеру принимало устроителей Донского казачьего союза.

И Таня с колотящейся страстью — поспела сюда. И её, в сестринской повязке и с георгиевской медалью, охотно приняли, потеснились.

Вот это воины! Давно бы так! Там где-то гудят, сколачиваются арестные отряды — а мы открываем здесь н а ш у сходку!

Простые военные казаки, синие кителя, красные лампасы, вперемежку с казачьими офицерами — и сколько-то штатских стариков, своих, казачьих,— жили городом, считали, что у нас умов интеллигенции полно,— а она на поверку вышла не наша. И вот — средь нас нет имён.

Но есть — сердца. И сабли.

Казаки — хотят быть хозяевами своего исконного края!

Дон — для казаков!

Наболела казачья душа, пора объединяться! Плечо к плечу! стремя к стремени!

Председатель — есаул. Докладчик: с казачьих вольностей спали вековые оковы. Но для защиты казачьих интересов... Единая казачья семья, свободная от партийности... Исторические основы казачьего самоуправления и уклада... Восстановить их, используя революцию. Областной комитет ведёт к тому, чтоб обезличить Новочеркасск как духовно-культурный центр войска. Конечно, мы будем в содружестве и с донским коренным крестьянством. (Иногородних в области уже больше, чем казаков.) Но юртовая и войсковая земельная собственность казаков должна остаться неприкосновенной как их справедливое достояние.

Теперь Казачьему союзу — собираться ежедневно! Изберём депутацию к новому атаману: собирать съезд не областной — а *войсковой*, и не в октябре — а в апреле, теперь же!! Областной комитет — пусть себе будет этот месяц, до съезда, но мы учредим Донской Казачий Совет — и изоиём к станичникам собирать союзы хуторские, станичные,— и слать посланцев к нам. Собирайся, донцы, во единый круг! Будем готовить учредительный Войсковой Круг!— первый свободный от до-Петра!

Таня смотрела на седоусых старших офицеров — но оглядывалась и как в дверях столпились с блистающими глазами новочеркасские гимназисты и реалисты. И что эти тоже здесь — ах, хорошо!

Вот, кажется, и нашла себе Таня место: она — будет в Казачьем Союзе!

Наступай, наступай, Голубов, посмотрим!

601

По вечерам, если не боевая обстановка, генерал Савицкий любил отдых и простую домашность: выше пояса вместо военного была на нём тёплая вязаная кофта верблюжьей шерсти, а на ногах — тёплые чувяки. Зеркало кафельной печи хорошо нагрето: весна-не весна, а пока можно в суше да в тепле — так надо. Ещё очень любил Савицкий всякое хозяйство — и дивизионное, и штабное, и своё собственное,— вот, расписной заварной чайничек с надколотым носком, возил не бросал, ложечки, сахарные щипчики, всё кусок дома.

Позвал начальника штаба чайку вместе попить.

— Вот, Иван Харитоныч, упаси Бог от этих приездов. Это — ещё умеренные, а придут крайние?

В комнате-кабинете с углубными плюшевыми креслами один стол был с бумагами и телефонами, один под картами, а третий под чаем. Подле него и уселись теперь. Стояла на столе наблещенная 20-линейная яркая керосиновая лампа. Чтёные газеты, по недостатку места или непочтению, свалены были на пол у стены.

Из стакана в серебряном узорном подстаканнике с семейным вензелем Савицкий отпил свой коричнево-бордовый, настоенный, не ослабленный лимоном.

— Голова кругом идёт. Не сплю. Ведь мы кончаемся... Развал идёт на нас, как по широкому участку пущенный газ.

Высокий суровый полковник сидел недвижно. Что ж тут и говорить.

Савицкий щурился:

— Если б я сейчас мог спасти дивизию тем, что арестовать полдюжины комитетов,— я бы без колебания. Но дело зашло так, что уже и этим не спасёшь. Обычными методами военачальников — мы уже ничего не спасём. А вот я думаю все эти дни... думаю... Отколь гроза, оттоль и ведро. Надо — через верхи.

Начальник штаба удивился:

— Но вы ж их видели, Дмитрий Сергеич.

— А — не через этих. Именно, раз они такие, и *Раззянко* их такой же,— не через них.

В своей трогательной кофте Савицкий сидел, как хозяйка за столом, а решительность движения проявлялась и из-под этой вязи.

— Я думаю вот... Может быть, тот же наш командующий армией... Или даже выше...

Просто не хотят изять на себя первой ответственности? сказать первое отчётливое слово против потока? А если я — возьмусь всё первый назвать? Подам им чёткий рапорт, моя подпись, моя ответственность за каждое резкое выражение,— а им только двигать бумагу по команде до самого верха. Может и Ставке надо — на что-то опереться. Там, смотришь, и от кого другого поступит.

Встал, с отвердеЛой спиной, распрямлённой шеей, уже не домашний старичок, только что чувяками не печатая, прошёл к письменному столу, выдвинул ящик, достал хрустящие два белых листа:

— Соизвольте посмотреть,— отчеканил, подавая.

Начальник штаба, принимая лист — встал, звякнули шпоры, поклонился, и начал читать стоя, а сел не прежде чем сел и генерал.

Рапорт был написан чёрными чернилами, крупно, и почерк бы хорош, да чуть повреждён. (Ещё под Уздау прочеркнула Савицкому пуля три пальца понаружи.)

«Командующему армией генералу-от-инфантерии...

Командующему армейским корпусом генерал-лейтенанту...»

«...Новый военный министр не знает ни уклада армии, ни её моральных потребностей, разве только материальное снабжение...» — сразу брал за рога. И правда, простой хрусткий бумажный лист, а что только можно в него вписать, если без увилистого красноречия:

«Без проведения через законодательный орган появился в спешном виде и сообщён телеграфно от имени военмина приказ об отмене ограничений в правах нижних чинов — под давлением партии социалистов, поставившей себе целью уничтожить Армию путём разложения нравственных устоев её. Под видом отмены ограничений в Армию вносится возбуждение солдат против офицеров. А совет министров и Комитет Государственной Думы продолжают взывать о единстве, как будто не знают или не понимают приказа министра...»

Вот так! Всем Сенькам выдавал по шапкам. Потягивал генерал остывший чай — и с волнением не спускал ревнивых глаз с полковника, угадывая, какое место он сейчас читает.

В таком же духе шло и дальше, всё энергично:

«Нельзя допускать в армию политику, агитацию партий... Армия разваливается сокрушительно. Никакие военные действия этой весной становятся не возможны. Для натур малодушных и подлых надо установить законом физическое наказание,— это есть даже в западных армиях, с культурными солдатами. И — оставить смертную казнь по приговору полевого суда, хотя бы для изменников-перебежчиков.»

И даже на Учредительное Собрание замахивался:

«Невозможно без главной части мужчин обсуждать образ правления, земельный вопрос, состояние сословий.»

— Ну, как?

Начальник штаба отложил листы на чистое место.

И правда, что мог иное сделать беспомощный начальник дивизии? Смело, чётко, и лепить им в лоб. Снизу вверх.

А это никогда не легко, снизу вверх.

— Ваше превосходительство. Боюсь, реальный результат будет один: через считанные дни — вам отставка. В порядке омоложения командного состава.

— Да пусть отставка!— махнул Савицкий, в гневе.— Я и жизнью не дорожу.

Да начальник штаба его знал.

И не знал. Закинул голову:

— А если ещё и в газетах напечатать?..

Ого! Живо перенимал он образ действий эпохи! Против Гучкова — и гучковский же приём!?

Начальник штаба любовался своим командиром. И ужасался их общему бессилию:

— Газета, ваше превосходительство, в лучшем случае ответит: некоторые воинские начальники по своему политическому невежеству по сей день не уяснили подлинного смысла событий. Не через Гучкова, так через газету отставка ваша совершится тотчас.

— Но командующему армией это может дать опору формальную для протеста? для движения рапорта? Начальник дивизии — тоже не мелочь. И кому-то в Ставке пригодится такой рапорт? Во всяком случае, голос прозвучит?

— Честно говоря, ваше превосходительство, не думаю. Честно говоря: просто некому сейчас в России ничего дельного написать.

Савицкий твёрдо смотрел. Думал.

— Нет, всё равно пошлю. Завтра же.

602

И вот наступил великий день — день оглашения Манифеста «К народам всего мира». Пленум Совета намечался в самом большом зале Петрограда, какой только обнаружили: в Морском кадетском корпусе на Васильевском острове, думали вместить туда тысячи, может быть, четыре.

Гиммер не ожидал, что будет так волноваться. Представить себя сразу перед стольким тысячами, а слова бросать сразу ко всей Европе — это чем ближе, тем казалось грандиознее, и даже в груди пересыхало. Хватит ли голоса? Ну, в закрытом помещении легче, чем на улице. Да ведь не просто же прочесть готовый Манифест — он должен будет сделать распространённый доклад, найти ещё новые аргументы и построения и при этом не слишком рассердить оборонцев и не потеснить интернационалистов. Гиммер думал, доклад такой у него в голове готов,— нет, не готов, с утра понял. Но и удалиться готовить его — он тоже уже не мог, какая-то взволнованная потерянность рассеивала.

Итак, он пошёл на обычное заседание Исполнительного Комитета и полуприсутствовал тут, полуслышал, хотя ни в чём не участвовал, а заглядывал в свои хаотические листки и ещё дописывал сбоку. Переписать начисто и потом заучить или запомнить — уже и времени не оставалось, и усидчивости.

Заседание ИК началось с заявления какого-то шофёра, что ему известно, будто Горемыкин освобождён из Петропавловки. С подобными донесениями теперь многие пробивались в Исполком, они вызывали волнение, но большей частью оказывались ложными. Однако сопоставляя с рапортом георгиевских кавалеров из Могилёва, что вся Ставка — контрреволюционное гнездо? В «Известиях» уже появилась сегодня предупреждающая статья самого Стеклова — сильные статьи «Известий» выдвигались как вооружённые полки. А теперь ещё и освобождение Горемыкина? Да не готовят ли реставраторы этого старца в премьер-министры? Запросить Керенского.

В который раз возмутились Керенским: обязанный отчётом Совету, он никогда не отчитывался, не сказывался, не появлялся, совершенно обуржуазился. Даже на сегодняшнем пленуме, где он обязан быть, он конечно не будет.

Затем энергично докладывал Богданов, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов стал уже чрезмерен, неуправляем, нигде не помещается и работать не способен: там уже скоро две тысячи солдат, тысяча рабочих, это становится абсурд, а не законодательный орган. И нестерпимо такое соотношение: перевес мужицкого большинства, деревенской солдатчины, поглотившей революционный пролетариат. Надо изменить норму представительства, уменьшить общее число хотя бы тысяч до двух, и хотя бы уравнять рабочих с солдатами.

Но — как же это сделать? Изменённую норму — как же провести через сам Совет? Как заставить депутатов самих отказываться от своих мандатов? Навыдавали мандатов без оглядки, навыпускали джинов из бутылки — а как теперь их заткнуть назад? Задача!..

Сметливый Богданов предлагал так: нынешний непомерно-громоздкий Совет оставить как он есть, но только для торжественно-исторических заседаний, как сегодня. А для сколько-нибудь деловой работы выделить из Совета или избрать отдельно — «малый Совет», человек на 500, а лучше на 200.

Но что ж толковать о Совете, когда нерабочим и громоздким стал сам Исполнительный Комитет? Уже и здесь набралось чуть не 40 человек, да сколько-то с совещательными голосами. Раньше Совета надо преобразовать сам Исполком. Уменьшить его нельзя,— но не избрать ли из него бюро, которое и будет решать все текущие вопросы?

Приходилось согласиться. Человек семь?

Тут же стали выбирать бюро. Соколов — опять опоздал, опять его не было,— будет жалеть,что не попал. А Гиммер — не стал уже ввязываться в бой, добиваться туда попасть,— да и зачем ему эти текущие дела. Он был — теоретик, он был — мозг. Незаметный, но вдохновенный,— он был истинный направитель всей российской революции. Достаточно было, что он состоял в Контактной комиссии и мог всегда проверять Временное правительство, это — главное.

Выбрали в бюро — Чхеидзе, Стеклова, Гвоздева, Богданова, Красикова, Капелинского и — не Шляпникова, а Муранова: появился теперь Муранов, он был как бы равен Чхеидзе по своему прежнему думскому положению, и все охотно приняли его.

Но ещё бы — кандидатов в бюро? Троих? Выбрали двух инициативников — Шехтера и Соколовского, да большевика Стучку.

Ещё поступило заявление от каких-то правоэсеровских интеллигентов, что пришла пора выбирать по волостям Советы крестьянских депутатов, а по одному депутату от пяти волостей присылать в Петроград для Всероссийского Крестьянского Совета. Только ещё этого не хватало, как конкурента или как бревно на дороге? Традиционное увлечение российских интеллигентов мужичиной уже просто било в нос. Но одно виднелось утешение: что такой громоздкой организации да в нынешних условиях — они и за три месяца не прокрутят.

Ещё возобновили существенный вопрос: об оплате труда членов Исполнительного

Комитета. Невозможно держаться бесконечно на энтузиазме первых революционных дней: откуда же брать средства к существованию, заседая тут по 7 часов ежедневно? Да вообще, состоя членами реального как бы правительства России, неужели же мы не имеем права на достаточное вознаграждение?

Однако — сколько себе назначить? Слишком мало — обидно, слишком много — может вызвать рабочее неудовольствие, да ещё и — из каких средств платить? А Временное правительство насчёт 10 миллионов тянет, не отвечает. Поручили пока Брамсону изучить вопрос вознаграждения членам, и доложить Исполкому.

А заседание всё шло, шло. Долго подробно докладывала похоронная комиссия о плане похоронной процессии по городу. Марсово поле было всё не готово, только сегодня там начинали копку, а почва утолочена битым кирпичом и проморожена, теперь костры палить или взрывать. Жертвы революции всё не хоронятся, теперь откладывали ещё на неделю. Ожидали миллиона участников — и боялись Ходынки.

Ещё — проект создать союз чиновников с целью уничтожения бюрократизма.

Так — затянулось и затянулось заседание, пока уже не пригласили членов Исполкома к горячему обеду. И уже надо было собираться ехать в Морской корпус.

А Гиммер — так и не доделал своего доклада, не дописал, не переписал своих тезисов!

Теперь всему Исполнительному Комитету предстояло автомобилями переехать на Васильевский остров — целой вереницей автомобильной по Литейному и Невскому.

Но хотя автомобили Петрогрвда были, по сути, в распоряжении Совета — стали подсчитывать наличные, и что-то как будто не хватало, плохо распорядились.

Тут Флаксерман, жена Гиммера, она работала в аппарате Исполкома,— возьми и сбей на несчастье:

— Коля! А поедем со мной. Меня — особый автомобиль ждёт.

— Какой? Зачем тебя ждёт?

— Вот тут, в гараже, на Таврической улице. А ждёт — чтобы на Лиговку заехать в типографию, взять пачку «Известий», раздавать в Морском корпусе.

— Так это крюк какой!

— Да на моторе — одна минута, квкая разница! Там — всё готово, нам только вынесут, и мы ещё раньше других будем.

Ну что ж, пошли в тот гараж. Оттуда выбегали автомобили, но всё не те. Стали искать. Нашли шофёра, но у него ещё не было ордера. Пошёл подписать ордер. Ждали. Пришёл с ордером, стал мотор заводить — а мотор не заводится. Гиммер занервничал: пойти назад в Исполком?— но уже, наверно, все места разобрали. Да ничего, заседания Совета всё равно никогда вовремя не начинаются, подождём уж.

Наконец, мотор завёлся. Погнали на Лиговку.

В типографии не только не оказалось собранных «Известий», но даже тех людей, кто бы знал, сколько и где их надо собрать. Пришлось самим лазить по этажам, спрашивать, искать. Наконец — нашли, но теперь надо было искать, кто бы имел право всё это выдать и кто бы это перетащил и погрузил в автомобиль.

Ещё искали по тёмным коридорам, хлопали комнатными дверьми, пока нашлись люди, кто увязал кипы и донёс их.

Шофёр ждал супругов Гиммеров с негодованием: он и сам был член Совета и хотел присутствовать на пленуме, а вот из-за них... Не слушая оправданий, кинулся крутить ручку завода.

Но машина не заводилась.

Не заводилась, не заводилась — и куда ж было кидаться? Извозчика не найти, в трамвай не влезешь, а пешком — всё равно несравнимо дольше. Да каждую минуту, каждую секунду, с каждым поворотом ручки может завестись!

Гиммер искусал все губы, стараясь только не думать, не думать об идиотской глупости своего положения! Не умереть от бешенства, от разрыва сердца, от умоисступления,— что там думает Чхеидзе? Уже, наверно, начали! Но — квк же начать без главного докладчика?

Вдруг — машина затряслась, крупными неровными дёргами. Шофёр поспешно вскочил, нажал — и машина понеслась бешено, прыгая по ухабам, по лужам и далеко на прохожих разбрасывая серый снег и грязную воду.

Завернули на Невский, глянула его дальняя прямота, ещё погудели рожком на проворно разбегавшихся прохожих — и вдруг опять остановились. Тряхнуло седоков вперёд.

В этой двухминутной скачке по Невскому Гиммер ещё не успел отойти от муки — как впал теперь в новую, безысходную. Опустил голову на свои бессильные руки и готов был завыть. Но и опять не было смысла срываться: редкие извозчики ехали — занятые, трамвайная остановка не рядом, вагоны обвешаны людьми — а эта чёртова рухлядь всё-таки способна завестись?

В таком корёженьи и с ненавистью глядя на жену, Гиммер произвивался эту остановку. А машина завелась!— и он своим давлением ещё поддавал передней стенке ехать вперёд! А когда опять заглохла резким толчком — стал впадать в транс равнодушия, уже начинали ему быть безразличны и свой провал, и что произойдёт на пленуме,— и не было энергии искать другой способ добираться.

Так, дрыгая, то кидаясь вдоль проспекта, то резко останавливаясь, чёртова машина ещё промучила, промучила их сколько-то,— и всё ж перебралась через Дворцовый мост и дотянула до набережной к Морскому корпусу — с опозданием больше часа. Гиммер бросил жену, «Известия» — и полоумно побежал внутрь.

Пусты были лестницы, переходы,— началось!

В одну из раскрытых и затопленных дверей зала он всё же втиснулся, проюлил ещё немного — но вот заперся, маленький, слабый, никому не нужный, за спинами — и видел только вверх: огромный лепной потолок, на хорах — морской духовой оркестр, на возвышении — крупная модель парусного корабля и на неё взобравшихся отнюдь не модельных матросов, да какие-то морские эмблемы высоко по стенам, да кой-где развешанные флаги, драпировка кусками красной материи, это всё уже при электричестве, дневного света не хватало на зал,— и хотя слышал зычный голос Нахамкиса, а долго не мог понять, где же расположился президиум. Оказался он не поперек зала, а — вдоль, на помосте, на уровне живота огромной бронзово-чёрной статуи Петра Великого в треуголке,— и ступеньки помоста тоже все облепила публика, солдаты и рабочие,— их как выпирало вверх из зала, набитого до отказу,— и как бы тут Гиммер мог пробиться?

А слышно было — прекрасно. И с ревностью слушал он Нахамкиса. С ревностью — и страшной тревогой, не возьмётся ли тот грубо комментировать Манифест, эти тонкие нюансы войны и мира, проводимые через подводные рифы, а это дело не его, какой же он теоретик, он слаб, он грубый эмпирик. И даже не мог Гиммер понять, уже читался ли Манифест? Обидно как! без автора! да как же они могут?! Или это ещё впереди?

Густо, напористо Нахамкис оповещал:

— Русская революция является не только русской. Ещё 150 лет назад Франция сделала революцию. Была объявлена война хижин против за́мков, народа против короля.

О-о, да он касался великих теней! великих тем!

— Но тогда русские войска пошли в Париж и восстановили монархию. Потом наш проклятой памяти Николай I... Сами рабы, продаваемые как вещи, мы помогали укреплять тиранов. Имя русского стало ненавистно европейскому свободному гражданину. У нас была тёмная ночь. Но революционный петух пропел — и наступила зари новой жизни — русский крепостной из жандарма превратился в революционера. И каждый с гордостью скажет: я жил в это славное время. И это чувствуют все оставшиеся на престолах тираны. Вот почему Вильгельм дрожит за своё существование. Вашей власти ждут страждущие других государств. Гром радости разнесётся по всему свету...

Ничего, это ничего...

— Царь наш казался великий, потому что вы стояли перед ним на коленях. Но стоило вам храбро встать на ноги — он стал маленьким, глиняным, и вы его легко свергли. Однако дело революции не закреплено. Злодей Иванов арестован — а георгиевские кавалеры просили у нас прощения за недоразумение. В Могилёве собираются контрреволюционеры. Я надеюсь, они будут все переловлены, привезены сюда в кандалах, а тут судимы беспощадно!

Что это, куда это он понёс? Ему не терпелось пересказать свою сегодняшнюю статью из «Известий». В такой великий момент — при чём тут Ставка? какое отношение к Манифесту?...

И электричество вдруг потухло. Но сразу и загорелось.

— Таких людей надо считать изменниками общему делу!— гремел Нахамкис, плохо видный за тесными высокими спинами.— Таких военачальников, поднявших оружие против нового режима, мы объявляем — вне закона!! Если найдётся генерал, который пожелает вести против нас солдат,— голос рокотал громом,— к а ж д ы й о б я з а н у б и т ь е г о!

Зал оживился, зашевелился, загудел, понравилось. Тем временем Гиммер, не имея сил расталкивать плечи, ввьюркивал между боков — и всё же пробирался. И вот ему стал виден грозный Нахамкис — как он махал убивающей дланью и пристукивал ею по доске перил,— и нельзя не признать, был революционно прекрасен, неожиданный вождь! Но при чём тут Манифест?

— А в России будет демократическая республика. Будет так называемое русское народоправство. Это в русском духе, вспомните Великий Новгород и Псков. Но в Москве появилась язва — князья. И вот теперь народом уничтожены.

От Французской революции — и к Новгороду. Это — слабость Нахамкиса, он не умеет держаться логической цепи.

— Но есть международная сторона...

Опомнился.

— Как Франция, где дипломатия — привилегия богачей. Дурачащая народ золочёная дипломатия вызывает войны. Если бы над нами не сидели эти паразиты... Народы давно и создали международное общение, Интернационал, но пришла Англия, заговорила о морях, и началась великая война... И мы призываем — «народы всего мира, возьмите судьбу в свои руки!» В начале войны я спрашивал у германцев, будут ли они давать креди-

ты на войну Вильгельму. И они ответили: у вас, у русских, нельзя свободно слова сказать на улице, вы угроза для нас со своим деспотизмом, и мы будем с вами бороться...

Ах, ещё вот эта ошибка наших интернационалистов: у них почему-то Германия всегда виновата меньше Англии и Франции! Вот Гиммер никогда не потерял бы теоретического равновесия!

А Нахамкис — всё разливался. И как — это немцы должны были выступить с воззванием к русским свергнуть тирана, но они не могли поверить в нас. И как — вот мы теперь выступаем. Это — он так медленно подводил к монументу Манифеста.

А электричество мигало, пугая и раздражая.

И — ещё долго, и ещё сколько лишних подводящих фраз. Нет, не талантливый он! Ах, какая злая неудача с этим опозданием! Какой великий доклад, какой великий момент испорчен!

Но — не имел Гиммер силы выбиться из затискивающей, задавливающей массы. Так и застрял зажатой щепочкой, упал духом. И только его острый аналитический ум, сопротивительно или насмешливо, отмечал, что происходит.

Ну, наконец-то! Наконец-то он стал читать и сам Манифест! Знал Гиммер этот экземпляр, оставшийся у Чхеидзе, перепечатанный на машинке, но и с исправлениями,— и теперь Нахамкис по нему спотыкался, не так расставлял логические ударения — и Гиммеру это больно отзывалось, как если бы от того погибал мировой интернационализм.

Но вдруг... но вдруг.. он перестал замечать ошибки. Зычный голос Нахамкиса — над головами стольких тысяч — развернул Манифест как гигантское знамя — как Гиммер никогда и не смог бы, даже по слабости горла.

И он зачарованно прислушивался к этим периодам — «Мы, русские рабочие и солдаты... шлём вам наш пламенный привет и возвещаем... Нет больше главного устоя мировой реакции и ‘жандарма Европы’... Уже сейчас с уверенностью предсказать, что в России восторжествует демократическая республика... Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире...»

И — дальше... и — дальше... Красоты сменялись глубинами — и Гиммер услышал свой Манифест ещё величественней, чем ожидал,— как уравновешен! как удался!

«...И мы обращаемся прежде всего к германскому пролетариату...»

И авторское самолюбие его смирилось, что читал не он сам.

И вот — кругом захлопали, захлопали тяжёлыми солдатскими и рабочими ладонями,— и сам Гиммер был пёрышком лёгким в этом вихре.

А сразу за чтением великих слов на помосте оказался не интернационалист, ни даже социалист,— но служака-полковник, против кого и предупреждал Нахамкис, кто и сегодня честно нёс бы свою собачью службу трону. Но в переменившихся революционных обстоятельстаах этот полковник теперь бодро представлялся как новоизбранный солдатами командир Измайловского запасного батальона:

— Я старый солдат, и я заявляю вам, сейчас очень опасный момент: быть или не быть России.

Нагонял монархического страху.

— В наших руках свобода, но я боюсь, как бы она не провалилась под землю! Я боюсь, чтоб деспотический Вильгельм не отнял нашу свободу! Чтоб сохранить свободу — нужны оружие, снаряды и порядок в войсках.

Как будто не прозвучали великие слова! Тут же, через 10 минут, вот как нагло выворачивали взрывную революционную идею в патриотическую пошлость!

— Я говорю вам: офицеры вам очень нужны как специалисты. Теперь мы служим — вам, и будем работать на укрепление сил. А вы — верьте нам.

Но давали только по 5 минут, а то б он ещё разлился.

И ещё вылез офицер — молоденький, но наглый:

— Мы не можем в пять минут решать мировые вопросы. Мы не подготовлены. Мы ещё час назад не знали того, что сказал докладчик. Почему нам проекта не показали раньше? Сейчас — несвоевременно обращаться к немцам простодушно. Докладчик неправильно говорил, что немцы воевали против деспотической России: их удар был — по свободной Бельгии и свободной Франции.

А потом — какой-то солдат, но с правильными мозгами:

— Неужели вечно будет вражда между народами? Вас будут призывать к победе, а тут, в тылу, восствнут тёмные силы! Окончим кровавую бойню, где бедняки схватили друг друга за горло. Неужели народы не поймут, о чём мы говорим? Да только поднимем клич — и все нас послушают.

А под конец вывихнулся:

— Но если нас не услышат — вот тогда мы не дадим себя поработить.

Потом — социал-демократ, но выказывая наружу всю бесконечную путаность вопроса:

— Мы, демократия, не можем идти за Милюковым, которому нужны Дарданеллы. Мы — за мир без аннексий и контрибуций, самоопределение народов. Враги у нас не на фронте, а в тылу. Но пусть немцы сперва свергнут Вильгельма. Что значит окончить войну? Это не значит побросать ружья. Надо прежде выработать условия.

Новые страдания. Так и знал Гиммер, что чем больше будет ораторов, тем больше запутают великий вопрос. Не надо бы и по пять минут им давать,— по две. (А тут уже кричали, что по пять — мало!)

И эта высшая формулировка об аннексиях и контрибуциях у всех на устах — а не дали вставить в манифест, вот стыд, там только — против захватной политики.

Тут снова выпустили дурака:

— Мы завоевали свободу, но на этом флаге должно быть написано — победа! Кто ручается, что на наши шеи не возложат контрибуцию? Мы должны дать заявление германскому пролетариату — и посмотреть, свергнет ли он Вильгельма.

И ещё дурака:

— А не поймёт ли германец наш глас как показатель нашей слабости? Если будет удар по нашей свободе, то не с тыла, а в лицо. Нам надо бояться германца!

И Авилов, из «Известий», расхрабрился:

— Товарищи-братья, через штыки мы кликнем клич по Европе: настал конец владычества деспотов! Сбрасывайте свои правительства!

Наконец Чхеидзе кончил эту чехарду и взял слово сам. Но разве и он мог проникнуть в изгибистую структуру Манифеста? Он тоже мог только опошлять и огрублять: своими незаконными комментариями, не утверждёнными голосованием Исполнительного Комитета.

— Русский народ сделал Россию свободной и частью культурного мира. Все народы смотрят на нас. А раньше нас называли жандармом. Наше предложение — не прекраснодушие, не мечта. Ведь обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки. Мы предлагаем немцам подражать нам и свергнуть Вильгельма.

Каша какая-то, одна фраза противоречит другой, ничего за собой не слышит!

— А в ожидании что же нам — плевать в потолок? Если Вильгельм помазанник божий — так смазать его!— (Зароготали в зале.) — Немцам мы скажем — потрудитесь походить на нас! А если немцы не обратят внимания — мы будем бороться за нашу свободу до последней капли крови. Мы с оружием в руках будем продолжать войну, чтоб оборонять свободу!

Что лепит! Ну что лепит! Всё испортил!

Собачьей лапой развалили такую тончайшую конструкцию! Какое несчастье, что опоздал!

Продолжение следует

Михаил Веллер

ХОЧУ В ПАРИЖ

Рассказ

Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и — навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и самодеятельное, необоснованное и законное, неотвязное и мимолетное, всерьез и в шутку: «Я опять хочу в Париж».— «А что, вы уже там были?» — «Нет, я уже когда-то хотел». Всемирная столица искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии и любви — о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж, совсем не такой, как все остальные, обыкновенные и привычные, города. Париж Д'Артаньяна и Мегрэ, Наполеона и Пикассо, Людовиков и Брижжит Бардо, Бельмондо, Шанель, Диор, Пляс Пигаль, Монмартр, бистро, мансарды... ах — Париж!.. Вдохнуть его воздух, пройти по улочкам, обмереть под Нотр-Дам, позавтракать луковым супом, перемигнуться с пикантной парижанкой, насладить слух разноязыкой речью, кануть в вавилонские развлечения, кинуть франк бездомному художнику, растаять в магазинном изобилии, купить жареных каштанов у торговки, узнать вкус абсента и перно... ах — Париж! хрустальная мечта, магнетическое сияние, недосягаемый идеал всех городов, искус голодных душ. Вернуться и до конца дней вспоминать, рассказывать, где ты был и что ты видел,— или рискнуть, преступить, сыграть с судьбой в русскую рулетку, остаться, слиться с его плотью, стать его частицей,— или гордо покорить, пройти сквозь нищету, подняться к сияющей славе, добиться всемирного успеха, денег, поклонения, репортеры, экипажи-скачки-рауты-вояжи, летняя вилла в Ницце, особняк на Елисейских полях...

Один знаменитый весельчак-композитор поведал телезрителям, что весну он предпочитает проводить в Париже. Тонкая шутка не была понята: миллионы безвестных и рядовых тружеников дрогнули в возмущенной зависти к наглому счастливцу, ежегодно празднующему весну в Париже, где цветут каштаны и доступные женщины на брегах Сены под сенью Эйфелевой башни. Короче, кому же неохота в Париж. А спроси его, что он в том Париже оставил? Побывать, походить, посмотреть... даже не обарахлиться, это и в Венгрии можно... а печально: жить, зная, что так до смерти и не увидишь его, единственный, неповторимый, легендарный, где живали все знаменитости, и помнили, и вздыхали ностальгически: «Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж?» Неистребимая потребность, бесхитростная вера: есть, есть где-то все, чего ни возжаждаешь,— красота, легкость, романтика, свобода, изобилие, приключения, слава. Смешной символ красивой жизни — Париж. Боже мой, как невозможно представить, что из Свердловска до Парижа ближе, чем до Хабаровска. Как невозможно представить, что там кто-то может так же просто *жить*, как в Конотопе или Могилеве.

Михаил Иосифович Веллер (р. в 1948 г.) — прозаик; автор нескольких сборников рассказов; член СП СССР. Живет в Таллинне.

Итак, в один прекрасный день Кореньков захотел в Париж.

В пятом классе Димка Кореньков посмотрел в кино «Трех мушкетеров». И — все.

Он вышел из зала шатаясь. Слепо бродил два часа. Вернулся к кинотеатру и встал в очередь.

Денег на билет не хватило. Помертвев, он двинулся домой и выклянчил у матери рубль, задыхаясь, понесся обратно: успел.

После девятого раза Париж стал для него реальнее окружающей скукоты.

Жизнь в городишке была небогатая. Пассажирский поезд проходил дважды в неделю. Местных хулиганов знали наперечет. Изредка заезжали областные артисты. Пробуждающаяся Димкина душа, неудовлетворенная обыденностью, оказалась затронута в заветной глубине.

Обрушился удар — фильм сняли с экрана. Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял «Три мушкетера». Ту ночь не спал: сидел в туалете их коммуналки и читал...

Вернуть книгу было выше его сил — он легче расстался бы с рукой. Почта принесла суровое извещение об уплате пятикратной стоимости. Отец отвесил Димке воспитующий подзатыльник. Такова была первая его жертва на тернистом пути к мечте.

Познав наизусть «Трех мушкетеров», Димка обнаружил «Двадцать лет спустя» и «Виконта де Бражелона». Упоительно и безмерно счастливый, он погрузился в яркий и отважный мир Люксембургского дворца и Пре-о-Клер, где дамы мели шлейфами паркеты, взмыленные кони с грохотом мчали кареты через горбатые мосты и шпаги звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Его выдернули из грез, как рыбку из речки,— четверть окончилась, он не успевал по всем предметам, грандиозный скандал разразился.

— Хоть что-нибудь ты знаешь? — скучно спросила классная, прикидывая втык от педсовета за Димкины «успехи».

— Париж стоит мессы,— нахально выдал Димка.— Экю равняется трем ливрам, а пистоль — десяти!

Класс праздновал триумф над племенем педагогов. Кличку «француз» Димка принял как посвящение в сан. Раньше он не выделялся ничем: ни силой, ни храбростью, ни умением драться, ни знаниями, ни умом, ни престижными родителями. В секцию его не приняли по хилости, кружки не интересовали, музыкальный слух отсутствовал. Париж придал ему индивидуальность, выделил из всех, в любовь к Парижу он вложил все отпущенные природой крохи честолюбия и самоутверждения — это был его мир, здесь он не имел конкурентов.

Упрочивая репутацию и следуя течению событий, он отыскал в библиотеке затрепанную «Историю Франции». Старался держаться прямо, гордо откидывая голову. Отрепетировал высокомерную усмешку. С этой усмешкой сообщал о невыполненных уроках, не снисходя до уловок. Учителя и родители, не всегда справляясь с бешенством, списывали выкрутасы на трудности переходного возраста, вздыхали и строили планы воспитательной работы. Они ничего не понимали.

— Ты правда знаешь французский? — спросила Сухова, первая красавица класса, теребя оборку фартука.

Французский в их дыре не звучал со времен наполеоновского нашествия; Димка обрыскал все и добыл две трети учебника, траченые мышами и плесенью. Купил зеркальце — ставить артикуляцию. И стал все реже ходить в школу, зато в нее все чаще вызывали отца.

Отец прибег к крайним мерам и выдрал его на совесть.

— Еще тронешь — сбегу,— пообещал Димка, когда от экзекуции перешли к воздействию словом.

— Куда ты убежишь? — закричала мать, всплескивая руками.

— В Париж! — зло и серьезно сказал Димка.

«Пройдет блажь». Блажь не проходила. Жизнь обрела цель, смысл, стержень, направление: жить Парижем было интереснее, перспективнее, лучше, чем мелкой окружающей дребеденью. Он уже знал Париж лучше родных мест: Версаль, Сен-Дени, Иври, Ситэ!.. Окружающее касалось его все меньше, не колыхало.

После восьмого класса школа с облегчением сбросила «бзикнутого» в лоно ПТУ. И то сказать: хотение в Париж — это еще не профессия.

Годы в ПТУ не отяготили Димкино сознание. Он чего-то делал в мастерских, чего-то слушал в классах, а на самом деле хотел в Париж. Хотение начало давать результаты, пока как бы промежуточные: с ним считалась прекрасная половина училища — он досконально знал, что носят в Париже. Неведомыми путями приплывал каталог мод, сиял глянцем, вгонял в пот провинциальных портняжек, не чаявших обшивать маркизов и виконтов. В конце концов сермяжную продукцию родной областной фабрики взялись перешивать ему две девочки в обмен на консультации. «Так носят в Париже»,— снисходительно ронял он местным денди в клешах с жестяными пряжками.

На каникулах он приобрел в областном центре пластинки с уроками французского, пылившиеся там с тысяча девятьсот незапамятного года. Гонял их до ошизения на проигрывателе «Юность», шлифуя произношение.

Поскольку французы предпочитают пить красное вино, он предпочитал исключительно его серьезному мужскому напитку водке. Запив в парадняке красным рагу и паштет, приготовленные матерью по списанному рецепту, он чувствовал, что вкусил сегодня вполне французскую трапезу.

Сложнее оказалось с луковым супом. «Книга о вкусной и здоровой пище» рецепта не давала. Димка сам разварил лук в лохмотья, бухнул в мутную водичку побольше соли, перца и лаврового листа (французская кухня острая) и через силу выхлебал ложкой; прочие домочадцы, отведав и сплюнув, от деликатеса мягко отказались.

Апофеозом гастрономических изысков явилась варка лягушек. Нацапав в болоте десяток квакух, Димка улучил час, когда дома никого не было, и приволок добычу на кухню. Не будучи дилетантом, он знал, что едят только задние лапки, с дрожью отделил их и разместил в суповой кастрюле, помолившись, чтоб мать не узнала. Определив готовность, скомандовал себе: «Пора!» — и действительно сунул в рот маленькую, похожую на цыплячью, лапку и сжал челюсти, но тут здоровый русский организм воспротивился насилию над своей природой, желудок лягушек отверг; Димка отпился холодной водичкой и помыл в кухне пол. И еще долго стыдился своего тайного позора.

Зато с девушками он в свой срок сделался свободен и даже развязен. Атмосфера Парижа фривольна, парижанин живет легкой и игристой, как шампанское, любовью: тонкий флирт, мимолетная измена, элегантный роман. Однако Димкины избранницы не могли вот так сразу настроиться на парижский лад, иногда отказ происходил в форме категорической и грубой, он насмешливо утешался их глухим провинциализмом: «Да, это не Париж». Но и когда его пылкая страсть была разделяема — он оставался недоволен. Где талия, тонкая, как у цветка? Где грудь, упругая, как резиновый мяч? Где шаловливый задор, прикушенная губка? И где, наконец, неземное блаженство? А тайная белая пена кружев тончайшего белья? Вот уж по части белья местные Манон были столь же бессильны, сколь невиновны, облекая свои юные прелести в стеганую холстину с желтыми костяными пуговицами и байку с начесом... Горький осадок не исчезал.

Может составиться впечатление, что он был каким-то маньяком, параноиком. Да нет, он был в общем совершенно обычным парнем, ну просто он хотел в Париж, хотеть ведь никому не запрещено. У каждого свое хобби или свой таракан в голове, как сказали бы англичане. Ну, с легким прибабахом, бывает. Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, с какого конца за это дело взяться. Иностранец было словом ругательным, политическим ярлыком. За границу уезжали дипломаты или предатели. Но не одни же дипломаты и предатели заграницу населяют. У него не было никаких конфликтов с Родиной, никаких несогласий, он был за социализм — он ведь и в Париж-то хотел не навсегда, а так, посмотреть, пожить немного, ну от силы года два, но кому и как это объяснишь?..

А фанерная этажерка заполнялась книгами о Париже. С закрытыми глазами он мог бы пройти из пятого арандисмана в четырнадцатый. Он высчитал количество шагов от Лувра до «Ротонды», принимая длину шага равной семидесяти сантиметрам. В нем родилось знакомое некоторым чувство: он словно вспоминал о Париже, хотя там не был. Однажды он с пронзительной достоверностью почувствовал себя парижанином, неведомо как заброшенным в этот дальний глухой угол.

В армии, слава богу, из него эту дурь подвыбили. Напомнили о тамошнем империализме, колониализме, интервенции, безработице, проституции и эксплуатации. Рядовой Кореньков (молодой-необученный, салажня, еще варежку разевает!) пытался проповедовать насчет Сопротивления, Жанны Лябурб, Марата и голубки Пикассо, но первейшие доблести солдата есть дисциплина и выполнение приказа, направление мыслей беспрекословное, налево кру-гом. И для укрепления правильного направления мыслей лепили наряды.

Мысли Димкины направления не изменили, но что подразвеялось, что упряталось поглубже: солдат вышел исправный. Французский стал подзабываться, так ведь и по-русски к отбою язык заплетается.

Перед дембелем подсекло: выяснилось, что он знаком с военной техникой и прочими секретными вещами и теперь на нем пять лет карантина — без права поездок за границу.

— Ты что, Кореньков, за границу, что ли, собрался? — удивился замполит его реакции на известие.

— Никак нет,— заготовленно соврал Димка.— Хотел учиться в институте на переводчика.

— О? Пока выучишься — время и пройдет!

Дома Димка отдохнул месяц и затосковал. Когда тебе двадцать пять лет — срок бесконечный... Да эх, еще не старость. Прочитал объявление о наборе и сорвался в областной центр: все ж фабрика, институт — цивилизация. А там обвыкся, перевез в общагу свои книжки и пластинки и терпеливо принялся за старое.

Мечты мечтами, жизнь жизнью: из череды девочек как-то выделилась одна, высветилась, открылась — единственная. Димка влюбился. Димка потерял голову. И оказалось, что будет ребенок... Так он женился. В общем, счастливо женился, не жалел.

Он помогал жене стирать пеленки, собирал справки для получения квартиры, вечерами слушали по приемнику французскую музыку, он переводил слова, учил ее одеваться так, как носят в Париже, ей это нравилось поначалу, подкупало: «Я сразу увидела, что ты не такой, как все...»

Сыну было три года, а Димке двадцать шесть, когда родилась дочка, а квартиры все еще не было, снимали комнату. Теперь он прекрасно представлял, что попасть в Париж безмерно трудно, практически нереально, и в любом случае сначала требовалось добыть семье крышу над головой...

В тридцать два он получил от фабрики квартиру. На радостях влезли в долги, купили всю мебель, а дети росли, одежда на них горела, Димка прихватывал сверхурочно, жена часто сидела дома на справке: корь, свинка, грипп,— жизнь текла, как заведено, чем дальше, тем быстрей.

Париж стал абстрактным, как математическая формула, но столь же неотменимым. Димка не пил, не болел в футбол, не играл в домино, не ездил на рыбалку, не копил на машину: он готовил себя к свиданию, которое когда-нибудь состоится. Тайком встречался с учительницей французского языка; жена чуяла, ревновала, хотя учительница была немолодая и некрасивая. Учительница радовалась родственной душе, она тоже никогда не была в Париже, а французскому ее научили в пединституте преподаватели, которые тоже никогда не были в Париже, по учебникам, авторы которых там тоже не были. Странный город.

Стать моряком загранплавания и сбежать в капстране? И поздно, и позорно, и семью не бросишь... слишком много *здесь*.

Времена между тем шли, и кое-что менялось. В городе построили новую гостиницу, и в нее стали иногда приезжать иностранцы. К разочарованию Коренькова, построившего знакомства с администраторшей и швейцаром, французов не было: болгары, поляки, восточные немцы.

...И вот однажды, получив письмо от сына из армии, он вздохнул и подивился быстротечности времени, усмехнулся безнадежно себе в зеркало — полысевший с темени, поседевший с висков, погрузневший в талии... и понял с леденящей ясностью, что все эти годы обманывал себя, что никогда ни в какой Париж он не поедет.

И стало — легче.

Словно обруч распался — освободил грудь: исчезли выматывающая надежда, томительная неопределенность. Он даже просиял. Сплюнул. «Нереально так нереально. И черт с ним, что за ерунда!»

Этой освобожденной легкой приподнятости хватило на два дня. На третий обнаружилась сосущая черная пустота в душе, где-то в районе солнечного сплетения.

Кореньков выпил, и ему полегчало.

Запил он по-черному, прогулял фабрику; на первый раз простили.

Жена поплакала, он покаялся, через неделю сорвался опять.

— Из меня будто хребет вынули, понимаешь? — объяснил он.

Справлял затянувшиеся поминки по мечте: постепенно исчезли книги, пластинки, проигрыватель, магнитофон и, наконец, приемник,— истаяла и лопнула нить, связывающая его с Парижем.

Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текучих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался угрюм, черен, не шел на работу, цедил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.

Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухни, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и от того, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.

Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным «на пленэр», не покупал у знакомой киоскерши «Юманите» — он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.

Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее: странное. Он досадливо собрал хмельные мысли — и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! («Я волнуюсь, заслышав французскую речь»,— вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из «Волги», швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..

Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым,— они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали — и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже...

Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.

— Вы из Парижа? — отчаянно спросил он без предисловий.

Компания воззрилась, замолчав.

— О, вы говорите по-французски? — приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.

— Иногда,— сказал Кореньков.— И что мне здесь с этого толку?

Французы рассмеялись вежливо.

— Мы не ожидали услышать здесь...— с нотками воспитанной отчужденности начала дама.

— Вы из Парижа? — повторил Кореньков, перебиая.

— Из Парижа,— подтвердил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промытые, не по-нашему небрежные.— А что, у вас особое отношение к этому городу?

— Ребята...— проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы.— Ребята,— проговорил он,— давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.

Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. «Т-тебе чего, это иностранцы, вали, ну»,— прошипел он.

Кореньков вцепился в скатерть:

— Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!

Неловко бросать почти знакомого в беде — солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестикулировали.

— Этот человек — их гость, они его пригласили,— на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил — переводчица.

Официант неодобрительно обслужил.

Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.

— У вас почти чистое парижское произношение!

Поаплодировали, чокнулись, изумлялись:

— И вы самостоятельно... Признайтесь: разыгрываете?

— Столько лет...

— Так почему вы давно туда не съездили?

— Вам бы наши заботы,— туманно ответил Кореньков: все-таки он был нетрезв.

Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.

Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене — устроил сплошной праздник: уборку, стирку, поцелуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.

Переводчица объяснила: теперь все реально. Есть «Интурист», есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению: стоит это круто, но в пределах возможного.

Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку и начал копить деньги.

Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства — французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А высказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.

— Вы могли бы работать гидом в Париже.

— Я попробую,— спокойно ответил Кореньков.

Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство — не их хобби.

— Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.

Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически незнаком с приглашающим, а годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло...

А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.

Интурбюро раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.

Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался профоргом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок...

И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции — руководитель, с высшим образованием, ветеран...

Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых — все нужно, как у людей, куда ж денешься.

Время летело, женился и сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправлять ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил...

А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже — спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызываешь воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью: было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествоаал с набережной д'Орсэ в зелень Булонского леса, помахивая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под полосатым тентом бистро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой «Галуаз» и предвкушал, как кутнет у «Максима», разорится на отборную спаржу и дорогие плоские устрицы, выжав на них половинку лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сентябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было или, наоборот,— завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.

А наутро к шести сорока пяти ехал на фабрику.

Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.

— Слышь, Корень,— объявление в профкоме видел? — спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.

— Нет. А чего? — Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.

— Два места в Париж! — сказал Виноградов и подмигнул.

Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. «Семьдесят шесть копеек!» — разобрал он наконец и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.

— Да ты что, дед, чокнулся сегодня! — закричала кассирша.— Давай свой рубль!

Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загремел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.

— Ой, ну ты вообще! — закричала кассирша.— Переработал, что ли!

В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ложечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.

На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплевал окурок и как-то сразу оказался в профкоме.

Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, и права у него, строго говоря, имелись... Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.

— Ко мне, Дмитрий Анатольевич? — осведомилась председательница певуче.

— Путевки пришли,— вопросительно-утвердительно сказал Кореньков.

— Какие путевки? В санаторий? — приветливо переспросила та.

— Во Францию,— тяжко рек Кореньков, выдвигаясь на боевые рубежи.

— Ах, во Францию,— любезно подхватила она.— Ну, еще ничего не пришло, обещали нам из Облсовпрофа одно место, может быть, два...

— Я первый на очереди,— страшным шепотом прошелестел он.

— Мы помним, обязательно учтем, кандидатуры будут разбираться... открытое обсуждение...

Дремавшее в нем опасение вскинулось зверем и вгрызлось Коренькову в печенки. Протаранив секретаршу директора, он пересек просторный затененный кабинет и упал в кресло.

— Что такое? — Директор не поднял глаз от бумаги, не выпустил телефонной трубки.

— Павел Корнеевич,— выдохнул Кореньков.— Тридцать шесть лет на фабрике. На одном месте. Верой и правдой (само выскочило)... Христом-Богом прошу! Будьте справедливы...

— Квартиру?..

— Две путевки в Париж пришли. Тридцать шесть лет. Через полгода на пенсию... Верой и правдой... не подводил... всю жизнь... прошу — дайте мне.

Народ знает все. Ехать предназначалось главному инженеру и начальнику снабжения. Общественное мнение Коренькова поддержало:

— Давай, не отступайся! Имеешь право!

В глазах Коренькова появилось затравленное волчье мерцание. Сжигая мосты, он записался на прием в райкоме и Облсовпрофе. Фабричный юрисконсульт, девчонка не старше его дочери, посочувствовала, полистала справочники, посоветовала заручиться ходатайством коллектива. Распространился слух, что если Коренькову не дадут путевку, он повесится прямо в цехе и оставит письмо прокурору, кто его довел. Во взрывчатой атмосфере скандала Кореньков почернел, высох, спотыкался.

Жена заявилась и закатила истерику в профкоме:

— Как чуть что — так про рабочую сознательность! А как чуть что — так начальству! Я в ЦК напишу, в прокуратуру, в газету! Будет на вас управа, новое дворянство!..

Делопроизводительница по юности лет не выдержала: шепнула срок заседания по распределению загранпутевок. Кореньков возник ровно за минуту до начала и прочно сел на стул. Лица у президиума изменились.

— А вы по какому вопросу, Дмитрий Анатольевич?

Кореньков заготовил гневную и аргументированную речь, исполненную достоинства, но встать не смог, голос осекся, и он со стыдом и ужасом услышал тихий безутешный плач:

— Ребята... да имейте ж вы совесть... да хоть когда я куда ездил... хоть когда что просил... что же, отработал — и на пенсию, пошел вон, кляча... Ну, пожалуйста, прошу вас...— И, не соображая, чем их умилостивить, что еще сделать, погибая в горе, сполз со стула и опустился на колени.

Теплая щекотная слеза стекла по морщине и сорвалась с губы на лакированную паркетную плашку.

Кто-то кудахтнул, вздохнул, кто-то поднял его, подал воды, потом он лежал на диване с нитроглицерином под языком, старый, несчастный, в спецухе, так некстати устроивший из праздника похороны.

Назревший нарыв лопнул: непереносимая ситуация требовала разрешения. Пожимая плечами и переглядываясь, демонстрировали друг другу свою человечность и великодушие: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Все были в общем «за», помалкивали только двое «парижан»... В конце концов главному инженеру пообещали первую же лучшую путевку в капстрану, улестили, умаслили, и он, неплохой, в сущности, мужик, по нынешним меркам молодой еще, согласился — и сразу повеселел от собственного благородства и размаха.

— Вставай, Дмитрий Анатольевич,— дружелюбно хлопнул по плечу Коренькова.— Все в порядке, поедешь, не сомневайся.

...Ах, что за несравненные хлопоты — сборы за границу! Пять месяцев Кореньков собирал справки, выписки, характеристики, заверял их в инстанциях, заполнял многостраничные анкеты о сотне пунктов, сидел в очередях на собеседования и инструктажи. На медкомиссии у него от волнений подскочило давление, он слег от горя; жена достала через знакомую с базы десяток лимонов (снижают), с той же целью скормила ему с полведра варенья из черноплодной рябины, перед сном выводила на прогулку и велела думать только о приятном. Слава богу, давление нормализовалось: пропустили.

Идеологической комиссии он боялся не меньше. Конспектировал программу «Время», вырезал из «Правды» политические новости и сидел в фабричной библиотеке над комплектами «Коммуниста». Он среди ночи мог не задумываясь ответить, что главой государства Буркина-Фасо является с тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Санкара, первым генеральным секретарем ООН был норвежец Т. Х. Ли, а фамилия председателя компартии Лесото — Матжи. Накануне подстригся, пошел при галстуке... Ответил на все вопросы!

Они продали облигации, снесли в комиссионку женин песцовый воротник, влезли в долги: деньги набрались.

Купили ему новый костюм, чешский, вполне приличный, жена сама, как

когда-то, подогнала брюки; сорочка индийская, галстук польский, туфли румынские: европейская экипировка.

Покупки — список на четырех листах, многократно откорректированный и выверенный,— изумительным фокусом укладывались в четыреста франков, выданных в обмен сорока рублей.

Пять месяцев минули. В последнюю ночь Кореньков не смог заснуть. Победное солнце Аустерлица возвестило прекрасный день начала пути. Помолодевший и легкий («Присели на дорожку. Поехали!») — он тронулся.

На вокзале их группу, уже хорошо знакомых между собой тридцать человек, во главе с руководителем, которого следовало слушаться беспрекословно, проверили, пересчитали, посадили в вагон и отправили в Москву. Перрон с машущими семьями уплыл...

Улетали из Шереметьева. В международном отделе по сравнению с общей толкучкой было свободно, прохладно. Таможенник, полнеющий парнишка с вороной подковкой усов, мельком сунул нос в кореньковскую сумку и продвинул ее по стойке: досмотр окончен.

В автобусе Кореньков оказался рядом с двумя француженками, элегантными грымзами с сиреневой сединой, покосился на руководителя и от разговора воздержался: грымзы сетовали, что не выбрались на тысячелетие крещения Руси, церковные торжества.

Их «ТУ-154» взлетел минут на пять позже расписания, как и принято. Кореньков завибрировал, считал минуты, он уже боялся всего: задержки, неисправности самолета, ошибки в оформлении документов, обнаруженной в последний момент; в полете боялся бездны внизу, боялся, что Париж вдруг закроется по метеоусловиям, или забастуют диспетчеры, или вдруг нарушатся дипломатические отношения, и вообще, самый опасный момент — посадка... И лишь когда под колесами с мягкой протяжной дробью понесся бетон и турбины шелестяще засвистели на реверсе, гася пробег, явилось спокойствие — странноватое, деревянное, пустое.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шарль де Голль...

В свою очередь Кореньков спустился по трапу, мгновение помедлив, прежде чем перенести ногу с нижней ступени на шероховато-ровное серое пространство — *землю Парижа.*

Рубчатые резиновые ступени эскалатора вынесли их в красноватый от вечерних отблесков зал, наполненный ровным сдержанным эхом. Длинноволосый таможенник в каскетке пропустил их со скоростью автомата: пара небрежных движений в небогатом багаже каждого. Процедура проверки паспортов выглядела не тщательней контроля трамвайных билетов. Гид ждал у киосков с плакатиком в руке. Шагнул навстречу, точно выделив их из пестрой круговерти.

— Бонжур, мсье,— поздоровался Вадим Петрович, руководитель.

— С благополучным прибытием,— приветствовал гид с небольшим милым акцентом.— Хорошо долетели? Сейчас мы сядем в автобус и поедем в гостиницу.

Стеклянные двери разошлись. Протканный бензиновыми иголочками воздух, палевый, сгущающийся, наполнил легкие. Кореньков как-то символически захотелось сесть на асфальт, привалившись спиной к стене, вытянув ноги, и посидеть так, покурить, тихо глядя перед собой: предаться значительности момента... Но неудобно, да и некогда; ладно; а жаль...

Они пробрались через автостоянку к одному из ярких автобусов. Кореньков подсуетился — захватил место на первом сиденье, у дымчатого просторного стекла.

— Давай в Париж, шеф! — велел сзади дурашливо-счастливый голос, и все чуть нервно и оживленно засмеялись.

И розоватый, кремовый, бежевый, притухающий в сумерках, ни с чем не сравнимый *парижский* пейзаж, неторопливо раскрываясь, покатился навстречу.

Гнутый лекалом профиль гида с микрофоном на фоне лобового стекла, за которым менялись виды, казался маркой города. (Дени, брюнет, черноглаз, высок, тонок, студент-русист Сорбонны.) Кореньков слушал вполуха известное наизусть, жадно отмечая детали: усатый ажан в пелерине, прохаживающийся вдоль витрин; целующаяся в машине перед светофором парочка; араб-зеленщик с лотком; дама в манто, выходящая из обтекаемого, звероватого «ситроена»...

Они плавно свернули с бульвара Бертье на авеню Гюржо, встроились в поток на Пляс Перьер, из тоннеля внизу выскочила громыхающая электричка. «На вокзал Сен-Лазар?» — спросил Кореньков утверждающе.

— Куда? — прервался Дени.

— На Сен-Лазар,— повторил он, тыча пальцем.

— О,— улыбнулся Дени,— вы не впервые в Париже!

Близились к сердцу Парижа. «Авеню Ниэль... Рю Пьер Демур... Де Терн... Мак-Магон...» В перспективе открылась Пляс Этуаль («Де Голль»,— поправил себя Кореньков), над кольцом красных автомобильных огоньков — угол Триумфальной арки, подсвеченный золотом барельеф под сиреневым, лиловым, бархатным небом.

Здесь пульс бьющей жизни отдавался тихим неблизким шумом, тихо светился подъезд скромной гостиницы «Мак-Магон», тиха и неширока, белела лестница, тихо двигался лысый портье за темной деревянной стойкой. Руководитель Вадим Петрович руководил расселением. Коренькову достался в соседи работник горисполкома, веселый и хозяйственный Андрей Андреич, сразу перешедший на «ты»:

— Ты меня слушай, и отovаримся путем, и посмотрим что надо — я здесь второй раз.— Подмигнул.

Достали кипятильнички, печенье, консервы — поужинали дома, безвалютно. Потом Вадим Петрович собрал всех на инструктаж, напомнил о дисциплине, бдительности, возможных провокациях.

Кореньков спустился в холл и купил у портье синеватую короткую пачку «Галуаз» — без фильтра, из темного крепкого табака типа «капораль», попахивающего вроде кубинских сигар. Угостил портье болгарской сигаретой, зная, что здесь это не принято, каждый курит свои; портье выразил благодарность, и Кореньков насладился разговором в полутемном холле с видами Парижа на стенах, в покойном кресле, легким приятным разговором о погоде, туристах, ценах в ресторанах — он знал, что серьезные темы здесь не приняты, разговор должен быть легким. Но от рукопожатия на прощанье не удержался; ладонь у портье была сухая, не слабая, приятная.

В номере Андрей Андреич храпел жизнерадостно. Не зажигая света, Кореньков открыл привезенную бутылку, осторожно отодвинул штору, сел к окну и чокнулся со стеклом. С пятого этажа был виден узкий сектор освещенной площади, уголок Триумфальной арки, редкое ночное движение. «Повезло».

Лег не скоро, насытившийся ощущением того, что он — здесь, слегка опьянев, наблюдая легкое подрагивание треугольника света на потолке, искрящегося в крае люстры...

Автобус подавали в восемь. Завтракали в одном из дешевых ресторанчиков близ Монмартра: кофе, пуховые булочки, желтое масло, джем. Расплачивался Вадим Петрович. Вадим Петрович в первый же день выделил Коренькова, держал рядом: как бы из дружеского расположения угощал его Парижем лично, особо; и с уважением равного кивал подробностям о Париже, распиравшим Коренькова.

Скрывалась за цветными крышами высящаяся на холме белая стройная громада Сакрэ Кёр, дневная программа начиналась, они дружно вертели головами, внимая Дени: Казино, галерея Лафайета, Гранд-отель, Вандомская площадь: выходим, мадам и мсье. Он трогал рукой Вандомскую колонну! Взлетали голуби, щелкали фотоаппараты, шаркали толпы разноязыких туристов; небо сияло.

Эйфория звездного часа несла Коренькова. Любовно и торопливо он дополнял Дени: как Мопассан поносил Эйфелеву башню за изуродование вида Парижа; как триста викингов в VIII веке захватили Париж, именуемый тогда Лютецией, и не ушли до получения выкупа; как поляк Домбровский командовал войсками Парижской коммуны.

— Мсье, по-моему, вы самый чистокровный парижанин в этом городе! — радовался Дени, поводя узкими плечиками в вельветовом пиджаке.

В Доме Инвалидов с Кореньковым сделалось головокружение. Мраморные

ангелы с лицами античных воинов, несшие караул вокруг красного порфирного саркофага Наполеона, надвинулись на него; буквы «Ваграм. Маренго. Иена...» на черном подножии вспыхнули огненным колесом и ослепили. Он пришел в себя на тенистой ступеньке перед газоном, поддерживаемый внимательным Вадимом Петровичем.

Обед и ужин вкушали в том же ресторанчике, втекали вежливо-скованной чужеродной кучей, подчищали мандарины и листья салата с подносов с зеленью, до капли цедили сухое красное вино из двадцатиунциевых графинов-колбочек, стоящих перед каждым прибором. Старались держать вилку в левой руке, а нож в правой; старались не глазеть в стороны; старались без шума отодвигать стулья. Кореньков жевал палочки мелкой спаржи, корочкой подбирал правильно соус и комплексовал, что не может дать на чай милой плоской официантке: хамство-с, то-то она и не улыбается.

В обмене впечатлениями проскальзывало греховным пунктиком: «Пляс Пигаль?..» Кореньков усмехнулся дилетантству, попросил гида вернуться в гостиницу через улицу Сен-Дени.

— Мсье? — тот вздернул тонкую бровь.

Вадим Петрович возразил хозяйски:

— Делать крюк? Поздно уже, некогда. И в программу не входит.

— Какой же крюк, пятьсот метров направо...

Вадим Петрович глянул пристально — медленно кивнул.

Вывески Мулен-Руж струились в витринах розовым, малиновым, оранжевым, электрические лопасти мельницы вращались в темной вышине, электрический нагой силуэт вскидывал ножку в канкане. На Сен-Дени девицы были уже реальные, в шортах или мини-юбках и обтягивающих сапожках до бедер, в ажурном белье под распахивающимися шубками, всех цветов и мастей, чаще некрасивы, некоторые стары; похаживали парами и стайками, ждали у стен, оперлись ножкой, курили, поигрывали сумочками.

— Вот эта карга обслужит вас по-французски прямо в автобусе франков за сорок,— забывшись, склонился Кореньков к сидящему рядом Вадиму Петровичу.— А чудо-киска с вызовом на дом приедет на «ягуаре» и возьмет утром тыщонок до трех.

Вадим Петрович обернулся дико; Дени заржал, перешел на вздох:

— Увы, это наша социальная язва, позор Парижа...

За углом пассажиры перевели дух и заговорили сдержанно и фальшиво о постороннем; пара дам сокрушалась, их слушали с неприязнью; постепенно раскрепостясь, обсудили проблемы проституции и почему-то пришли в прекрасное настроение.

Перед сном Кореньков намылился под душем мыльцем из фирменного пакетика в ванной, пастой из такого же пакетика почистил зубы, обувным кремом отполировал свои коричневые туфли. Андрей Андреич слегка рассердился:

— Их все на сувениры берут. Что у тебя, мыла нет? Ладно, забери из ванной, завтра новые положат. А чего водку открыл, пить сюда приехал? Ну чудила ты...

Свои две бутылки он загнал швейцару за сорок франков: «Все только так и делают».

Вообще основные интересы группы распределились между бульваром Рошешуар и Пляс Републик, где обосновались знаменитые баснословной дешевизной универмаги Тати. Совали в бесплатные пакеты гонконгские кассеты, бразильские джинсы, сингапурские штампованные часы, кроссовки с Тайваня и куртки из Макао — Андрей Андреич купил южнокорейский магнитофон за сто девяносто франков: «колониальные товары», дешевая рабсила, демпинговые цены. Кореньков свои приобретения упрятывал в сумку: показываться с пакетом от Тати уж больно непрестижно, бедно; стыдновато. Налетали не раз на уличную дешевую распродажу, бесценок непредсказуемый: за пакистанские нормальные кроссовки он отдал пять франков, за джинсы — восемнадцать. Сэкономленные средства он перебросил в расходы на местный колорит: рюмка абсента, рюмка перно. (Чашка кофе — три франка, и это в обычном бистро...)

Абсент действительно горчил полынью; перно имело привкус лакрицы, Кореньков это знал, но он не знал, какой вкус у лакрицы, и приторной сладковатостью удовлетворился.

— Ну и скупердяи эти твои французы! — заявил Андрей Андреич.

— Они не скупердяи, они привыкли считать деньги,— доброжелательно разъяснил Кореньков.— Как все в Европе, кстати.

— Привыкли, это точно. Гид наш попросил у меня юбилейный рубль, так, думаешь, дал хоть что-нибудь взамен? И звонят они только из гостей, чтоб на автоматы не тратиться; мне говорили.

График времяпровождения был сугубо коллективный и отклонений не допускал: кладбище Пер-Лашез и стена Коммунаров — один час, музей Ленина на улице Мари-Роз — два часа, Лувр — три часа, Эйфелева башня — прощальный ужин накануне отъезда...

Безусловно и категорически не входили в намерения группы стриптиз и порнографические фильмы. Но подспудное брожение присутствовало. Кореньков за полтора франка купил номер «Пари суар», слюнявя пальцы (тончайшая бумага), переворошил отдел объявлений и отыскал «Декамерон-70» Феллини в недорогом кинотеатре: классика мирового кино, вне политики, не придерешься. Депутация желающих отправилась к Вадиму Петровичу. Культпоход в кино состоялся.

Из зала выходили в некотором понятном обалдении, прочищая пересохшее горло. О девяти франках никто не жалел.

— Странно, что в группе не нашлось любителей оперы,— резюмировал руководитель.— Билет на балкон стоит всего сотню монет. Какие голоса!

Еще Коренькову удалось спровоцировать краткое посещение рынка, достославного Чрева Парижа (женщины загорелись! Вадим Петрович поцокал неодобрительно). Бескрайнее царство жратвы ломило красками, оглушало запахами, ананасы соседствовали с хреном, цесарки с акульими плавниками, устрицы с кокосами, жаровни дымились, чаны парили, монахини садились на мотороллеры, плыли и качались корзины! Букашки в грандиозном натюрморте, созданном фантазией гурмана, они, влекомые Кореньковым, как нитка за иголкой, достигли лукового супа: янтарный и благоухающий, в грубой фаянсовой миске, вроде и суп как суп, ан нет, вроде и как пища богов, галльских богов, лукавых и вечных, амброзия бессмертных, святое причастие. Дени тоже угостили.

...Ах, почему так быстро кончается все хорошее! Оттрещали в ветре трехцветные флаги Великой французской революции на готических шпилях Нотр-Дам, отшумели каштаны под башнями Консьержери, отсверкали в паркетах люстры Версаля. Укатился в прошлое франк, поданный Кореньковым клошару под мостом Де Берси.

Он не ощущал себя туристом, напротив: словно вернулся из неудачного отпуска домой, где прожит век. Вздыхал знакомым мелочам, жалел о ликвидации уличных писсуаров: не трогайте мою старую обитель.

Накануне отлета проснулся чуть свет, заварил чай в стакане, закурил у серого окна: к рыбному магазину подкатила цистерна, юный развозчик загрузил длиннейшими батонами из пекарни ящик мотороллера и унесся, расклейщик афиш огладил тумбу рекламой фильма с Жаклин Биссе.

И Кореньков понял, что никуда завтра не улетит.

Он это давно знал, но запрещал себе и думать. Преграда треснула, и мысль разрослась огромно, как баобаб. Дети самостоятельны, все имущество — жене, а он уже старик, сколько ему осталось... какая разница, как он будет здесь жить. Конечно, в Париже очень трудно найти постоянную работу, но он знал твердо, что с голоду тут давно никто не умирает, существует масса социальных и благотворительных служб... а он согласен на любую работу, хоть мусорщиком. Слать им посылки... попробовать когда-нибудь посетить Союз под чужой фамилией... ведь никаких эмигрантских газет, радиостанций, заявлений, упаси бог.

Эх, было б ему тридцать лет. Или сорок... Но уж хоть что осталось — то мое.

В подремывающем после завтрака автобусе он машинально ловил полушепот между Дени и шофером.

— Финиш, завтра этих провожаем,— сказал Дени.

— Старикан этот, ну дотошный,— цыкнул шофер.

— До чертиков надоел,— сказал Дени.

Кореньков померк от обиды, попытался погордиться своеобразным компли-

ментом; потом его что-то забеспокоило, сильнее, очень сильно — и окостенел: *они говорили по-русски!*

Без малейшего акцента.

Он попытался уяснить происшествие и усомнился в себе.

— Долго еще ехать? — обратился по-русски с возможной естественностью, как будто забывшись.

Шофер не отреагировал. Дени обернулся.

— Туалет будет по дороге,— приветливо прокурлыкал он, сдерживая грассирование, и по-французски спросил у шофера, сколько им ехать, на что тот по-французски же ответил, что минут пятнадцать.

Померещилось?

Едва вышли, Кореньков поскользнулся и увидел под ногой апельсиновую корку на крышке канализационного люка. В мозгу у него лопнул воздушный шарик: нечеткие буквы гласили: «2-й Литейный з-д — Кемерово — 1968 г.».

— Что с вами, мсье? — позвал Дени. Приблизился, глянул.

— Потрясающе! — сказал он.— Может быть, в Париже есть какая-то русская металлическая артель, поставляющая муниципалитету крышки для канализации?

— А Кемерово? — спросил Кореньков и тут же ощутил свой вопрос... нехорошим.

— А вы знаете, что в США есть четыре Москвы? — успокоил Вадим Петрович.— Эмигранты любят такие штучки. И во Франции, если поискать, найдется парочка Барнаулов!

— Близ Марселя есть деревня Севастополь,— сказал Дени.— В честь давней войны.

— Ну вот, видите.

Когда садились обратно в автобус, Кореньков обратил внимание, что рядом на пути не было ни одного человека, хотя площадь казалась запруженной народом...

Дени дал указания шоферу, и напряженный кореньковский слух выявил легкое такое искажение дифтонгов!..

— Хорошо родиться и вырасти в Париже,— по-французски сказал ему Кореньков.

Дени ответил спокойным взглядом.

— Я родился в Марселе,— сказал он.— Только в восемнадцать поступил в Сорбонну. Так и остались в произношении кое-какие южные нюансы.

«Почему он сказал о произношении? Я ведь не спрашивал. Догадался сам? А почему он должен догадаться об этом?»

Жутковатым туманом сгущалось подозрение.

Приехали. Вышли. Кореньков расчетливо, методично сманеврировал к краю группы, выждал и быстро шагнул к спешащему по тротуару с деловым видом прохожему:

— Простите, мсье, как пройти к станции метро «Жавель»?

Прохожий запнулся, ткнул пальцем в сторону и наддал.

— Дмитрий Анатольевич, что же вы? — укорил Вадим Петрович: он стоял за спиной.— Какой-то вы сегодня странный. И вид больной. Ну ничего, завтра будем дома. Переутомились от обилия впечатлений, наверное? Это бывает.

«Почему он промолчал? И — *метро совсем не там!*»

Они сгрудились у особняка, где окончил свои дни Мирабо. Кореньков оперся рукой о теплые камни цоколя, нагретые солнцем, и без всякой оформленной мысли поковырял ногтем. Камень неожиданно поддался, оказался не твердым, сколупнулась краска, и под ней обнаружилось что-то инородное, вроде прессованного картона... папье-маше.

Нервы Коренькова не выдержали. (Драпать... Драпать... Драпать!..)

Боком-боком, по сантиметру, двинулся он назад. Группа затопотала за Дени, Вадим Петрович отвлекся, Кореньков собрался в узел, улучил момент — и выстрелил собой за угол!

Бегом, быстрее, свернуть, налево, еще налево, направо, быстрее! Юркнул в подворотню и затаился, давя кадыком бухающее в глотке сердце.

Поднял глаза, ухнул утробно, осел на отнявшихся ногах.

Никакого дворца не было.

Высилась огромная декорация из неструганных досок, расепертых серыми от непогод бревнами. Занавески висели на застекленных оконных проемах. Посреди двора криво торчала бетономешалка с застывшим в корыте раствором, и рядом валялась рваная пачка из-под «Беломора».

Поспешно и со звериной осторожностью Кореньков заскользил прочь, дальше, как можно дальше, задыхаясь рваным воздухом и оглядываясь.

Вот еще особняк, обогнуть угол, второй угол: ну?!

Внутри громоздкой фанерной конструкции, меж рваных растяжек тросов влип в лужу засохшей краски бидон с промятым боком.

Обратно. Дальше.

Вот люди сидят за столиками под полосатым тентом. Бесшумно подобрался он с тыла, отодвинул край занавески:

говорили по-русски, и не с какими-то там эмигрантскими интонациями — родной, привычный, перевитый матерком говорок. А одеты абсолютно по-парижски!..

С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и «улицам», слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные, ввозимые моряками дешевые модели «опеля» и «форда».

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.

Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.

Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст.

Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.

Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.

Не было никакого Парижа на свете.

Не было никогда и нет.

Глеб Горбовский

Остывшие следы

Записки литератора

С писателем Виктором Конецким сойтись поближе довелось мне в... сумасшедшем доме. И это, к сожалению, не фраза, не литературный прием, не специфический эффект — это жизнь. Потому что так *было*. В обожаемой нами действительности.

Необходимо оговориться: в психушку, а точнее — на Пятое наркологическое отделение Бехтеревки, попали мы добровольно. Как бы — в поисках убежища. На почве приобретенного испуга. А напугала нас некая тоска смыслов и ощущений, которую преподнесла нам все та же обожаемая действительность. Прячась от нее, мы несколько перебрали эмоционально. А в результате — космизм (комизм?) отрешенности в зрачках и отчетливая трясца в членах.

Что нас держало на плаву даже там, в условиях, мягко говоря, стерильных? Чувство юмора, пожалуй. Коим с Божьей помощью мы обладали. Это во-первых. Но прежде — о другом. О моих личных, кстати, вполне выстраданных впечатлениях о Конецком-писателе. Дело-то, что ни говори, идет к пришвартовке. Можно и расслабиться. Если не мысленно, то хотя бы — интуитивно.

Конецкий для меня — романтик поневоле. Не отсюда ли у него, пожизненного носителя убежденческой и буквальной тельняшки, военно- и просто морского «краба» на фуражке, не отсюда ли его неистребимый скепсис в прозе и устной речи, даже в улыбке аскетически-изможденного лица? Не здесь ли (в нюансе подневольности) — источник его саморазъедающей иронии, принимаемой многими за бесшабашный моряцкий юморок-с?

Могут спросить: почему все-таки «поневоле» романтик? Думается — от несбывшихся надежд. От непрочности, от экспресс-растворимости приобретенного романтизма, растворимости не столько в соленых брызгах моря, сколько в ядовитых испарениях безбожного образа жизни. И здесь не путать безбожное в смысле убежденческом с безнравственным в смысле поведения.

Под колючей власяницей, то бишь тельняшкой, прячется нежное отзывчивое сердце. Речь идет об изъяне человека-писателя, а не о его писаниях. О достоинствах же писчих, то есть о живой, переливчатой, когтистой, проникающей фразе Конецкого, о естественной, разговорной интонации его прозы толковать много не приходится: она — поэтична, талантлива. Сие общеизвестно.

Конецкий из тех писателей, о которых говорят «видал виды».

При сочетании слов «Виктор Конецкий» мне представляется человек в тщательно отутюженном черносуконном морском облачении, хранящем на себе несчислимое количество несводимых, хотя и невидимых миру пятен и потертостей от крепких прислонений к жизни густой, всамделишной. И еще — мнится человек, несущий в себе разочарование... Не как клеймо или печать, а всего лишь — в виде оттенка. Разочарование не в жизни и даже не в образе жизни, и даже не в собственных писательских возможностях — разочарование в осознании некоторых истин. Например, несопоставимости, несбалансированности в человеке наличия тех или иных творческих возможностей и мощно развивающейся в нем по ходу взросления — энергии разума. То есть — знать и не мочь (выразить себя, мир Земли, Галактику). Отсюда и скепсис, насмешка через себя над всеми, юморок, не столько спасительный, сколько резюмирующий. Невозможность выразить себя не долж-

---

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 4, 5.

ным, а *желательным* образом. Иными словами, все та же вековечная писательская загвоздка, незадача: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?»

И еще. Что, на мой взгляд, способно выводить из себя, а то и бесить Конецкого как личность, а в итоге и — как прозаика? Пожалуй, нехватка интеллектуального изящества. Того же, чего, к примеру, недостает и мне. И чего, как говорится, с избытком — у Андрея Битова или Беллы Ахмадулиной.

Излишки демократизма — и это изъян? — спросят меня. И я отвечу утвердительно, ибо известно, что на земле любые излишки (кроме разве что любви к ближнему) ведут к потере ориентации, особенно в творчестве. Извечный немеркнущий идеал для художника — священная гармония. Сбалансированность врожденных чувств и приобретенных ощущений, гимнастика разума и почерпнутых знаний, обнаружение и себе совести и бессонное ее воспитание, дрессировка, то есть опять-таки, в миллионный, до скончания всечеловеческих возможностей раз — ориентир самосовершенствования. Как с одной, народно-неотесанной, вульгарной, так и с другой, изящно-утонченной, башенно-высокомерной стороны в искусстве. В искусстве жить — а том числе.

То есть писатель Виктор Конецкий для меня — интересный писатель. Интересный своим... несовершенством, своей незавершенностью. Не столько живой писатель, сколько *живущий*, продолжающий постигать, а не вымирать. Идущий, кстати, по своему пеленгу (это если выражаться его мореманским, соленым языком).

А теперь — о психушке. Однажды нетвердой походкой поиздержавшегося человека, с лютой, можно сказать, неутоленной похмелюги проходил я по Невскому проспекту от Владимирского проспекта в сторону Пушкинской улицы, где все еще имел честь проживать. Утро оказалось неудачным: никого из сомучеников, а также благодетелей встретить в ближайших кварталах не довелось. Фланировать по Невскому до победного — не было сил. Оставалось возвратиться домой и ждать условного сигнала, то есть — чьего-то благословенного, спасительного шаырка коробком о стекла моего окна...

Впоследствии, уже переселившись с Пушкинской на Звездную улицу и проживая на восьмом этаже, я нередко галлюцинировал, поджидая с похмелья вызволяющий стук в окно. И нередко тогда казалось, что и впрямь стучат. И как следствие — стихи...

А вчера постучали в окно.
От восторга заныла утроба!
Постучали в окно, а оно —
на восьмом этаже небоскреба.

Я не спрашивал: кто, почему?
Не спешил отгибать занавеску.
Не направил в кромешную тьму
луч огня нестерпимого блеску.

Я сидел молчаливо в гнезде,
не решаясь будить домочадцев.
Я-то знал: на такой высоте
люди добрые в дом не стучатся.

Продолжая идти Невской першпективой с нескрываемым чувством, название которому «глаза бы мои не глядели!», с размаху упираюсь в чью-то не шибко широкую грудь и тут же мгновенно закипаю неврастенической обидой человека, страдающего нехваткой витаминов, намереваясь попутно отшвырнуть препятствие. Все меня до сих пор исправно огибали, потому и взгляда на мир не поднимал, а тут уперся в грудь грудью! Поднимаю глаза со скрежетом зубовным: ба! Конецкий... Не просто известный писатель, но писатель, можно сказать, счастливчик, везунчик, в сравнении со мной — денежный мешок, ну... мешочек. Гульфик. На тощей физиономии — ироническая усмешечка. Правда, на этот раз — усмешечка заинтересованная, с элементами нескрываемого сочувствия в уголках тонких губ.

Слово за слово... В моих мозгах неотаязное желание стрельнуть у писателя троячок. Конецкий широко печатался, по его сценариям ставили фильмы, тогда как я все еще... болтался по Невскому. В 1960 году у меня вышла тонюсенькая, два печатных листа, книжечка стихов «Поиски тепла» тиражом в две с половиной тысячи экземпляров. А следующая подобная книжечка должна была выйти лишь через четыре года после первой. И потому весь мой внешний вид излучал мировую скорбь и неутолимую денежную потребность. Но Конецкий весьма прозорлив, он не стал дожидаться, пока я сформулирую просьбу, то есть начну унижаться. Он вдруг самостоятельно и весьма непринужденно пригласил меня в ближайший ресторан. Ну, думаю, дела. Пофартило под занавес. Не иначе — стишок Виктору Викторовичу понравился. Моего изготовления. Напечатанный в альманахе «Молодой Ленинград».

За столиком, под фешенебельную закуску, последовало предложение, на обдумывание которого давалось несколько секунд. Предложение было столь магически подано, что явилось для меня неотвратимым, неотклонимым. Над моей стопкой был занесен пузатый графинчик. Графинчик был занесен, однако функционировать — не спешил. Я знал:

покуда не отвечу на предложение — из графинчика ничего не исторгнется. Промолчит графинчик. А предложение было таковым.

— Такое дело, старичок... (тогда как раз входило в моду сие столичное присловие в обращении друг к другу служителей муз). Как ты посмотришь на то, чтобы малость подлечиться? На пару со мной? Условия шикарные: врач — свой человек, после шести вечера его кабинет на отделении — наш, в полном распоряжении. Там — пишмашинка, бумага. Даже — копирка. Будешь писать стихи. Я — доводить сценарий. Устраивает? — Графинчик накренился в мою сторону, однако ничего из себя не извергнул. И тогда я усердно кивнул:

— Устраивает!

Так было предпринято нами очередное героическое усилие по освобождению от зависимости, которое, как и несколько последующих, не говоря о предыдущих, не принесло мгновенных положительных результатов, хотя и способствовало доработке сценария (то ли «Полосатый рейс», то ли «Тридцать три»), а также — написанию цикла лирических стихотворений «Свобода по Бехтереву». Привожу самое характерное из них, естественно, посвященное В. В. Конецкому.

За окнами — лежание зимы.
Стоят дымы и мечутся машины.
И не добиться радости взаймы:
утомлены палатные мужчины.
Они, ворча, прощаются с вином.
Их точит зло. Им выдана обида.
А за окном, за розовым окном
зарей морозной улица облита.
А белый врач — стерильная душа —
внушает мне, довольствуясь гипнозом:
«Вино — говно! Эпоха хороша!
Великолепна жидкая глюкоза!»
...Там, за окном, где жизни перегар,
где дыбом дым и меховые бабы, —
из-за ларька шагнул на тротуар
последний мой мучительный декабрь.

Здесь я не стану реконструировать в подробностях наше месячное пребывание в наркологии. И не только по причине отсутствия в моем характере мазохистских наклонностей. Просто не хочу повториться: в повести «Шествие» я уже пытался изображать и просто говорить на эту весьма деликатную тему. К тому же я и ныне, по истечении с бехтеревского месячника более четверти века, убежден: вылечить кого-либо от алкоголизма, тем паче в больнице — невозможно. От алкоголизма можно только *вылечиться*. То есть — самому. Страстно пожелав. Причем вылечиться не за один или несколько сеансов, а за один присест, за одно мгновение. С того именно мига, когда ваш мозг, ваши нервы, вашу кровь, память, совесть — душу пронзит сигнал убеждения, что вы готовы, что вы решились. И здесь огромное значение имеет то, ради чего вы решились: любовь, творчество, страх, честолюбие, вера в высшие смыслы — для каждого свое «нечто», непременно способное овладеть вашей волей, эмоциями, разумом настолько сильно и неотвязно, насколько... слабее, пусть на самую чуть, но слабее, овладел вашим существом порок, от коего вы пожелали избавиться.

Я лишь поясню кое-что: на отделении института лечили тогда не убеждениями, не исповедью, не покаянием, не «проветриванием духа», а всего лишь... страхом и химическими препаратами, которыми нашпиговывали пациента перед тем, как дать ему глотнуть все той же водочки разлюбезной, вступавшей в крови пациента в химическую реакцию с препаратами, дававшую жестокий эффект: от одних снадобий человека тошнило, выворачивало, как перчатку, от других он как бы преждевременно, словно в замедленной съемке, умирал: нарушалось дыхание, кровообращение, сердечная деятельность. Тем самым подопытного пугали: вот, дескать, смотри, что с тобой в точности будет происходить, когда мы тебя выпустим на городскую улицу и где ты, не дай Бог, выпьешь опять спиртного. Упадешь, отключишься, никто тебе не поможет. Даже в медвытрезвителе. Подумают — просто пьяный оборзел до такой степени. А ты, оказывается, умираешь натуральным образом. Здесь-то мы за тобой внимательно наблюдаем, с любовью и со спасительным шприцем в руке, а там — подохнешь как собака.

То есть на угнетенную алкоголем поверхность мозга страждущего наслаивали еще и страх смерти, отчаяние обреченного. И единственно от чего ему сразу хотелось освободиться — это от угнетения и страха, а не от пьянства. А именно хорошая доза спиртного как раз и освобождала, пусть временно, от отчаяния, пусть иллюзорно, однако — раскрепощала. И человек судорожно ждал прекращения действия препаратов, чтобы поскорей принять вовнутрь и возликовать, то есть — разрядиться.

Палата, в которой производилась процедура разрядки, была названа клиентами-пациентами «палатой космонавтов». Пять или шесть коек, на них — подготовленные

к вознесению в «космос», то есть напичканные тиурамом-антабусом добровольцы. Перед каждым — табурет. На нем стопка «экспериментальной» и закуска: долька апельсина, яблока. Тут же — врачи, процедурные сестры со шприцами с кардиамином, кислородные подушки наготове... И неожиданно выяснялось, что люди на Земле действительно — все разные. Одного забирало с двадцати граммов, другого — с тридцати пяти, а третьего — лишь с пятидесяти. Имелся на отделении, как и в других жизненных сферах, свой чемпион: крутоплечий, мощного сложения, безволосый, как бы весь литой человек-кран из грузчиков. Его не прошибало даже с четвертинки. Помнится, что нам, литературным сочинителям, то есть хлипким якобы интеллигентам, было назначено сразу по сорока граммов, а «жечь» начинало нас только с пятидесяти. Сказывалось, видимо, суровое военное детство, закалка скитаниями, морская выучка и прочие акценты и компоненты недавнего прошлого.

К сожалению, ни одного из нас тогда не вылечили, не отучили, не запугали до задумчивой степени. Чудо произошло чуть позже. Лет этак семь-восемь спустя. Да и то — не с обоими разом. А тогда, в Бехтеревке, на Пятом наркологическом, предстояло нам встретить новый, 1964-й год в качестве «узников совести». Молодой врач Геннадий, доверявший нам во внеслужебное время свой кабинет со столом, пишмашинкой и дерматиновым диваном, попросил Конецкого и меня мысленно сосредоточиться и выпустить на отделении праздничный номер стенгазеты. Новогодний выпуск! И мы вдохновенно взялись за дело. Как непорочные школьники. Брали интервью у находившегося на излечении Героя Советского Союза, бывшего летчика-балтийца, записывали «литературным языком» впечатления от пребывания в клинике какого-то невеселого, зажатого в себе человечка, звонившего путем вставления горелой спички в радиорозетку «товарищу Кеннеди», жалуясь президенту на собственную жену, которая-де «упекла»; Виктор разразился передовицей, где говорилось, что в мире иллюзий, как и в мире реальном, следует приветствовать только правду, ничего, кроме правды, а также — поддерживать образцовый порядок и т. п.; я написал иронические стихи, продолжившие упомянутый выше цикл «Свобода по Бехтереву»:

В час есенинский и синий
я повешусь на осине, —
не иуда, не предатель,
не в Париже — в Ленинграде,
не в тайге, не в дебрях где-то, —
под окном у Комитета!
...Что мне сделают за это?

Каюсь, за сорок лет стихосочинительства на бумагу из-под моего пера вылилось, а то и просто вывалилось немало горьких слов и строчек, в коих упоминалось, а подчас — просто лелеялось понятие смерти. В молодости делалось это чаще всего по пьянке. Ближе к старости — по просьбе разума, желавшего как можно безболезненней подготовиться к последнему (оно же и первое) рандеву с Ее Величеством Неизбежностью, опирающейся на крестьянское орудие труда, которым до сих пор еще обкашивают деревенские жители траву на так называемых неудобицах.

И хоть латинское мементо мори сделалось межконтинентальной поговоркой, а писать стихи о своей Неизбежной зачастую приятно до жути, считаю теперь, что напоминать людям о предстоящей смерти — великое свинство. Особенно — в мрачных тонах и, так сказать, для рифмы всего лишь. Все равно что напоминать горбатому о его кривой спине, слепому — о прелестях утраченного зрения, вообще — об изъянах, увечьях, врожденных пороках, ибо — что есть смерть, как не самый непоправимый из всех изъянов, самый неизлечимый из всех пороков, тщательно скрываемый человечеством и всячески рекламируемый лирическими поэтами — великими и малыми?

Но продолжу об изъяне не менее катастрофическом — о пьянстве, ведущем на больших скоростях не только к смерти неизбежной, но и — к смерти прижизненной: к алкоголизму.

Избавление ко мне пришло на сороковом году жизни. В лице врача-подвижника Геннадия Андреевича Шичко. К моменту встречи с этим незабвенным, милосерднейших воззрений человеком я уже созрел: желание освободиться от болезни было во мне уже неотвязным, не менее неотвязным, чем сама болезнь. То есть — к тому времени я не просто пожелал, но пожелал истово.

Мало было понять, следовало — ощутить, как из-под ног у тебя уходит не просто земля, почва, но — любовь... Любовь к дорогому человеку, к дорогому делу, любовь к единственному смыслу — смыслу жить. И тогда жена отвела меня к Г. А. Шичко.

В упомянутой повести «Шествие» кое-как набросал я блиц-портрет доктора Шичко. Здесь же напоминаю о самом существенном в его личности. О принципах его метода лечения алкоголиков. Г. А. Шичко уже нет на свете. Мы его похоронили (мы — это многие сотни избавленцев, пришедших в день его отпевания-оплакивания под своды ленинградского крематория). Теперь о нем можно говорить все, потому что все в его деяниях было

жертвенно-милосердным, бескорыстно нацеленным на оказание людям врачующей помощи, которую люди верующие ждут от Бога, неверующие — от государства, а помощь приходила к ним от Человека, несшего в себе божественно-государственные заветы и заповеди без принуждения и начетничества — как кровь в сосудах, как зрение в глазах, любовь — в сердце.

Чем брал Шичко? Убежденностью (своей), убеждением (других), бескорыстием (абсолютным!). То есть вся его воля подчинялась Цели (а — не наоборот). Вся его школа зиждилась на древнейшем, испытаннейшем фундаменте, имя которому — любовь. К ближнему. И это — при всем при том, что Шичко — неисправимый, «органический» атеист, не от упрямства или апломба, но — от веры в... безверие. Коммунист, бывший военмор, инвалид войны, кандидат наук и прочая, и прочая — из области советской действительности.

Теперь, вспоминая об этом светлом докторе, добавляют, что был он еще и диссидентом, протестантом воинствующим, неудобным для начальства горлопаном, которому пытались, но не могли заткнуть глотку всевозможными особыми мнениями и положениями. Что ж, Шичко на своей ниве был доподлинным воином. И на этом же поле деятельности — погиб. В шестьдесят лет. Аорта лопнула. Пораженная аневризмой. Измочаленная неспокойным (неравнодушным!) образом жизни.

Эффективнее всего у Шичко получалось, когда подопечный поступал к нему в созревшем состоянии, то есть — имел желание искреннее, а не умозрительное. Такому клиенту требовалась как бы сторонняя, «вторая половина» убеждений — для совмещения с «первой», собственной. Вторая створка раковины от «я» — в лице Шичко. И ежели совмещалось — происходило чудо. Так произошло и со мной, грешным: вот уже почти двадцать лет, как вылез я из прежней кожи и с тех пор неистребимо благодарен, неиссякаемо признателен покойному «радетелю отрезвления» (а для меня лично — как бы третьему по счету родителю!). Подобное произошло и со многими другими, некогда пропащими, обреченными. Называть их поименно вряд ли стоит, чтобы не сглазить.

А вот с Конецким у Шичко совмещения не получилось, чуда не произошло. И Виктор пошел своим путем. Так как никогда, по моим наблюдениям, алкоголиком не был. Точнее — алкоголиком в степени «быть или не пить?», когда уже выбирать не приходится и остается лишь драться за себя, заживо погребенного...

Могу только догадываться, отчего не получилось у В. В. Прежде всего — от изъяна, именуемого великой мнительностью, а также — от достоинства, названного специалистами духа творческим воображением. Для изощренного интеллекта В. В. мужиковатая личность Геннадия Андреевича была примитивна, шибала портянкой. Уж лучше бы, как говорится, простая, темная бабушка пошептала, и дело с концом, ибо — что с нее взять? А тут как бы та же бабушка, только еще и кандидат наук, то бишь — с претензиями.

Слишком уж Геннадий Андреевич со своим лицом простолюдина, с косноязычинкой в речи, с незначительным слоем начитанности на поверхности неизвращенного интеллекта, с глазами наивными, со взглядом в них выплеснутым, а не вытекавшим, за которым не угадывалось некое энзе, запасец про черный день, слишком уж, повторяю, Геннадий Андреевич был для Виктора Викторовича элементарен, незатейлив, двойного, потаенного дна — не имеющ. Разве мог он своей непрезентабельностью, граничащей с самодеятельностью, повлиять на писательскую изощренность? Не мог. Разновеликие створки.

К сожалению, из темы потаенного, скрытого пьянства, коим страдает 80 % взрослого мужского, делового, трезвого на вид населения, все мы общими усилиями сделали нечто крайне деликатное, чуть ли не интимное, о чем избави Бог — вслух! — непременно по секрету, на ушко, как бы о дурной болезни или аборте. А ведь сия борьба подразумевает освобождение из-под ига. Дело-то, если к нему всем сердцем приглядеться,— благородное, стоящее. Взять хотя бы нашего брата-писателя: сколько ярчайших талантов осеклось, преломилось на полпути к самораскрытию! Тут бы и назвать всех поименно... Нельзя. Не принято. Повредит престижу писательского призвания. И получается, что кроме Сергея Есенина, который сам не скрывал, что пьет ее, проклятую («осыпает мозги алкоголь»), все остальные — трезвенники, праведники благополучные.

Тут бы и предупредить молодых-неопытных, предостеречь от бездны, и не только Христом-Богом прося, умоляя, а делом, делом, примером уводя прочь, спасая! Оперативным, если можно, путем. Отсекновением от манящей печали, от зияющей мглы, сосущей мозг, успеть при жизни, под солнцем, в травах и водах, среди птиц и деревьев и прочей поруганной равнодушием отравленного мозга красоты — успеть предупредить невинных — стихом, рассказом, призывом, плачем писательским, проникновенным, наконец — исповедью бесстрашной, раскаянием очищающим. Ан... нельзя. Неэтично. Вульгарно.

Геннадий Андреевич Шичко начинал свою битву со змием во времена повальных банкетов, междусобойчиков, девичников и мужичников и прочих ревущих посиделок, начиная от государственного, кремлевского уровня и до барачно-блочно-избушечного, низинного горизонта слоеного пирога общественности. Шичко нередко стоял поперек горла не только поощрителям спаивания нации, но и — бюрократам от медицины, для

которых лучше пугать, стращать смертной болью телесной, нежели убеждать, нянчиться, уговаривать, умолять, раскрывая пациенту слипшиеся от беспробудного запоя глаза на мир любви и красоты. Шичко — раздражал. Ярил. И не только рядовых маскировщиков социзъянов, но и — власть имущих аппаратчиков, которые сами всласть попивали и всяческую борьбу с доходной статьей государства сердцем принимали чуть ли не за диверсию и расшатывание устоев.

Деликатная, видите ли, тема... Вроде копошения в грязном белье человечества. Стало быть — замолчать, заткнуться? Отойти, спиной повернуться к проблеме? Тем более, что сам-то избавился. Не грозит. На пороге старости. А ведь Шичко тоже самолично от спиртного не страдал. Уж если от чего и страдал, то — от борьбы за устранение сторонних страданий. А мог бы и увильнуть: дохода от проблемы не имел — доказано всеми, кто его знал (до кооперативов медицинского профиля не дожил). А вот неприятности, в том числе и преждевременный уход из жизни, заработал. Тем более, что увильнуть от заботушки можно было всегда, причем — культурненько, обоснованным образом рассудив, к примеру, так: пьянство на земле, вообще наркопроблема — это изъян глобального, экологического масштаба, слепо-стихийной разрушительной силы; не просто беда отдельных людей, а следствие «разумной» деятельности всего человечества с его прогрессирующей тенденцией научно-технической эволюции и т. д. и т. п. То есть — виновен процесс, а вовсе не изначальный изобретатель велосипеда, не тот смекалистый мужичок или догадливая бабенция, впервые забалдевшие на почве брожения определенных продуктов.

Сам акт извлечения тайны, как только ставят его на поток, делается тривиальным. По прошествии определенного времени «Автора! Автора!» никто уже не кричит. Так было с изобретением тележного колеса, глиняного горшка, так было и с высеканием огненной искры при помощи кремня или трения, так было и с пресловутым велосипедом. Придет время, забудут и тех, кто извлек наружу атом. Проклянут (уже проклинают!) и забудут. Проклянут не конкретно, не личностно, а этак умозрительно, философически. Не в сердцах, а — а разумениях. В точности, как и первоначального извлекателя спирта, опия, кокаина...

В сегодняшней прессе можно отловить, скажем, вот такие, подтверждающие убийственную силу «научной мысли» факты: профессор радиологии Питсбургского университета Эрнст Штернгласс и специалист Бременского университета доктор Х. Шир утверждают, что выброс радиоактивных элементов в атмосферу во время испытаний ядерного оружия — одна из главных причин появления вируса СПИДа. Именно под действием радиации появляются, по их наблюдениям, мутантные вирусы, ранее не встречавшиеся в природе, против которых человек не имеет иммунитета. И доказывают основательность своей версии путем прослеживания маршрутов радиоактивных облаков после самых интенсивных испытаний 50-х—60-х годов, выяснив, что большая часть выброшенного в атмосферу стронция-90 и других элементов распада осела на территории Северной Америки и Центральной Африки, где население, как известно, наиболее сильно поражено эпидемией СПИДа.

Так что ускользнуть от фактической ответственности за ущерб, тем более — за глобальный его вариант, не так уж трудно, поспешив объявить его научным поиском, гениальным открытием, накрыв этим объявлением, как стеклянным колпаком, любой побочный грешок от поиска, любую ручейком просачивающуюся из-под колпака кусачую проблемку.

Однако тут же с неизбежной откровенностью встает не побочная, не параллельная, а кардинальная проблема нравственной ответственности всего человечества из сегодня перед всем человечеством — из грядущего времяизмерения. Потому как не стронций-90, не прочая химическая нечисть выпадает и накапливается на истерзанной поверхности всечеловеческой морали, а нечто большее, грандиозное, неуловимо-незримое, мутирующее не одни только вирусы, а — всю духовную площадь (сущность) гомо сапиенс, постепенно превращая его в гориллу, от которой он якобы произошел. Так что — круг не только замыкается, но замыкается безнадежно.

А Шичко — не увильнул. Да и многие не увильнули. И — не увильнут (идеалистический оптимизм!). Потому что руководит ими не столько чистый разум, сколько — чистое сердце. И — весьма определенная (в отличие от теории относительности) теория Вечной Любви. К ближнему. Не абстрактно-умозрительному, а — к конкретно-страждущему, находящемуся рядом.

* * *

Карельский берег Финского залива. Дачный поселок в полусотне километров от Ленинграда, ставший известным в стране благодаря эстрадной песенке, где нещадное число раз повторяются строчки: «На недельку до второго я уеду в Комарово!» Это — для одних. Или — для большинства. Для других Комарово прежде всего — могила Анны Ахматовой. А для нас, писателей «северо-западного региона», Комарово — еще и тихое

пристанище, где, затворившись в девятиметровой келье Дома творчества, можно месяц-другой поработать за казенным письменным столом.

Без малого тридцать лет прошло с тех пор, как впервые, по льготной путевке, проник я в это манящe-таинственное, а как выяснилось чуть позже, весьма прозаическое и в чем-то даже убогое заведение. Вот и сегодня, выстукивая на машинке комаровскую главу «Записок», нахожусь я в одной из камер писательского Дома творчества, именно в той из них, 39-й, угловой, на третьем этаже, которую до недавнего времени так любил занимать Федор Абрамов.

В трехэтажном, послевоенной постройки жилом корпусе — сорок номеров. За тридцать лет переночевал я почти в каждом из них. А последние десять лет я зимую в Комарове регулярно — с октября по май, и порою мне начинает казаться, что и на свет-то я появился здесь, в этом писательском убежище, напоминающем старинную богадельню, и мужал, и старел тут же — безвылазно. С чего бы такие фантазии? Просто существо мое, затворяясь в стенах интеллигентного общежития, наверняка испытывало и по сию пору претерпевает на себе колоссальной концентрации энергию, оставленную за десятилетия в каждой из комнат-гнезд многочисленными мечтателями и честолюбцами, чудаками и завистниками, стяжателями и бессребрениками духа, и, погружаясь в слои, в тяжкие пласты и глубины этой энергии, добавляя в нее свои собственные эго- (от «мего») ватты, ты как бы начинаешь помаленьку забывать внешний мир со всеми его красотами и соблазнами, бедами и победами, приобретая задумчивый вид добровольного отшельника, ушедшего не столько в себя, сколько в ложное ощущение, что ты-де — не совсем такой, как все, а как бы еще и писатель, фантазер, иными словами — человек, сошедший если и не с ума, то сдвинутый с круга нормальной жизнедеятельности.

Большинство моих соседей по «нумерам», с которыми я начинал комаровские сидения, постепенно перебрались на ту сторону железнодорожного полотна, по которому бегают электрички из Ленинграда в Выборг и обратно, перебрались, так как именно на той, удаленной от моря, сухопутной стороне расположено поселковое Комаровское кладбище. Большинство, но пока что еще — не все. Часть из них перебралась как бы еще дальше, нежели за полотно дороги,— за пределы государственные, и живет сейчас в Париже, Риме, Нью-Йорке, а Австралии, откуда, в свою очередь, перебираются куда-то еще дальше, принимая иллюзию передвижения по земле за жизнь вечную, покуда все как один не сойдутся, каждый в своей точке окончательного пересечения, с матерью-планетой.

Еще одна толика комаровских завсегдатаев продолжает обитать бок о бок со мной (или — наоборот), совершая по некогда карело-финским дачным дорожкам предсмертные оздоровительные прогулки, потребляя супы, каши и винегреты в домотворческой столовой конструктивистского образца — плоской и серой, возведенной не так давно по мифическому итальянскому проекту, не чета прежней, барачного типа замухрышной едальне, в которой принимала казенную пищу Анна Андреевна Ахматова. Они, эти мои соседи, и я с ними заодно, продолжают стучать на своих новеньких иностранных (не чета прежним, марки «Москва») пишущих машинках, продляя в себе надежды на литературное бессмертие, пытаясь в меру сил разобраться в себе, попутно заработать на хлеб семье, а также объяснить ход вещей, извлечь из своего пребывания на земле некую суть, которая и оправдала бы в конце концов все наши старания, утолила печали сердечные, умерила запросы умственные.

На Комаровском, а также на других кладбищах России упокоились мои друзья и просто знакомцы, с кем делил я писательский хлеб в вышеназванном заведении Литфонда, и сейчас это — внушительный список, из которого привожу имена мысленно, наугад, без заглядывания в святцы, то бишь в справочник Союза писателей,— только в память сердца. Список наверняка не полный, однако достоверный, как достоверна и неоспорима всякая жизнь, случившаяся на планете людей и повлекшая за собой, помимо деяний и размышлений, неумолимую кончину телесной оболочки. Пытаясь назвать всех, называю лишь некоторых, немногих, с кем доводилось обмениваться не столько соображениями, сколько — улыбками.

Виктор Курочкин, Анатолий Клещенко, Владимир Торопыгин, Вера Панова, ее сын Борис Вахтин, Александр Гитович, Геннадий Гор, Наум Берковский, Виктор Мануйлов, Адольф Урбан, Василий Соловьев-Седой, Павел Петунин, Федор Абрамов, Анатолий Аквилев, Глеб Семенов, Татьяна Галушко, Ольга Берггольц, Василий Лебедев, Анна Ахматова, Давид Дар, Саша Морев, Яша Виньковецкий... Однако прервусь, так как в голову начинают заплывать имена людей, о чьей жизни или смерти достоверных сведений у меня не имеется, людей, давненько не бывавших в Комарове и даже — в стране Советов.

О каждом из перечисленных миров, сгоревших на моих глазах, но во мне еще не погасших, об этих, по выражению Берггольц, «дневных звездах» и еще о многих выскользнувших из памяти метеорах и астероидах я мог бы не только вволю поплакать при помощи словесных слез, но и нарисовать картинку, обозначив на ней сюжетно-биографические контуры, а также замысловатые оттенки той или иной судьбы, но... времени отпущено в обрез, тем более что тратим мы львиную долю этого времени преимущественно

на себя или на то, что сопутствовало нам, выпячивалось в нашу сторону, а не скрывалось от нас в тени собственной неповторимости и застенчивости.

Скажем, без каких-либо ощутимых энергетических потерь мог бы я рассказать об исчезнувшем с лица земли Яше Виньковецком, писавшем смиренные, хотя и умственные стихи в литобъединении Горногоинститута середины пятидесятых, переметнувшегося затем в абстрактные художники под влиянием Миши Кулакова и Жени Михнова-Войтенко, о Яше, считавшемся незаурядным ученым-геофизиком, кандидатом и без пяти минут доктором, променявшем карьеру спеца от науки на долю странника в области искусств, уехавшего в Америку, где, по слухам, имелись тогда хорошего качества краски для рисования, причем — в неограниченном количестве, и не взявшем в расчет проблему конкуренции, в Америку, где своих абстракционистов, ташистов и прочих супрематистов — хоть резервации из них организуй, о Яше Виньковецком, вместо сведений о творческих достижениях которого довольствовались мы сведением о его преждевременной кончине, просочившимся сквозь проржавевший к тому времени железный занавес.

Но повторяю: текущего времени нехватка, и я попытаюсь рассказать о мимолетных встречах, встречах-вспышках с другими посетителями Комарова, с их именами и ликами, подсмотренными в комаровской писчебумажной атмосфере.

Нетрудно догадаться, что речь пойдет прежде всего об Анне Ахматовой (за нее в последнее время так уж взялись, так взялись, что становится боязно: не затоптали бы Имя! Отдавая должное).

В семейной, мною разоренной библиотеке имелись две книжечки стихов Ахматовой — «Четки» и «Белая стая». В книжечки эти заглядывал я потому, что мне нравилась их книжная досоветская фактура: бумага, шрифты, графика, взращенные другой, а для моего тогдашнего сознания — почти доисторической эпохой. Особенно прельщала толстая, основательная, с водяными размывами на просвет бумага «Белой стаи». При взгляде на эту книжку испытывал я босяцкое почтение, как перед чем-то уже не доступным, дворянским, пусть отвергнутым, отмененным внешне, однако оставшимся в атмосфере бытия, будто невидимый, сшибленный активистами крест над куполом собора. Наверняка пленяли меня в этой книжке и отдельные словосочетания, подсознательно я как бы даже улавливал тон вхматовской поэтики, и все же, говоря откровенно, прелесть этой поэтики в те годы волновала меня эфемерно. «Кабацкий» Есенин, ранний, безоглядный Маяковский, отважно-манерный Северянин, не весь, а только «выпуклый», экспрессивный Блок («За городом вырос пустынный квартал», «Под насыпью, во рву некошеном», «Скифы», «Двенадцать»...), «Ворон» Эдгара По в переводе Брюсова, да и брюсовское «Юноша бледный со взором горящим» — вот чем питалось сердце в те годы.

Сдержанная, напряженно-утонченная, воспитанная в духе благородного девичества, тактичная поэзия Ахматовой казалась мне чем-то хрустально-заиндевевшим, не чужеродным, но как бы отстраненно-высокомерным. Мне, послевоенному подростку-скитальцу, хотелось чего-нибудь попроще, позапашистей и, что скрывать, поразухабистей.

И когда в начале шестидесятых ленинградские официально непризнанные поэты-протестанты, жившие как бы вразрез течению,— Евгений Рейн, Анатолий Найман, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев — решили почему-то представить меня Ахматовой (как затем — и Соснору, и Кушнера, и Битова), меня, только что издавшего официальным способом свои экспедиционные, сахалинско-якутские стихи,— я для храбрости хватанул стаканчик табуретовки. В озорном сознании, помнится, даже возникла еретическая мысль — испросить у Анны Андреевны тайну «трех карт», естественно — поэтическую тайну.

А то, что не растерялся я, получив королевское приглашение, и вообще расхрабрился,— объяснить можно чисто житейски. Много дней наблюдал я Анну Андреевну сидящей в писательской столовке, правда, сидящей гордо, спиной к братии, и все ж таки заурядно жующей казенную пищу вместе со всем миром («Не наважденье, не символика: на склоне века, в сентябре сестра Цветаевой за столиком клюет казенное пюре» — напишу я через пятнадцать лет в Коктебеле, познакомившись в крымском Доме творчества с Анастасией Ивановной Цветаевой).

Вот такая наивная реакция на совмещение «казенного пюре» и свободного поэтического слова. «Как же так?! — клубился тогда в моем возлеахматовском сознании дымок разочарования,— поэт из невозвратной, легендарной эпохи Поэтов, современница, совладычица поэтических дум Александра Блока, Николая Гумилева, Иннокентия Анненского, Валерия Брюсова, вообще — *подлинная*, ходячий миф, и вдруг... хлебает союзно-писательский супец!» Сие-то и расслабило, рассупонило на какое-то время, а именно — до той поры, пока не позвали меня в угловую, двенадцатую, ахматовскую комнату на первом этаже Дома творчества.

По причине рассеянного (табуретовка!) внимания не могу теперь безошибочно перечислить всех, кто, помимо величавой хозяйки, находился тогда в нумере. Из произнесенных Ахматовой слов запомнились отдельные восклицвния. Из слов окружения, свиты, а также из своих собственных — почти ничего не запомнилось. Смутно воскрешаю в себе давнее видение: Анна Андреевна в кресле, кутается во что-то белое, теплое, скорей все-

го — в пуховый платок или шаль. Нет, я не ел ее глазами, как ненормальный. Природного, подсознательного такта хватило на то, чтобы соблюдать приличия, не мельтешить. Ахматова сама попросила читать громче, да и сваты предупредили, что метресса глуховата. Во время чтения Анна Андреевна едва заметно, не слишком выпячиваясь, вежливо подставляла ухо, не разворачиваясь в кресле, а всего лишь как бы поводя головой вслед за ускользающим голосом чтеца. И все-таки время от времени просила читать громче, отчетливей. Помнится, обстоятельство сие немало меня раздражало. Приходилось напрягаться, словно бы навязывая себя, а не... даря. Что ж, самолюбие, как и здравый смысл, всегда при нас. Тем паче — в годы молодые.

Читал я тогда стихи из своих комаровских, наиболее строгих, «собранных» циклов «Косые сучья» и «Сны», стихи, тяготевшие, как мне казалось, к некой музыкальной классичности словесного строя и даже — инструментовки. Свои же лохматые, отчаянные стихи из разряда «прóклятых», как губка напитанных винными парами и невинными семантическими шалостями, читать я не осмелился и правильно сделал, потому что в «проклятых» (по выражению профессора Наума Берковского, польстившего мне примерно в те же дни, шутливо или нет сравнив мою непечатную, взвинченную продукцию с творениями именитых французов) имели место вкрапления слов, мягко выражаясь, нецензурных, режущих «серебряный» слух.

Поэты, окружавшие тогда Анну Андреевну и пожелавшие представить ей меня, едва я открыл рот, мгновенно превратились в молчаливый синклит и с непроницаемыми лицами наблюдали за реакцией «самой». Не знаю, кто именно — Женя Рейн или Толя Найман, Иосиф Бродский или Дима Бобышев — проявил инициативу, предложив Ахматовой «отслушать» Горбовского? Может — все разом? Мы ведь тогда дружили, еще лишенные некоторых из предрассудков, что нагрянут к нам чуть позже.

Читал я в тот вечер «с листа», и не просто по записной книжке, а считывал рифмованную продукцию со страниц культурненько сброшюрованных самиздатовских сборничков, за несколько часов до начала аудиенции отпечатанных мною на первой собственной пишмашинке марки «Москва», которую приобрел на деньги от жиденького гонорара за свою первую книжку стихов «Поиски тепла» (70 коп. за стихотворную строку, тираж 2500 экземпляров, объем полтора авторских листа).

Анна Андреевна изъявила желание взглянуть на брошюрки. Она подержала их в царственных руках, улыбнулась самодельным титульным листам сборничков, на которых значилось «Сны» и «Косые сучья», полистала. И я осмелился предложить их ей на добрую память. Не отказалась, даже попросила надписать, что я и проделал с превеликой энергией. Приняла. А что ей оставалось делать?

Не из ложной скромности решил я не приводить тут похвальных ахматовских слов по поводу моего чтения. Не запомнились таковые. А может — и не было вовсе. Таковых. Было — внимание. Отчетливое. Со стороны пожилой женщины, не прервавшей юного зоила — ни словом, ни вздохом. А следил я за ее лицом внимательно. И прервал бы себя незамедлительно при малейшем сигнале рук, глаз, губ, дыхания Ахматовой, возвещавших об утомлении, вообще — о скуке.

Похвальных слов не запомнил. Если они были, принял их как должное. Зато уж критическое замечание, переросшее затем в маленькую дискуссию, врезалось в память стальным осколком! Причиной дискуссии послужило одно из моих тогдашних стихотворений, озаглавленное прозаическим словом «Ботинки». В нем — двенадцать строк. Приведу их полностью. Как вещественное доказательство. Как свидетельское показание. По просьбе обвиняемого.

БОТИНКИ

Как машины грузовые, на резине
мы ходили, мы закаты коротали...
А вчера в универсальном магазине
мы купили греко-римские сандали.
Оплатили цвета пыли макинтоши,
в цвета стали мы представились беретах.
Мы пошили сногсшибательные клеши,
надышались из нерусской сигареты.
И мелькали греко-римские сандали,
и ходили мы — плакаты и картинки.
...Но всегда вас под кроватью ожидали
грузовые эпохальные ботинки.

Стихотвореньице сие было написано в конце пятидесятых годов, однако уцелело в моем сознании и к началу шестидесятых, когда в числе других прочитал я его Анне Андреевне. На этом стихотворении Ахматова как бы очнулась и высоким (по смыслу) и одновременно низким (по тембру) своим голосом произнесла в мою сторону:

— Ботинки — нерусское слово... У нас — башмаки или сапоги. А ботинки — не наше.

Замечательно, что слово «нерусское» произнесла она слитно, как эпитет, а не как отрицание.

Теперь-то я понимаю, что нужно было согласиться со старшим по званию, по крайней мере — не перечить Анне Андреевне. Тем более что, как выяснится в дальнейшем, Ахматова была ближе к истине, нежели я. А тогда я попытался не совсем вежливо противоречить, отстаивая, как мне думалось, свою точку зрения. Мне тогда мнилось, что Ахматова, мягко говоря, отстала от жизни, ну, не отстала — отклонилась в свою, интеллектуально-затворническую сферу, точнее — атмосферу, где люди ее круга, изъясняясь, все еще по инерции употребляли слова своего времени типа: «баретки», «штиблеты», «калоши», «гамаши», игнорируя укоренившееся «ботинки» (от старинного, хотя и не русского «ботфорты» и далее — «боты»); в дальнейшем я, памятуя об ахматовском упреке, подумывал о замене «ботинок» вульгарными, лагерно-солдатскими «бахилами», но слово это резало даже мой, не столь изысканно-утонченный слух не то чтобы непоэтичностью, но как бы — чужеродностью в пределах лирического жанра. И, отвечая на реплику Ахматовой, съязвил:

— Может, «лапти» вместо «ботинок» употребить? Или какие-нибудь «чуни», «опорки»?

Ахматова ничуть не смутилась. Она лишь пояснила:

— «Опорки» — это производное от «сапог». Когда отрезают, отпарывают сносившиеся голенища и ходят в одних опорках.

Вообще-то я и сам к тому времени знал, что такое «опорки», но дух противоречия возобладал, и я попытался взбрыкнуть еще разок:

— А я-то считал, что «опорки» потому так зовутся, что на них... ноги опираются! «Опора в превратной судьбе!» — процитировал я Лермонтова, чисто машинально, даже — как бы из озорства, ожидая, что вот сейчас Ахматова взорвется, скажет «Не кощунствуйте!» или что-нибудь в том же духе, но Анна Андреевна стоически промолчала. Лишь посмотрела в мою сторону этак... сочувственно.

Теперь-то я понимаю, что Ахматова была права, протестуя против смысловой неорганичности «празападных» ботинок, вставленных в стихотворение, обладающее патриотическим задором. И что с того, что я никогда — ни во время написания, ни позже — не считал сей опус русофильским. Написалось-то непреднамеренно, импровизационно, почти — бездумно. Думалось: обойдется. Не обошлось. Слово, хоть и не воробей, однако летает. Даже такое заземленное, как «ботинки». Особенно — в воздушном пространстве ахматовского надсоциального слуха. Небось антизападный «еврофобский» душок стишка так и шибанул, будто квасная отрыжка... Вот Анна Андреевна и не смолчала. Из нетерпимости к элементарной поэтической неряшливости, стилевому диссонансу.

Но возвратимся к нашему визиту в угловую двенадцатую. Последствия дарения оказались весьма неожиданными: назавтра Анна Андреевна прислала ко мне порученца за пишущей машинкой и копировальной бумагой. Ахматовой понадобилось что-то срочно перепечатать. А так как я прихвастнул своей домашней типографией, то и решили просить машинку не у кого-то из метров, обитавших тогда в Комарове, а прямиком у самодеятельного автора «Снов» и прочих косых сучьев. До сего дня я так и не выяснил: имелась тогда у Ахматовой своя пишмашинка, или отсутствовала, или — сломалась и бездействовала? (Теперь, после недавнего опубликования в «Новом мире» заметок об Ахматовой Анатолия Наймана, вывод таков: А. А. вообще не любила машинок, предпочитая им классическое Перо.)

Технику возвратили мне через день-другой вместе с копировальной бумагой, той, что была использована, однако использована удивительно аккуратно, во всяком случае, с копирки, повернутой лицом к свету, запросто считывался текст. Листы копирки использовались почему-то единожды, под каждую последующую страницу текста подкладывался новый. Тогда же подумалось: ничего себе живут! Непонятную мне расточительность приходилось толковать, опираясь на свои плебейские запросы и возможности, дескать, вот она, голубая кровь с ее замашками, госпожа, поэтическая дама — вот и чудит, вот и размахнулась...

Даже когда вчитывался в повествовательные строчки, предварявшие «Реквием», в которых говорилось о стоянии в очередях возле тюремного подъезда, в голову почему-то не пришла крамольная догадка: а ведь тебя, дурака, похоже, приглашают к прочтению опальной поэмы, потаенного слова... Пусть — к прочтению «наоборот», в зеркальном, так сказать, варианте, к прочтению сквозь черную, ночную бумагу, наложенную на дневной, животворящий свет, что вызревал помаленьку за окном в пространствах и помыслах Отчизны. Но вот же, занятый собой, не сообразил, не догадался, что пожилая, грузная, величественно-глуховатая женщина способна на какой-то экстравагантный, протестующий, «молодежный» жест. Разве не могла она таким образом взять и поделиться сокровенным, почти запретным? Могла, конечно, и делилась... Но вряд ли — с первым встречным. И трюк с копиркой наверняка принадлежал не ей, а тому, кто перепечатывал тогда поэму. Кто знал меня основательнее, нежели хозяйка поэмы. Этим своим соображением я ни в коей мере не хотел бы умалять бесстрашие ахматовского мужества, отвагу ее сер-

дца, которое к тому времени наверняка еще не оттаяло от стояния в ежовских очередях, замученное, однако не сломленное, ибо чем для него, да и не только для него, был в те годы «Реквием»? Ведь и впрямь — не столько литературным произведением, сколько заупокойным плачем по убиенным, по растоптанной свободе, но еще и — обвинительной речью Поэта на процессе возрождения справедливости.

И тут, через какое-то время, меня вновь приглашают к Ахматовой и вручают сроком на одну ночь экземпляр «Поэмы без героя», отпечатанный также на моей машинке. И ставят, причем вполне серьезно, непременное условие: изложить о поэме собственное мнение, предъявить его от лица нового поколения поэтов — Автору. Вот так, и ничуть не меньше.

Меня подвело мое трудноотмываемое поэтическое невежество. Помогла — интуиция, врожденный нюх на прекрасное. Излишней самонадеянностью хоть и не страдал, однако оценить предложение должным образом — все ж таки не сумел. Почему? А потому, что поэзия Ахматовой не была для меня в те годы откровением, я еще не проник в нее, не упивался ею, не обмирал от счастья и восторга, как, скажем, над волшебной лирикой Александра Блока, обнаженно-беспощадными поэмами («Поэма конца», «Поэма горы») Марины Цветаевой, над ее, Марины Ивановны, проникающей прямиком в грудную клетку, напролом, не женской и не мужской (сверхлюдской!) «политикой» стиха, над есенинским «несказанным светом», северянинским необъяснимо прелестным неповторимым псевдо-изыском... Ахматову я лишь трепетно уважал к тому времени, как иногда уважают коллекционеры редчайшую реликвию, способную к тому же не просто ютиться под охранным музейным стеклом, но и подавать вам при случае руку, дарить улыбку-мысль, облеченную в классической пробы стихи. Ахматову, живой, теплый мрамор ее лирики полюбил, освоил сердцем — гораздо позже. Для меня она долго оставалась закрытым поэтом, закрытым не искусственно, не чьей-то злой волей — моим добровольным восприятием мира, слова, любви.

Отчетливо помню, что поэма Ахматовой не только не потрясла меня, но и не взволновала, не зацепила. Доказательством тому — давние мои сомнения, развеянные на днях Андреем Битовым: что именно читал я тогда — «Поэму без героя» или «Реквием»? Битов без колебаний назвал «Поэму без героя». И добавил, что Ахматова просила высказаться о поэме и его, Битова. И что якобы именно он относил хозяйке список поэмы, так как я будто бы в тот вечер перебрал или просто струсил.

Таким образом, получается два варианта: либо Ахматова вручила поэму тому и другому, либо — одному вручила «Поэму без героя», а другому — «Реквием». Напрашивается и третий вариант, а именно, что Андрей Георгиевич кое-что запамятовал, ибо прекрасно помню, как мямлил я, выкладывая Ахматовой свою «версию» прочтения, а точнее — отговорку. Тогда как в пользу битовской забывчивости недавно отловлен мной в периодической печати презабавный аргумент: в апрельском, 89 года, номере журнала «Новый мир», в комментариях к своему роману «Пушкинский дом» Битов высказывает предположение, а точнее — утверждает, что стихотворение «Напишу роман огромный...» сочинил я в меркантильных целях, дабы выклянчить у Андрея деньги на выпивку. Будь сие откровение Андрюши жизненным фактом — что ж, подтвердить его было бы для меня большим удовольствием. Но факт, сообщаемый уважаемым писателем, малость подыскажен. В жанре литературного анекдота необходимо соблюдать хотя бы одно правило: терпеливо дождаться, покуда объект осмеяния протянет ноги, а там уж, как говорится, описывай его на здоровье. В своих комментариях Андрюша сочинил детективную историю со следующей коллизией: однажды в Петербурге, в середине 60-х, стихотворец Глеб Горбовский, зайдя в поисках выпивки в помещение издательства «Советский писатель», каким-то образом, несмотря на врожденную близорукость, не применяя к администрации насильственных действий, получил информацию о том, что с прозаиком Битовым заключен договор на роман под названием «Дом», и тут же, как говорится, не отходя от закрытой для него кассы издательства, сочинил стишок, якобы навеянный этим вдохновляющим заголовком будущего романа. Сочинил и рысцой потрюхал за счастливым прозаиком, подписавшим казенные бумаги. Ворвавшись затем в квартиру прозаика, стихотворец, взяв беллетриста за галстук, начинает читать как бы пророческие стишки, оповещающие о намерении написать роман под тем же мифическим («Мертвый дом» Достоевского, «Дом» Федора Абрамова и т. д.) названием, которое час тому назад машинистка издательства отпечатала на договорном бланке. Битов приходит в изумление, даже в экстаз (о поэты, о провидцы!) и тут же спешит в ближайший гастроном за бутылкой «косорыловки».

Короче говоря, «все не так, ребята!», как пел потом В. Высоцкий. Двадцать пять годков миновало. Подвела Андрюшу память. Оный стишок был сварганен как бы про запас, на всякий случай. Отстраненно от подписания Андрюшей того знаменательного договора на свой «Пушкинский дом». Целый список свидетелей могу представить. Живых и мертвых. В том числе — свидетельство редактора почти всех моих стихотворных сборников Игоря Сергеевича Кузьмичева, не единожды редактировавшего прозу Андрюши Битова. Только ведь я — не в обиде. Наоборот: в восторге! Как же: попал в историю. А сам стишок привожу для объективности. Тем более что Андрей в своих комментариях не приводит из него ни строчки. И еще потому, что ранее сей стишок ни в одну из моих книжек не протиснулся. Цыкали на него ранее, дескать, знай свое место. Один из очередных сборников позволили назвать «Возвращение в дом» — и на том спасибо. Но времена все-таки меняются, черт возьми. И я не только публикую этот дурацкий стишок, но и сам пишу... роман. Вот только с названием погожу покамест. Не вытанцовывается. А стишок — вот он.

Напишу роман огромный,
многотомный дом-роман.
Назову его нескромно,
скажем — «Ложь». Или — «Обман».

Будут в нем козявки-люди
драться, верить, пить вино.
Будет в нем рассказ о плуте.
Будет — он, она, оно...

Будет пламенной идея
под названием — «Тщета».
Вот опомнюсь и затею,
напишу томов полста.

Сам себе куплю подарок:
домик с бабушкой в окне.
А остатки гонорара
не пропью — снесу жене.

Итак, с анекдотом покончено. Необходимо вернуться к ахматовской поэме. Что ж, память человеческая — не фотопленка, даже не рисунок. Тем более — у сочинителя. Память поэта — образ.

Нет, я не проклинаю скудные возможности своей памяти, я лишь благодарю Всевышнего за то, что память сия не сохранила во мне того беспомощного лепета, которым изъяснялся я с Ахматовой, делясь впечатлениями о ее легендарном творении. Значит, так нужно было, чтобы Ахматова, приглашая меня к поэме, все-таки не пустила меня в нее, морально несобранного, расхристанного, неуравновешенного. Пройдут годы, и сам я постучусь в ее Книгу, и долго буду стоять под ее сводами, озираясь, словно в гулком храме.

Что ж, я действительно не помню своих наверняка жалких, рыскающих слов о Поэме, но впечатление беспомощности от неумения высказаться ясно, предельно искренне — сидит во мне по сию пору. Недаром Поэму хотелось сравнить с зашифрованным письмом, отправленным автором кому-то из своих близких по духу, посвященных, владевших ключом разгадки. А тут подвернулся я, и Поэму на какое-то время вручили мне, постороннему как бы человеку.

Беспомощность порождала досаду. Я стал горячо лепетать вовсе не о Поэме, а про... самое Ахматову, уверяя присутствующих, что Ахматова для меня как бы человек-экспонат из другой эпохи, классик, завершивший восхождение на Олимп где-то с началом февральской революции, что она для меня как бы и не человек вовсе, не живое существо, а всего лишь символ, метафора, воплощенный образ Барда, и что «Белую стаю», а также «Четки» я недавно отнес к букинисту, а денежки пропил, и что дали за них гораздо меньше, чем за Блока издательства «Алконост», отнес, потому что книжки сии — все равно что пушкинские или тютчевские, что человека, написавшего их, невозможно встретить на планете живым, тем более в Комарове, как нельзя встретить где-нибудь в Вырице Ал. Блока (в Вырице можно встретить Ал. Кушнера), а на Васильевском острове — Баратынского (на Васильевском острове можно встретить Виктора Соснору). И тогда Ахматова закричала, не в ужасе и даже не возмущенно, а вот именно — убежденно, со знанием дела и — одновременно как бы — заклиная:

— Гомер-р! Гом-мер-р! Бесплотный, легендарный! Вот кто Поэт! Гом-мер-р! — чуть в нос, попутно, всей грудью извергла она из себя начало мысли и, сделав глубокий вдох, продлила ее на выдохе,— Гомер-р... Вот! А мы все — люди. Привычные человеки. Живые или проживавшие. Поэт — звук, бестелесная музыка, звучащая легенда! А мы...— и, подумав,— а мы — это мы.

АННА

Был какой-то период — не в жизни,
а над нею — в мерцании звезд,
в доцветании ангельских истин,
в Комарове — в Рождественский пост.

Восседала в убогой столовой,
как царица владений своих,
где наперсники — Образ и Слово,
а корона — сиятельный стих!

В раздевалке с усмешливой болью,
уходи от людей — от греха,
надевала побитые молью,
гумилевского крои — меха.

Там, в предбаннике злачного клуба,
что пропах ароматами щей,
подавал и Ахматовой шубу,
цепенея от дерзости сей.

И вздымался, по-прежнему четкий,
гордый профиль, таящий укор...
Как ступала она обреченно
за порог, на заснеженный двор.

Уходила тижелой походкой
не из жизни — из стаи людей,
от поэтов, пропахших селедкой,
от терзающих душу идей.

Провожали: не плача — судача.
Шла туда, где под снегом ждала,
как могила,— казенная дача —
все, что Анна в миру нажила.

* * *

Перед своей неожиданной смертью, а для всех, кто его знал, Федор Александрович Абрамов выглядел моложаво, добротно, скажем, на протяжении десяти заключительных лет своей жизни, человек этот неизменно появлялся в писательском Доме творчества в Комарове: там он работал над собственной прозой, читал книги других авторов, питался в общественной столовой, хаживал на незначительные расстояния (на более значительные не позволяла хаживать простреленная на Великой Отечественной нога), играл, причем крайне азартно, на плохоньком домтворческом бильярде, кому-то приветливо-изумленно улыбался, а при взгляде на кого-то ребячливо-обиженно хмурился... и, самое замечательное,— не просто был похож на писателя, но являлся таковым по всеобщему негласному мнению.

«Кто сейчас в Комарове?» — бывало, справится кто-либо из недоверчивых, не без причины сомневающихся в писательских авторитетах, и если оказывалось, что в Комарове сейчас Федор Абрамов, то и успокаивался моментально, ибо «Федор Абрамов» звучало не только солидно, основательно, убедительно, но и — бесспрекословно. Федор Абрамов действительно был писателем. Причем — русским. Классического замеса. А проза его — художественным словом. И оценка сия выговаривается мной безо всякой запоздалой натяжки.

Вспоминая Абрамова, я мог бы подробнейшим образом составить мозаичный портрет писателя из многочисленных осколков его ярчайшего облика, разбившегося в одночасье о серый надмогильный камень, но вот же — существующего, точнее — не меркнущего — в моей памяти по сей день. Достаточно было бы обозначить цвет и блеск его долго не старевших, темно-стойких волос, и не признавввших оптики глаз, и тому подобного набора внешних свойств, коими всяк усыпан, будто деревенский малец веснушками; упомянуть о характерной походке (едва уловимая хромота), о характерных словесных оборотах (знаменитое для тех, кто общался с Федором Александровичем, «так-само...»), о характерной защитной позе огорошенности, когда Абрамов, отвечая на чей-либо неожиданный или каверзный вопрос, подыскивал ответ с видом человека, если не глубоко оскорбленного, то воинственно изготовившегося к наскоку, во всяком случае — не повергнутого в замешательство, привыкшего давать отпор... То есть — можно и таким, мозаичным образом оттенить подобие силуэта личности, отпечатавшейся в твоем воображении достаточно прочно и контурно, будто веточка доисторического папоротника на известняке серого мыслящего вещества. И все ж таки я предпочту другой способ воспроизводства, а именно: сюжетный зигзаг, конкретный случай, то есть — извлеку из прошлого весьма характерный жизненный факт, молнией сверкнувшее действо, происшедшее с Федором Абрамовым на моих глазах.

Однажды к писателю Абрамову (бывшая квартира Виталия Бианки на 3-й линии Васильевского острова) пришла незнакомая женщина лет сорока. Как выяснилось затем — поэтесса. Она принесла стихи. Не на рецензию, не на казенный отзыв. Ей, видимо, хотелось убедить метра в своей причастности к поэтическим тайнам, в обоснованности притязаний, что она-де не просто человек со стороны, но как бы — человек, помазанный с Федором Абрамовым одним миром.

Стихи у неожиданной поэтессы оказались и впрямь неординарными, даже весьма яркими, мощными, что в обыденном течении жизни случается крайне редко и потому

повергает отдельных любителей прекрасного не просто в дополнительные раздумья, но и как бы — в непредсказуемый восторг. Упомянутые стихи взволновали и Федора Александровича Абрамова. И не просто взволновали, но — озаботили. Они легли ему на сердце не просто музыкой метафор, но — тяжким грузом песни, которую нельзя... петь вслух. Нет, стихи поэтической гостьи не содержали в себе ничего диссидентского, откровенно противного тогдашнему официальному слуху и нюху (середина семидесятых), загвоздка таилась даже не в самих стихах, а в одиозной личности их автора: поэтесса оказалась из недавних... арестантов, причем не из политических, а сугубо уголовных, тянувших, так сказать, срок за неумышленное убийство, причем — за убийство замечательного русского поэта Николая Рубцова, чьи стихи любила и любит вся просвещенная Россия, а Федор Абрамов стихи поэта-земляка (оба родом с Архангельщины) просто обожал.

Визит поэтессы к Абрамову совпал с моим приходом к писателю за обещанной мне взаймы денежкой (или — с возвращением этой денежки уважаемому кредитору). Сидел я в задней комнате-кабинете, когда в дверь квартиры позвонили и вошла женщина со стихами. А надо сказать, что тогда по отношению к этой женщине у меня уже имелось собственное мнение. Примерно за полгода до ее визита к Абрамову она уже приходила ко мне исповедоваться как к человеку, не только знавшему Рубцова, но и дружившему с ним в начале шестидесятых.

Как выяснилось позже, женщина сия по выходе из вологодской тюрьмы посетила в Москве и Ленинграде многих ныне известных сочинителей. Посещения эти имели будто бы своей целью доказать недоказуемое: смутную невиновность поэтессы в приключившемся в Вологде злодействе. Точнее — отсутствие умысла в содеянном. С завидным упорством женщина тщилась не просто очиститься от тяжкого греха путем раскаяния и смирения, не просто выклянчивала снисхождение в писательских кругах, но и как бы искренне считала себя виновной *не полностью:* скажем, всего лишь наполовину.

Вологодские друзья Рубцова, поэты и прозаики, откровенно и во всеуслышание проклинали ее, иначе как убийцей не величали, то есть ни о каком божеском, милосердно трактуемом подходе к проблеме — не было даже речи.

А между тем женщина сия не просто пришла однажды в однокомнатную (чудом обретенную) квартиру вечно бездомного поэта и убила его (задушила!), но... провела с ним многие, мучительно-страстные годы близких отношений, где было все: и слезы, и любовь, и ненависть, и яростная конкуренция пишущих стихами, неотвязная ревность, прочие комплексы и не менее неотвязная... привязанность, если не сказать более торжественно.

Вот почему Федор Абрамов, ознакомившись, так сказать, с «делом», а не только со стихами даровитой поэтессы, однажды на послеобеденной прогулке в Комарове задал мне после некоторого колебания, причем не без потаенного вызова, давно назревший вопрос:

— А скажи-ко мне, Глебушка... то-само... как ты относишься к Н.? Ну, которая Колю Рубцова порешила? Читал ты ее стихи?

— Читал. Сложное у меня чувство ко всей этой трагедии, Федор Александрович,— попытался я ускользнуть от прямого ответа, вильнуть вбок, и вдруг застеснялся утайки собственного мнения, казавшегося мне кощунственным, особенно после разговора на эту тему с вологодскими друзьями.— Стихи у нее... сильные. Густые. В стихах она себя с кровожадной медведицей сравнивала...— вспомнил я реплику одного вологодца, толковавшего мне суть и образ «беспощадной поэтессы».— У нее ведь и книжка отдельная выходила,— зачем-то напомнил я Абрамову.

— Вот и напиши ей рекомендацию. Для поступления в Союз писателей. Напишешь? — тихо, неотчетливо, как бы самого себя спрашивая, обратился ко мне Федор Александрович.

— Не напишу.

— Вот и я... не написал. Духу не хватило. А точней — милосердия. Милостыню подать — это мы все горазды. Сунуть кусок или... сотнягу. И — отвернуться. А сердцем пригреть... сознательно — кишка тонка. Дурно воспитаны для такого геройства. Рубцова Колю жалко: на полдороге срезали парня. Однако Рубцов — поэт. Что само по себе значит — долгожитель. Жить ему предстоит много. Покуда русское слово в обиходе у людей. А вот баба... Которая убила... Бабу тебе не жалко?

— Так ведь она — того... убийца.

— Думаешь, рада она, что убила? Как бы не так. Она ведь, так-само, и себя убила... на две трети. На войне и то неприятно убивать. По себе знаю. А тут — не врага пришлось — близкого человека порешить... С которым обнималась-миловалась. Каково? Только представь себе: убить! Да еще — близкого. Смог бы ты убить, скажем, маму свою? Или женщину, с которой?.. Или...

— Я понимаю — дело случая. И все-таки — кто ее просил убивать?! А что если — драка? Поединок?! Кто кого?

— Дьявол попутал. Так у нас говорили. А вообще, так-само, не нашего ума дело — осуждать, Глебушко. Народный суд ей семерку припаял. А Высший Судия свой приговор вынесет. В свое время. Да и то сказать: она что — профессионалка в этой области? Что ни

день мужиков щелкала? Как вошек? То-то и оно. Небось сама не чаяла. Такой билет не каждому выпадает — чтобы человека убить. Тем более — своего.

— А свои-то, Федор Александрович, чаще всего и убивают друг друга. Во всяком случае — мысленно. Потому что конфликтуют чаще, живут в постоянном соприкосновении, лоб в лоб, как на передовой.

— Во-во! Ненависть как продолжение любви. Пытка, тиранство — как продление ласки. Слыхали... Нет правил без исключений. А правила таковы: не убий. И одновременно, на тех же значительных страницах: не судите, да не судимы будете!

Изначальный, крестьянский, архангельский Федор Абрамов, как всякий рвавшийся к свету знаний землежитель русской деревни (живой, теплый дым — наружу из курной избы), начинал если не воинствующим безбожником, то — убежденным атеистом. Членство в партии, война, служба в подразделениях смерша, кафедра в Ленинградском университете, талантливое писательство... Вот — путь. Но — куда? К какому убежденческому итогу? Неужто — безропотно к слепой, беспросветной могиле? Или, по крайней мере,— к сомнениям? К колебаниям? В обход нерушимой теории материализма, этого холодного монолита, надгробного камня человеческим надеждам. Надеждам на бессмертие нематерьяльное, небиологическое.

Поздний Федор Абрамов — а именно с таким, испившим чашу, почти продравшимся через тернии страданий к звездам богоощущения человеком довелось мне общаться в Комарове — был не просто интересен, неповторим, сулящ и творящ добро, перспективен, но и — подлинен, ибо — вызревал для многих страждущих, нищих духом, взалкавших правды, а не только — для упоения поединком, и уж совсем не для откорма гордыни, ублажения тщеславия.

Умер он внезапно. Хотя и болел какое-то время. Внезапно для всех, кто его знал, наблюдал, читывал. Во всяком случае — для меня. Впечатление такое: играли в Комарове партию в бильярд, и Федор Александрович проиграл, что в общем-то случалось редко (в Комарове играли все примерно одинаково, но Федор Абрамов — чуть лучше других, причем — жутко переживал, если у него не шла игра, и в такие минуты просто не хотелось у него выигрывать), так вот — как бы проиграл нечаянно, крайне расстроился и вышел за дверь бильярдной... На минутку. Для прихода в себя, в душевное равновесие. Вышел, даже выбежал, однако на этот раз в бильярдную почему-то не вернулся (позвали к телефону или еще каким-то образом отвлекся).

Смерть, каких бы внешне малоубедительных причин ни была она исполнена, никогда нельзя назвать несерьезной, легкомысленной, случайной, и тут я, конечно, не прав, толкуя о бильярдной и т. п. (в бильярдной мы чаще всего виделись — отсюда и аналогия). Приход ее, какой бы тривиальной ни оказалась причина, всегда событие как бы фантастического, сверхъестественного ряда. Можно, как говорится, в ложке утонуть, поперхнувшись, блином подавиться, куском непрожеванного мяса — примеров хоть отбавляй, а можно... на костре сгореть — за убеждения или на кресте испустить дух. И то, и другое означает — приобщиться тайн. А не просто отбросить копыта, выражаясь в духе времени.

Есть возможность (потребность?) составить произвольный (вульгарный) список из имен, которые на слуху, в частности — служителей муз, людей искусства, гибель коих произошла как бы из-за пустяков, и, как всегда, начать этот список с Александра Сергеевича Пушкина, стрелявшегося с мальчишкой Дантесом, не отмахнувшегося от светских условностей, не уберегшего в себе гениальный дар Божий (литературный и жизненный), священную ношу, напрямую зависевшую от физиологической работы пушкинского сердца, пушкинского бренного тела; мол, подставлять такое сердце под пулю шалопая имел ли он право? — задавался вопросом, в частности, философ Владимир Соловьев, задавался весьма тактично, скорбно, даже с благоговением к национальной святыне (в отличие от Абрама Терца, недавно опубликовавшего свои «геростратовы» «Прогулки с Пушкиным»), каковой для нас является Пушкин. Продолжим список. Горячий, как бы одним скачком постигший отпущенное (сто лет — за двадцать семь!). Дать убить в себе... Лермонтова! Какое, видите ли, мальчишество. Правда, и Пушкин вначале, и Лермонтов, оценивая быстротекущие дни жизни, не скупились на откровения: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — у первого, у второго: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка». Так ведь наверняка под горячую руку сказано! Хоть и обдуманно, однако до предельной степени — не пережито. Совсем другое дело, когда эти же люди говорили: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Или: «Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так уснуть...» Так что — никакое не мальчишество, а — борьба начал (смерть — как второе начало неизведанного), столкновение крайностей в пространствах сознания той или иной личности. Для одних — самое страшное умереть. Для других — родиться. Но, ежели с годами пришло к тебе убеждение, что возник ты не случайно, а по чьей-то воле, то и смерть примешь как должное, ибо хоть и в тебе, с тобой — но не твое, не тобой предопределено. Твое дело — идти по дороге. Достойнейшим образом.

Обратимся к музыке. Петр Ильич Чайковский (а мне по душе именно эта версия!), хватанувший в ресторане в холерный год стакан сырой воды. Очень хотелось пить. Ощу-

щение жажды всего лишь. Причем отговаривали: не пей! Откушай лучше чайку. Горячего. Нет же, сырой, из-под крана подайте. И выпил. С наслаждением самоубийцы. И через несколько дней болезни пал замертво. А Достоевский, куривший безо всякого удержу «жуковский» табачок! При астме, при ослабленном (падучая, каторжные нары) сердце. А Лев Толстой? Подхватившийся на старости лет в бега и заполучивший смертельную простуду на сквозном полустанке? А скольких гениев, приникавших к рюмочке, не досчиталось человечество? А скольких...

Стоит ли продлять список? Список, фиксирующий последний прыжок в неведомое? Путь-то каждого из упомянутых в списке — чудесен, неповторим. Однако же — и поучителен. Имеем ли мы право, скажем, делать выводы такого содержания: в быту, как и в Бытии, необходимо быть одинаково совершенным? То бишь — поучать — надо ли? Перед высшей правдой все равны: и гении, и «простые» люди. Потому как ниспосланную гениальность можно расценить двояко: как радостный дар, священное благо, а можно — и как священный недуг, как душевное увечье, страсть (от — страдания), как крест, а то и как душепомрачение (в отличие от умопомрачения), затемняющее путь к Вечной Истине.

Думается, объективнее на сей счет выглядит опять-таки древнее положение: не судите, да не судимы будете. Ни Федор Абрамов (внешне — какие-то камешки в желчном пузыре доконали), ни Коля Рубцов (поединок с женщиной), ни даже Марина Ивановна Цветаева (распад иллюзий, нещадность глухой повседневности), ни, тем более, Блок (подмена жизни существованием), ни петля Есенина, ни пуля Маяковского или пуля в Клюева, ни лагерные нары Мандельштама, ни «заговор» Гумилева, ни стояние Ахматовой в тюремных очередях, ни отказ Пастернака от Нобелевской премии, ни многое другое — не скажут нам с предельной искренностью, а значит, и с предельной истинностью — о причинах разлада человеческого духа с так называемой окружающей средой. Не нам судить, повторяю. А если припомнить заклинание самого юного из них — Лермонтова, то и впрямь лучше не скажешь: «Есть Божий суд». Самый, так сказать, объективный. «Он не доступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». В вопросах определения тех или иных судеб на кого и опереться, как не на Суд Правды? Тем более что и суд, и судьба, и суть (правда) — слова, родственные по смыслу.

В завершение «смертного» пассажа хочется отметить одну особенность: поэты, вообще художники прошлого века, в основном умирали в своих постелях, исключение — добровольцы-дуэлянты, тогда как поэтов двадцатого века зачастую умерщвлял насильственный режим, включая сюда и тех, кто кончал с собой (с выходом из веры — в отчаяние). Такова «выпирающая» тенденция, усматриваемая невооруженным — аполитичным, центристским — взглядом.

* * *

Завершаю легенду о Комарове словесной улыбкой, которая возникает в моем сердце при сочетании звуков, образующих имя Василия Павловича Соловьева-Седого.

Но прежде — благодаря воздействию на мою память целебного света от той улыбки — выскажусь об одном чувствительном изъяне, образующем акцент сиюминутного времени, а именно — о захлебе в нынешней гласности так называемой «чернухой», когда все, словно с цепи сорвавшись, поливают насущные дни одной лишь черной краской: реки гибнут, души зябнут, крестьянин вымер, рабочий перестал быть мастеровым-умельцем, в магазинах пусто (хотя при этом толстяков не убавилось), словом — все плохо, гнусно, скверно. «А что, разве не так?!» — спросят меня. Да так, так... Но и — несколько иначе. Так — потому что сказывается долгая, семидесятилетняя обработка в духе противоположном, когда все расчудесно, лучше не надо, когда у нас самое-самое, а «у них» — мерзость запустения. Так-то так, но в критическом захлебе начинает помаленьку вызревать еще более печальная тенденция, когда опять-таки — крен, крайность, способная перевернуть лодочку, только у гребцов вместо розовых очков — темные, даже черные, когда молитва Николая Заболоцкого — «Нет ничего прекрасней бытия» — никого не только не трогает, но как бы даже — раздражает... Главное, что в гениальном изобретении, имя которому Человеческая Жизнь, помимо всевозможных частностей, мозаики бытия — есть понятие Жизни как чего-то цельного, нерушимого, монументального, что Жизнь — это и есть Свет несказанный, в какой бы житейской яме (тюрьма, безденежье, безнадёга, больничная койка, разлука, измена) ни ловила всполохи этого Света ваша духовная конструкция, какой бы лаской или отравой ни поила она зрение вашей Веры.

Для меня личность Василия Павловича Соловьева-Седого была ярчайшим источником именно такого, жизнеаккумулирующего света, излучавшего не просто любовь к земному существованию, но — любовь ликующую. И это — при всей неизбежной грусти житейского повечерья, а именно в эту пору его жизни довелось мне приобщиться ее тайн. Нет, житие Василия Павловича не было еще растворением в любви к ближнему, как к самому себе, но, выражаясь дотошливым бюрократическим слогом, «тенденция» проживания в данном направлении уже намечалась и даже просматривалась...

Василий Павлович Соловьев-Седой «вращался» в гуще общества, даже как бы — на

его поверхности, на подмостках, не просто жил-существовал, но чаще — выступал, держась на виду. Он писал мелодичные, трогательные песни, в основе которых — русская напевность и трепетный лиризм скудной природы нашего Нечерноземья, скудной — в смысле не пышной, скромной. Был он сыном псково-витебских крестьян. Обличье имел заурядное, не демоническое, волосики на голове до скончания дней оставались у него русыми, он так и не сделался по-настоящему седым, вопреки своему псевдониму. Глаза серые, щеки мясистые. А душу содержал в себе поющую, певчую, однако не кричащую, задумчиво-изнывающую, истаивающую в сладких звуках, к тому же — пейзажно-размашистую.

Познакомился я с ним, когда он был уже пожилым человеком шестидесяти лет. Но человеком *интересным*. Не все еще, но с каждым годом — все более. Помеченным к тому времени и славой, и денежным достатком, и наградами, и любовью ближних, а также — любовью аудитории, но главное — усталостью от ига земных благ. Он уже запросто мог, проснувшись в ночи где-нибудь посреди Германии, в пустынном гостевом генеральском коттедже, помочиться в хрустальную вазу, накануне преподнесенную «маршалу советской песни» тамошним политработником, поднесенную не с любовью к ближнему, а врученную машинально, из рук в руки — с плеч долой, как бы всученную, навязанную ритуалом, а потому и отношение к ней было соответствующее, а именно — усталое, нескромное, то есть — такое же машинальное.

Вот говорят, что критика у нас любит мертвецов. Особенно — в искусстве, литературе. И пуще всего тех, кому не додано при жизни. Разумеется, речь идет о людях самостоятельного, оригинального дарования. А вот стоило Василию Павловичу уйти со сцены, отдать Богу душу, как его моментально призабыли. А ведь при жизни любили всенародно, так, по крайней мере, казалось со стороны. Призабыли, потому что при жизни было ему выдано сполна. И даже — сверх того. А скажем, Николаю Рубцову или Владимиру Высоцкому «отпустяли положенное» после их гибели. Официальная любовь к мертвецам — это как бы вздох облегчения: наконец-то заткнулся, гениальнейший ты наш... Любовь к талантливым мертвецам собратьев по перу или кисти также не бескорыстна: мертвец — не конкурент. Наконец-то не конкурент. То есть — любовь из-за уменьшения в любящем сердце вещества зависти.

А Василию Павловичу выдали при жизни. За его мелодический дар. Выдали (критики в том числе) потому, что признание к нему пришло как бы через головы официальных распределителей славы: его запел народ. По крайней мере — подпевал ему.

Несколько раз он прихватывал меня с собой в поездки, в том числе заграничные, туда, где все еще таились по загородным, лесисто-замаскированным гарнизонам наши войска. Там, в Германии, Венгрии, Чехословакии, Польше мы пели «нашим мальчикам» песни, читали стихи, дабы они не унывали на чужбине, не писали родителям грустные письма, не убегали в самоволку, а то и — не стрелялись бы от незримой болезни, имя которой Тоска Безысходная, или ностальгия, или все та же заурядная неволя, несвобода, терпеть которую умом накладно, а сердцем — мучительно невыносимо.

Приведу несколько выпирающих из моей памяти сюжетных зигзагов, как бы два-три заснеженных временем пня, торчащих в пустыне пережитого, связанных для меня с образом Соловьева-Седого.

Где-то в Германии, в казармах бывшего эсэсовского гарнизона (дивизия «Мертвая голова») проводилась очередная встреча с «нашими мальчиками». Давали приличный — по протяженности времени и качеству — концерт. С пением соловьевских песен малоизвестными солистами, с конферансом, чтением мною стихов и неподцензурной, весьма раскрепощенной беседой-выступлением самого «маршала песни». Политработники, имевшие ранее дело с Василием Павловичем, трепетали перед началом таких вот «бесед» небеспричинно. Ибо нежелательные прецеденты своемыслия «маршала» имели место и ранее — в других гарнизонах.

В тот вечер Василий Павлович был чем-то явно перевозбужден. Видимо, с кем-то из местного начальства он уже побеседовал и — довольно откровенно. И весь как бы помаленьку закипал.

Мимо меня промчался взмокший политический полковник, разбрасывая на бегу слова: «Что он делает?! Что он себе позволяет?! Остановить немедленно! Убрать со сцены!» Стало ясно, что Василий Павлович взял круче, нежели обычно. Но почему-то мысль о вызволении народного композитора из идеологической беды в голову не приходила: слишком он представал в моем воображении неуязвимым, слишком много у него было славы, наград, званий (многожды Лвуреат, Герой, Народный СССР, депутат...), слишком много авторитета. Весьма непробиваемой выглядела на нем броня, сотканная из всех этих «Подмосковных вечеров», «Вечеров на рейде», «Солнечных поляночек», слишком удобоприемлемой, пронзительно-проникающей вытекала из образа этого человека музыка, складывалась легенда о нем в умах слушателей, слишком не зависящим от внешних обстоятельств делал этого человека песенный дар, чтобы страшиться каких-то там последствий и неувязок, могущих возникнуть из его выступления перед солдатами.

А Василий Павлович, разговорившись тогда не на шутку, понес и впрямь нечто

необычайное, с точки зрения политуправления — крамольное, расшатывающее устои. Взглянув на него из-за кулис в просвет занавеса, я застал его вдохновенным и одновременно деловым, дающим практический совет «мальчикам» — не шибко-то прыгать на вражеские пулеметные доты и прочие укрепления, не закрывать бездумно своими хрупкими телами амбразур, потому как — нерасчетливо, потому как превыше всего смекалка в бою, а не... самоубийство, ибо, по мнению Василия Павловича, солдатские тела отлиты не из железа и камня, а — из более драгоценного вещества, легко пробиваемого из пулеметв, и, наконец, что у Саши Матросова просто сдали нервы... Короче — скандал.

Знаменитого композитора решили убрать со сцены. И каким-то образом убрали, однако — не позже того, как он полностью выговорился. Убрали, скорей всего, лвской, каким-нибудь прелестным словом поманили. И он попятился от оркестровой ямы за кулисы, в объятия разгоряченного политработника.

В те годы его вообще-то трудно было смутить, сбить с толку. На сцене он стоял твердо. В связи с этим припоминается мне эпизод, приключившийся с ним на подмостках волгоградского циркв. Амфитеатр помещения заполнен ветеранами в орденах и медалях и отчасти — детьми. Но преобладают все-таки видавшие виды старики в регалиях. Василий Павлович выходит на манеж к микрофону, говорит какие-то слова, музыкант Марик Бек, сопровождавший композитора в поездке, ударяет по клавишам рояля, чтобы напомнить мелодии своего патрона, и в этот миг рояль под руками хилого Марика стремительно начинает разваливаться по частям. Причем — безо всякого предварительного взрыва, то бишь диверсии, а как-то угрюмо-послушно, даже вяло, сам по себе начинает распадаться или разбираться на составные. Как в замедленном кино. Правда — с нарастающим грохотом. Бедного Марика едва успевают выхватить из-под клавишного монстра. Причем одна из трех ног инструмента отлетела на середину манежа — к ногам Василия Павловича. И тогда в наступившей тишине возник скрипуче-насмешливый голос Соловьева-Седого:

— Вот это я понимаю... салют! Сталинград знает, как встречать своего композитора: по-военному. По-сталинградски!

И зал, конечно, грохнул аплодисментами. Ветераны заулыбались. Под куполом повис перезвон боевых медалей. И встреча пошла своим чередом. И закончилась успешно.

— Ну, Вася, ты даешь...— улыбнулась в проходе на сцену темноликая старушка в цветастом платке и широких юбках, как выяснилось позже — незабвенная Лидия Русланова, выступавшая следом за Василием Павловичем. Она поразила меня в тот вечер своей беспомощностью, точнее — покорностью, беспрекословным послушанием своему годившемуся ей во внуки гармонисту-аккомпаниатору, который покрикивал на нее и чуть ли не подталкивал к выходу на сцену, а затем, в перерыве, прямо в общественной, одной на всех гримуборной закатал ей на ноге юбчонку и всадил укол с необходимой дозой инсулина (диабет!). Поражало не то, как ловко и безапелляционно действовал молодой человек, а то — над кем именно совершал он свои благотворительные действия. Русланову я знал «с голоса», с пластинок, воспринимал ее как миф, как легенду, причем — легенду в ореоле лагерного мученичества, этакая Жанна Д'Арк от народной песни, пылавшая на костре бесправия... и вдруг — закатывают юбку, делают укол, выталкивают на сцену и разухабисто подыгрывают на баяне «Ва-аленки, ва-аленки...» Что ни говори, а утрата иллюзий всегда труднопереносима, потому что иссушает в сердце восторг.

Но вернемся в казарму. После крамольных распространений о вреде закрывания живым телом пулеметных амбразур Василий Павлович остался за кулисами в гримерной вдвоем со мной, а вся остальная артистическая братия занялась продлением концертного действа. Молоденький солдатик, проглотивший при виде живой знаменитости язык, принес нам в гримерную графин с чаем, вернее — с чайной заваркой. И пластиковое блюдо с пиленым сахаром. Я разлил по стаканам напиток, подсластил. И тут произошло нечто ужасное. Василий Павлович, думая о чем-то своем, машинально и жадно отхлебнул из стакана, и... стакан, выпав из его пальцев, разбился о вековечный эсэсовский бетон пола. Вначале я было подумал, что он обжегся. Потом, когда лицо его пропиталось мертвящей бледностью, а затем — как бы враз зажглось, раскалилось, когда рот открылся настежь, а изо рта — ни звука, кроме какого-то запоздалого побулькивания, тогда наконец-то осенило: поперхнулся! Он задыхается и сейчас умрет. Вот он уже потек со стула, руки опустились, потянув за собой плечи... И тогда я, безо всякой мысли, начинаю колотить умирающего по тяжелой, тугой спине, изо всех сил, что было мочи! Покуда из его горла не выносится тяжелый, утробный выдох... облегчения. На спине замечательного музыканта, как выяснится чуть позже, обозначились отчетливые синяки.

Отдышавшись, Василий Павлович с тихой улыбкой посмотрел мне в глаза. Снизу вверх. Сидя на казенном стуле. Облитый казенным чаем. Мой обомлевший видок заставил метра заговорить первым.

— Испугался, Глебус?

— Не то слово. Я думал: вы — того...

— Помер, что ли? Не беда. Нашел чего бояться. Даже не почувствовал ничего... Будто в яму оступился. И сразу — с головкой. Как в детстве на реке.

Поразило отчетливое отсутствие у него страха перед кончиной, невероятное, нет, не

безразличие, а как бы смирение, даже умиление перед неизбежным. Помнится, я отчетливо восхитился мужеством музыканта, ощутив благодарность за урок. Среди многочисленных институтов, прослеживающих взаимоотношения человека с бытием, отсутствует институт (или хотя бы школа) подготовки ухода из жизни. Видимо, теория, берущая начало от сентенции «каждый умирает в одиночку», и впрямь считается наиболее оправданной, а значит, и самой милосердной. Идеальным вариантом было бы, на мой взгляд, полное неведение, когда человек подходит к бездне физической кончины как бы с завязанными глазами (мозгами!) и, не долго размышляя, солдатиком — уть! В ничто. Или — в нечто. Но коли уж так не заведено среди живущих, если с детства нас приучают к всеведению, то, казалось бы, и — помогите в постижении последней тайны. Укрепите волю. Путем снятия завесы неведения. Путем привыкания. Анестезия привыкания действительно снимает... Во всяком случае, боль несколько тупеет. По себе знаю.

Из домашних, внутрироссийского масштаба поездок с Василием Павловичем ярче прочих запечатлелась поездка в Псков, посещение Псково-Печерского монастыря, проход под аркой через беленые врата, где в надвратном углублении перед иконой мерцал огонек лампады, дальнейшее продвижение по древнему булыжнику так называемого «кровавого спуска», где, по преданию, Иоанн Грозный самолично снес игумену монастыря голову, а затем, опомнившись, в слезах и крови, целуя жертву и завывая зверем, на своих царских руках тащил обезглавленное тело в храм для отпевания.

Служители культа — а происходило посещение в середине брежневских семидесятых — приняли нас радушно, даже торжественно. Накрыли стол — бутерброды с семгой, икрой двухцветной, нарезали цитрусовых, разлили коньяк армянский по «лампадкам» хрустальным. Надо сказать, что делегация наша была крайне серьезной, официозно-развлекательной, когда деловым людям вдруг приходит в голову как бы пошалить на выезде, в другом измерении, к тому же люди тогда подобрались разномастные — от секретаря псковского обкома (по идеологии) и главреда Лениздата Д. Т. Хренкова до сопровождающих начальство поэтов и писателей, признанных и непризнанных художников слова и кисти.

Узнав, что приезд Соловьева-Седого в монастырь совпал с днем его рождения, настоятель в облачении пропел «Многая лета», благословив композитора на благие деяния Библией новейшего, в те годы редчайшего, закордонного выпуска и огромным, видимо, гусиным расписным яйцом. Стояли пасхальные дни, что подтверждал обильный стол и множество крашеных яиц, отложившихся в моей памяти, поскольку ими, но уже меньшего размера, оделили и всех остальных мирян, то бишь — членов делегации. На книжной полке у меня и поныне — лет пятнадцать прошло — сохраняется вставленное в рюмку сие пасхальное яичко, расписанное нестандартно: на одной стороне — овал с видом монастыря, на другой — образ идущего по земле Христа. Содержимое яйца высохло, при встряске слегка погромыхивает колотящимся камешком, а расписная оболочка уцелела.

По просьбе Василия Павловича завели тогда сохранившуюся в монастыре, вдали от социальных бурь, старинную музыкальную машину, и она играла — как бы из глубины веков выносила — какую-то успокоительную божественную мелодию, запрограммированную на огромном перфорированном шарманочном диске.

И наконец подошел ответственный момент занесения в книгу тривиальных отзывов и пожеланий, почерпнутых впечатлений. О времена, о постоянство нрввов! И тут-то, несмотря на незамысловатость предложенного действа, большинство гостей под различными предлогами постаралось увильнуть от записи, все куда-то разом заспешили, засуетились, ринулись прочь, как черти от ладана. И не мудрено: все они, за исключением Седого и меня, состояли в безбожной партии. А начертать в торжественную монастырскую книгу что-либо атеистически-воинственное — в голову не пришло някому, да и совесть не позволила. Вот и пришлось беспартийному мелодисту отдуваться за всех, правда, не без моей чернильно-мистической поддержки в виде поспешной закорючки, оставленной, не без душевного трепета, в анналах православной обители.

Как сейчас помню, к написанию «текста» помимо книги прилагались принадлежности: чернильница медная с откидной крышкой и ручка-вставочка со стальным пером. Василий Павлович с выражением лица серьезным и торжественным обмакнул перо в чернила и, с трудом удерживая ручку в пальцах, уже тогда слегка скрюченных болезнью суставов, стремительно начертал слова, для того времени — необычные: «Бог — есть!» После восклицательного знака — пара секунд раздумья и снова текст: «Особенно Бог есть, когда Он нам нужен». Начертал и заученно расписался под признанием. Следом расписался я. И — никто больше. Хотя бы за хлеб-соль монастырскую таким вот способом поблагодарили — нет. Приняли все как должное — и коньяк, и торжественное пение молитв, и механическую игру музыкального ящика. Приняли и заспешили прочь, умиляясь собой: дескать, вот мы какие отважные да отчаянные до чего: во тьме предрассудков побывали, в пучине беспросветного мракобесия — в действующем монастыре! По нашей, кстати, гуманной воле действующего, а не по Божьей. Захотели бы — в два счета прикрыли бы монастырек. Как прикрыли их многие сотни. И не просто прикрыли, а — до основания развалили. Всю эту каменную сказку, кирпичную иллюзию. Чтоб не смущала на-

деждой. На абстрактное бессмертие. Не обучала созерцанию в себе (обретению) милости Господней.

Сейчас, когда на земной поверхности от Василия Павловича остались одни только чудесные звуки в виде лирических песен, а сам он, страстно любивший всевозможные гастрольные поездки, как бы уехал в самую длительную из командировок, я, нередко бывая в Комарове, стараюсь не ходить дорожкой, ведущей к его дачному участку. И не потому, что в заснеженном его доме, смутно сквозящем меж сосен, не встречу прежнего хозяина, а потому, что на снежной целине вокруг этого дома не увижу вообще никаких следов. Кроме бродячих — кошачье-собачьих. Тишина, объемлющая мертвые дома, различна. Печальней и оглушительней та из них, что витает над некогда шумным счастливым домом. А именно таким, сочным и звучным, был в свое время комаровский дом Соловьева-Седого. И теперешняя вокруг него смертная задумчивость (как и над домом Николая Черкасова или драматурга Евгения Шварца, над казенной литфондовской «будкой» Анны Ахматовой) всегда щемяще-непереносима. Ибо хоть и молчит, но — взывает. Потому что ныне запорошенная снегом или сухими листьями, залитая плакучими дождями та или иная постройка, служившая некогда пристанищем живой душе, по-своему сопротивляющейся гибели, и по сию пору излучает неповторимое свечение конкретной личности.

Комарово... Нет в его окрестностях ни среднерусской смиренной мягкости, ни черноземной хлебной распахнутости степной, ни прикавказской знойной величественности, зато отчетливо ощущаетсн нечто нордическое, сползшее с отрогов скандинавской возвышенности во времена глобальной ледниковой подвижки, нечто от северной суровой ясности, от прохладно-голубого взглнда на мир далеких викингов: сосны, граниты, озера, запах морской воды, пронизывающий макушку европейского материка, его бахромчатые, изрезанные фьордами выступы, разносимые при помощи северных, а в обратную сторону — балтийских ветров.

Есть в карело-финских пейзажах Комарова нечто угрюмо-сосредоточенное, этакая сумасшедшинка тихая, леонидандреевская (недаром этот чудесный, но безрадостный, беспросветный русский писатель поселился однажды поблизости от сих мест, на Черной речке, чтобы не столько жить, сколько поджидать смерть...). Хотя опять-таки все относительно. И, к примеру, другой прекрасный русский писатель Борис Зайцев, блуждая по дорогам своей эмиграции, однажды, в 1935 году, заехал в Келломяки (теперешнее Комарово) и восхитился неимоверной русскостью сего прибалтийского местечка. Вот несколько строк из его письма к И. А. Бунину: «Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога — и море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу (нынешнее Репино), ременные вожжи, запах лошади, все эти чересседельники и хомуты...»

Ясное дело, так восторженно выдыхать слова о России, тем более (или даже) — о ее нордической, окраинной прелести, мог только глубоко русский человек, волею судеб лишенный запахов Родины, нетускнеющих красок ее неба, звуков ее молитв.

Мое, то есть современное Комарово — во встречных взорах моих друзей-литераторов, в их всегда свежих могилах. Толя Клещенко, Володя Торопыгин, Адольф Урбан, Витя Курочкин... Да, да, тот самый Курочкин, юношей в сорок третьем на Курской дуге командовавший танком-самоходкой, написавший затем оригинальную, прекрасную повесть «На войне как на войне», ставший не просто писателем, членом Союза, но воистину прозаиком, мастером фразы, детали, повествовательного тона, потерявший затем дар речи и последние семь лет жизни кричавший глазами, оскорбленным взором восторженной души, обреченной на безмолвие, точнее — на разговор с единственным собеседником — с самим собой, то есть (в миниатюре) — на нескончаемый, длящийся вечно диалог духа и мира.

Комарово. Сумрак дачный.
Дети с поезда — гурьбой.
Понимаешь, неудачно
мы приехали с тобой.
Неуместен бодрый посвист
электрички, смех ребят.
Понимаешь... в гости поздно:
все, кого мы знали,— спят.
Спит, содвинув ставни на ночь
(позади пасьянс, чаи),
Соловьев Василий Павлыч,
автор песни «Соловьи».
Ветер в трещинку меж ребер
задувает страх, сипит...
Толя Клещенко в сугробе
подстелил печаль и спит.
Грозной памятью терзаем,

привались спиной к сосне,
Витя Курочкин, прозаик,
спит, уставший на войне.
Разбудить? Но как такое
друг воспримет? Как грабеж?
Что ему взамен покоя
посулить? Осенний дождь?
Пусть молчит. Молчанье — признак
новых качеств и начал.
Он и сам, еще при жизни,
понял все и замолчал...
Лишь Ахматовой не спится —
не дают: к ее стопам
почитатель вереницей
гул несет, как глину в храм.
...Сосны. Сон. Стволы в оранже.
Поздно. Губы крепче сжать.
Понимаешь, чуть пораньше
надо было приезжать.

* * *

Автора этих «Записок» можно (и нужно!) во многом упрекнуть, и прежде всего — в излишней заинтересованности собой (издержки исповедального жанра), прав А. П. Чехов: «Людям давай людей, а не самого себя»; упрекнуть в своеволии выбора персонажей, событий. И впрямь: почти сорок лет мокнуть в литературном рассоле, вращаться в пишущей среде, стольких видеть, а рассказ вести о каких-то сомнительных фигурах, некогда бросавших спичечный коробок в окно твоего убежища на Пушкинской улице... Все равно что, отправившись в лес по грибы, набрать всевозможных малоприметных сморчков, горькушек, валуев и трещиноватых сыроежек, проигнорировав роскошные боровики и красноголовые подосиновики, торчавшие на видных местах и, казалось, просившихся в корзину, то бишь в твое повествовательное лукошко.

Так-то оно так, да не совсем, чтобы этак. Мне было пять лет от роду, когда умер основоположник соцреализма, и я запросто мог видеть самого Максима Горького, проезжая в младенческой коляске мимо его особняка, чтобы затем составить об этом воспоминания. Или взять другого основоположника, автора некогда классического труда «Марксизм и языкознание». К моменту ухода его из жизни, ухода, напоминавшего для его последователей вселенский катаклизм, мне уже набежало неполных двадцать два, и можно было бы осветить эпохальную фигуру в «Записках» осознанно и оригинально. Или, скажем, поведать читателю о поэте Константине Симонове, слагавшем оды «отцу народов»; с Симоновым как-то познакомили меня возле вешалки в театре, что на Владимирском проспекте в Ленинграде, но дальше этой вешалки знакомство не пошло, царила отъездная суета, гардеробщик накрыл мне голову плащом, сбив на сторону очки, а когда я пришел в равновесие и осмотрелся — никакого Симонова уже не было. А то еще мог бы повспоминать о самом А. Т. Твардовском, с которым пыталась меня свести уборщица «Нового мира», но Александр Трифонович был занят и в кабинет к себе никого не пускал, да и не понравились бы ему стихи, которые я принес тогда в журнал, и подтверждением тому — их непоявление в «Новом мире», точнее — появление их там спустя четверть века. А чем не драгоценная находка, не клад для любых воспоминаний — личность Бориса Пастернака, на дачу в Переделкино к которому производили набеги мои сверстники-поэты, мешая нобелевскому лауреату копать огород и подбивать счеты с бесподобной жизнью-сестрой, и что с того, что пробраться к нему тогда я так и не сумел или не посмел — из-за неподдельного трепета перед нерасшифрованной тайной пастернаковского дара?

Список поэтических великанов, подлинных и временного значения, с которыми объединило меня время, можно было бы растянуть не на одну книгу записок, но такое занятие увело бы в сторону от сверхзадачи самоочищения и покаяния, и потому — намного органичнее выхватить из пережитого лишь те имена и судьбы, что способствовали «сверхзадаче», то есть принимали участие в лепке личности, о которой идет речь, причем главным образом — там, на заре туманной юности, или в экстремальных жизненных ситуациях, скажем, таких, как психушка, тюрьма, экспедиция, поэтическое (или алкогольное) соперничество попутчиков...

О, я мог бы за милую душу поведать еще о многих замечательных поэтах и прозаиках, критиках, переводчиках, редакторах и прочих литературных «ведах» и «любах», с которыми дружил, радовался и огорчался значительно позже «эпохи» становления — о Михаиле Дудине, например, возвышенном лирике, как бы слегка парящем над мраком повседневности, устойчиво оптимистичном, и лишь теперь, после своих семидесяти, слегка погрустневшем, как бы увидевшем другой берег, пустынный и безлюдный, берег одиночества; о Булате Окуджаве, лирике не менее возвышенном, некогда, как и М. Дудин, поддерживавшем меня в беде и даже вставившем меня в плоть своего стихотворения — «Зачем торопится в леса поэт Горбовский?» — а недавно почему-то не узнавшем меня в ЦДЛ, не ответившем на мое троекратное «здравствуй!», видимо, принявшем меня за кого-то другого, скорей всего — за воинствующего русофила, а не просто патриота, каковым всегда старался быть и, смею надеяться, оствнусь до последнего, освобождающего от житейских условностей вздоха; о поэтессе Ольге Берггольц, чей гроб опускал на полотенце в могилу на Литераторских мостках Волкова кладбища; о поэте Всеволоде Рождественском, начинавшем среди канонизированных — Есенин, Блок, Северянин — и почему-то застрявшем среди нас, грешных, как вымершая, но все еще говорящая, то бишь звучащая птица птеродактиль; о Вере Пановой, с которой играл в Комарове в преферанс; о Евгении Евтушенко и Данииле Гранине, которым, помнится, лет тридцать тому назад, после коллективного посещения ресторана «Восточный», на улице Бродского читал свои стихи возле памятника Пушкину в Ленинграде, читал в надежде пронять метров, заставить их если и не поверить в меня, то — обратить внимание на мои рифмованные опыты, но шел густой снег, непроницаемой вуалью отделявший нас от бронзового аникушинского Пушкина, и было неясно, имело ли вообще смысл заявлять о себе в присутствии таких разнообразных свидетелей?

А как не вспомнить о Вадиме Шефнере, не просто прекрасном поэте, хотя и это немало, но еще и деликатнейшем, подлинном петербуржце дворянского замеса, добрейшей душе, при советской власти детдомовце и солдате, трогательно ознакомившем меня со своей именитой родословной скандинавских корней, когда, почему-то разволновавшись, как бы желая меня в чем-то разубедить, извлек он из заветного ларца фамильный фолиант с генеалогическим древом, переплетенный древнейшей, цвета карельской березы, бессмертной кожей, а внутри голубая плотная бумага восемнадцатого столетия, а среди множества имен и фамилий — адмирал Шефнер, чьим именем что-то названо на Дальнем Востоке — то ли бухта, то ли островок.

Или вот — о Юрии Казакове, дивном прозаике, вспыхнувшем посреди беллетристической ночи пятидесятых двумя десятками рассказов, излучавших подлинно алмазное свечение, даже сияние классического наполнения и чистоты, прозаике, с которым тогда же, в конце пятидесятых, схлестнулся я в московском Доме литераторов, принуждая Казакова сосредоточиться и выслушать мои раскаленные, протестантские стихи, Казакова, громогласно заявлявшего в тот вечер, что никакой такой современной поэзии не существует, а есть только Лермонтов, Тютчев, Блок, и все-таки выслушавшего меня, в тот вечер дерзкого и неудержимого, добившегося не только внимания именитого, бунинской закваски мастера, но и — презента в виде бокала... чистейшей водки, за которой Казаков самолично прошествовал к буфетной стойке, а вернувшись, предложил сдвинуть фужеры.

А то еще — «драматический» эпизод знакомства с мрачным внешне поэтом Ярославом Смеляковым, происшедший там же, в ЦДЛ. В те дни я только что вернулся с северного Сахалина. Подборку моих «экспедиционных» стихов опубликовала «Дружба народов», где работал Смеляков, одобривший публикацию. К ресторанному столику, за которым одиноко, с отвращением на лице, унывал Я. Смеляков, подвел меня Виктор Конецкий, в то время шефствовавший надо мной, дабы я не заблудился в литературных московских извивах. На Конецкого бард посмотрел, как солдат на вошь, но — как на вошь хорошо знакомую, свойскую. Взгляд поэта изнывал мучительным вопросом: «Что надо?» И тогда Конецкий представил меня: «Вот, познакомьтесь, молодой ленинградский поэт Горбовский Глеб, а это — Ярослав Смеляков!» «Ну и что?! — заскрипел зубами человек за столиком.— А я не хочу знакомиться... Я напечатал стихи Горбовского, и — будь доволен!» — И поэт уронил голову в ладони, будто хотел зарыдать или рассмеяться, но — тайно от всех. А Горбовский будто бы прошептал тогда во всеуслышание: «А я... а я... вообще не привык разговаривать с мертвецами!» И тут же аудиенция закончилась.

А сколько забавного и даже занимательного можно было бы написать о главных редакторах, влиявших своим красным или синим карандашом на твою рукопись и представляющихся зрению автора как бы лицом государственной машины, потому что других чиновников, в том числе работников цензуры, партаппарата, КГБ и т. п. лицезреть рядовому стихотворцу, слава богу, почти не приходилось; о редакторах, ставших тебе за долгие годы не просто друзьями, но и как бы единомышленниками, таких, к примеру, как Б. Г. Друян, Н. А. Чечулина или И. С. Кузьмичев, редактор почти всех моих стихотворных книг — от первой «Поиски тепла» до последней — «Сорокоуст», сам замечательный писатель критического жанра, а также автор размышленческо-биографических книг о выше упомянутых Шефнере и Казакове.

А разве не подмывает высказаться с предельной откровенностью о таких замечательных соплеменниках, как писатели Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Крупин, поэт Юрий Кузнецов, композиторы Георгий Свиридов, Валерий Гаврилин, художник Юрий Селиверстов, чьим современником выпала честь состоять при литературе, чье творчество и нравственная нержавеющая стойкость порой являются для меня не просто путеводным огоньком, но и все чаще — спасательным кругом? Но... и впрямь — всему свое время.

Сергей Орлов и Лариса Васильева, Юрий Паркаев и Анатолий Передреев, Глеб Горышин и «славяновед» Александр Панченко, Владимир Максимов, у которого я в годы литературной «оттепели» ночевал в Сокольниках, лежа на деревянном полу, словно и не в Москве, а где-то в глухой избушке, и которому посвятил стихи, написанные в ту ночь и опубликованные в сборнике «Тишина», ныне редактору парижского «Континента», и Виктор Максимов, ленинградский поэт, подбивший меня слетать в Америку для того, чтобы прочесть там стихи о России; вечно солидный, хотя и неизменно изящный, «малознакомый» Юрий Нагибин, посетивший лет тридцать тому назад Питер со своей молодой женой Беллой Ахмадулиной и пригласивший к себе в люкс на «кубанскую» местных поэтов (в памяти почему-то прочно отложилось, что подавали в тот вечер именно этот напиток).

Майя Борисова и Нонна Слепакова, Виктор Ширали и Виктор Кривулин, Дмитрий Толстоба, которому, кстати, когда он служил в армии на территории Польши, друзья с воли переслали мою «Тишину» по частям — в четырех конвертах, и на днях в Комарове он дал мне ее «на подпись» — сшитую суровой солдатской ниткой, двадцатидвухлетнюю, донельзя истерзанную временем. Но... стоп, себе думаю! Ибо забыл совершенно Андрея Вознесенского, а значит, «что-то с памятью моей стало» — как выразился еще один всенепременный гость нашей молодости Роберт Рождественский. О, я мог бы рассказать еще о многих и многих, но где гарантия, что это необходимо, что своими байками я не причиню кому-то невольного зла, а спросить разрешения — нет возможности: на дворе, когда я пишу эти строчки — ночь, февральская, пастернаковская, и многие спят. В том числе — вечным сном.

А то, что говорил я в этой книжке преимущественно о себе — оправдано психологически: никто не в силах отменить или запретить насилие над собой любимым. А если и заходила речь о «посторонних», то — какие же они посторонние, если, вспоминая теперь о них, светлею душой?

А теперь о двух событиях в моей биографии, которые можно выделить как наиболее драматические, хотя и литературные, близкие по своей итоговой наивности к детективному жанру. В каждой литературной судьбе наверняка есть свои удары под дых, полученные от частных, отдельных лиц или от общественных организаций, а то и — от целых государственных систем, нанесенные сколь неожиданно, столь — и безо всяких правил, то есть произвольно (от слова «произвол»).

Об одном из этих событий (выход в свет книги стихов «Тишина») я уже вскользь упоминал, о другом происшествии, закрутившемся вокруг коллективного сборника стихов пяти ленинградских авторов «Живое зеркало», изданном в 1972 году в Лондоне,— до поры до времени помалкивал. А рассказать хотелось. И не только потому, что рецензий на этот сборник никто, по крайней мере в России, не писал, но и потому, что авторы сборника — люди в некотором смысле замечательные.

И еще одна причина, побудившая к реанимации вышеназванных книжно-издательских событий двадцатилетней давности: не месть, не жажда справедливости даже, а — фантастические метаморфозы, происшедшие с отдельными людьми, якобы страдавшими во времена застоя от партийного гнета, претерпевшими гонения и хулу, метаморфозы, наблюдать которые довелось теперь, в бурные перестроечные дни, а точнее, годы, на экране телевизора или на страницах печати. Речь идет о так называемых «детях XX съезда», о людях, спору нет, уважаемых, яростно заявляющих о себе и своем времени, о таких, как Ф. Бурлацкий, А. Аджубей, А. Бовин, В. Коротич, Егор Яковлев (редактор «Московских новостей»), Е. Евтушенко, А. Вознесенский и многие другие, кто при Хрущеве и Брежневе будто бы страдал и находился в загоне, а нынче — застрельщик перестройки, то есть — на коне и в законе.

И неожиданно делается смешно. Горько смешно. Это они-то страдали, эти выкормыши системы, ставленники правящей монополистской идеи-фикс, разъезжавшие по миру, как кончик указки по всемирной политической карте, тогда как мы, бедолаги, разъезжались по системе, будто корова на льду... Это один из них, занимая редакторское кресло газеты «Советская Россия», в 1968 году завизировал своей подписью разгромную, доносную статью всего лишь на... лирические стихи приунывшего автора «Тишины». Не хотелось бы никого проклинать. Людям свойственно не только стареть, но и перерождаться. Но, по-моему, лучше уж пить горькую до скончания дней, чем узнавать в себе нынешнем, витийствующем на экране телека, недавнего гостя кремлевских старцев, с которыми ты сидел за одним столом, правда, на определенном расстоянии от Всемогущего, принимавшего тебя, хоть и за способного, но — холопа, в лучшем случае — за юродивого.

В мае 1968 года находился я на излечении, а правильнее сказать, на отдыхе в нервной клинике им. И. Павлова, что на 15-й линии Васильевского острова. Множество людей с «артистическими» наклонностями поправляло и поправляет там свое пошатнувшееся здоровье, а также — подыссякший денежный бюджет. Помнится, настроение было прекрасное, познакомился, причем надолго, если не навсегда, с чудесной девушкой, знавшей

мои стихи; старшеклассники из литературного объединения «Алые паруса» принесли в палату целую гору апельсинов «из Марокко», килограммов десять, запах от цитрусовых райский... И тут кто-то протягивает «Советскую Россию». А в ней — статья Василия Коркина «Рыжий зверь во мне сидит», целый подвал на странице и подзаголовок: «По поводу сборника стихов Глеба Горбовского „Тишина"». А в статье — не просто разнос или ругань — обвинение в неблагонадежности, как в какие-нибудь приснопамятные сталинские времена.

В статье говорилось, что автора стихов «раздражает в советской действительности» решительно все, что ему постоянно мерещится «тотальная слежка», что ничего святого для автора нет, что грезятся ему не светлые дали, а всеобщая погибель на планете Земля (описание лесного пожара, то есть стихи на модную ныне экологическую тему), что автор — чуть ли не фашиствующий молодчик и что всякое проявление социалистического «сегодня» вызывает в нем «злую ухмылку» и т. д., и т. п.

И вот отдается негласное распоряжение об изъятии из продажи сборника, часть тиража пускается под нож, редактору Б. Друяну и главному редактору Д. Хренкову — строгача. Следом за статьей в «Советской России» появляется подобная статья в «Книжном обозрении» — автор Я. Бейлинсон. Называлась статья деликатнее коркинской — «Творческий просчет», но содержала в себе те же отблески идеологического гнева, спущенные через Комитет по печати Совмина РСФСР с душевоспитующих «верхов». «Настроения грусти, безысходности, одиночества господствуют у Горбовского... Невыносимо тяжко становится на душе от стихов... Не могу простить поэту кощунственного... Будто не знает Горбовский, будто не видит и не слышит...» А взамен предлагается: «Активное жизнеутверждающее начало, подлинная гражданственность, определяющие позицию советского поэта». О вредном сборнике упоминается в передовице «Известий». И все это — в мае месяце, одним залпом, по единой команде. Наконец, в брошюре, вышедшей в издательстве «Юридическая литература» (1969) и называвшейся «Идеологическая диверсия — оружие империализма»,— абзац на целую страницу, повторяющий постановление Комитета и критические статьи в периодике. «Аполитичность, извращенный и клеветнический показ советской действительности... Таким произведением является сборник стихов Г. Горбовского, в котором наряду с низкопробной клеветой на советскую действительность содержатся идейно порочные...» Авторы брошюры М. П. Михайлов и В. В. Назаров. Бог им судия. Все в одном котле варились.

Можно посочувствовать Василию Коркину и Я. Бейлинсону, а также соавторам брошюры — живы ли они, не знаю. Если живы, пусть примут мою прощальную (от прощения) улыбку. Доброхоты передавали, что на вопрос «Зачем вы это сделали?» — Коркин будто бы оправдывался таким образом: «Горбовский должен меня благодарить, это я помог ему стать известным».

По той же «прощальной» причине не назовем мы и нескольких фамилий инициаторов проработки. В стране в сфере идеологии проводилась очередная кампания. Ругали издательских работников за потерю бдительности. Вот меня и вытолкнули на арену одним из козлов отпущения. А толчком к выталкиванию послужили, конечно же, доносы. И мне известно, кто их сочинял в нашей дружной семейке Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. Но... иных уж нет, а те далече. Да и завершать рассказ об эпизоде с «Тишиной» на мстительной ноте не хочется.

Однажды в начале семидесятых непризнанный поэт с Конногвардейского бульвара Костя Кузьминский дал мне «поносить» по городу необычную книгу: солидный, в суперобложке, том стихов, где поэтические тексты распечатаны на двух языках — русском и английском. Книга была издана в городе Лондоне и выглядела, по сравнению с нашей печатной продукцией, как золотой червонец на фоне медных пятаков, которые в метро возят на тележке. Прямо на супере — броско, букетом — пять фотографий авторов. Под супером — твердая обложка с тиснеными именами.

Название этой книги — «Живое зеркало», сконструированное, как выяснилось затем, из стихотворной строчки Виктора Сосноры, одного из авторов антологии. Внутри, под обложкой,— плотная, капитальная бумага. А на бумаге не только стихи, но и обширные статьи отдельно о каждом из авторов и предваряющая сборник статья о советской поэзии вообще и ленинградской ее ветви в частности.

Естественно, что ни одной из шести статей сборника, напечатанных исключительно по-английски, прочесть мне тогда не удалось, хотя и хотелось, особливо — статью о себе посмаковать. Но, как выяснилось позже, прочесть английские тексты пожелали и, помимо авторов, люди определенной недремлющей профессии, не имевшие под рукой или делавшие вид, что не имеют, «Живого зеркала».

Время от времени кто-то стал позванивать в редакцию журнала «Аврора» Лидии Дмитриевне Гладкой, которая тогда работала в отделе поэзии и где я состоял в непременных авторах со дня основания журнала. Гладкую, почему-то именно ее, настоятельно просили связаться с Горбовским и передать ему определенный номерок телефона, чтобы он позвонил по этому номерку как можно быстрее. (Не проще ли было оповестить самого Горбовского телеграммой или открыткой? О эта странная любовь к странным играм!)

Я, конечно, позвонил. Правдв, после некоторого раздумья. Примерно после третьего серьезного предупреждения. Встречу со мной назначили не в Большом доме на Литейном, а прямо в... Смольном, в кабинете тоаарища Афанасьева, имевшего в те годы какое-то отношение к идеологии.

Меня ждали. В кабинете находились еще какие-то люди, довольно молодые, спортивные и взволнованные, но взволнованные как-то благожелательно, не гнетуще. Что ж, думаю, не так страшен черт, как его малютки, и все же — почему улыбаются? Кто-то, скорей всего хозяин кабинета, поясняет: «Речь пойдет о книге пяти ленинградских поэтов, изданной за рубежом. Обстоятельства сложились так, что в библиотеке органов госбезопасности этой книги пока что нету. А необходимость в ней крайняя. Люди из госбезопасности тоже читают стихи, особенно — комментарии к ним. Отсюда — просьба: не могли бы вы, Глеб Яковлевич, поделиться, хотя бы на сутки, тем экземпляром книги, что имеется в вашем пользовании? Мы специально пригласили товарищей с Литейного проспекта, надеясь, что здесь, в Смольном, будет вам проще с ними договориться. И еще: каким все-таки образом попали ваши стихи под одну обложку с Бродским, Кузьминским? И еще: не могли бы вы, Глеб Яковлевич, выступить с осуждением данной акции закордонных издателей на страницах „Литературной газеты“?»

Объяснив присутствующим, что все мои стихи в сборнике «Живое зеркало» литованы, то есть прошли советскую цензуру, потому что являются перепечаткой стихов из сборника «Тишина», разрекламированного газетой «Советская Россия», и что спрашивать нужно с тех, кто подверг мои стихи охаиванию, на предложение выступить с опровержением в печати ответил я отрицательно, причем — твердо. Аргументировал свой отказ следующими обстоятельствами: в сборнике сошлись пять авторов, один из которых проживает за рубежом, второй, Костя Кузьминский, не является членом Союза писателей (в то время он уже собирался покинуть СССР, и работники с Литейного наверняка знали об этом), а, скажем, у Виктора Сосноры и Александра Кушнера наверняка имеются собственные соображения в отношении опровергательско-покаянных выступлений в печати, и отдуваться за всех один я не намерен. Зачем же вы хотите, сказал я товарищам из кабинета, делать из меня козла отпущения? Вот если вам удастся уговорить всех остальных, всех до единого,— тогда еще можно подумать, как поступить.

Неделей позже, при встрече с Сашей Кушнером на лестнице ленинградской Студии документальных фильмов, я спросил, не желает ли он выступить в печати с «повинной»? На что он, не задумываясь, ответил отказом. Попутно присоветовав мне крепиться, не падать духом. А тогда в кабинете, отбросив вариант с «Литературной газетой», товарищи настоятельно предлагали мне выступить хотя бы в «Голосе Родины» — печатном органе для русскоязычных жителей заграницы. Однако хватило духу не отречься от себя. От написанного, выстраданного. Тогда как многие в то время отреклись, подписались. От Булата Окуджавы до Александра Солженицына. И я никого из них не осуждаю, ни Гладилина, ни Твардовского, потому что разные масштабы лиц, фигур — это раз, во-вторых, разная степень запуганности и ответственности. У одних — имена, положение, партийная совесть, у меня, представителя литературной шантрапы,— ни того, ни другого, ни третьего.

Завершая описание кабинетной сценки, скажу, что меня тогда совместными усилиями уговорили-таки поделиться достоянием, а именно — дать ребятам с Литейного «Живое зеркало» на одни сутки, чтобы отвязались, чтобы не теребили. Причем срок — одни сутки — установили они сами. А дальше как в детективе: в такой-то день, в такой-то час приходите на угол Литейного и Каляева, приносите сборник, там вас будет ожидать человек с газеткой в руке. А ровно через сутки — такая же процедура с возвращением книги.

Не правда ли, забавно? Забавно вспоминать об этом теперь, особенно возле телевизора, наблюдая, скажем, заседание очередной сессии Верховного Совета, где решается вопрос об утрате и обретении не каких-то там книг, но — суверенных республик или частной собственности.

Ах, когда это все было — хочется спросить себя, вальяжно развалясь в кресле,— да и было ли? Оказывается, было. И не так уж давно. Домá, построенные знамеяитыми архитекторами Кваренги и Щуко, стоят на своих прежних местах так же прочно, люди, участвовавшие в смольнинской беседе, наверняка живы и работают там же или — примерно там же. Только вот стихи теперь пишутся несколько другие, нежели из сборника «Тишина» — сиречь «Живое зеркало» — менее беззащитные, что ли. Более милосердные, а значит — бесстрашные.

* * *

Завершая книгу, хотелось бы поговорить о главном, сверхсокровенном, однако — земном. О том, что владело нами неотвязно всю жизнь, то есть о творчестве, о литературе, поэзии — о писательстве. Поговорить обобщая, а не рассуждая. Как на духу, как на исповеди, а не как где-нибудь в купе вагона дальнего следования или в кабинете сотрудника госбезопасности.

Религия большинства поэтов — одиночество. Культ красоты и сосущей сердце бе-

зысходности. Одиночество не может быть безóбразным. И — преодолимым. Оно окрыляет, однако — не делает вас ангелом.

Уходят праздные друзья,
и начинается мой праздник.
Я, как степенная семья,
разогреваю чай на газе.
Я, как примерный семьянин,
ложусь на островок дивана...
Как хорошо, что я один!
Что чай желтеет из стакана.
Что я опять увижу сны,
и в этих снах — такая радость,
что ни любовниц, аи жены,
ни даже счастия — ве надо...

Вырваться из одиночества можно только — идя к Богу. Точнее — придя к Нему. А людьми, их помыслами, зачастую владеет, руководит подсознательная, реже — осмысленная обида на судьбу за ее эфемерность, зряшность, итоговую личную смертность, никчемность, то есть в основе всех неприятностей человеческого происхождения лежит — безверие. Одиночество — дитя безверия. Самое прелестное из его детей. Самое очаровательное. Однако — не самое мудрое. И я бы никогда не решился уйти от него, отдалиться на неопределенное расстояние, если б... не возраст, понуждающий нас озираться в поисках абсолютного Смысла.

Одиночество — убежище личности, кислородная подушка, в которой вместо газа — свобода. Энное количество вдохов эликсира независимости. Тогда как политика, экономика, пвтрио, вообще социальная сфера деятельности — убежище для толпы, общественности, масс, короче — общага, где нужно периодически забывать о себе, «наступать на горло собстаенной песне», где нельзя быть поэтом, хотя и можно время от времени рифмовать Отчизну с Коммунизмом, а Любовь с Кровью.

Выкарабкиваясь периодически из обжитого, облюбованного одиночества, я принимался что-либо искренне любить, и чаще всего — отчизну. Любовь к Богу вызревала из страха перед смертью, затем — из преклонения перед красотой жизни, и уж только затем — из любви к ближнему. И тогда я усердно рифмовал Россию с Мессией, и двух этих блоковских рифм хватало, чтобы какое-то время продержаться вне одиночества, как голубой рыбке на золотом песке социальной справедливости.

Я отношу себя к «татуированным (в отличие от титулованных) интеллигентам», прошедшим сквозь тернии нравственного одичания, духовного обнищания, раннюю (дошкольную) утрату иллюзий, к горе-романтикам, тонувшим в разливах бытового алкоголизма, употреблявшим нецензурные слова, валявшимся на воспитательных нарах, носившим на спине и груди крест обреченности, который на него поставили общество, власти, в также родные-близкие, и все-таки устоявшим, не унесенным прежде срока в бездну тщедушия и утробного, желудочно-кишечного рабства. Для таких «меченых» интеллигентоа одиночество — не только свобода, но и наркотик, то есть — средство для самовозвышения. И — самопотери. А также — обретения мужества в борьбе с жизнью. В отличие от борьбы за существование.

Могу без ложного стеснения сказать. что я подошел к нынешним, постперестроечным (начало 90-х) годам очередного безвременья — не опустошенным, не растерянным, но вполне сориентировавшимся в себе, а значит — и в ситуации текущего момента. И единственным извлеченным из ситуации вопросом, на который мне бы хотелось услышать ответ, умиротворяющий во мне патриота (не носителя «подобия Божья»), это вопрос многих и многих поколений моей Родины: почему России выпало то, что... выпало? Почему — ей? Неужто — самая смиренная в долготерпении? Самая покладистая, а значит, и самая подходящая для экспериментов? Этакий полигон для всевозможных бесовских штучек. Или все-таки — избранница Господня? Чтобы, как положено,— через страдания к звездам? Ради других народов, которые никогда теперь не последуют нашему примеру. А что — доказать миру, что путем насилия нельзя достигнуть благодати земной,— разве не цель, разве не результат? Разве не стоило во спасение мира пускаться нам во все тяжкие? Еще как стоило, ибо — зачтется.

Хотя в адресном справочнике Союза писателей против моей фамилии значится сверхъестественное, таинственнейшее слово *поэт*, надо понимать, что этим словом официально подтверждается моя приверженность литературному жанру, а не профессии вообще. Профессия, надо думать, всего лишь — писатель (по-чешски — списыватель). А метафорой «поэт» как бы высвечивается призвание («Его призвали всеблагие, как собеседника, на пир»). Вот так, и не меньше, естественно, при условии соответствия призыву в собеседники. Потому что здесь недостаточно самолично назваться груздем, чтобы попасть в кузов, то бишь — на поэтический Олимп. (Да и кто на Олимпе-то у древних греков восседал? Так себе компашка: не милосердные боги, а скорее — знать процве-

тающая и убивающая, Зевсы и Артемиды, всевозможные мойры и эроты, разъезжающие на своих золотых колесницах и разящие простых смертных стрелами своей вакхической (сиречь пьяной) любви, любви преступной, эдиповой и танталовой). С Олимпом — поостережемся. С присвоением звания Поэта повременим. Здесь необходимо дождаться вынесения общественного вердикта, подтверждающего чье-либо право называться поэтическим... груздем.

Однако вердикта сего можно и не дождаться. При жизни. А нередко и после нее. То есть — никогда. А поговорить все-таки хочется. О Поэзии. Если не о тайне (таинстве), не о «поэтическом веществе», то хотя бы о стихах, о стихосложении. О довольно странном занятии, которому ты посвятил энное количестао времени. Протяженностью в жизнь. Причем — напрасно. Ибо, как выяснилось в конце этой жизни: все действительно суета сует. И попробуй опровергнуть библейскую истину любой из нынешних истин в последней инстанции: эволюционистско-дарвинистской, экзистенциалистской, марксистско-маоистской... Замучаешься, как говорят в автобусе.

Как дитя своего безбожно-бюрократического века, объясняясь в любви к Поэзии, попробую прибегнуть к разлюбезной системе анкетирования. Для начала. Как говорят современные мойры и хариты с гераклами, то бишь аппаратчики: «на данном этапе». Итак — анкета. Точнее — импровизация на тему анкетирования.

1. Самое любимое стихотворение: «Выхожу один я на дорогу». И здесь естественным будет спросить: а почему не из Гете-Шиллера, не из Байрона или Мицкевича? И хорошо бы мгновенно признаться: за семью они для нашего брата, татуированного интеллигента, печатями, сии поэтические авторитеты. А из того, что просачивалось в наши мозги посредством перевода,— не впечатляло.

2. Самая любимая поэма: «Мертвые души». Позвольте, скажут, но ведь это все-таки проза. Почему не отделаться, скажем, «Божественной комедией» Данте? Так ведь это ж — комедия... К тому же речь идет о *любимом*, а не о лучшем. Сойдемся на «Медном всаднике».

— 3. Самый любимый поэт: Александр Блок (почему не Блейк, Бодлер, Бродский или хотя бы Бобышев?). А вот так.

4. Самая любимая поэтесса: Марина Цветаева (и еще одна, чья книжка стихов «Пустыню перейти» произросла на моих глазах, а это всегда потрясает, как если бы кто-то на твоих глазах вознесся на небеса — не на пресловутый Олимп).

5. Самая любимая песня: «Выхожу один я...» Позвольте, укажут мне на повтор. Хотя — почему бы и не повториться? Несолидно? Тогда — «Липа вековая». На данный «текущий момент».

6. Самая любимая (поэтическая) проза: «Темные аллеи» И. А. Бунина (не Джойса, не Пруста, не Битова даже).

7. Самый любимый роман: «Обломов» (чуть прежде — «Идиот»).

8. Самый любимый признак поэтичности стиха: метафора, зримая деталь, эпитет, сравнение, музыкальность, подсознательные ассоциации, интуитивный бред, формопоиск, «несказанный свет» — все вместе плюс ясность фразы (мысли) даже при расплывчатости рисунка... Интонация личности. Но главный признак все-таки убежденческий. Признак веры. Позвольте, воскликнет литературный дока: речь-то зашла о признаке стиха как такового, а не — о его сотворителе! Что ж, тогда еще один признак: признак слитности, нерасторжимости поэтической воли и поэтического характера стихоматерии.

9. Самое любимое (большое, невероятное) событие XX века: люди на Луне, первый шаг Н. Армстронга.

10. Самое любимое (благое) событие наших дней, в нашей стране: встреча М. С. Горбачева с патриархом всея Руси Пименом.

11. Самое нелюбимое (разрушительное) событие всечеловеческой истории, предопределившее несчислимое количество невинных жертв: Великая французская революция с ее вдохновителями-просветителями энциклопедистами во главе с Дидро. Шутка? Издержки гласности? Да... нет. Всего лишь — ощущение. Почти энергетическая способность улавливать (предулавливать, постулавливать) разрушительные волны катастрофических колебаний мировоззренческой почвы под ногами. «Однако мы отклонились от темы! — заметит нам отрезвляющий редактор,— речь-то шла о стихах, и вдруг — Французская революция...» Что ж тут скажешь — занесло. Увлекся. От «жанра» анкетирования до «жанра» энциклопедирования — рукой подать.

Попробуем теперь проанкетировать что-нибудь попроще, позаземленнее, хотя и в некотором смысле литературное. То есть — продлить тему. Попытаемся, например, проследить произвольный список поэтов, не имеющих собственных могил.

Итак, где могила Н. С. Гумилева? Или — усыпальница Николая Клюева? А — Бориса Корнилова? Где холмик, венчающий «жизнедеятельность» Осипа Мандельштама? Да, собственно, и цветаевской могилки мы не имеем — лишь камень, лишь знак, да и тот — над ее ли прахом?

Ох, Россия, Россия... Непредсказуема любовь твоя к чадам своим. Список можно продолжать, но лучше высказаться на сей счет при помощи рифм и ритмов, соответственно эксплуатируемой нами теме. И, по возможности, без употребления глаголов, то есть — концентрированно.

Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
У Гумилева.

Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов. Наций драма.
И нет могильного холма
у Мандельштама.

Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера.
Но — нет могильного холма
и... у Гомера.

Легендарная Сафо персональным захоронением тоже не располагает. Как, скажем, и поэт-моряк сталинской эпохи Лебедев, нашедший смерть в морской пучине, как Муса Джалиль, Павел Васильев... Всем им, как и всем остальным (во времени и пространстве) гражданам иных профессий и призваний, колыбелью, а затем и могилой исправно служит матерь наша всеобщая, планета Земля. Которую чем дольше мы любим, тем изощреннее истязаем. Подсознательно воздавая кормилице (не по адресу!) за предначертанное нам свыше, за предопределенное, неотвратимое, а главное — нераспознаваемое.

Но — к дьяволу анкетирование! Хочется поговорить о сокровенном без социальных придыханий, как Бог на душу положит. Только вот — как это сделать, чтобы — без актуальных соц-спец-добавок? Все равно что пищу без соли принимать. Неоднократные попытки отстранения в искусстве, ухода от суеты повседневности ни к чему целительно-милосердному, веросозидающему не приводили, устойчивого, наджизненного утверждения в творчестве, даже для себя единого творца-затворника — не выработали. Наоборот — сооружения типа поэтических башен из слоновой кости служили не столько собором или сейфом для сокрытия таинства самовыражения, сколько способом его выпячивания, элементом рекламы, ибо — людское для людей, иначе — изъясняйся на языке воды, неба, ветра, камня, растений... Изображаемое создается для восприятия. Пусть — наедине, однако наедине со всеми, а не... глас вопиющего в пустыне. В пустыне проще забыть о себе размышляющем — не о себе функционирующем, легче очиститься от творческих претензий и обратиться к спасителю твоего духа — к идеальной Истине. «Пустыня внемлет Богу», а не честолюбивым призывам изглоданного гордыней сердца художника (изобретателя, дельца, политика, философа и т. д.), а в нашем варианте — поэта, точнее — стихотворца, ибо такое — чаще.

Среди подлинных отшельников (схимников-пустынников, заточников-подвижников) никогда не было людей, писавших стишки или рисовавших картинки, ибо творчество есть прежде всего — зависимость от мира людей. А не — освобожденность от него. Соображения сии не есть откровения, однако приводить их время от времени необходимо. Особенно в контексте наших дальнейших рассуждений о писательстве как способе самораскрытия.

Еще в середине пятидесятых литературным подготовишкой сочинил я экспромтом лирическую поэму под названием «Риторика», в которой хотел объясниться с прозаическим миром, рассказать о своем понимании мира поэтического, о профессии стихотворца, о праве человека заниматься слаганием стихов. В общем, один из многих самоутвержденческих опытов, а никакое не произведение искусства получилось. Прологом к «Риторике» служило ироническое двустишие, которое и запомнилось из всего, что составило то давнишнее лирическое поучение.

Поэзия — есть Божия коровка,
которую доить весьма неловко.

Выходит, уже тогда сознание было обеспокоено соображениями этического толка: священное действо лирического труда может ли оставаться бескорыстным, независимым? И ответ, забредший тогда же в душу: может, если этот труд исповедует любовь к ближнему, к красоте мира, исповедует, а не зависит от него, тем более — от ближнего или от себя любимого и т. д.

Спрашивается, а как же тогда обходиться с искушением славой, с ее, наконец, жаждой? А также — с денежным соблазном, который не то чтобы мерещится, но — официально предлагается государством-издателем в обмен на ваши животрепещущие откровения? Ведь именно эти болотные огоньки (слава, деньги, успех) сопутствуют профессиональному поэту, погруженному в таинство.

Для прояснения мысли (проблемы) стоит оглянуться на предшественников. Кого из них можно назвать бескорыстным, освобожденным? Федора Тютчева, о стихах которого заботились другие, скажем, Тургенев? (Первая книга Тютчева с тургеневским предисловием.) До какой-то степени да, освобожден. И прежде всего — от меркантильных нюансов (дипломат, поместье в Овстуге), но ведь — не от тяжести самого поэтического дара избавлен! От него-то как избавишься? Разве что — при помощи безумия?

Впечатляющ опыт Велимира Хлебникова, одного из подлинных подвижников поэтического братства. Утверждают, что он крайне небрежно относился к стихотворческим обязанностям в том смысле, что таскал листки с текстами в заплечном мешке, подкладывал их себе под голову вместо подушки, раздавал, сорил ими... Короче — посыпал землю поэзией, как голову пеплом. И однако же провозглашал себя Председателем Земшара. И вообще, наверняка знал себе цену. Просто попал в экстремальные условия мирового катаклизма, имя которому Революция, не наблюдал, а самолично переживал крушение устоев, мировую разруху, распад нравов, вызревание всероссийского хамства, всеевропейского безбожия, планетарной бесовщины, чья философия — «моё-мне», то есть опять-таки неукрощенная гордыня, а не смирение.

Подлинно бескорыстного, до самоотречения, до сердечной прозрачности жития в поэзии в человеческом понимании этой проблемы — я не представляю. Нет такого чуда в природе. А что же есть? А есть бескорыстие и самоотречение в той или иной степени. И регулируют в тебе этот поведенческий коктейль благородные реактивы, как-то: вкус, такт, норма, мера врожденной и обретенной интеллигентности с непременной оглядкой на недремлющее око совести.

Другое дело, что в нынешнем поэтическом воздухе наметилась тенденция перевеса прагматического угарного газа над всякими лирическими наивностями и восторженностями. Теперь многие в погоне за славой ставят прежде всего на скандал. Культ скандала возник не сейчас и не с желтой кофтой Маяковского (Есенин тоже откровенно величал себя скандалистом), а где-то, скажем, со времен наскальной живописи, когда пещерного художника вместо изображения тривиальных охотничьих сцен потянуло на изображение неких экстравагантностей, шокировавших устоявшуюся к тому времени мораль. И, глядишь, о художнике заговорили... В том числе — и... дубинками по его горбу. А в итоге — вкушение славы всегда, в какой-то мере — осознанный мазохизм, добровольное самоистязание.

Надо бы назвать современных скандалистов от литературы поименно, но ведь они небось только этого и ждут. Страдающие комплексом Герострата в искусствах любят потоптаться и наследить, скажем, на белоснежном имени Пушкина, совершая с ним этакие злодейские прогулки по страницам периодической печати, или выступают на стотысячной аудитории разодетыми заморскими петушками, попутно употребляя в своих лирических стихотворениях выражения из уголовного обихода, свергают авторитеты, чтобы с судорожной поспешностью занять их пьедесталы, мажут дегтем раскрепощенного хамства национальные святыни, короче говоря, ведут себя суетливо, даже болезненно, на манер бесноватых. Так что и осуждать их вроде бы грех. И дело не только в бисере, который не стоит одаривать всех подряд, но и в эффекте уподобления: общаясь с волками, начинаешь невольно подвывать им.

Но главное, видите ли, никого не хочется обижать. Из соседей по веку. И — обнажать. Как на большой дороге. Современный литпроцесс — это тоже, видите ли, река, поток. Но ведь современная река — больна. Мутны ее воды и ядовиты. И подтверждением тому эти строчки, не лишенные дьявольского сарказма.

Вчера, побывав у своего отца и прочитав ему десяток страниц, завершающих эту книгу, я несказанно был поражен тем, как воспринял он мои сумбурные размышления. О, девяностолетний старец не стал копошиться в словесных частностях, он ударил меня под дых и едва не свалил. Как медленно закипал я, наливаясь испарениями гордыни... И все ж таки устоял, утихомирил ретивое, загнал его в угол, в тот самый, темный, подвальный угол «нутра натуры».

— Знаешь! — кричал отец,— знаешь, чего у тебя нет?! В сочинении твоем литературном?! Любви! Любви не слышно... Тепла ее милосердного! Потому и понять ничего нельзя... Накручено, наверчено, а любви не слыхать! Все слова да слова, Бог да Бог! А ты вот сам не будь плох! Для людей Бог — это любовь!

Отец кричал минут пятнадцать. Мне показалось, что с ним случилась истерика. И когда он внезапно затих, озираясь и виновато обхватывая голову ладонями, понял я, что это он тоже — от... любви. Ко мне, к моей судьбе. Вот он ощутил на страницах писанины холод, иней безлюбия и — воспылал протестом! И вряд ли его тревога вызвана одним только чуждым ему набором слов, которым воспользовался я в сочинении, где разглагольствовал о каких-то там благородных реактивах — о такте, вкусе, норме, миллиграммах интеллигентности, и ни звука не проронил — о Любви. Открытым текстом. Что слово Любовь слишком редко воспроизводил на бумаге — не в этом дело. А дело, скорей всего, в дыхании моего письма. Дыхание моего письма показалось ему тяжелым, отягощенным различными вредоносными примесями. А легкого дыхания не получилось. Из-за несвободы моей от... нелюбви. Из-за неочищенности моей крови, нервных клеток и узлов от земных примесей.

Дыхание стиля. Дефицит добра в «механизме», осуществлявшем сие дыхание. Переизбыток треклятого «эго», себя любимого. Житие по Декарту: если Бога нет, то я — Бог! Стоит хотя бы памятью оглянуться — из конца в начало века — чтобы явственно ощутить некую аритмию стиля, зацепившись взглядом и слухом за прерывистое дыхание русской прозы и поэзии времен Великих Потрясений. Кристаллически собранный и одновременно язвительный стиль Василия Васильевича Розанова, особенно в его письмах, в «Уединенном» и «Опавших листьях», стиль и тон поэзии Марины Ивановны Цветаевой, где короткая рваная фраза, вся в точках и сломах строка ее стихотворений, то есть письмо, в котором как бы захлеб «ветром времени», явственные акценты литературного мышления двух ярчайших стилистов «ущербной», убиенной России, где и в Розанове, и в Цветаевой прежде всего — лирика мысли, изнасилованной благими намерениями «друзей народа», превративших чуть позже тот самый народ в запуганную, окольцованную колючей проволокой субстанцию, а миллионы и миллионы избранных — в так называемых врагов народа.

И тут же захотелось высказать ересь: с возвращением (обнародованием) трудов В. В. Розанова, Н. Бердяева, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Ф. Федорова, Н. Гумилева, В. Ходасевича, Вячеслава Иванова и других нам не столько *дают*, сколько лишают нас тайны запретного плода, прелести дефицита, тяги на их потусторонний берег, в их тускломерцающую полуявь. Делают сказку былью. Мечту — предметом пользования.

Нет, что ни говори, а дыхание (личностное — мысли, интонации) требует немедленной передышки. Необходимо набрать воздуха. То есть расстаться с Книгой, чтобы не залюбить ее до потери пульса. Ибо мало-помалу, исподволь начинает тянуть на бред, в словесную заумь. Что не входит в наши планы. Вчерашняя встреча с отцом подтвердила мои сомнения в пользе второго, «искусственного дыхания», в продлении «крика» самовыражения путем самоистязания. Прав отец: маловато любви в моих чернилах, а количества этого витамина путем различных добавок не восполнишь. Даже — прямым уколом в сердце. Для любви необходимо созреть. И дай Бог, чтобы это случилось при жизни.

За хлебом и за всем остальным, что имеется в поселковом, весьма уютном, крестьянского назначения запашистом магазине-лавочке, вот уже двадцать лет хожу я пешком (три километра туда и три обратно), и прогулка сия доставляет мне много удовольствия, даже — блаженства. Особенно после того, как я расстался с теми немногими соблазнами существенной жизни (алкоголь, курево, женщины, рыбалка, общежитие, служба, собрания и т. п.), что отвлекали от главного: от созерцания себя в мире, от подготовки мятущегося духа к переходу из одного вида материи в другой.

От моих Тетерок до Верховья, где утвердился магазинишко, магическим кристаллом концентрирующий на себе сходящиеся с лесистых окрестностей лучи людских устремлений и скромных потребностей, дорога вела меня берегом Двины, частично — старинным, некогда мощеным трактом, обсаженным дряхлыми ивами со стволами, закрученными штопором, и отрезок этой дороги напоминал аллею, ведущую в исчезнувший мир помещиков, псовой охоты и живых, вылетавших прямиком из трепещущего горла песен.

Еще одна толика упоминаемого пути влекла меня по шпалам обветшавшей железной дороги, заросшей дикими травами, дышащей, как говорится, на ладан. Поезда по ней не ходили, но, как видения из другого мира, раз в сутки появлялись на расшатанной колее, а в выходные дни и вовсе не возникали. И то не поезда, а так... дизельный мотовоз, тянувший пяток полувагонов с гравием или доломитовой мукой, нещадно визжавший колесами от соприкосновения с рельсами и саистевший каким-то не железнодорожным, а как бы от кухонного чайника — свистком.

Отрезок железного пути простирался параллельно с моей магазинной тропой — всего в каких-нибудь пятистах метрах, но это были волнующие метры! Всякий раз я специально взбирался на высокую насыпь (в этом месте дорога делала изгиб и одновременно уклон); там я жадно принюхивался к запаху смолистых шпал. Запах был древний, как моя жизнь. И пахли шпалы моим военным детством.

С высоты насыпи я успевал проверить наличие окрестных достопримечательностей, дабы убедиться — все ли цело? Не срубил ли кто дерево за ночь, не сгорел ли один из встречных домиков? Проверял, будто собственные очки пальцами трогал, убеждаясь, что они все еще на носу. Металлическую водонапорную башенку, ржавую и покосившуюся, несущую на своей кровле гнездо непременных ежегодных аистов; прерывистый ряд избушек над рекой; над каждой избушкой свое, как родовой герб, древо, разросшееся или юное, липа, реже тополь, еще реже ясень, чаще береза. За домами — провал речного ложа, где над низкой водой, ушедшей в вековечный промыв, меж глинистых берегов синеет едва колеблющаяся дымка. За рекой высоченная стена густозеленых сосен, в соснах пионерские лагеря, доносящийся оттуда детский, почти птичий щебет и крик, но чаще — музыка с пластинок. И наконец — кладбище. Верховское. Все цело. Все на своих местах. Путь от кладбища в Тетерках до кладбища в Верховье функционирует.

Иногдв этот путь помечается грустными цветами, брошенными в пыль дороги, или — еловым лапником. Что означает чью-то недавнюю смерть. Чьи-то проводы в навсегда. Чаще всего смерть старушечью, ветеранскую. Ибо в Тетерках живут одни старики. А в Верховье люди тоже стареют.

Но главное — этот запах от шпал. Ради этого запаха я и взбираюсь всякий раз на дорогу, ведущую... хотел сказать — в никуда, а затем вспомнил, что — в магазинчик. Рельсы упираются своим окончанием в берег Двины, вернее — повисают над осыпавшимся песком берега. Одна, самая последняп, шпала, отбеленная водой в паводки до костяной белизны, держится только на одном уцелевшем костыле и все никвк не рухнет.

По другую сторону насыпи, на взгорке, от которого по дуге спускается к Двине «железка», торчит строеньице крошечной станции. Там есть подлинный светофор. Есть и старинный, изжеванный ветрами семафор с навеки приподнятой рукой. Есть тяжкие рычаги мускульных стрелок. Есть видимость путейства, его призрачная модель, как бы вышедшая из-под контроля государства, министерства и вообще людского догляда. Но Богом наверняка не забытая. Ибо в станционном оконце все еще колеблется на ветру занавеска, белая, свежевыстиранная.

И все же... запах просмоленных шпал. Откуда он такой? Неотвязный и проникающий? Вероятнее всего — от старинной пропитки их дегтем. Или — антижучковым составом. Очень уж старые здесь шпалы. Не просто деревянные, но — древесные. Именно по таким шпалам, только еще не старым, не утратившим острых граней распиловки, смолистым от природы, духовитым, многообещающим страннику, уводящим в неизведанное. именно по таким ушел я однажды из дома, из семьи. С котомкой за плечами. И было мне десять лет от роду. И путь, проделанный мной за полвека, по-прежнему манящ, однако неповторим. И потому, наверное, с таким удовольствием и неиспаряющимся восторгом прохожу я те пятьсот метров пустынной, бурьянной «железки», словно всякий раз возвращаюсь в изведанное, одарившее меня любовью к жизни.

1990



Я. Эфрусси

ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА

АРЕСТ

Жизнь в Ленинграде 1937 года была очень тревожной. По ночам производились аресты: черная машина ездила по улицам города и забирала людей. В «Ленинградской правде» печатались краткие заметки типа: «На заводе... обнаружена группа вредителей. Суд приговорил руководителей группы к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение». Печатались также большие статьи, занимавшие целый подвал, о пойманных шпионах. Подробно описывались их похождения. Часто эти статьи подписывал Заковский (начальник Ленинградского управления НКВД).

В 1937 г. был назначен новый начальник ленинградской части Остехбюро (из числа деятелей, считающих, что работать должны другие) по фамилии Медведев. Мне довелось познакомиться с ним в конце августа 1937 г.: он вызвал меня к себе и предложил уволиться — либо по собственному желанию без выходного пособия, либо по решению администрации с выходным пособием. Не могу вспомнить, какой вариант я выбрал, но так или иначе я был уволен.

Вероятно, надо было уехать из Ленинграда подальше и найти там какую-нибудь скромную работу. Возможно, что таким способом я избежал бы ареста,— но я не хотел его избегать. Пусть, наивно думал я, меня арестуют, убедятся в моей невиновности и неучастии ни в каких преступлениях, после чего меня освободят и я буду жить спокойно. В то время у многих еще существовала вера в правосудие; осуждение без вины считалось невозможным. К сожалению, потом эта вера была полностью утрачена.

Долго ждать ареста мне не пришлось: 22 сентября примерно в час ночи раздался звонок. Пришли двое: лейтенант НКВД Васильев и дворник.

У нас было много книг и еще больше нот, так как жена была певицей, а я играл на скрипке. Много было и граммофонных пластинок. Все это надо было внимательно пересмотреть, книги и ноты перелистать. Поэтому обыск длился долго. Когда он закончился, стало уже светло. Криминал был найден: юбилейная книга «10 лет Октября», изданная в 1927 г. и купленная мною в Остехбюро, куда их привезли для распространения в большом количестве. Криминальной она оказалась потому, что в ней был портрет Троцкого, а всякое упоминание о нем рассматривалось в те годы как тяжкое преступление.

Никакой машины за мной не прислали, мы с Васильевым отправились пешком. Моя квартира находилась на ул. Рубинштейна, у Пяти углов, НКВД — на Литейном, поэтому на дорогу нам требовалось меньше 30 минут. Уже рассвело, но на улицах Ленинграда было еще пустынно.

Васильев привел меня на 2-й или 3-й этаж дома НКВД и временно усадил на стул в приемной. Вероятно, это было нарушение правил, так как мимо меня провели несколько сотрудников Остехбюро, хорошо знакомых мне.

Это были братья Павел Александрович и Николай Александрович Гиляровы и Игише Асвацатурович Термаркарьянц. Лаборатория Термаркарьянца, в которой работал и Н. А. Гиляров, в свое время разрабатывала управляемые по радио торпеды. Обоих инже-

---

Эфрусси Яков Исаакович (р. в 1900 г.) — принимал участие в разработках советских военных изобретений. С 1925 по 1937 г. работал в Особом техническом бюро. В 1937 г. был репрессирован, был в заключении на Колыме, в Свердловске. Его труд вложен в создание радиоприемника для партизанской радиостанции, первых советских телевизоров. Реабилитирован в 1957 году. Живет в Москве.

неров я хорошо знал, так как мне была поручена разработка усилителя высокой частоты с большим коэффициентом усиления для этих торпед. Главной трудностью и для них, и для меня были очень малые габариты, отведенные для наших приборов. Поэтому успешная разработка их являлась одним из первых примеров микроминиатюризации.

Торпеды, управляемые по радио, были приняты на вооружение. Лаборатории Термар-карьянца кроме курирования постановки на производство разработанных ею торпед было дано новое задание: изучение управления по радио паровозами. Цель этой разработки легко понять: во время войны управляемый по радио паровоз с грузом взрывчатки можно отправить на железнодорожную станцию, занятую противником, и взорвать в подходящий момент, например, когда рядом стоит состав с боеприпасами.

Павел Александрович Гиляров был начальником лаборатории. Это был неуемный изобретатель и фантазер, Бекаури предоставил ему полную свободу действий. Расскажу об одном из его изобретений, названном «телекарандаш». Оно заключалось в передаче по радио движений карандаша так, что рисунок одновременно получался у автора и на большом расстоянии. Военное значение изобретения заключалось в том, что вместо чистой бумаги можно использовать географическую карту и обсуждать на большом расстоянии военные проблемы. За рубежом аналогичное устройство появилось значительно позднее.

Но обратимся вновь к истории моего ареста. У Васильева был только один вопрос: кого я знаю в Остехбюро, в Ленинграде и в Москве. Я знал очень многих, поэтому перечисление и запись их заняли много времени. После окончания допроса Васильев вызвал надзирателя, и тот по нескольким коридорам и лестницам отвел меня в тюрьму, находящуюся на Шпалерной улице.

ТЮРЬМА

Из душа меня повели в камеру. Уже в коридоре меня охватил удушливый гнилой запах тюрьмы: потных ног, параши, чеснока, лука, махорочного и табачного дыма, а также чего-то еще, чему названия нет. Передо мной открыли большую, составленную из стальных прутьев дверь. Прямо за ней находились деревянные нары.

В темноте слышалось тяжелое дыхание большого скопища спящих людей.

Сидя на нарах, я крепко уснул. Утром обитатели камеры стали разбирать нары и меня разбудили. Оказалось, что ночью заключенные лежат в два этажа: на полу под нарами и сверху, на нарах. Выдавали матрасы, наполненные какой-то трухой. Мне очень хотелось пить. Я добрался до раковины, держа шляпу в руке, наклонился к крану. Какой-то молодой человек предложил мне подержать шляпу, но я ее не отдал. Позднее выяснилось, что этот молодой человек — филолог, знает 16 языков, был в Испании (переводчиком) во время боев с фашистами, по возвращении попал в тюрьму. По его сведениям, многие из советских людей, сражавшихся в Испании в 1936—1937 годах, были арестованы. Инцидент со шляпой очень развеселил его: он понял, что я принял его за жулика (а каких еще встреч я должен был ожидать в тюрьме?).

Он познакомил меня с обитателями камеры и с порядками, установленными в ней. Оказалось, что основной состав заключенных — это интеллигенция: инженеры, врачи, работники партийных и советских учреждений, актеры, писатели и т. д. Вновь прибывшие спят на полу, под нарами, давно сидящие — на нарах. Переход с пола на нары производится строго по стажу. У всех заключенных перспективы очень печальны; может быть, поэтому ссор почти не бывает, несмотря на скученность. На допросы вызывают только по ночам (вопреки процессуальному кодексу).

Староста камеры — красивый бородатый человек — очень походил на Христа, каким его рисуют на иконах. Фамилия его — Шавров — была мне знакомой, так как я только что прочел в газете о разработанном Шавровым гидросамолете; оказалось, что конструктор гидросамолетов Шавров приходится сидящему Шаврову братом.

Шавров много интересного рассказывал о севере, о северных национальных меньшинствах. Он был работником культуры и занимался организацией на севере «красных яранг» — клубов для местных жителей — под руководством одного видного и очень известного деятеля партии.

Во время нашего разговора с Шавровым принесли обед: суп из трески, какую-то холодную кашу, черный хлеб. Я эти блюда есть не мог (через несколько дней они стали казаться мне очень вкусными) и пожевал только черный хлеб.

Меня вызвали на допрос только 22 октября, поэтому в течение месяца я мог знакомиться с людьми и с порядками в тюрьме. Впрочем, здесь возможна и ошибка. Я твердо знаю, что был судим Военной коллегией Верховного суда в ночь с 22 на 23 февраля 1938 года, что вызывали меня только по двадцать вторым числам, а вот сколько раз — не помню. Поэтому расскажу о заключенных (за время от 22.9.37 г. по 22.2.38 г.) без точной хронологии, а потом уже о моем собственном «деле».

Не могу забыть человека, показавшего нам свое тело после допроса: от пупка до колен оно было покрыто сплошным пурпурным пятном от битья ногами. Он кричал: «Вы не

смеете меня бить! Я гражданин Советского Союза!» А следователь ему отвечал: «На врагов народа гражданские права не распространяются!»

Жуткое дело произошло с главным инженером завода имени Ворошилова по фамилии Нищий (надо заметить, что в Ленинграде было два завода имени Ворошилова, большой и маленький, принадлежавший Остехбюро; так вот, Нищий работал на маленьком). Придя с допроса, он жаловался, что его били ключами по голове и кричали: «Вспоминай!» Потом он сказал, что у него чешется все тело, наконец ему стало совсем плохо, его унесли, а на следующий день надзиратель сообщил, что он умер от менингита.

Шавров рассказал мне, что его обвиняют в шпионаже в пользу Японии. Он ждал суда (Военной коллегии) и собирался признать какую-то мелкую вину (халатность). Замечу, что на следствии всех, направляемых в суд, уговаривали признать хоть какую-нибудь малость. Мотивировка:

— Мы и суд едины, полный отказ от всех обвинений произведет плохое впечатление и может привести к высшей мере наказания, а за малую вину и наказание будет незначительным.

Через месяц или два Шаврова вызвали в суд. Мы договорились, что в случае высшей меры наказания он пришлет надзирателя за своей подушкой. Так и произошло, надзиратель подушку унес.

Технолог одного из ленинградских заводов, пожилой полный человек, сам нашел для себя занятие: выломал из единственного в камере пружинного матраса, на котором спал староста, кусок проволоки и стал делать из него иголку. И чудо свершилось: голыми руками, без инструментов, если не считать нескольких осколков красного кирпича, он ее сделал! По-моему, это было значительно труднее, чем подковать блоху, имея соответствующий инструмент. Сколько же в нашей стране талантливых людей!

Эта иголка очень облегчила нам жизнь, позволяя сочинять разные тесемочные комбинации взамен отрезанных пуговиц.

Большой интерес вызвал у нас рассказ одного инженера-электрика. Не так давно в Ленинграде произошла серьезная авария: к электрической сети подключили добавочную электростанцию мощностью 20 мегаватт в противоположной фазе, что повлекло серьезные повреждения и пожары. Так вот, этот инженер сумел рассказать нам о всех перипетиях аварии буквально по секундам, так как являлся одним из соавторов посвященного ей доклада.

Вообще этот год для Ленинграда был очень аварийным. Приводимые к нам новые арестованные рассказывали о массовом отравлении кремом в кафе «Север», о том, как наполненный пассажирами троллейбус, сломав ограду, упал в Фонтанку. В обоих случаях было арестовано много народа, но в нашу камеру никто из них не попал. По-видимому, таких камер в тюрьме на Шпалерной улице было много.

У нас в камере оказался специалист по бумагоделательным машинам. Он говорил, что таких специалистов в стране очень мало и все они арестованы. Кстати, по его словам, такую же претензию он предъявил своему следователю. Тот ответил, что все это им известно, что их действия действительно отодвигают техническое развитие страны, по крайней мере, на 10 лет, но что политический выигрыш от проводимой кампании полностью оправдывает этот регресс.

В качестве культурного старосты я побуждал заключенных придумывать стихи, сам пытался их сочинять. К сожалению, в памяти из моих стихов сохранились только четыре строчки:

Постель из доски,
Суп из трески,
В дырах носки —
Море тоски!

Несколько слов надо сказать о Фрушкине — начальнике Ленинградского трамвая. Это был старый большевик, лично знавший Ленина. Он подвергался страшным истязаниям, но ничего не хотел подписывать. Вскоре его забрали «с вещами».

Бывшего начальника Военной академии имени Буденного Константина Ефимовича Полищука заключенные называли КЕП. Я его встречал еще на воле, так как руководил несколькими дипломниками академии. В тюрьме КЕП часто рассказывал различные истории и притчи, его всегда окружали слушатели.

Многие истории о преступлениях арестованных звучали как анекдоты. Один заключенный жаловался, что он обвиняется в шпионаже в пользу Польши, откуда, мол, он прибыл незаконно. В действительности его мать была родом из Польши, а он родился в России и за ее пределы никогда не выезжал.

Другой арестованный утверждал, что его взяли по ошибке вместо однофамильца-соседа и что его завтра освободят. Однако ночью с ним убедительно «поговорили», и он подписал протокол о своей шпионской деятельности. Он сделал при этом любопытное наблюдение: статьи о вербовке шпионов и о шпионской деятельности, в изобилии печатавшиеся в «Ленинградской правде», служили для следователей «учебным пособием»,

облегчавшим сочинение протоколов. Что же касается ошибки в инициалах, то ему объяснили, что брака в своей работе НКВД допустить не может, следовательно, ошибки не было. А однофамилец его тоже уже арестован.

Яркое впечатление произвел на меня Боровой — работник отдела культуры Ленинградского обкома партии. В свое время он возглавлял одну из комиссий по ликвидации кулачества, и до сих пор его терзали муки совести за жестокие действия, оправдываемые только указаниями начальства. Он рассказал мне, в частности, историю о поджоге Дома культуры в одном из сел. Там ликвидация кулачества была уже завершена, то есть несколько отобранных крестьян, более зажиточных, чем другие, были заперты комиссией в сарае. Когда же случился пожар, найти поджигателей не удалось, поэтому обвинили «кулаков», хотя они никак не могли совершить поджог, сидя в сарае. В результате заведомо невиновных людей расстреляли, зато комиссия оказалась на высоте.

Теперь Боровой ожидал, что его самого расстреляют. Он был членом партийного стрелкового кружка, упражнялся в стрельбе из ружья и пистолета. Его и заподозрили в подготовке покушения на Жданова. Не зная, как противостоять этой железной логике, Боровой жил в ожидании расстрела. Вскоре его увели «с вещами», и дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Очень недолгой была моя встреча с кинорежиссером Максимом Руфом. Зато после войны я не раз видел его имя в титрах кинофильмов Ленинградской киностудии — следовательно, он к концу концов вышел на волю.

Так же мельком я познакомился с писателем Берзиным, автором романа «Новый Форд», но, в отличие от Руфа, его фамилия мне больше не попадалась.

Не могу забыть одного военного (майора или подполковника), человека редкой красоты, с синими глазами, греческим носом и черной шевелюрой. Он был женат на красавице-полячке. Их арестовали одновременно. В пустой квартире осталось двое детей, двух и трех лет. И он был в полном отчаянии...

Старика-историка, профессора Ленинградского университета, привели к нам из одиночки, где он выполнял оригинальное поручение следователя: сочинял проект новой Конституции России. Дело в том, что из нескольких профессоров, писателей, композиторов и других деятелей культуры требовалось создать разветвленную контрреволюционную организацию, целью которой являлось изменение общественного строя. Естественно, что такая организация должна была подготовить соответствующую ее замыслам новую конституцию. Эта работа и была поручена следствием старому профессору, фамилию которого я, к сожалению, забыл. Профессор был помещен в одиночку, обильно получал требуемую им литературу и писчую бумагу и успешно трудился (а что еще он мог сделать?). После того, как он сдал готовый проект следователю, его и перевели в общую камеру. Естественно, что дальнейшая судьба этого проекта конституции и его автора мне неизвестна.

Не помню, в какой тюрьме, на Шпалерной или в Крестах, я повстречался с Хмызниковым — участником Челюскинской эпопеи. Он был очень удручен, может быть, больше других. По-видимому, трудно было пережить переход из героев в арестанты. Я пытался его взбодрить, говорил ему, что имеется общая установка, по которой не должно быть ни одной организации без своих врагов народа, что эта установка распространяется и на челюскинцев, что героем надо быть в любых условиях, даже в тюрьме, и так далее. Не знаю, удалось ли восстановить в нем стойкость духа, но после этих разговоров он много рассказывал об интересных деталях аварии «Челюскина», не опубликованных в печати.

Конечно, ожидать чего-нибудь хорошего в нашей горестной тюремной жизни, опасной и полной страданий, казалось бессмысленным. Однако один из заключенных, судя по акценту, грузин, сумел найти просвет на этом черном фоне. Через несколько дней после его акклиматизации в нашей камере он поделился со мной своими соображениями:

— Здесь все говорят то, что думают, а там, на воле, это невозможно. Все врут — газеты, журналы, радио, кино; правда опасна, приходится лгать без конца, что очень противно. Стараешься говорить поменьше — вдруг скажешь не то, что надо. Единственное место в Советском Союзе, где существует свобода слова, где не надо бояться правды,— это тюремная камера. Поэтому здесь хочется разговаривать, обмениваться мыслями о жизни, о политике, о нашей злосчастной судьбе.

Кто же вел мое дело? Начальником отделения был майор Никонович — высокий белорус, весь изукрашенный ремнями, медалями, орденами, значками и блестящий, как новый самовар. Мне кажется, что впоследствии я его встречал на Колыме в качестве заключенного, но уверенности нет. Заместителем его был капитан Гольдштейн. Затем следуют начальник отдела Дубровин (низенький, с красным лицом и торчащим носом), Смирнов — хранитель моего дела и, по-видимому, всех дел сотрудников Остехбюро и лейтенант Васильев, о котором я уже говорил.

При первом вызове мне Смирновым было официально предъявлено обвинение по пяти пунктам 58-й статьи: террор, диверсия, шпионаж, вредительство и участие в контрреволюционной организации. Только и всего. Пришлось под этим расписаться — «ознакомлен». Обвинение было настолько нелепым, настолько далеким от реальной действительности, что представилось мне детской игрой, показалось, что его предъявили мне «понарошку». По дороге в камеру я думал, что пройдет некоторое время, и эта игра закончится, и весь этот ужас забудется. Но другим заключенным предъявлялись такие же фантастические обвинения, и мне пришлось признать, что все это не только серьезно, но и очень опасно.

Самый страшный мой допрос протекал так. Сперва со мной занимался Васильев. Задача у него была простая: следить, чтобы я стоял, закинув голову назад, носом кверху, руки по швам,— и все. Никаких вопросов он мне не задавал. И так несколько часов: вызывали меня в 12, а стоял я, пока не делалось светло, то есть часов до 9—10. Считалось, что это немного: переведенные из Москвы заключенные рассказывали, что Пятаков простоял 30 суток.

Утром явился капитан Гольдштейн. Он накричал на Васильева: как тот посмел заставлять меня стоять (а я уже не стоял, а качался в каком-то полусне). Меня тут же усадили на диван, дали воды. Когда я пришел в себя, Васильев ушел, пришли Дубровин и Смирнов, а Гольдштейн начал держать речь, прохаживаясь по кабинету взад и вперед.

Говорил он долго и витиевато, не называя вещи своими именами, а обходя их со всех сторон. Запомнить такую речь нельзя, передать ее суть очень просто: мне надо подписать отпечатанные на машинке, полностью готовые протоколы моих допросов, притом на каждой странице. В противном случае у меня будут отбиты почки, повреждены другие органы, но я все равно подпишу, став уже калекой. А потом, на суде, надо все подтвердить, если я хочу остаться в живых. Все это говорится из сочувствия ко мне, чтобы я не страдал зря. И нечего читать протоколы, ничего в них изменить нельзя.

Все же я сделал попытку рассмотреть протоколы.

— Как же я могу их подписать? Ведь в них фигурируют и другие сотрудники Остехбюро. Себе можно приписать, со страха, любое преступление, а доносить на других не этично.

Гольдштейн нашел очень простой ответ:

— Они же на вас показывают.

Он предъявил мне несколько протоколов со знакомыми мне подписями В. И. Бекаури, заместителя его Бориса Матвеевича Матвеева, начальника отдела Анатолия Иосифовича Гурина, Бехтерева и других. Матвеева я знал очень мало. А. И. Гурин был добродушным человеком, не блиставшим техническими достижениями. Но он обладал редким талантом каллиграфического письма любым стилем (подобно князю Мышкину у Достоевского) и этим выделялся из всех окружающих.

В этих протоколах фигурировало много фамилий участников вредительской организации, в том числе и моя. Указывалось, какую работу я выполнял (и я ее действительно выполнял, только для пользы делу, а не для вреда). Увидев подписи под протоколами, я тоже подписал протоколы моих допросов, сочиненные в недрах НКВД.

На прощанье Гольдштейн сказал, что если мне трудно все подтвердить на суде, то надо принять хотя бы маленькую вину:

— Мы и суд едины, и полное запирательство может иметь для вас печальные последствия.

На этом «допрос» был закончен. Когда меня привели в камеру, за окном было уже совсем светло. Я без сил забился в какой-то угол и уснул.

СУД

22 февраля 1938 г. (я очень точно помню это число) после обеда меня вызвали «с вещами». Наскоро простившись с обитателями камеры, в сопровождении двух надзирателей я отправился в неведомое. Мы перешли в корпус с большим количеством глухих дверей, в каждой из которых был глазок. Нетрудно было догадаться, что это одиночные камеры. Дверь одной из них была открыта, рядом виднелась мемориальная доска. Потом я узнал, что в этой камере когда-то был заключен Ленин.

Наконец мы подошли к цели; дверь одной из камер открыли, втолкнули меня туда и вновь заперли. В камере находился еще один человек.

«Значит, из общего правила „три заключенных на один квадратный метр“ бывают исключения»,— подумал я.

Камера была невелика, порядка 6—8 квадратных метров. В ней находились две железные койки, умывальник, стульчак.

Мой новый сосед оказался полковником Главного артиллерийского управления, фамилию его я вспомнить не могу. Он ждал суда (Военной коллегии); стало ясно, что меня направляют туда же.

Полковник был полностью убежден, что какую-то часть обвинения обязательно надо подтвердить, что следствие и суд «одна шарашка» и, не подтвердив, ты сделаешь себе хуже, и так далее.

После вечерней каши к нам пришел полковник в пенсне и принес нам обвинительные заключения. Он представился как секретарь выездной сессии Военной коллегии Верховного суда.

В моем обвинительном заключении не было ни террора, ни диверсий, ни шпионажа. Остались участие в контрреволюционной организации, возглавляемой Гамарником и Тухачевским, и вредительство. При этом были указаны конкретные темы работ, в которых проявлялась моя вредительская деятельность. В действительности во всех перечисленных работах я никакого участия не принимал (к одной из них был допущен очень малый круг сотрудников, в число которых я не входил, другая делалась в Москве, третья — в другом отделе, по далекой от меня специальности, и так далее). Впечатление составилось такое, как будто какой-то неведомый мне благодетель специально подобрал далекие от меня темы. Вернее же, такой выбор тем являлся результатом халатности или невежественности. А может быть, авторы считали, что он не имеет никакого значения: не все ли равно, за что человека расстреляют?

Я и раньше уже принял решение, вопреки активной агитации со всех сторон, никакой вымышленной вины за собой не признавать даже под страхом смерти (мне показалось, что и сосед по камере был подобран мне специально для этой агитации). «В конце концов, мне уже 37 лет, лучшую часть жизни я уже прожил, остались болезни и деградация»,— думал я для самоутешения.

Обвинительное заключение позволяло мне составить очень простое и четкое «последнее слово подсудимого». Понимая, что на суде я буду очень волноваться, я постарался зазубрить его, чтобы произнести в любом состоянии. Так с «последним словом» в уме я и уснул.

Среди ночи меня подняли. Спросонок я сунул ноги в ботинки, забыв, что туда положил для сохранности свое пенсне, и отколол половину одного стекла. Надо сказать, что с 22 сентября до 22 февраля я не брился, не было такой возможности. У меня отросла безобразная рыжая борода, которая очень меня мучила, так как плохо промывалась под душем. Потом я понял, что меня не брили специально, создавая мне достаточно бандитский образ для суда. Теперь этот образ был еще украшен пенсне с полутора стеклами.

Меня вели какими-то подвальными коридорами, без окон и дверей. Нам повстречалась женщина, которую держали под руки два надзирателя. Стриженые русые волосы ее были растрепаны, по лицу текли слезы. Почему-то мне показалось, что это была балерина Дудинская, об аресте которой мне рассказывал кто-то из заключенных.

Через несколько шагов мы остановились, и меня заперли в небольшой пустой камере, вероятно, в ожидании своей очереди. Вскоре за мной пришли. Миновав несколько коридоров, я оказался в зале, где собрались работники следственных отделов (я успел заметить Дубровина и Смирнова). В дальнейшем я понял, что судебный процесс транслировался в этот зал, в котором висели громкоговорители. Через этот зал мы проследовали во второй, больший, с железными зубчатыми колоннами и несколькими рядами стульев. Мне бросилось в глаза, что там сидели Никонович и Гольдштейн.

Меня остановили перед микрофоном. Через два-три метра от меня находился покрытый зеленым сукном стол, за которым сидели трое судей в генеральской форме. У левого края стола находился уже знакомый мне полковник — секретарь суда. Говорил только председатель, который сидел в центре стола и перед которым стоял микрофон. Впоследствии кто-то уверял меня, что от этих микрофонов шел прямой провод в Кремль.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил председатель.

— Нет,— ответил я.

— Почему подписали?

— Был в очень нервном состоянии.

— Что вы хотите еще сказать?

Тут я и произнес заранее зазубренную речь. Пришлось торопиться, так как председатель все время отбивал такт, стуча карандашом по столу.

— Увести! — сказал он, когда я замолк, и меня вновь заперли в пустой камере.

Очень скоро пришел ко мне секретарь и зачитал определение суда: «Нет доказательств вредительской деятельности и участия в контрреволюционной организации. Направить дело на доследование».

После ухода секретаря меня опять повели по длинным коридорам и заперли в одиночной камере, в которой уже были два человека. Надзиратели внесли для меня третью железную койку. Я был очень возбужден судом и тем, что остался жив, и, не давая людям спать, долго рассказывал о своих переживаниях. Но в конце концов я успокоился и крепко уснул.

Утром мы познакомились. Один из моих соседей (то ли Михайлов, то ли Тимофеев — не могу вспомнить) оказался начальником службы пути Ленинградского трамвая. Он вспоминал о своей работе, как начинал каждый свой рабочий день с чтения «Правды», чтобы всегда строго следовать линии партии. Его часто вызывали на допросы и требовали

показаний о преступной деятельности Фрушкина. И он говорил об изношенности путей ленинградского трамвая, о том, что Фрушкин не дает ему новых рельсов в достаточном количестве и так далее.

Второй сосед был рабочим, бригадиром плотников вагоноремонтного завода им. Егорова, членом партии с 1919 г. Однако ранее, в 1917 г., он входил в партию социалистов-революционеров и даже участвовал в одной эсеровской манифестации, что очень интересовало следователя.

Вскоре в камеру прислали тюремного парикмахера, и он сбрил мою отвратительную бороду. Из этой камеры меня также вызывали на допросы, но без всяких насилий, даже без повышения голоса, в выдержанных тонах.

На первый из этих допросов пришел сам Никонович и, шагая по кабинету, сказал примерно следующее:

— Вам удалось обмануть Военную коллегию, но радоваться рано, мы сумеем доказать вашу вину.

Затем он ушел, а мне дали ознакомиться с моим делом. В него были подшиты протоколы моих допросов, протоколы допросов других арестованных сотрудников Остехбюро, в которых упоминалась моя фамилия, акт экспертизы, определение Военной коллегии (то самое, которое мне объявил секретарь). Я воспользовался случаем и спросил Смирнова:

— Почему выбор пал на меня?

Он ответил мне комплиментом:

— Мы считали вас способным инженером, бесталанные вредителями быть не могут.

В действительности он имел в виду, что я был работающим инженером, так же, как и другие арестованные. Фамилий тех инженеров, которые считали, что работать должны другие, я в деле не обнаружил.

Акт экспертизы был составлен несколькими моими сотрудниками, оставшимися на свободе. В нем указывалось на дефекты одной из моих разработок (именно усилителя высокой частоты для управляемых по радио торпед), которые встретились, когда на заводе хороший изоляционный материал заменили на плохой. Будучи еще на работе, я знал об этом, много писал писем в разные инстанции, требуя применения доброкачественных материалов. По-видимому, одно из них и послужило основанием для акта, появившегося в результате поиска моих грехов. Я дал объяснение:

— Конечно, изготовление плохих материалов и применение их в ответственной аппаратуре является преступлением, но это не мое преступление. Я боролся с ним как мог.

Следователь удовлетворился моим ответом. Он пояснил, что ознакомление меня с делом потребовалось ввиду отправки его в Военный трибунал Ленинградского округа.

При следующем вызове выяснилось, что Военный трибунал отказался принять мое дело, так как оно ранее было в Военной коллегии, и его направили в Ленинградский областной суд. Ничего в нем не изменилось, только добавилась бумага с отказом Военного трибунала и исчезло определение Военной коллегии.

КРЕСТЫ

В начале лета 1938 года, вечером, меня вызвали «с вещами» и повели в тюремный двор. Там уже стояла закрытая машина — не «черный ворон», который разъезжал по Ленинграду в тридцать седьмом и пугал прохожих, а очень веселого вида фургон с нарисованными на нем сосисками на ярком желтом фоне. Мне это понравилось. «Явное смягчение нравов!» — подумал я.

Кузов машины был разделен на мелкие тесные отсеки, в один из которых с трудом затолкнули меня. Моя спина была прижата к наружной стенке кузова, колени упирались в дверь отсека, плечи были зажаты боковыми стенками. При каждом толчке машины я получал ушибы. В отсеке было совершенно темно, все щели были тщательно заделаны.

Перевезли меня на Выборгскую сторону в тюрьму, называемую «Кресты». Она действительно состоит из двух корпусов, имеющих с самолета вид равносторонних крестов. Такая форма позволяет одному надзирателю, стоя в центре, видеть все четыре коридора. Вдоль всех коридоров, по обе стороны, расположены одинаковые одиночные камеры площадью примерно по семь квадратных метров. В каждой имеется одно окно, зашитое решеткой и прикрытое снизу щитом, чтобы из камеры ничего не было видно. Зато эти щиты позволяют опускать, совершенно незаметно, записки из верхней камеры в нижнюю. Я помню одну такую записку, в которой сообщалось, что Наркомом внутренних дел будет назначен Берия — за два месяца до его назначения. В семиметровой камере уже находился 21 заключенный, я стал 22-м. Как мне сказали, в соседней камере находились 22 полковника, которых мои новые соседи знали по фамилиям. Они давали восторженные отзывы о Петрове, о Рокоссовском, который вскоре был освобожден (и впоследствии стал маршалом). Не исключено, что среди заключенных полковников были и еще более талантливые, чем Рокоссовский, и если бы они не сидели в ленинградской тюрьме и других тюрьмах Советского Союза, а оставались бы в армии, то фашисты не прошли бы от Бреста до Кавказа...

По недосмотру надзирателей мы с этими полковниками иногда встречались — по дороге на прогулку или в отхожее место, и я их всех повидал.

Так же, как на Шпалерной, в Крестах приходилось спать в два этажа. Как новенький я опять оказался на полу.

Из обитателей моей новой камеры мне запомнились двое. Первым был бородатый старый штурман дальнего плавания. Он побывал во всех портах земного шара и очень живо о них рассказывал. Жил он в Лодейном Поле, там же был арестован, там же был на следствии. По его словам, он отказывался подписывать протоколы, пока в кабинет не привели громадную собаку. Он стоял у стенки, собака стала на задние лапы, положив передние ему на плечи, взглянула ему в глаза и сказала только одно слово: «Гав!». Он тут же подписал.

Заключенных в нашей тесной камере в Крестах успешно отвлекал от тяжелых мыслей Персианцев, в прошлом белый офицер и, вероятно, «душа общества»,— он знал неисчислимое количество непристойных стихов и анекдотов. Его сажали в тюрьму при каждом изгибе политики, поэтому он обладал богатым тюремным опытом. На этот раз обращение с ним было значительно более грубым, чем раньше. Разговоры с ним начинались не со слов, а с пощечин, которые он получал тут же, при входе в кабинет следователя. Опытные арестанты пытались объяснить ему это явление:

— Теперь арестанты пошли другие: руководители предприятий, деятели культуры, партийные вожди, все высокообразованные, высокоответственные и высокооплачиваемые. Что такое на этом фоне бывший белый офицер? Как же его не бить по щекам?

Лето 1938 г. в Ленинграде было очень жарким, воздуха в камере не хватало, и я заболел. В тюремной больнице моим соседом оказался доктор биологический наук, только что вернувшийся из командировки в США (прямо с пристани — в тюрьму). Он много интересного рассказывал о предприимчивости американцев. На меня большое впечатление произвела история об одной утиной ферме. Ее содержала семья из трех человек плюс шофер — владелец грузовика. На ферме было сто тысяч уток. Доктор подробно описал мне все операции по ее обслуживанию, начиная от закладывания яиц в инкубвтор и кончая отправкой тушек в Нью-Йорк. Такой громадный объем работ хозяева проворачивали только благодаря точной организации, четкой последовательности операций, почти без всякой автоматизации. По мнению рассказчика, у нас для аналогичной фермы требуется штат по меньшей мере в 100 человек, и то они справятся с трудом.

У биолога была сильная глаукома, он должен был несколько раз в день закапывать в глаза пилокарпин. Поэтому для получения от него подписи под любым протоколом достаточно было лишить его пилокарпина. Он очень обижался на своих следователей за этот «юридический прием».

Когда через день или два биолога увели, моим соседом стал мальчик лет 10—12. Откуда он взялся в тюремной больнице — не знаю.

Никаких лекарств мне не давали, а от воздуха и борща я выздоровел полностью через несколько дней.

В камере меня встретили очень дружелюбно; никаких перемен не произошло, все были на своих местах. Обо мне начальство забыло надолго. Дни шли за днями, а меня никто и никуда не вызывал. Только летом 1939 г., среди ночи, я кому-то понадобился. Надзиратели завели меня в кабинет — обычную камеру, где вместо нар и параши стояли письменный стол и несколько стульев. Пожилой лейтенант вручил мне постановление Особого совещания при НКВД СССР о том, что я осужден на 8 лет лишения свободы и должен быть отправлен в Севвостлаг. После возвращения в камеру я узнал, что это и есть Колыма. Меня как южанина (я родился в солнечной Одессе) посылали туда, чтобы я уже не вернулся.

НА КОЛЫМУ

В сентябре 1939 года в Ленинградской пересыльной тюрьме царствовала свобода: можно было ходить из камеры в камеру, получать передачи, допускались даже свидания и переписка. Из писем жены я узнал, как наши друзья и знакомые поддерживали ее в трудное для нее время. Впрочем, были и такие, которые перестали здороваться с ней. Выяснилось также, что она энергично хлопотала обо мне, писала заявления в различные инстанции, но никакого толка не добилась, хорошо, что ее саму не посадили.

Я получал от нее много передач, прежде всего еду. После каши и трескового супа помидоры, сливочное масло, фрукты доставляли большое наслаждение. Кроме того, шерстяные вещи для поездки на север. Их набрался целый мешок — сидор.

В пересыльной тюрьме повстречал я генерала Ласточкина, начальника военных курсов, на которых подготавливались специалисты для обслуживания военной техники, разрабатываемой в Остехбюро. Я преподавал на этих курсах (в числе других сотрудников Остехбюро), поэтому и был знаком с Ласточкиным. Он также получил полный сидор теплых вещей. На каком-то этапе по пути к Колыме мы вновь встретились, сидора у него

уже не было: украли. Он сказал, что это очень хорошо, так как к концу пути разворуют сидоры у всех и он останется в выигрыше: таскать не надо.

Из пересыльной тюрьмы нас перевезли в Вологодскую, которую, по слухам, построил еще Иван Грозный. Там были низкие, сводчатые, сырые помещения с маленькими оконцами, закрытыми, конечно, решетками. Как мы поняли, в Вологде составлялся эшелон для отправки на Дальний Восток. Нас разделили на группы по вагонам (кажется, по 40 человек). В первых вагонах были политические заключенные, в последних — уголовные. Надо сказать, что юридически такого разделения не существовало: все мы были осуждены по одному и тому же Уголовному кодексу и, следовательно, были уголовниками. Но фактически 58-я статья этого кодекса относилась только к политическим преступникам, и тюремная администрация использовала это обстоятельство: «политики» были значительно более дисциплинированными, чем «урки», к ним можно было приставлять неопытных надзирателей и в меньшем количестве, обращаться с ними было гораздо легче, чем с урками.

Мне не повезло: моя фамилия в конце алфавита, политических набралось всего 20 человек, и наш вагон доукомплектовали урками разных специальностей, бандитами и ворами разного типа (домушниками, карманниками и т. д.). А это определяло не только опустошение наших сидоров, но и всевозможные конфликты, так как урки всех остальных, то есть «фрайеров», за людей не считают.

В середине теплушки стояла железная печка, которую мы не топили: осень 1939 г. была теплой. Слева и справа находились двухэтажные нары, на первых разместились политики, на вторых — урки. С обеих сторон было по маленькому окошечку, забранному решеткой. В вагоне охраны не было, дверь запиралась снаружи и взломать ее изнутри было невозможно. Для нашего питания на некоторых достаточно длительных остановках дверь открывалась. Около нее стояли несколько надзирателей с собаками. Передавали нам еду, потом дверь закрывалась вновь.

Днем мы (политики) болтали, по очереди смотрели в наше окошко (второе окошко принадлежало уркам). Изумительны были виды на Урале: осенние леса в богатых, разнообразных красках, от светло-зеленой до темно-красной.

О красотах Байкала написано очень много; проезжая его, мы особенно строго соблюдали очередь у окошка: никаких шансов увидеть его когда-нибудь вблизи у нас не было.

По ночам мы спали, а урки ползали между нами, роясь в сидорах. Это было очень противно, и в одну из ночей мы поймали кого-то из них и излупили. Урки обиделись и вызвали нас на «честный бой». Под этим понималась драка нашего представителя с представителем урок. Среди нас был кавторанг из Кронштадта, красивый, рослый и сравнительно молодой человек. Он вызвался быть нашим представителем. Против него урки выставили молодого худощавого парня. Несмотря на отсутствие ножей, бой был жестоким. Урка применял различные коварные приемы, например, удары снизу головой в живот противника, но кавторанг держался твердо. В конце концов зрители с обеих сторон решили, что бой уже можно закончить, и согласились на ничью. У кавторанга были разбиты верхняя губа и левая бровь, капала кровь, и вообще он имел жалкий вид. Впрочем, и урка пострадал достаточно и, вероятно, долго потом зализывал раны. После боя ничего не изменилось: урки по-прежнему совершали ночные набеги, а мы спали плохо, прислушиваясь к шорохам.

Наконец поезд прибыл во Владивосток. Нас вывели из вагонов, посадили на корточки по двое в ряд, кругом стояли надзиратели с собаками. Я поглядел направо: из-под вагонов было видно яркое синее море под голубым небом — Тихий океан. По нему шли невысокие длинные волны. Потом нас подняли, куда-то долго вели, и мы оказались в большой палатке, как выяснилось, Владивостокского пересыльного лагеря (без урок — у них были другие палатки). Там мы жили несколько дней, делая иногда переходы из одной палатки в другую (неизвестно зачем). Погода испортилась, шел дождь, и нас таскали по грязи.

Однажды, на одном из очередных переходов из палатки в палатку, нас остановили около изгороди из колючей проволоки. За ней находились какие-то женщины, одна из них подошла к изгороди, и мне удалось с ней поговорить. Это была группа ленинградских женщин, осужденных «за связь с врагами народа». Сами «враги народа», то есть мужья их, были осуждены на разные сроки, от 5 лет и больше, а некоторые присуждены к высшей мере. Женам же их дали всем одинаково по 8 лет, что их очень возмущало. Бедные женщины не понимали, что администрации гораздо удобнее назначить им одинаковые сроки. (У меня рука не поднялась написать слово «присудить».) При этом достаточно одного списка, «тройке» надо подписывать только один раз, и вообще вся документация упрощается.

Моей собеседнице было известно, что их отправляют на Колыму, и они находятся в ожидании теплохода Владивосток — Магадан (так же, впрочем, как и мы). Надо сказать, что она была молода и, несмотря на арестантский наряд и отсутствие макияжа, хороша собой. Она сказала, что начальник Владивостокского лагеря предлагает ей остаться, «чтобы убирать его канцелярию и мыть полы», и попросила моего совета: соглашаться ей или нет. Цель предложения была ясна — что можно было посоветовать? Я рассказал ей, как

я понимаю ситуацию, но решения ее не узнал: нас повели дальше. Почему-то мне не пришло в голову, что такая же участь могла постигнуть и мою собственную жену.

Через несколько дней совершилась посадка на теплоход по известному ритуалу: с большим количеством надзирателей и собак, с криками и истошным лаем. В конце концов нас завели в трюм, все люки задраили, и нас оставили одних, без охраны. Через некоторое время теплоход пошел в Охотское море.

Трюм был очень велик, застроен двухъярусными нарами, и в нем было свободно, несмотря на большое количество заключенных. Женщины, вероятно, были в другом трюме. Тусклые лампочки давали мало света, но глаза постепенно адаптировались.

Морское путешествие оказалось ужасным. Перед отправлением нас накормили соленой рыбой, вызвавшей жажду, а вода в кранах тоже была соленой. То ли емкости наполнили морской водой вместо пресной, то ли морская вода подмешалась к пресной, но пить ее нельзя было, и несколько дней мы существовали без воды. К тому же качка, морская болезнь... Несколько человек умерли в пути, но большинство, и я в том числе, остались в живых.

Все на свете кончается, кончилась и эта пытка. Окруженные надзирателями и собаками, мы направились по дороге из порта в Магадан. Наполовину опустевшие сидоры мы тащили с собой. Вдали я увидел Ласточкина, у которого сидор уже украли, он задорно показал мне свои свободные руки.

Как только мы вышли из порта и увидели около дороги чистый снег, мы бросились к нему. Крики надзирателей и лай собак не могли нас остановить. Пока мы не наелись снега, то есть не напились, сдвинуть с места нвс было нельзя...

СЕВВОСТЛАГ

В пересыльном лагере находилось уже много заключенных, прибывших предыдущими рейсами. Они познакомили нас с обстановкой. Всех ждет отправка в Севвостлаг, который находится в районе реки Колымы. Работа предстоит трудная: рытье шурфов в мерзлой земле для розыска золотых месторождений. Ранее начальником Севвостлага был Гаранин — очень известная личность. При нем надзиратели могли (и должны были) стрелять в заключенных при малейшем неповиновении и даже при подозрении неповиновения. А так как людей привозили много, то убийство части из них никакого значения не имело.

Из числа заключенных в каждом лагере назначались староста и его помощники. Это были заключенные, осужденные не по 58-й статье, а по какой-либо другой (растрата, изнасилование, воровство и т. д.). Называли их «придурками», и власть их над рядовыми заключенными была очень велика: они направляли на работу, могли отправить в карцер (с помощью надзирателей) и т. п. Больных и старых, не справляющихся с работой, отправляли в инвалидный лагерь, находящийся вблизи Магадана. Он отличается от других не медицинским обслуживанием, а уменьшенной нормой черного хлеба: 500 граммов вместо одного килограмма.

В Магаданском пересыльном лагере я находился еще несколько дней. У меня украли пенсне (которое мне удалось починить в Ленинграде, пока я находился в пересыльной тюрьме, с помощью жены): откуда-то сзади протянулась рука и стащила их с моего носа. Я быстро повернулся — за мной стоял дюжий детина с равнодушным выражением лица и курил.

— Кто взял мои стекла? — спросил я.

— А я почем знаю? — ответил он.

Ясно было, что такова организация, что мне их не вернуть. Возможно, что их выиграли в карты: при этой игре урки ставили на кон любую чужую вещь, в расчете потом украсть ее и отдать выигравшему.

Близоруким хорошо известно, что представляет собой жизнь без очков: все окружающее погружается в туман. Теперь такая жизнь предстояла мне надолго.

Через день или два пришел надзиратель и предложил поработать. Несколько человек согласились, и я в том числе: уж очень скучно нам было. Нас привели в Магадан, который был тогда деревянным городком, к деревянному же ресторану. Надо было убрать снег возле него, мы это сделали с удовольствием и получили в награду ресторанный обед, который нам показался изумительно вкусным.

Еще через несколько дней, когда похолодало, нас повели на отправку. Над обычной грузовой машиной был сделан из тряпок и проволоки полог, в кузов поставлены скамейки; мы влезли в кузов и поехали. От полога отлетали тряпки одна за другой, и становилось все холоднее и холоднее. Постепенно стемнело. Когда я замерз окончательно, грузовик остановился около какого-то дома. Послышалась команда: «Выходи греться!»

Выпив по кружке кипятка и согревшись, мы едем дальше. От полога отлетают последние тряпки, но мы уже приближаемся к месту назначения.

Надзирателей уже не было, оттуда не убежишь. Придурок завел нас в палатку и определил места обитвния. Палатка широкая и длинная, со всех сторон засыпана снегом

(чтобы не дуло) примерно 1,5 метра высоты. Внутри, у стенок, насыпана земляная лежанка, на которой мы и расположились, перпендикулярно к стенкам. В центре палатки находится железная печка. Велики градиенты температуры: в середине более или менее тепло, у стенок холодно, меховую шапку и шубу снимать нельзя. Хлеб, положенный около головы (а другого места для него нет), замерзает так, что грызть его нельзя. Его надо плотно прижать к печке торцом. Когда он оттает на глубину двух-трех миллиметров, надо сжевать этот край. Потом приложить его к печке второй раз и так далее.

Утром мы вышли на работу. Был ясный, солнечный день. Небо голубело, снег блестел. Ребята говорили, что температура воздуха около — 60 ° Цельсия. Действительно, было очень холодно. Из-за хронического насморка мне приходилось на морозе дышать ртом. При этом время от времени у меня откашливались небольшие черные хлопья; старожилы говорили, что это — подмороженные кусочки легких. Может быть, они были и правы.

Руководитель работы (не придурок, а десятник из числа вольнонаемных геологов), посмотрев на меня, решил, что для копания шурфоа ломом я не гожусь, и поручил мне расчистку площадки от снега под шурф. Из груды инструментов я выбрал широкую деревянную лопату и принялся за работу.

Через некоторое время я почувствовал что-то неладное с пальцами рук, они стали какими-то деревянными. Скинул варежки — а пальцы белые. Я стал растирать их снегом изо всех сил. Это заметил десятник и поручил кому-то из старых работников отвести меня в медпункт. Молодой фельдшер сказал, что дело плохо, намазал чем-то пальцы на обеих рукв и нвложил повязки.

— На работу не ходить, каждый день к 5 часам являться на перевязки,— приказал он.

Мне показали тропинку к нашей палатке, и началась скучная жизнь: целый день один, в холодной палатке. Руки болели, ими ничего нельзя было делать, даже печку топить было трудно. Вечером все работники собирались в палатке, подымался шум, затевались ссоры, иногда переходившие в драки. Однажды случилось чрезвычайное происшествие. Откудато послышались звуки движения грузовых машин. Печка горела плохо, дрова были сырыми, и один из парней, схватив какую-то плошку, помчался к машинам, чтобы выпросить у шоферов немного бензина. Прибежав обратно с бензином, он хотел выплеснуть его в печку, яо неловким движением вылил его на себя и тут же вспыхнул. Огромным факелом он метался по всей палатке, никак не удавалось удержать его и накрыть бушлатами. Наконец огонь был погашен, но парень был сильно обожжен, не мог даже ходить, и его понесли на руках в медпункт. Через некоторое время возбуждение утихло, все легли спать, а в моих глазах еще долго сохранялось это безумное зрелище: живой факел, летающий по палатке.

Чувствовал я себя очень плохо, почему-то трудно дышалось. Однажды, когда я пришел в медпункт на перевязку, фельдшер, внимательно посмотрев на меня, велел поставить термометр. Выше 35° ртутный столбик не подымался, и фельдшер оставил меня в больнице. Твк он назвал смежную с его кабинетом комнату, в которой стояло 6 топчанов с соломенными тюфяками. Один из них был занят: на нем лежал тот самый обгорелый парень, весь в бинтах, не произносящий ни слова. В больнице было тепло, можно было раздеться. Я лег на соломенный матрас и ощутил полное блвженство.

А с руками было худо. В столовой около меня никто не хотел сидеть, так как от них распространялся трупный запах. Поэтому через день или два фельдшер вызвал меня и сказал:

— Начинается гангрена, надо отрезать пальцы.

Хирургических инструментов у него не было, пришлось взять у сестры ее портняжные ножницы. Фельдшер посвдил меня против себя, мою левую руку оголил до плеча. Сестра туго перехватила ее ниже локтя цепью, вложенной в резиновую трубку, для уменьшения потока крови. Сестра держала эту цепь в натяжении и одновременно поливала мои пальцы для дезинфекции желтой жидкостью — риванолем.

Ножницы были тупыми, отрезать фаланги пальцев было очень трудно (ведь даже суставы цыпленка разрезать затруднительно, хотя он вареный или жареный). От невыносимой боли я иногда терял сознание, потом приходил в себя, снова видел перед собой фельдшера с напряженным лицом и нахмуренными бровями, трудящегося над очередным пальцем, слева от меня — сестру, залитую слезами (так она переживала мою операцию) и поливавшую мою руку риванолем, наверху, над фельдшером, большие круглые настенные часы. Операция продолжалась около трех часов, были отрезаны фаланги четырех пальцев на левой руке.

Боль в руке постепенно утихала, и я с горечью вспомнил о моей скрипке, на которой мне больше не игрвть, о симфоническом оркестре Ленинградского дома инженера на Фонтанке, в котором я принимал деятельное участие, о дирижере его по фамилии Сасс-Тисовский, о последней работе оркестра — концертной постановке оперы «Евгений Онегин». Потом я сообразил, что вероятность дожить на Колыме до конца моего срока ничтожно мала и сокрушаться о скрипке не имеет никакого смысла.

На правой руке отмерзли только кончики пальцев (небольшая часть фаланги), и гангрены там не было, следовательно, не было и запаха. Через несколько месяцев я упал,

поскользнувшись на льду, сильно ударил правую руку об лед, и эти отмерзшие кончики пальцев одновременно отпали.

Левая рука заживала, и меня выписали из больницы, переведя вновь на амбулаторный прием — ежедневные перевязки в 5 часов. Однажды, возвращаясь с перевязки к себе в палатку, я провалился в какую-то яму. Она была засыпана снегом, и я не ушибся. С трудом вылез из нее, так как обе руки у меня были перевязаны, сделал несколько шагов — и вновь провалился в другую яму.

Было темно, по небу носились облака, иногда приоткрывая ущербную луну. Она ненадолго освещала мерцающим светом окружавший меня снег и вновь пряталась, из-за чего становилось еще темнее. Я перелезал из одной ямы в другую, руки страшно болели, нос замерз. Было ясно, что я сбился с тропинки, попал на поле, изрытое шурфами, и не знаю, как из него выбраться. Различать в темноте ямы от промежутков между ними мне не удавалось.

«Не улечься ли мне? — подумал я.— Говорят, что смерть от замерзания самая безболезненная, а выбраться из этих шурфов мне все равно не удастся. Но, с другой стороны, как можно утверждать, что замерзание безболезненно, ведь замерзшие рассказать об этом не могли, а живые не замерзали?»

Анализируя этот сложный вопрос, я вдруг заметил где-то вдали мерцающий огонек. Я пригляделся — он не двигался, а мигал на одном и том же месте. Появилась какая-то надежда на спасение, и я пошел по направлению к огоньку. Упал в ямы еще два или три раза, и тут шурфы кончились, и вскоре я добрался до домика с маленьким светящимся окошком. Дверь была не заперта. Оказалось, что это дом вольнонаемных десятников. Они сказали, что у меня отморожен нос, намазали его каким-то жиром, после чего показали тропинку, которая вела к моей палатке.

На другой день нос стал черным; нескоро все вошло в норму. С тех пор я перестал быть слегка курносым и стал скорее горбоносым. Какая-то часть мяса на моем носу отмерзла напрочь, навсегда.

Я продолжал ходить на перевязки, но стал более внимательным и с дороги больше не сбивался. Фельдшер время от времени меня выслушивал и заставлял измерять температуру. Как-то он сказал: «Вашему сердцу противопоказан здешний климат с низким давлением и низкой температурой. Вас надо перевести в другой лагерь. Завтра я еду в Берелех за медикаментами, вы поедете со мной, и я вас покажу медицинской комиссии».

Так я попал в инвалидный лагерь под Магаданом. В большой палате с двумя рядами двухэтажных деревянных нар мне отвели место наверху. По соседству располагался очень пожилой и болезненный человек, бывший посол СССР в Иране. Другим соседом был молодой парень, больной туберкулезом.

В инвалидном лагере давали только 500 граммов хлеба в день.

А так как остальная еда была малокалорийной, то этого не хватало. Бывший посол говорил мне, что он нарезает хлеб на маленькие кусочки и каждый из них съедает, как пирожное.

Через несколько дней он среди ночи умер — утром я обнаружил, что он холодный. На его место привели другого инвалида. Скоро скончался и он. Вообще за год пребывания на Колыме я шесть или семь раз просыпался рядом с трупом...

В инвалидном лагере было несколько больших палаток, часть из которых занимали урки. В одной из них помещались «самовары». Так назывались безногие, перемещающиеся с помощью квадратной дощечки на колесиках. Если обрабатывать шурфы с помощью костра — огонь растапливает лед, размягчает мерзлую землю и позволяет копать ее лопатами, не пользуясь ломами. Из-за большого количества талой воды уберечь валенки от промокания не удается, а в мокрых валенках при минус 50° быстро отмораживаются ноги. Почему-то «самоварами» были только урки. Видимо, более культурные политики избегали растапливания шурфов.

Большинство населения инвалидного лагеря являлось «доходягами», т. е. подходило к концу своего существования. Причинами были болезни, недостаточное питание и тяжелая работа (заготовка дров в лесу). Благодаря повязкам на обеих руках я все еще был от работы освобожден.

Хорошо жили придурки, у которых питания и одежды было более чем достаточно. Мне довелось познакомиться с дневальным старосты, то есть с заключенным, находящимся в услужении главному придурку — старосте лагеря. Знакомство это базировалось на том, что мы были земляками — ленинградцами. Дневальный был выбран старостой из других кандидатов благодаря своему искусству: он играл на баяне и этим развлекал старосту. Питались они оба прекрасно, главный заботой их было — не растолстеть. Дам дневальный приводил к старосте из соседнего женского лагеря, привлекая их обильной и вкусной едой. У остальных придурков дневальных не было, но жили они тоже неплохо.

В один из первых солнечных дней после моего приезда я ходил между палаток, знакомясь с лагерем. Вдруг на меня напали четыре или пять придурков, затащили в ближайшую палатку и стали стаскивать с меня мои роскошные валенки.

— Что вы делаете?! — закричал я.

— Ты ведь за дроввми не ходишь, можешь обойтись и этими.

Они напялили на меня обрезанные валенки и выставили из палатки. Я, конечно, обиделся, но по сути дела они были правы: валенки больше нужны тем, кто ходит в лес по глубокому снегу за дровами.

С весны 1940 года в лагере повеяло либерализмом: начали издавать стенгазету, объявили шахматный турнир между заключенными. Я еще был в повязках, дел у меня никаких не было, и я начал играть. Выяснилось, что в число заключенных попали и перворазрядники, и, кажется, даже мастера спорта. Но все они были доходягами в крайней степени и с трудом передвигали фигуры (а при игре со мной требовалось передвигать фигуры и за меня). В результате я вышел в финал — и задумался. Несмотря на высокие спортивные звания, эти доходяги играют очень слабо; если собрать все свои силы, то можно занять в турнире первое место. Учитывая же пронесшийся либеральный душок, на этом можно будет что-нибудь выиграть, например, дополнительную еду.

Так я и сделал. Играл напряженно, думал подолгу, благо шахматных часов не было, и решил поставленную перед собой задачу: в финале выиграл шесть партий из шести возможных, занял первое место с большим отрывом от остальных игроков и стал чемпионом — популярной личностью в лагере. Начальником лагеря в торжественной обстановке мне была вручена награда: деревянный портсигар. Заключенному художнику заказали мой портрет; он был очень удачен и долгое время висел на стене (в стенгазете). Не знаю почему, но после этого турнира я играть в шахматы не могу, хотя люблю проигрывать партии гроссмейстеров и смотреть по телевизору уроки шахмвтной игры.

Деревянный портсигар меня не удовлетворил, я искал способа лучше питаться. Найдя среди доходяг несколько музыкантов, умевших играть на народных инструментах, я предложил начальнику лагеря организовать оркестр. Он согласился и приказал выдать нам со склада инструменты (балалайки, домры, гитары). Мы начали репетировать; кое-кто отсеялся, из остальных удалось составить работоспособный ансамбль. Не скажу, что этот оркестр звучал очень хорошо, но можно было дать ему оценку — терпимо (на троечку). Начальнику лагеря оркестр понравился, и он приказал нам играть в столовой во время обеда.

Цель была достигнута, в столовой нас усиленно кормили, и мои доходяги, так же, как и я сам, начали заметно поправляться. К сожалению, такая сытная жизнь продолжалась недолго — два или три месяца, после чего произошло мое крушение как дирижера. Три совпавших несчастных обстоятельства вызвали его. Во-первых, мне пришло в голову сопровождать исполнение «Сулико» пением. Голоса у моих доходяг оказались гнусавыми, звучало их пение отвратительно, но допустив его, я никак не мог отменить: им понравилось. Во-вторых, сменился начальник лагеря. Новому исполнение «Сулико» не понравилось, меня он не знал и накричал на меня. В-третьих, в инвалидном лагере появился настоящий профессиональный дирижер из Белоруссии по фамилии Трежетняк. К тому же он был осужден по 116 статье (растрата), а не по по 58-й, следовательно, был выше меня во всех отношениях. Его и назначили дирижером, а меня вернули в первобытное состояние.

В МОСКВУ

Вскоре после бесславного окончания моей музыкальной деятельности, в начале ноября 1940 года, мои руки окончательно зажили, и с них сняли повязки. Это значило, что скоро меня потащат на работу (лесоповал). Утром будут забегать в палатку придурки и меня вместе с другими работоспособными заключенными стаскивать за ноги с нар, выстраивать во дворе и вести в лес. Там придется пилить деревья, оттуда нести бревна вдвоем или втроем, к чему я совершенно не способен. Коротко говоря, скоро моя жизнь придет к концу.

Однако этот печальный прогноз не подтвердился. В праздник 7 Ноября, утром, когда все обитатели нашей палатки мирно отдыхали на своих местах, вбежал придурок и стал громко выкрикивать мою фамилию. Я откликнулся.

— Быстро бери вещи и иди, машина ждет.

В магаданском управлении НКВД мне выдали меховую куртку и шапку, унты, темные штаны и комплект белья. Когда я оделся, то понял, что из меня делают путешественника по Заполярью. По нескольким коридорам меня привели в большой кабинет и поставили перед письменным столом. За ним сидело начальство (вероятно, начальник управления).

— Зачем Берия вас вызывает?

— Не знаю.— Я понял, что пришла телеграмма за подписью Берии, поэтому она вызвала столько волнений.

— Как поморозили руки?

— Варежки плохие.

— Знаю, нарочно поморозили, чтобы не работать.

Мне такая мысль в голову не приходила, хотя некоторая логика в ней была.

— Ты поедешь в Москву под конвоем.— Он нажал кнопку, вошли лейтенант и два сержанта.— Вот с ними и поедешь. Можете идти.

Меня повели к выходу, посадили в легковую машину, и мы отпрввились в порт.

Теплоход стоял уже у причала. Меня привели в четырехместную каюту, предложили лечь на верхнюю полку. Я очень устал после бурного дня и сразу уснул.

Мой конвой обращался со мной очень вежливо и предупредительно. Окрики остались в лагере. «Вероятно, они принимают меня за потенциальное начальство, на которое по прибытии в Москву нацепят ромбы, и придется перед ним стоять смирно...» — думал я.

В экспрессе Владивосток — Москва мы заняли отдельное купе в купейном вагоне, меня уложили на верхнюю полку. Мне представилась возможность рассмотреть через окно весь путь от Владивостока до Москвы.

Лейтенант разрешил мне написать письмо жене в Ленинград, сам купил бумагу и конверт с маркой, сам взялся его опустить. Это письмо он, вероятно, передал в НКВД, так как жена его не получила (как и следовало ожидать). Любезность лейтенвнта производила хорошее впечатление. Как и на теплоходе, еду мне приносили из ресторана три раза в день.

По прибытии в Москву меня поместили в Бутырской тюрьме. В большой камере площадью примерно 50 квадратных метров находилось 4 заключенных (а не 150, как это было в Ленинграде). Запомнил я только одного. По-видимому, это был настоящий квалифицированный разведчик. Он был немец, хотя по-русски говорил совершенно свободно, без акцента. Так же хорошо, по его словам, он говорил на всех балканских языках (чешском, болгарском, сербском, греческом и т. д.). К тому же он окончил медицинский факультет и занимался медицинской практикой. Часто его вызывали на допросы, причем, как он уверял, только высокопоставленные следователи, полковники и генералы. Беседовать с ним было очень интересно, он хорошо знал нравы балканских стран и умел рассказывать.

Чувствовал я себя плохо, начались какие-то боли в спине. Врач нашел у меня плеврит и направил в больницу, но после выздоровления меня в прежнюю камеру не вернули, а поместили в одиночную. Туда привели портного, он снял с меня мерку. Воспользовавшись случаем, я попросил заказать мне очки (требуемые параметры я знал). Через день или два я был уже в большой камере, где встретил четырех знакомых инженеров: Александра Львовича Минца (впоследствии академика), Ефима Самойловича Анцелиовича (профессора радиотехники), Бориса Ивановича Преображенского (проектировавшего в 30-х годах новый научно-исследовательский институт в Москве и часто дававшего мне для решения отдельные задачи) и Антона Тимофеевича Ярмизина (сотрудника Остехбюро, переведенного а 1935 г. в Москву).

Оказалось, что они с 1938 г. находятся здесь в качестве «заключенных-специалистов». Каждый день, кроме выходных, их возят на легковых машинах в лабораторию, где они выполняют совместную разработку. Некоторое время тому назад их вызвали к Берии, который расспрашивал их о квалификации разных специалистов, в том числе работавших в Остехбюро. Он интересовался, стоит ли привлекать их к работе в лабораториях НКВД. Называлась фамилия, они давали отзыв, Берия требовал справку о местопребывании этого специалиста. Все мои «однодельцы» оказались расстрелянными — видимо, они не нашли правильной линии поведения на Военной коллегии.

Меня знали все четверо, дали положительный отзыв. Длительный розыск по документам показал, что я жив и нахожусь на Колыме. Берия приказал послать телеграмму, которая и привела меня в эту камеру.

В лабораторию, находившуюся вблизи от центра Москвы, нас возили нв двух легковых автомобилях. Выходные дни мы проводили в тюрьме, там нас и кормили, в рабочие дни мы питались на работе. Как-то в столовую пришел начальник подразделения полковник госбезопасности Фома Фомич Железов и сказал: «Ассигнования на ваше питание значительно повышены. Поэтому, хотя часть и разворуют, кормить вас будут лучше».

Действительно, наше питание было вполне удовлетворительным, если не сказать — хорошим.

Минц, Анцелиович, Преображенский и Ярмизин работали над общей темой. Меня в эту группу не включили, а поручили мне самостоятельную работу, предоставив несколько помощников (из числа военных техников) и требуемую аппаратуру. Технические книги и журналы приносили нам по запросу (когда их можно было найти).

Так и шла наша жизнь до войны: в центре города, в особняке, в котором находилась лаборатория, мы работали, в Бутырской тюрьме «отдыхали».

Мои новые соратники рассказали мне, что таких групп заключенных-специалистов в СССР очень много, в том числе целое конструкторское бюро по проектированию самолетов под руководством заключенного, очень известного специалиста Андрея Николаевича Туполева. Оказалось, что Полищук (КЕП) тоже работает в этом бюро, занимаясь электрооборудованием самолетов.

ВОЙНА

Перед началом войны (или вскоре после ее начала) мои коллеги свою тему закончили и были досрочно освобождены. Они предполагали, что это благодеяние объясняется решением правительства создать новую мощную радиостанцию под Куйбышевом и необходимостью привлечь к этой работе Минца. А мне изменили режим — я получил возможность ночевать в лаборатории.

Через некоторое время лабораторию перевели в один из подмосковных поселков. Там выделили для меня две небольшие комнаты, в одной из которых жил я, а в другой — охрана. Налеты были и у нас: зенитные орудия не пропускали фашистские самолеты на Москву, и летчики сбрасывали свои бомбы за городом.

В октябре или ноябре 1941 г. лабораторию эвакуировали в Свердловск. Удивительно, что хотя мое путешествие из Вологды во Владивосток я помню во всех деталях, переезд из Москвы в Свердловск, который произошел значительно позднее, я восстановить в памяти не могу. Сохранилось только пребывание в Казанской тюрьме, следовательно, меня везли почему-то через Казань. В одной камере со мной находился инженер-химик, специалист по порохам, работавший ранее на Казанском пороховом заводе, все специалисты которого были арестованы в 1937 г. В первые дни войны этот громадный завод взорвался. Мой новый знакомый был уверен, что причиной взрыва были ошибки персонала, вызванные отсутствием на заводе квалифицированных специалистов, начальство же, конечно, считало взрыв результатом диверсии. Привезли моего соседа из какого-то дальнего лагеря в Казань в качестве то ли эксперта, то ли свидетеля, но его еще ни разу не вызывали. Вскоре меня повезли дальше, и как шло следствие о взрыве, я не знаю.

В Свердловске характер наших работ изменился, все разработки были предназначены для войны. Передо мной была поставлена очень важная задача — разработка радиоприемника для партизанской радиостанции. Причем были поставлены определенные условия. Во-первых, он должен потреблять очень мало энергии, чтобы можно было проводить круглосуточные дежурства; во-вторых, он должен быть легок и удобен для работы; в-третьих, обладать достаточно высокой чувствительностью; наконец, в-четвертых, производство таких приемников должно быть настолько технологичным, чтобы мы могли организовать его в лаборатории. С большим трудом эти требования все же удалось выполнить.

Радиопередатчик для партизанской радиостанции был разработан под руководством знающего и опытного специалиста инженер-подполковника Владимира Леонидовича Доброжанского, сумевшего разместить его в такой же штампованной коробке, что и радиоприемник. Эта радиостанция, которая была ласково названа «Белкой», выпускалась лабораторией НКВД в больших количествах. Я хорошо помню ее юбилейный, тысячный экземпляр, красиво отделанный черным лаком, отправленный руководству партизанского движения. После выпуска тысячного экземпляра производство «Белок» продолжалось, по-видимому, партизанам они очень нравились, да и погибало их на войне, вероятно, немало.

В Свердловске рабочий день был удлинен до 11 часов и отменены выходные дни. Появлялись все новые и новые заключенные-специалисты. Известный изобретатель Л. С. Термен, объездивший в 30-е годы всю Европу с концертами на терменвоксе. Его игра на этом необыкновенном музыкальном инструменте «мановением руки» пользовалась большим успехом. Потом он переехал в США, где получил патент на терменвоксы и выпустил целую партию их, которая была быстро распродана. В США он прожил несколько лет, а по возвращении в СССР был арестован. Павел Кондратьевич Ощепков — талантливый инженер, ставший впоследствии начальником большого конструкторского бюро в Москве; Николай Николаевич Шаховской (которого после войны прославила его племянница Наташа, лауреат конкурса имени Чайковского по классу виолончели); Альберт Исаакович Иоффе — автор метода сушки древесины токами высокой частоты; Леонид Иванович Гришин, впоследствии главный технолог Министерства электронной промышленности; С. А. Беркалов, бывший подполковник царской армии, специалист по артиллерийским орудиям. Этот пожилой, патриотически настроенный человек очень переживал отсутствие у нас в начале войны противотанковых орудий: разработка их была начата, но в 1937 году все участники ее, в том числе и он сам, оказались за решеткой. Вскоре его увезли от нас и, по слухам, произвели в генералы Советской Армии. Сергей Самойлович Аршинов — автор нескольких хороших книг по радиотехнике. Известный профессор электротехники Иван Черданцев, преподававший в Московском энергетическом институте. Мне довелось прослушать несколько его лекций по векторному и тензорному анализу; читал он их прекрасно, самые трудные и запутанные вопросы излагал очень легко и просто. Петр Петрович Литвинский — до ареста один из руководителей ленинградского института, занимавшегося так же, как Остехбюро, управлением механизмами по радио, но на других принципах.

Заключенные-специалисты занимали в лабораторном корпусе две комнаты, охрана — одну. Еду приносили из какой-то столовой. Внутри здания мы были свободны, охрана

стояла у входа. Такой порядок объяснялся необходимостью для нас бывать в разных лабораториях и мастерских, не бегать же охране за нами.

В одной из лабораторий, в которой мне приходилось бывать, работала техником по вольному найму молодая девушка по имени Алиса Федоровна. У нее были большие темные глаза, молодой задор, веселый нрав. Естественно, что после нескольких лет монашеской жизни мне доставляло большое удовольствие, бывая в этой лаборатории, перебрасываться с Алисой двумя-тремя словами. Постепенно мы начали подолгу болтать с ней о разных разностях. Она была мила, остроумна и приветлива. Мне было с ней интересно, мы становились все ближе друг к другу.

Короче, мы радовались нашим встречам.

Я предложил начальству параллельно с разработками, которые я вел, выполнять и научно-исследовательскую работу. Предложение было принято, работа шла успешно, время от времени я докладывал ее результаты на инженерном совете, с эффектными демонстрациями.

Кажется, в конце 1943 года было принято решение о возвращении лаборатории в Подмосковье. Это был длительный процесс: упаковка приборов и другого оборудования, погрузка, переезд, разборка ящиков с приборами, расстановка их по местам и т. д. Рано или поздно, но работы, производившиеся в Свердловске, нашли свое продолжение под Москвой. А через некоторое время возобновились и мои встречи с Алисой; мы остались такими же беспечными, какими были в Свердловске. Но нас выследили, и в ту же ночь я оказался в Бутырской тюрьме, в одиночной камере. Так закончился мой «тюремный роман».

Мне предстояло провести в одиночной камере несколько суток. Каждую ночь меня вызывали к следователю; он требовал от меня признания в связи с Алисой, а я изображал из себя рыцаря и не признавался. Никаких насилий ко мне не применялось, просто он пилил меня тупой пилой своих вопросов каждую ночь, с вечера до утра.

Через несколько ночей что-то во мне сломалось, я был готов подписать все что угодно. Следователь сразу обнаружил мое состояние: кроме протокола допроса с требуемым признанием он заставил меня подписать и обязательство вести наблюдение за моими соратниками — заключенными-специалистами, а также за начальством. Иными словами, из меня сделали «секретного сотрудника».

Как это могло со мной произойти? Не может быть, чтобы этого добился следователь — нудный человек без всякой творческой фантазии. Скорее всего, мои терзания, вместе взятые, ослабили мою волю к сопротивлению злу. Утешением для меня явилось только твердое намерение немедленно по возвращении в лабораторию отказаться от новых функций.

Когда бумаги были мною подписаны, меня отправили в карцер «за нарушение правил внутреннего распорядка в лаборатории» на двое или трое суток, не помню точно. Карцер — одиночная камера площадью примерно один на три метра, находящаяся в подвале, сырая и холодная, без окон. Койка прикреплена к стене, на день она подымается и запирается, остается одна табуретка. Постоянно светится маломощная лампочка. Питание — хлеб и вода. Для меня карцер не был большим наказанием, я знавал условия и похуже. Мне было в нем спокойно, можно было обдумать происшедшее. Я понял, что наши отношения дозволялись для того, чтобы заполучить от меня эту подлую бумагу. Я был им нужен потому, что в связи с выполняемой работой встречался с начальством гораздо чаще, чем другие заключенные-специалисты.

Как аннулировать подпись? Карцер был очень удобным местом для обдумывания моего заявления руководству лаборатории, так как в нем никто не мог мне помешать. По окончании срока меня перевезли обратно в лабораторию (работать-то надо было!). Я тут же написал заявление, его отправили генералу Валентину Александровичу Кравченко, командующему всеми лабораториями. Он приехал очень скоро, вызвал меня и начал говорить речь. Он был таким же мастером лжи и лицемерия, как Гольдштейн в Ленинграде, а может быть, и более искусным, судя по чину. При произнесении таких речей по существующим правилам нельзя было ни возражать, ни подавать реплики, надо молча слушать, так как в противном случае будет хуже. Основной идеей речи Кравченко было положение: «Мы едины!», то есть мне никак не могли поручить слежку за ним. Однако никакие, даже самые искусные речи не могут отменить фактов. В конце своей речи он сказал, что подписанная мною бумага аннулирована, что мне и требовалось. Кроме того, он сообщил мне, что Алису Федоровну «проработали» на комсомольском собрании, исключили из комсомола «за связь с врагом народа» и уволили из лаборатории. Я никогда больше ее не видел.

Между тем в лаборатории появилась еще одна тема «научной работы»: изготовление сувениров для Сталина. У нас служил техник-лейтенант Быков, высокий, полный молодой человек с круглым лицом. И хотя у него были пухлые, короткие пальцы, он ловко делал очень изящные вещи, притом из любого материала: металла, камня, дерева,

пластмассы. Нашей задачей была разработка какой-либо электрической схемы, а элегантное оформление ее обеспечивал Быков. Мне, например, была поручена разработка карманного приемника первой программы радиовещания. Быков поместил его в коробку из пластмассы наподобие портсигара, с закругленными краями и углами, терракотового цвета, с надписью золотыми буквами: «Говорит Москва».

Срок моего заключения заканчивался 22 сентября 1945 г., и 21 сентября меня перевезли в Бутырскую тюрьму и посадили в одиночную камеру. Замечу, что Шаховской получил всего 5 лет и должен был освободиться в начале 1942 г., но был задержан на время войны и просидел в результате более 8 лет. Меня задержали только на 8 дней и выпустили 30 сентября.

Перед отправкой меня из лаборатории мне предложили остаться там «по вольному найму». Я согласился, так как трудно было с моей судимостью найти другую работу. К этому времени около лаборатории было построено несколько двухэтажных деревянных жилых домов (силами немецких военнопленных). Мне выделили комнату в одном из этих домов, и началась моя «вольная» жизнь.

НА СВОБОДЕ

В первые же дни моей работы «по вольному найму» меня вызвал к себе генерал Кравченко и сказал:

— Только не изобретайте. Говорят, вы знаете иностранные языки,— вот и читайте зарубежную техническую литературу, заимствуйте из нее самое интересное, но сами не изобретайте.

Меня очень интересовало: его эта идея или установка, данная свыше, но спрашивать было бесполезно: все равно правды не скажет. Так этот вопрос и остался открытым.

В лабораториях МГБ существовала очень сложная табель о рангах: аттестованные партийные, аттестованные беспартийные, вольнонаемные — партийные и беспартийные, вольнонаемные с судимостью, заключенные-специалисты. Кроме того, аттестованные различались по воинским званиям и все (кроме заключенных) — по должностям. Я был научным руководителем большой и сложной работы, в которой участвовали несколько лабораторий с сотрудниками, занимавшими буквально все ячейки этой табели о рангах, вплоть до партийных полковников. Конечно, такие сложные взаимоотношения не способствовали успешной работе, но я старался не обращать на них внимания. Начальство начало уже намекать на Государственную премию.

Одновременно я подготовил кандидатскую диссертацию и успешно защитил ее в Московском энергетическом институте. Мне стали выплачивать «кандидатскую надбавку». А поскольку мне приходилось решать много оригинальных проблем, я начал подготавливать докторскую диссертацию.

В то время многие сотрудники лаборатории стремились к разработке диссертаций. У нас появился сын Берии — Серго, молодой человек, очень красивый, но как-то не по-мужски: черные глаза с поволокой, густые брови, нежный румянец на щеках, ярко-красные губы. За девичью красоту и цвет лица он получил у сотрудников прозвище Пэрсик. В лабораториях МГБ он бывал в связи с кандидатской диссертацией, в подготовке которой ему помогал один из руководителей лаборатории, известный специалист по радиотехнике, доктор технических наук инженер-полковник Павел Николаевич Куксенко.

У Пэрсика был приятель, вместе с ним кончавший вуз, сын заместителя Берии Меркулова. Ему тоже хотелось получить ученую степень кандидата технических наук, но, по возможности, без труда. Поэтому руководство лаборатории несколько раз намекало, что мне было бы очень выгодно написать для этого молодого человека кандидатскую диссертацию, однако я намеков не понял, и сделка не состоялась.

По-видимому, общий интерес к получению ученых степеней привел Берию к мысли об использовании их в качестве премиального вознаграждения. Когда одна из лабораторий выполнила работу, которая ему понравилась, он заготовил записку за подписью Сталина к председателю Высшей аттестационной комиссии (ВАК) С. В. Кафтанову о присвоении нескольким сотрудникам лабораторий МГБ докторских и кандидатских степеней. Так, один инженер-полковник с незаконченным высшим образованием должен был получить ученую степень доктора технических наук, а техник, не имеющий среднего образования,— кандидата технических наук. Сталин эту записку по просьбе Берии подписал, о чем стало известно в лаборатории. Жена этого техника, взволнованная перспективой стать супругой ученого и, следовательно, ученой дамой, отправилась к Кафтанову, чтобы поторопить события. Кафтанов принял ее очень любезно и сказал:

— Зря вы беспокоитесь, когда мы видим эту подпись, мы не рассуждаем, а только выполняем. Подготовка документов требует некоторого времени, ваш муж получит свой диплом через несколько дней.

И действительно, все сотрудники, награжденные учеными степенями, получили от

ВАК дипломы в красивых переплетах и, естественно, организовали соответствующий банкет.

Серго же успешно защитил свою кандидатскую диссертацию в каком-то вузе. Ученый совет присвоил ему ученую степень кандидата технических наук единогласно. В результате Пэрсик стал называться Серго Лаврентьевичем, его назначили начальником большого конструкторского бюро по военной технике, П. Н. Куксенко был произведен в генералы и занял должность главного инженера этого конструкторского бюро.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и рассмотреть «еврейский вопрос». Я не забыл еще, как это происходило в бывшей Российской империи: его величество самодержец Всероссийский, царь Польский, князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая в какой-либо из своих речей провозглашал (конечно, по бумажке): «Да здравствует великий русский народ!»

Эта здравица переводилась Союзом русского народа, Союзом Михаила Архангела и другими черносотенными организациями лозунгом «Бей жидов, спасай Россию!», после чего начинался погром.

Я должен сказать, что за все время моего пребывания в заключении я ни разу не замечал никаких проявлений антисемитизма: ни в камерах, ни на допросах, ни в лагерях, ни в лабораториях. Евреи встречались и среди заключенных, и среди следователей, и среди урок и ничем не выделялись из остальных, и никто их не выделял. Правда, я их не встречал среди надзирателей, которые, судя по акценту, обычно были украинцами, но, вероятно, это было случайным явлением.

Но вот в конце 1949 или начале 1950 года Сталин в одной из речей произнес ту же сакраментальную фразу: «Да здравствует великий русский народ!»

Сталин успел пожить при царизме, прекрасно знал перевод этой фразы и произнес ее совершенно сознательно. Конечно, настоящих погромов с выпусканием пуха из перин у нас не устраивали. Просто начали увольнять евреев из всех засекреченных учреждений «по сокращению штатов». Действовали при этом очень жестоко: один майор у нас в лаборатории жаловался мне, что его сократили за несколько дней до «выслуги лет», чем была резко уменьшена его пенсия.

Высшая аттестационная комиссия стала лишать евреев кандидатских и докторских степеней, выискивая для этого различные формальные поводы. Лишили кандидатской степени и меня. Я поехал было объясняться в ВАК, но, увидев стоящую на улице очередь из одних евреев, понял, что это бесполезно, и стоять в очереди не стал. А. И. Берг, к которому я обратился и который был членом ВАК и знал меня очень хорошо по прежним моим работам, сперва возмутился и взялся помочь мне, но ему разъяснили ситуацию, и он сказал: «Нельзя воевать с ветряными мельницами!»

В результате меня не только лишили «кандидатской надбавки», но стали вычитать и полученную мною ранее. Это было незаконно, но в МГБ профсоюзной организации не было и трудовые законы не соблюдались. Увольнять же меня не стали, чтобы, как это потом стало ясно, я закончил важную для МГБ разработку. Хотя я уже не был кандидатом, начатую мной докторскую диссертацию я продолжал писать и закончил ее в 1952 г. Подавать к защите мне ее не пришлось, она осталась в сейфах МГБ, но какую-то пользу принесла, так как впоследствии мне позвонили и сообщили о найденной в ней ошибке. Ведь для того, чтобы найти ошибку в научном труде, недостаточно прочитать его: необходимо его изучить. Поэтому я и делаю вывод, что моя непредъявленная к защите докторская диссертация не оказалась бесполезной.

В конце 1952 или начале 1953 г. результаты руководимой мною важной работы изучались различными отделами МГБ и были одобрены. Тут мне принесли приказ — нет, не о премировании, а об увольнении по сокращению штатов: антиеврейская кампания вторично докатилась до меня. Однако вскоре мне позвонили и сказали, чтобы я никуда не поступал, так как меня примут обратно. В таком взвешенном состоянии я прожил до августа 1953 г., когда встретил на улице Б. И. Преображенского. Он был начальником Московской телевизионной филиал-лаборатории и пригласил меня на работу в качестве старшего инженера.

Тематика для меня была новой, телевидением я раньше не занимался, но учиться никогда не поздно, и я дал согласие. Необходимо было позвонить в МГБ: они не возражали против моего поступления в МТФЛ и даже предложили мне переправить запись об увольнении в моей трудовой книжке на август 1953 г., чтобы я не терял стажа работы.

Работа в МТФЛ была очень интересной, мне удалось достаточно скоро освоить новую область техники, и в 1955 году я был назначен начальником группы из 60 сотрудников: мы курировали все отечественные заводы, выпускавшие телевизоры. В том же году меня вызвали в прокуратуру Москвы и заявили: «Вы совершили преступление, но наказание отбыли, работали добросовестно, и судимость с вас снимается».

Меня это не удовлетворило, я не считал себя виновным в каких-нибудь преступлениях и подал военному прокурору соответствующее заявление. В 1957 г. меня вызвали в милицию (поздно вечером!) и вручили справку на бланке с красной звездочкой Военного трибунала Ленинградского военного округа с датой 28 февраля 1957 г. за номером 135н/1463 следующего содержания:

«Дело по обвинению гражданина ЭФРУССИ Якова Исааковича пересмотрено Военным трибуналом Ленинградского военного округа 20 февраля 1957 года.

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июля 1939 года в отношении гражданина ЭФРУССИ Якова Исааковича, рождения 1900 года, уроженца города Одессы, ОТМЕНЕНО и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Зам. председателя ВТ ЛенВО
полковник юстиции
(Ананьев)».

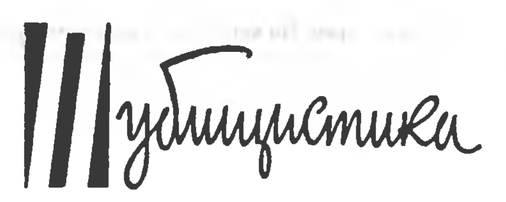
Итак, весь цикл моего отлучения от нормального человеческого существования продолжался двадцать лет. Я не хочу сказать, что эти годы были мною целиком потеряны. Кое-какие полезные разработки были мною выполнены в Остехбюро, в НКВД, в МТФЛ, хотя в других условиях мне удалось бы, вероятно, сделать намного больше. Но это — незначительные потери. От уничтожения же ряда талантливых инженеров, которым не надо было догонять зарубежную технику, так как они шли впереди нее, пострадала вся страна. Одни только сотрудники Остехбюро, в том числе Бекаури, который был в расцвете творческих сил, много бы еще дали стране для повышения ее обороноспособности. Но такие же талантливые люди были уничтожены и в других институтах и на заводах. Ведь НКВД выбирало для ареста наиболее инициативных, эффективно работающих специалистов. Правда, некоторое количество выдающихся специалистов было сохранено в тюремных конструкторских бюро, но процент их был невелик, да и отдача была пониженной: птица в клетке поет хуже, чем на воле.

За рубежом было известно во всех подробностях об уничтожении руководящих кадров в партии, промышленности, армии (прибывшие из США заключенные уверяли меня, что в американских газетах печатались списки арестованных в СССР). Поэтому Гитлер имел все основания считать, что нас можно победить без больших усилий. Он никак не мог ожидать, что наш народ, претерпев неимоверные страдания и потери, допустив фашистов к Кавказу и к сердцу нашей родины — Волге, найдет в себе силы вырастить новых полководцев взамен репрессированных, создать новую военную промышленность на востоке страны и, в конечном итоге, разгромить фашистские полчища. Как же ответить на вопрос: двинул бы Гитлер свои войска на СССР, если бы не было этого уничтожения кадрового состава и все полковники, командиры корпусов и армий, а также руководители промышленности, в том числе военной, оставались на своих местах? Не исключено, что он не решился бы на войну с СССР и что мы не потеряли бы 20 миллионов человек. А отсюда следует, что совесть организаторов арестов отягощают не только несколько миллионов ликвидированных и репрессированных, но и 20 миллионов погибших во время войны.

Впрочем, если бы Гитлер все-таки решился на войну с СССР, то его войска встретили бы армию, руководимую опытными командирами, оснащенную современным вооружением и готовую к бою. Вряд ли в этих условиях фашистам удалось бы пройти в глубь страны, следовательно, и в этом случае она не потеряла бы 20 миллионов своих граждан.

Чтобы закончить мою личную историю, скажу, что третью кандидатскую диссертацию я защитил в 60-х годах и что никто не пытался лишить меня кандидатской степени. Это не было очень трудным делом: чем больше защищаешь диссертаций, тем это становится легче. Правда, на вторую докторскую диссертацию у меня уже энергии не хватило. В середине 1987 года я стал пенсионером, что и дало мне возможность заняться этими грустными воспоминаниями. Если измерять жизнь числом прожитых лет («мои года — мое богатство»), то я очень богат. Я еще богаче, если оценивать ее количеством пережитых событий и полученных впечатлений, позитивных и негативных, и если учесть к тому же множество знакомств с интересными людьми. Но я не могу забыть моих талантливых соратников по работе в Остехбюро в 20-е и 30-е годы, бессмысленно уничтоженных в 1938 году, вместе со многими-многими, может быть, не менее талантливыми людьми, работавшими в других организациях. Это преступление простить нельзя.

Москва. 1987 г.



За мир без ядерного оружия

Ю. А. Медведев

И ВНОВЬ ПРАВДА, КОТОРАЯ ВО ВРЕД?

Еще в конце минувшего года журналист Ю. А. Медведев, публикуя откровенные размышления физиков-атомщиков о ситуации с атомной энергетикой у нас в стране, не решился назвать этих ученых. Материал в журнале «Энергия» (1990, № 9) напечатан под рубрикой «Анонимное интервью» из опасений, что «карательные меры» осложнят судьбу и самих ученых, и тех работ по созданию безопасных АЭС, которыми они занимались.

Но в последнее время поиски экологически безопасных источников энергии объединили страны мира. Многие тайны рассекречены. Конструктивные размышления, даже самые полемические, теперь насущно необходимы обществу. Оно нуждается в умных, смелых и компетентных людях. И потому мы представляем вам собеседников Ю. А. Медведева — это начальник отдела безопасности ядерных реакторов Института атомной энергетики имени И. В. Курчатова Владимир Григорьевич Асмолов и его коллеги, физики Олег Яковлевич Шах и Владимир Константинович Сухоручкин.

«Ваша статья, кроме вреда, ничего не принесет! — сказал мне один из ученых-ядерщиков, с кем я беседовал при ее подготовке.— Прежде всего, она повредит делу. «Наверху» она вызовет возмущение, и нашим работам, которые только начинают сдвигаться с мертвой точки, перекроют кислород. Но еще больший вред статья принесет народу. Он и так запутался, ожесточился, боится всех и вся. Но у него хотя бы есть ясность, что ядерная энергетика — это очень плохо, он видит врага и борется. Все ваши рассуждения, взвешивание «за» и «против» будут восприняты как запудривание мозгов. Человек устал, ему надоели разговоры. Чтоб спокойно думать, нужны вековые демократические традиции и сытый желудок. У нас ни того, ни другого. Так что не пишите эту статью, не озлобляйте народ».

Вот такое мнение. Что же, опять правда во вред? Но ведь мы так жили все 70 лет. «Наверху» слышали лишь то, что хотели слышать: у нас все отлично, народ и партия едины. Народу твердили, в каком социалистическом раю он имеет счастье жить, и он, вдохновленный этими картинами, пел: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Интересно, сколько еще лет идеологические Кашпировские могли внушать народу, что ему хорошо, а скоро будет еще лучше? Думаю, долго. Но, на их беду, душок от загнивания Запада проник и в наши стерильные края и так ударил в нос, что стали мы прозревать. Настала эпидемия всеобщего прозрения! Но где же мы были раньше, когда эти отщепенцы, эти враги и предатели, эти чертовы диссиденты во главе с Сахаровым пытались сказать нам правду? От них бежали, как от чумы! И мы осуждали, не зная, за что, клеймили, не читая.

Но сегодня мы уже абсолютно уверены, что прозрели. Нас раздражают те, кому еще вчера верили, теперь мы слышим лишь то, что хотим услышать. Мы уверены, что это и есть власть народа, а он, как известно, всегда прав!

Медведев Юрий Александрович (род. в 1946 г.) — член Союза журналистов, автор целого ряда работ, связанных с проблемами экологии и энергетики. Живет в Москве.

Народ, конечно, прав! Но когда мы слышим только себя, когда нами правят эмоции,— разве мы народ? Мы — толпа! Ведь народ — это прежде всего разум. А он замешан на правде и знаниях.

Но как трудно не поддаться эмоциям, когда слышишь слова матери из Белоруссии, у которой после чернобыльской аварии заболели дети, или «ликвидатора», над которым издевается наша медицина. И все-таки у нас нет иного выхода, кроме власти над эмоциями, иначе они приведут в тупик еще более глухой, чем тот, в котором ныне находимся. Это только кажется, что хуже некуда.

Чтобы не скатиться в хаос, чтобы страной не правил митинг, нужны правда и знания, какими бы неудобными они вначале ни казались.

* * *

— Существует такой взгляд на ядерную энергетику. Наша страна с ее уровнем экономики, технологий, культуры труда — а сегодня, как мы увидели, и просто культуры взаимоотношений и дискуссий — не имеет права использовать такую тонкую и опасную технологию, как ядерная энергетика. Мы не доросли до нее.

Поэтому давайте остановимся, займемся тем, что нам по зубам, где вред от вашей бесхозяйственности и безответственности будет наименьшим. А потом, если «повзрослеем», рассмотрим вопрос и об ядерной энергетике, тем более, что за это время Запад почти наверняка сумеет сделать ее практически безопасной.

— Если бы речь шла о риске только в ядерной энергетике, можно было бы подписаться под Вашими словами. Ведь Чернобыль — творение рук советского человека, поэтому правильно говорят, что взорвалась не станция, а система! Но самое страшное, что вся эта фантасмагория, аварией не закончилась. Разве может нормальный человек понять, зачем надо было срочно, когда разрушен четвертый блок, пускать первый и второй? Ради этого гнали на очистку крыши молодых солдат и после нескольких минут облучения отправляли домой. Да американцы после аварии на «Тримайл Айленд» к станции несколько лет не подходили, ждали, когда спадет радиация.

А кому был нужен флаг над Чернобыльской АЭС? Ведь цена этого идиотизма руководителей — жизнь людей.

— По-моему, и то, как мы ликвидируем последствия аварии сегодня,— из той же оперы. Вся эта путаница с картами загрязнения, с критериями отселения, непоследовательность наших медиков и руководителей привели к тому, что психологический стресс стал опасней, чем сама радиация. Слышал даже такую горькую шутку: если бы мы ничего не предпринимали для ликвидации последствий, они были бы куда меньше.

— Во многом это верно. А Вы знаете, кому больше всего благ принесла катастрофа? Минатомэнергопрому. Ведь на ликвидацию ему отвалили кучу денег. Получается, что авария ему просто выгодна. В нормальном государстве это в голове не укладывается, а у нас — в порядке вещей.

Пока Минатомэнергопром будет оставаться монополистом, который сам проектирует АЭС, строит, себе же их продает и сам эксплуатирует, у нас станции будут взрываться. Это же настоящий монстр, замыкающий все на себя. Но попробуйте найти виновников катастрофы. Их нет, все только кивают друг на друга. Такое не снилось никаким «Вестингаузам», ведь любая компания на Западе, виновная в подобной аварии, просто обанкротилась бы.

— Значит, Вы согласны, что ядерную энергетику надо закрыть до лучших времен?

— Давайте закроем развитой социализм как абсолютно нелогичную систему. Это, конечно, эмоции, но, действительно, нашу страну умом не понять.

— Экономисты С. Шаталин и Н. Шмелев вполне серьезно утверждают, что в экономике мы построили сумасшедший дом и живем по законам сумасшедшего дома. Однако вернемся к ядерной энергетике. Что с ней делать? Ждать, когда терапия рынка, как многие надеются, все расставит на свои места, выбрав здоровое и отбросив вредное? Но даже если такое чудо случится, то сколько понадобится времени? Дотянут ли нынешние АЭС до очередного «светлого завтра», ведь они, насколько мне известно, не отвечают новым требованиям безопасности?

И вообще, можно ли в принципе создать АЭС, которая никогда не взорвется? Вот, пожалуй, два главных вопроса, которые волнуют людей.

— Крупнейшие западные экономисты опускают руки, они не могут найти выход из тупика, в котором оказалась наша экономика. Точно такое же положение и с ядерной энергетикой, она тоже в тупике. Поэтому нет у меня рецептов, могу лишь взвешивать «за» и «против».

Начнем с действующих АЭС. Что с ними делать? Если оценивать их по западным меркам, то только по одной причине — отсутствию защитных колпаков — многие надо закрывать. А это 20 с лишним энергоблоков.

— Предположим, Вы сообщаете об этом в Совмин, на что следуют вопросы: «А как кормить народ? Как пережить зиму?»

— Мы сами себе их задаем. Ведь одна буханка — это 1 киловатт-час! Ясно, что вот так сразу отказаться от этих энергоблоков нельзя, это катастрофа. Кстати, знаете, что в Арме-

нии уже все настойчивей раздаются голоса за открытие АЭС? Люди почувствовали, что такое жизнь без энергии.

— Значит, с одной стороны — нехватка энергии, с другой — второй Чернобыль? Где же выход?

— Идти по грани. Надо попытаться действующие АЭС довести, где возможно, до приемлемого уровня безопасности с помощью уже существующей техники. Кроме того, эксплуатировать их как военные объекты.

Далее. На тех блоках, которые достраиваются, необходимо сделать дополнительные барьеры безопасности. Скажем, пространство под реактором залить слоем бетона в 6 м, установить фильтры для улавливания при аварии радиоактивных аэрозолей. Те АЭС, где не сумеем достичь приемлемого риска,— закрыть!

— Что такое приемлемый риск?

— Приемлемой считается вероятность самой тяжелой аварии 10^{-5}/реактор · год, то есть для нынешних масштабов советской атомной энергетики одна авария за 20 000 лет, а вероятность выхода продуктов деления за пределы АЭС — 10^{-7}/реактор · год.

— Здесь мы подошли, пожалуй, к одному из самых больных вопросов АЭС — понятию риска. Его многие не понимают, а потому он вызывает споры и эмоции. Прежде всего объясните, какая самая тяжелая авария допускается с такой вероятностью?

— Расплавление активной зоны. Но важно понять: расплавление зоны — это еще не выброс активности в окружающую среду. Например, на АЭС «Тримайл Айленд» зона расплавилась, но выброса не произошло, его задержал колпак.

Так вот, необходимо, чтобы при самой тяжелой аварии доза на расстоянии 25 км от станции не превысила 10 бэр по внешнему облучению и 30 бэр на щитовидную железу. Это соответствует выбросу 3 тыс. кюри по цезию и 30 тыс. кюри по йоду.

— А почему это самый худший вариант? Почему не может быть выброс, как в Чернобыле: 1 млн кюри по цезию и около 10 млн кюри по йоду?

— Дело в том, что за основу взята не величина выброса, а допустимые дозы — а это 10 и 30 бэр — и расстояние. А они пересчитываются в допустимый выброс. Логика здесь такая: надо создать технические средства, чтобы выброс ни при каких условиях не оказался больше названных 3 тыс. и 30 тыс. кюри.

— Но почему тогда в основу положены дозы 10 и 30 бэр?

— На основании международных рекомендаций считается, что при таких дозах не требуется проводить никаких профилактических мер, то есть это предел безопасности, при котором людей не надо отселять.

— А как быть с теми, кто живет ближе 25 км? Ведь они получат больше.

— Доза на расстоянии 8—10 км — а это минимальное расстояние до города, где живет персонал станции — при самых плохих условиях не должна превышать 100 бэр на щитовидку. При своевременной профилактике это не опасно, но, конечно, людей с загрязненных территорий надо отселять. Чтобы сделать это быстро, численность в зоне 25 км не должна превышать 200 тыс. человек.

— Понятно. А что за специальная техника должна быть на реакторе, чтобы обеспечить такие выбросы при самой тяжелой аварии?

— Назову лишь основные. Это защитная оболочка, это ловушка расплавленной активной зоны, это система дожигания водорода, это фильтры.

Теперь о некоторых из них чуть подробнее. Например, чтобы не рванул водород, нужна специальная система, которая должна его сжигать, если он появится под колпаком, то есть он будет не взрываться, а тихо сгорать.

Зачем фильтры? Представьте, произошла авария, реактор «коптит», давление под колпаком растет. Чтобы не допустить его разрыва, давление надо выпустить, но при этом задержать радиоактивные продукты, что и делает фильтр. Коэффициент очистки сегодня составляет 10 000 ÷ 100 000.

— Если в Чернобыле без колпака выброс был около 10 млн кюри по йоду, то фильтр снизит его до 1000, что меньше допустимых 30 тыс. Понятно. Вы сказали, что надо попытаться довести риск аварии с такими последствиями до вероятности 10^{-7}/реактор · год. Но как доказать, что он именно такой?

— Для этого проводится вероятностный анализ безопасности. Его суть в следующем. Строится дерево событий, которое описывает все, что может произойти в системе. При этом просматривается, как каждый элемент влияет на общую безопасность АЭС.

Такой анализ позволяет выявить в системе слабые места, которые делают риск аварии уже неприемлемым, скажем, поднимают его до 10^{-2}.

— Выявили. И что же дальше?

— Создаются специальные средства, чтобы это слабое место исключить. Конечно, чтобы проводить подобный анализ, надо знать, с какой вероятностью отказывают отдельные элементы, применять для расчетов ЭВМ. Ведь дерево событий имеет около миллиона сценариев, каждый из которых надо просчитать.

— Все это впечатляет, но почему же произошел Чернобыль?

— Тогда вероятностный анализ безопасности никто не делал. Собрались специалисты, придумали, исходя из имевшегося опыта, около 30 наиболее вероятных сценариев аварий,

увидели, что ничего страшного нет, и успокоились. Такого хода событий, как в Чернобыле, никто не предусматривал. Анализ же на ЭВМ тем и отличается, что не пропустит ничего, ни одного элемента, учтет и ошибки человека.

Кстати, перед оператором на экране обязательно должно быть дерево событий, о котором мы говорили. Он будет видеть: вышел из строя такой-то клапан — вероятность аварии возросла на столько-то, хочет оператор провести какую-то операцию — вероятность изменится так-то.

— Ну хорошо, давайте пока остановимся, а то мы окончательно запутаем читателя. Как я понял, главный вывод такой: ваши расчеты дают полную гарантию, что даже самая тяжелая авария, если и произойдет, то с вероятностью не выше, чем 10^{-5}/реактор · год. События не могут развиваться иначе, чем предусмотрено в этом гигантском дереве. Оно охватывает все, что может произойти в реакторе. Неожиданности невозможны?

— Невозможны!

— Но почему Вы все время говорите в будущем времени? Разве вероятность аварии еще не доказана?

— У нас нет таких расчетов. Американцы ведут эти работы с 1971 г., нам же, когда в 1977 г. мы пытались их начать, говорили: «Какой риск, какие вероятности? Это что — перемножить два числа? Да я вам их за рубль перемножу!» Вот уровень компетентности.

Мы с Вами говорили, что надо создавать ловушки, фильтры и т. д. Но для этого нужны большие деньги, ведь за рубль безопасную АЭС не сделаешь, надо решать массу технических проблем. Программа по созданию такого безопасного блока уже три года лежит в Совете Министров, но денег на нее никто не выделяет. А требуют: дайте безопасную АЭС!

— Это еще один очень важный вопрос. Вы сказали, что вероятность аварии 10^{-5}/реактор · год является приемлемой. Но для кого? Для населения вряд ли. Ведь оно требует абсолютной безопасности, «докажите, что никогда не взорвется!» Значит, людям что 10^{-5}, что 10^{-20} — одно и то же. Логика простая: раз есть вероятность, следовательно, может взорваться завтра.

Может, поэтому в Совмине не торопятся выделять деньги на реакторы с повышенной безопасностью? Зачем тратить их впустую, если население все равно не даст строить АЭС?

— Мы долгие годы жили в мире абсолютов, у нас было два цвета: белый и черный, наш — не наш. И все потому, что «верхи» вроде бы думали, «низы» вроде бы исполняли.

Сегодня картина иная, люди почти ничему и никому не верят. Но с ядерной энергетикой ситуация парадоксальная, а вернее, тупиковая: с одной стороны, звучит требование — дайте абсолютно безопасную АЭС, а с другой — совершенно ясно, что даже если мы скажем — эта станция никогда не взорвется,— никто не поверит.

Конечно, требование создать абсолютно безопасную АЭС — абсурд. Нет в мире ничего абсолютного. Даже дом, в котором мы живем, имеет определенную вероятность рухнуть завтра. Не говоря уже о самолете. Но на них летают, в домах живут.

Мы вообще живем в мире, где все относительно, где много риска, причем он постоянно меняется. Вы вышли из дома и сели в машину — риск вырос, едете в дождь, да еще в час пик — он стал еще больше.

Сейчас модно проклинать технический прогресс, мол, он доведет человечество до гибели. Да, раньше воздух был чище, продукты без химии, но почему-то человек жил меньше. Значит, прогресс со всеми своими «вредностями» все-таки продлевает жизнь. Конечно, за ним тянется целый шлейф недостатков, но ведь «плюсов» без «минусов» не бывает. Однако на этом основании отрицать прогресс, по меньшей мере, неразумно.

— Страшит, что «минусы» приобретают глобальный характер, поэтому и хочется остановиться.

— Во-первых, просто остановиться — нельзя. Можно идти либо вперед, либо назад. Во-вторых, сегодня, как никогда, нужен спокойный разум. Только он — гарантия, что выход будет найден. А шарахаться, в пылу эмоций что-то закрывать, запрещать или, наоборот, срочно разрешать — почти наверняка ошибиться.

Ну, вот вам пример. Вы знаете, какая борьба идет против концепции 35 бэр, которая после чернобыльской аварии принята как критерий для отселения. Медики, много лет занимавшиеся радиобиологией, пишут, что это для человека безопасная доза, а их обвиняют во вредительстве, геноциде, называют даже полуфашиствующими ублюдками. Но дело даже не в словах. Откроем газету «Приазовский рабочий». Там местный ученый сообщает, что выбросы с металлургических заводов города по своему воздействию эквивалентны 180 бэр за 15 лет. И никакого шума, людей никто не собирается отселять, и о фашистах ни слова.

Я не собираюсь вступать в дискуссию о концепции 35 бэр, так как не медик, хочу лишь сказать, что нельзя видеть что-то одно, раздувать его до невероятных размеров и в то же время умирать от другого, не замечая его.

Эмоции, полусознание, страх искажают зрение. Это напоминает блуждание в ночном лесу. Вы ничего не видите, не понимаете, что вокруг,— вам страшно, простое дерево кажется чудищем, малейший звук — громом. Чтобы вернуть нормальное зрение, необходима наука, надо научиться взвешивать все риски и выбирать оптимальный.

— Человек, на которого обрушивается очень много критики, директор Ленинградского НИИ

радиационной гигиены П. В. Рамзаев, повторяет одно и то же: при сегодняшних дозах радиации около 1 бэр в год в зонах, подверженных чернобыльской аварии, никаких заболеваний, достоверно связанных с радиацией, возникнуть не может. Главную опасность представляет не столько радиация, сколько страх перед ней. Кроме того, при таких дозах куда опасней для здоровья стресс от переселения.

Но, с другой стороны, есть свидетельства врачей из пострадавших районов, писателей, публицистов, есть глаза людей, живущих там, их слезы. Все это «кричит» против Рамзаева. Да, казалось бы, надо истратить 20 или 50 миллиардов, только чтобы помочь этим людям, увезти их оттуда.

Когда слушаешь обе стороны, порой мелькает мысль: неужели Рамзаев и другие медики настолько бесчеловечны? А если они правы? И дело даже не в деньгах, а в сотнях тысяч людей, которым честные, страстные, но некомпетентные и эмоциональные борцы могут исковеркать жизнь. Эти сомнения усиливаются, когда читаешь, что зарубежный врач, побывавший в Чернобыле от организации «Врачи мира», говорит: опасения местных жителей, связанные с последствиями Чернобыля, чрезвычайно преувеличены.

Нет, и не хочу, чтобы мы сейчас обсуждали Чернобыль, просто говорю о своих сомнениях.

— Конечно, ядерная энергетика не подарок, и об этом надо честно сказать. И если бы стояла задача ее закрыть, уверяю, мы могли бы сделать это квалифицированней любого Бориса Куркина. Но когда начинаешь изучать вред от других технологий, сравниваешь общий риск для жизни, выясняется, что без АЭС может быть еще хуже.

Какая альтернатива на ближайшие 50 лет? Уголь и газ. Не будем даже брать выбросы серы и азота. Но сколько проблем от роста углекислого газа и сжигания кислорода! В мире уже говорят о договоре, по которому каждой стране будет определена квота на выбросы углекислоты, чтобы хоть как-то сдержать парниковый эффект.

По оценкам специалистов, увеличение сжигания органического топлива приведет к тому, что содержание кислорода в атмосфере через 100 лет снизится почти в два раза. Значит, надо считать, как все это скажется на жизни человека, то есть уметь взвешивать разный риск.

Можно, конечно, завтра же закрыть АЭС, но учтите, что это сегодня у нас одна из наиболее развитых отраслей, во всяком случае, отставание от мирового уровня здесь меньше, чем в других сферах. Не получится ли так, что, закрыв ядерную энергетику, разогнав кадры, мы повторим ошибку с кибернетикой и генетикой? Ведь мир пока ничего не закрывает, он ищет способы сделать АЭС более безопасными. Мы же, поддавшись эмоциям, хотя и вполне понятным после Чернобыля, закроем наши АЭС и отстанем от Запада навсегда.

— А какую вероятность аварии считают приемлемой на Западе?

— Называется та же цифра $10^{-6} \div 10^{-7}$/реактор · год. Но еще и еще раз повторю: это вероятность не Чернобыля — его в принципе быть не должно, что требуется доказать анализом. Это вероятность аварии с выбросами 3 тыс. кюри по цезию и 30 тыс. кюри по йоду. Не сумеем доказать — ядерную энергетику надо закрывать.

Кстати, почему на Западе вкладывают сегодня десятки миллионов долларов именно сюда, почему возятся с ядерной энергетикой, хотя и у них есть люди, требующие: «Дайте нам столько, сколько вы вкладываете в АЭС, и мир получит дешевую энергию Солнца и ветра!»? Но в том-то и дело, что не получит. Нет пока для этого объективных возможностей. А вот сделать ядерную энергетику безопасной — вполне реально. И это на Западе понимают. У нас еще нет!

— На Западе проще, там население доверяет своим ученым, рейтинг же наших атомщиков, наверное, упал вообще до нуля. Поэтому в новых условиях, когда регионы получают самостоятельность и сами будут делать выбор, что бы Вы им ни толковали о безопасности, вероятностях, риске — Вам не поверят...

— Естественно, нет! Поэтому на какой-то период ядерная энергетика в СССР обречена. Вот в Институте энергетических исследований АН СССР разработаны сценарии возможного развития энергетики страны. Получилось, что, с точки зрения риска, наиболее приемлемым является газоядерный вариант. Он дает наименьшие потери. И Вы думаете, все с флагами его поддержат? Нет! Не верят. И это понятно, у нас был Чернобыль.

Я ездил в Экибастуз. Там от выбросов ТЭС жить нельзя, у коров выпадают зубы. И все равно люди будут против АЭС, хотя экологически они во много раз чище. Это психология!

— Так есть ли вообще будущее у АЭС?

— Как быть с действующими и достраивающимися реакторами, мы уже обсуждали. Что же дальше? Надо начинать работы по созданию принципиально новых реакторов с так называемой внутренне присущей безопасностью. Они по своей «физике» не будут иметь таких тяжелых последствий, как реакторы, построенные на нынешних принципах, которые себя изжили.

Но даже если такой реактор появится, это вовсе не гарантирует, что ядерную энергетику примет общественность. Надо менять организацию дела, экономические отношения. Во-первых, не должно быть никаких министерств, только энергокомпании. Регион обращается к ним — обеспечьте электроэнергией. Те дают варианты. Лично я уверен, что при рынке АЭС будет самой дешевой станцией. Но ее боятся и выберут ТЭС. Что дальше?

Прежде всего население должно представлять, что, пойдя на дорогой вариант, оно будет иметь меньше больниц, школ, дорог и т. д. Во-вторых, сторонники АЭС обязаны объяснить, что от тепловых станций регион будет иметь «букет» неприятностей: кислотные дожди, различные заболевания, рост детской смертности. И вот когда люди увидят, что все так и есть, что эти ребята не врали,— они задумаются. Тем более что на Западе ядерная энергетика будет развиваться, в чем я абсолютно уверен. Но без такого опыта жизни без АЭС у нас возврата к ним не будет.

— Думаете, жизнь заставит людей Вам поверить? Но для этого надо научиться говорить правду.

— Сегодня нас обвиняют: атомные ведомства сознательно скрывают от народа истину. Но поймите, нет таких ведомств. Есть правительство СССР, которое ввело требование о составлении перечней секретных сведений, утвердило их, взяло с ученых подписку о неразглашении и установило, что за нарушение вас привлекут к суду. Вот откуда ноги растут! Поэтому когда нас пытали, в частности зарубежные ученые, что вы знаете об аварии на Урале, мы отвечали — ничего.

Вы думаете, сейчас многое изменилось? На Съезде народных депутатов СССР выступает заместитель председателя Совмина Л. Д. Рябев и утверждает, что с ядерной энергетики сняты все грифы секретности. Бурные аплодисменты! Но передо мной лежит новый перечень секретных сведений. Вот и понимайте это, как хотите.

— А как ответственность ученого перед собственной совестью? Тревога за судьбу страны? Ведь были люди, которые не молчали, например, А. Д. Сахаров.

— Таких, как А. Д. Сахаров, единицы. Но ведь и он, хотя и говорил о чем угодно, однако не выдал ни одного секрета.

Особенно показательна ситуация с председателем Госкомгидромета Ю. А. Израэлем. Его постоянно обвиняют: как же он, ученый, мог скрывать от общественности правду о радиации? А он со всех трибун показывает бумаги, называет даты, когда передал в ЦК, Совмин, обкомы, райкомы все сведения о радиации, твердит, что там все знали, не решается только договорить до конца — с них и спрашивайте, почему скрывали правду. Никто не хочет понять, что Израэль давал подписку, что его бы под суд отдали за разглашение данных о радиации.

— Какой же выход из этого положения?

— Необходимо в Верховном Совете утвердить перечень секретных сведений. Тогда все претензии о сокрытии будут обращены к нему. Надо поставить людей в нормальные условия, а не заставлять совершать подвиги.

— Ну что же, завершим нашу беседу. Думаю, несмотря на то, что Вы, как мне кажется, старались говорить правду, многие читатели останутся недовольны. Понять их можно, в основе их неприятия — Чернобыль, который очень трудно в себе преодолеть. Но все же уверен, что кто-то задумается над вашими доводами, а значит, шанс, что разум возобладает над эмоциями, повышается.

* * *

«Мы все шли к Чернобылю...» Эти слова часто повторяют, но почему-то имеют при этом в виду только всю систему.

А ведь это слова о каждом из нас. Шли-то все вместе — и, ты, он, она... Давайте трезво и честно посмотрим на себя. Мы хотим лучше жить и меньше работать. Мы днем спокойно гоним брак, забываем проварить шов трубопровода для АЭС, а вечером идем на митинг протестовать против ядерной энергетики. Мы видим виновников во всех, кроме самих себя. Говорим, что Сталин, Брежнев и прочие завели страну в тупик, а народ не виноват. Но, может, все же виноват, если позволили таким людям и такими методами управлять собой? И не потому ли уже 6 лет буксует перестройка, что ее главный враг — в каждом из нас?

Признать это страшно. Но иного выхода у нас просто нет. Вот в чем все дело!

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

* * *

Сколько можно нашу землю-матушку трясти. Я и все родственники за запрещение взрывов. Того, что накопили и имеем, хватит, чтобы уничтожать других и себя.

Н. Г. Клименко,
с. Зенковка Бородулихинского района.

* * *

Теперь все подчинено только испытаниям новых видов ядерного оружия, в области

идет радиоактивный дождь или снег. Неужели нет в СССР мест, где меньше влияние поражающих факторов на людей? Здесь скоро не на ком будет их изучать.

В. С. Фаустов,
г. Семипалатинск.

* * *

Жители города определяют мощность взрыва по толчкам и колебаниям пола под ногами, звону стекла. А какой испуг при этом они испытывают, как все это отражается на здоровье? До каких пор это будет продолжаться? Кто даст ответ?

Н. М. Маркелова,
г. Семипалатинск.

* * *

Наши друзья из Украины нашли, что семипалатинцы счастливы. Понравились музеи. Нашли картины в них своих земляков. В магазинах колбасы по кооперативным ценам есть. Ничего не скажешь. А меня волнует другой вопрос. Действительно ли счастливы семипалатинцы? Однажды всколыхнулась, задрожала земля. Водородная бомба взорвалась. Исчезла красота. Вода заражена. И все, кто в это время оказался там, вскоре умерли от рака или белокровия. Встает вопрос. Почему же до сих пор продолжаются ядерные взрывы, тогда как всем известны их последствия? Говорим о Хиросиме. Знаем, чем это кончилось. А у себя не прекращаем. На нас, я думаю, никто не станет бросать бомбу. Мы сами себя уничтожаем. Вернее, те, кому это дозволено. Не считаются ни с протестами общественности, ни с последствиями. А сколько за это время отняли у людей здоровья и жизней?! Да, сколько здоровья у нас отняли?! Да нам бы не кооперативные цены на продукты надо, а государственные, без всяких талонов.

Для прекращения испытаний нужен здравый смысл. Который у нас, как видно, отсутствует.

Пусть громом раскатится крик
И услышат те, кто к ним причастен:
«Ядерные взрывы прекратить!!!
Они ведь и для вас опасны...»

Восточный поселок,
7 л. 17—2,
Мышако.

* * *

Мы не хотим быть подопытными, наша земля не должна быть мертвой. Она должна жить, иначе не будет живых людей.

Группа жителей
Комсомольского поселка.

* * *

От этой радиации болеют оба сына, внуки, страдаю сама бронхиальной астмой, опухают глаза. С 1955 года 11 родственников умерли от рака, болезни сердца. Я боюсь за будущее.

А. Б. Алижманова,
г. Семипалатинск.

* * *

Моя мать после взрыва 1956 года получила сильную дозу облучения. Тогда рушились стены многих зданий, в том числе в школе № 20 разорвало все печи, выбило стекла.

Я сама перенесла онкологическую операцию, рождались мертвые дети. У детей врожденный порок сердца, утолщенные лимфоузлы. Считаю, достаточно 40-летнего содрогания нашей земли. Испытания надо прекратить. Они небезопасны для людей.

М. О. Юрченко,
г. Семипалатинск.

* * *

В семье 6 близких родственников умерли от рака. Сама очень больная. Я боюсь и очень беспокоюсь за здоровье детей и маленьких внуков.

З. П. Жумагельдинова,
Жанасемейский район.

* * *

От имени наших коллективов поддерживаем инициативу антиядерного движения «Невада — Семипалатинск», областного комитета партии, всех трудовых коллективов и общественных организаций области по закрытию полигона, рассекречиванию данных четвертого диспансера, опубликованию карты радиационных следов, проведению глубокого медицинского обследования населения области, утверждению социальной программы, направленной на оздоровление населения, решению вопроса о материальной компенсации.

И. Мисько, М. Росляков, К. Куркумбаев —
от имени электроцеха, автопарка
совхоза имени Ленина
Новошульбинского района.

* * *

В 1987 году умерла моя дочь от лимфосаркомы. Взрывы опасны для жизни и окружающей среды. Прекратите их!

О. Г. Гамаюрова,
Бескарагайский район.

* * *

Я сам инвалид II группы в 39 лет. 15 лет жена не может родить ребенка. Таких семей, которые не могут иметь детей, становится много. В этом вина ядерных взрывов.

С. К. Даулетбаев,
Чубартауский район.

* * *

У меня в 1987 году от болезни сердца и крови умерла жена, в 21 год от внезапной болезни сердца умерла дочь. В нашем маленьком селе за 5-6 месяцев умирает до 20 человек. Если испытания продолжатся, умрем все. Мое мнение — нельзя верить тем, кто говорит, что у нас безопасный полигон. Это неправда, мой друг умер от мозоли на руке за один год. Мы тоже хотим приносить пользу обществу, а не болеть всю жизнь.

Т. Х. Хасенов,
село Бельагач Кокпектинского района.

* * *

Я был свидетелем испытания водородной бомбы, видел все своими глазами. С тех пор постоянно болею. Умерли в молодом возрасте многие родственники, в том числе моя мать. Не дожив до года, у меня умерло четверо детей. Эти испытания таят в себе опасность. Наступило время позаботиться о населении вокруг полигона и о его здоровье. Как бы ни говорили, а испытания приносят большой вред человеку. Поэтому нам надо создать условия для жизни.

Ж. Рахимов,
Жанасемейский район.

* * *

Надо запретить проведение испытаний. Даже наши учащиеся выглядят в физическом отношении слабее своих сверстников из других областей. В умственном отношении тоже. Очень трудно доходит до них учебный материал.

Т. К. Исабаева,
учитель села Знаменка,
Жанасемейский район.

Турсынхан Абдрахманова

КАЗАХСТАНСКАЯ НЕВАДА

1

Устал народ, смертельно изнемог.
Услышь его! Сочувствием порадуй!
Зовется «Казахстанскою Невадой»
Тот, к сердцу подступающий комок.

От взрывов содрогается земля,
Как тело в самой страшной из агоний,
Остатки жизни здесь, на Полигоне,
Трепещут, как метелки ковыля...

2

Кто в том виновен, что пятнадцать лет
От нас таили правду, опечатав,
Про город засекреченный — Курчатов?
Неужто снова виноватых нет?

Кто отдавал, кто утверждал приказ,
Чтоб воин, победивший под Берлином,
Проливший кровь в пути солдатском
длинном,
От белокровья погибал сейчас?

Кто нам сегодня оплатить готов
Всех радиаций гибельные дозы,
Самоубийства юношей и слезы
Их старых матерей и юных вдов?

Что можешь ты сегодня предложить,
Наградами увенчанный ученый,
Чтобы малыш, в утробе облученный,
Не стал уродцем и остался жить?

3

Весть разнеслась по радиоволнам:
Ракеты захоронены навеки!
Но почему у нас — в Сарыозеке [1]?
Опять — у нас? Неужто мало нам

Всего, что наша вынесла душа?
Неужто нам и Полигона мало,
И навсегда погибшего Арала,
И погибающего Балхаша?

4

Нам говорят: «Не дремлет злобный враг!
Быть наготове надо нам!» Но где он,
Тот безоглядно-агрессивный демон?
А может, в мире все уже не так?

Мы любим Родину — наш общий дом.
Сейчас моими говорят устами

Все сто народов, в нашем Казахстане
Живущих общей болью и трудом.

Сплотим ряды! Умножимся в числе!
Воинственного мира нам не надо.
Вперед, Семипалатинск и Невада!
За мирный мир на всей большой Земле!

СВЕТОЧИ

1

Если с народом, в котором возрос,
В общей упряжке не тянешь ты воз,
Если вприпрыжку торопишься с краю —
Значит, еще не живешь ты всерьез!

В жаркий ли день или в хмурую ночь,
Сильный ли, слабый ли, сын или дочь,—

[1] Сарыозек — место, где уничтожались ракеты средней и меньшей дальности.

Дело по силам себе выбирая,
Чем-то ему ты обязан помочь.

Вспомни великих, любимцев небес,
Тех, благородных, чей след не исчез,
Вспомни Чокана,
Абая,
Ибрая!
Жили они не за «свой интерес»...

2

Сладкой неправды отвергшие плен,
В жизни мы жаждем благих
перемен
И неспроста имена повторяем
Ваши —
Ильяс,
Бейимбет
и Сакен.

В сердце высокий таившие жар,
Мудрого слова имевшие дар,
Будете вы и сегодня, и завтра

С нами —
Каныш,
и Алькей,
и Мухтар.

Правде служивший — не будет забыт,
С ним и ликует мой дух, и скорбит.
Долгие годы для многих примером
Будут
Габит,
Габиден
и Сабит.

3

Люди-герои есть в каждом краю.
Глядя на землю родную свою,
Вспомним и тех мы, кто с братьями
рядом
Громкую славу стяжали в бою!

Как ни меняется Времени лик,
Истинный подвиг — вовеки велик.
Не перестанут потомки дивиться

Вам,
Бауржан,
Тулеген
и Малик.

Каждое утро, вполнеба горя,
Новая в мире восходит заря.
Если не явим мы светочей новых —
Значит, на свете мы прожили зря...

Перевел с казахского ***Илья Фоняков***

ОТ РЕДАКЦИИ

Материалы, опубликованные выше,— разного жанра, разного настроя, разного характера — объединяет только одно: они связаны с энергией атома. Судьба авторов написанных выше строк столкнула их с диаметрально противоположными «действиями» атомной энергии, и потому, оказавшись рядом, эти материалы воспринимаются как остро-полемические. Именно поэтому, оказавшись рядом, они помогают нам оценить полноту и убедительность аргументов каждой из сторон.

Конечно же, правы в своих трагических письмах люди, которым ядерные испытания в Семипалатинске причинили столько горя. Тысячу раз правы, когда обвиняют тех, кто был обязан позаботиться об их безопасности, о медицинской помощи, о материальной компенсации за разрушенное здоровье.

Но правы ли те, кто видит в атомной энергии только страшную силу, способную в любой момент вырваться из-под контроля где-то в другом регионе? Правы ли они, протестуя против строительства АЭС? — а ведь таких протестов сейчас раздается немало.

Наверное, здесь уместно прислушаться к доводам физиков-атомщиков, которые точно знают, что альтернативного АЭС источника энергии, который был бы в состоянии всех нас обогреть, прокормить и при этом не причинить большого вреда, в настоящее время еще просто нет. И потому, считают они, единственный путь у нас сейчас — создавать новые поколения АЭС, как это делается во Франции, США и других развитых странах. Такие АЭС, в проектах которых будет предусмотрена максимальная безопасность для населения и природы.

С рассуждениями физиков соглашаешься, да и как не согласиться, если альтернативы нет. И все же возникает ощущение, что из рассуждений умных и опытных ученых ускользнул аргумент, быть может, не менее важный, чем усовершенствование проекта АЭС.

Люди, пострадавшие вблизи Семипалатинского полигона, могли избежать трагических последствий взрывов, если бы о них ответственно позаботились. Этого не сделали. Упустили из виду. К сожалению, такая ситуация стала в последние десятилетия очень типичной для всей нашей жизни. Неумолимая статистика показывает, что подавляющая часть всех аварий на железных дорогах и авиалиниях, на заводах, в шахтах и транспортных магистралях возникла не только из-за несовершенства *проекта* машины. Чаще всего катастрофы случаются из-за простейшей небрежности — кто-то что-то плохо завинтил, прозевал, не проверил, поспешил. Именно эти «простейшие», эта безответственность, с которой мы уже так сроднились, что за собой ее уже часто и не замечаем, стала нашим главным врагом. Из-за нее мы не поднимаемся до мирового уровня даже в тех областях промышленного производства, где теоретическая мысль ученых поднялась выше, чем на Западе. В принципе можем — на практике нет. Давайте трезво посмотрим на себя. Мы хотим больше получать и меньше работать.

Мы часто говорим и слышим о необходимости нового мышления — но, наверное, нет сферы жизни, где это мышление необходимо так, как в атомной энергетике. Страшный опыт Чернобыля показал, что здесь даже маленькая небрежность может обернуться трагедией. Пора наконец понять, что судьба любой, самой совершенной конструкции, так же, как и судьба всех людей, живущих в ареале АЭС и далеко за его пределами, в руках тех, кто строит, эксплуатирует, снабжает, воспитывает, учит, да в конечном счете — в руках каждого из нас. Каждого. Вот почему мы поставили эти полемические, эти противоположные материалы рядом.

Наши публикации

«ПРО МЕРТВОГО... *ДОЛЖНО* ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»

Из переписки Максимилиана Волошина с О. К. Толстой и С. А. Толстой

Последний год жизни Есенина... Последние дни поэта, трагический финал в декабре 1925 года, похороны... Сколько уже написано обо всем этом! Сколько воспоминаний оставлено очевидцами! И все равно: имя Есенина до сих пор окружают досужие домыслы. Как много родилось их за последнее время — из преднамеренности, из острого желания доказать нелепость, бессмысленность! На наших глазах создается МИФ — о заговоре, жертвой которого якобы оказался великий русский поэт.

Уточнить версию или ее опровергнуть могут только факты. К числу материалов, несомненно обладающих доказательной силой, принадлежат и свидетельства современников. Правда, не всегда и далеко не во всем на них можно полагаться безоговорочно. Так, отдельные люди, близкие в свое время к Есенину, пытались, вспоминая о нем, замолчать, затушевать его слабости, широко известные в 20-е годы, и притом не только в литературном кругу. Годами утверждался в нашей литературе о Есенине слащаво-сусальный образ юноши-поэта, нежного и мечтательного, пришедшего в город от «васильковых» рязанских полей. Нельзя, конечно, сказать, что Есенин был вовсе лишен пленительной наивности или ласковой задушевности: они явственно слышны в его лучших лирических стихотворениях. Но в Есенине таилось — и с годами, к сожалению, все более проявлялось — другое начало, темное, болезненное...

Есенин страдал от алкоголизма, пытался лечиться, но безуспешно. К середине 20-х годов его сознанием овладевает мысль о собственной обреченности, безысходности; сильней всего эти настроения Есенина отразились в его последней, полной отчаяния поэме «Черный человек» (известно, что современники воспринимали эту вещь как «болезнь», «бред», «агонию» поэта):

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Не будет лишним напомнить финал поэмы: ее герой (поэма написана от первого лица) яростно швыряет трость в зеркало — собственное отображение — и убивает «черного человека», своего двойника, точнее — самого себя.

О душевном состоянии Есенина в последний период его жизни подробно рассказывает в публикуемых ниже письмах Ольга Константиновна Толстая, урожденная Дитерихс (1872—1951), первая жена А. Л. Толстого, сына Льва Толстого,— женщина, известная своей образованностью, интеллигентностью, честностью. Впрочем, О. К. Толстая — тоже не беспристрастный свидетель! Описывая Есенина, каким она его знала, его тяжелый недуг, его дикие выходки, Ольга Константиновна, кажется, подчас невольно сгущает краски, дает как бы выход своей неприязни к Есенину (хотя чувствует в то же время искреннюю жалость к нему). Это неудивительно, ведь ее дочь Соня (Софья Андреевна) Толстая (1900—1957) была с весны 1925 года женой Есенина, находилась вблизи него в последние месяцы. Болезненно переживая за судьбу Сони, О. К. Толстая была убеждена в том, что Есенин, «этот несчастный погибший человек», искалечил жизнь ее дочери. Ее можно понять, с ней можно отчасти и согласиться: многое из того, о чем пишет О. К. Толстая, подтверждается свидетельствами других лиц.

Вероятно, менее всего согласилась бы с ней ее собственная дочь. Горячо полюбившая Есенина, Софья Толстая сохранила ему верность и после его кончины. Она старательно берегла все, что было связано с памятью о поэте, разбирала его архив, готовила к изданию его сочинения, работала в Музее Есенина (вплоть до его закрытия в 1929 году). Нелегко приходилось ей в 30-е и 40-е годы: полузапретное имя Есенина лишь с трудом пробивало себе тогда дорогу в печать. Но все-таки она дождалась возвращения его всероссийской славы в середине 50-х годов...

Корреспондентом О. К. Толстой был известный писатель Максимилиан Волошин. В те годы он почти не покидал своего коктебельского дома, где жил вдвоем с Марией Степановной (Марусей), своей женой. Волошин относился к Есенину двойственно. Высоко ценя его незаурядный поэтический дар, он недолюбливал нарочитость того «крестьянского» стиля, которым

особенно грешил Есенин в 10-е годы. Сохранился развернутый план волошинской статьи «Голоса современных поэтов» (1917), где о Есенине (и близком к нему в то время Клюеве) сказано: «Деланно-залихватское треньканье на балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватывающие голоса».

Смерть Есенина потрясла Волошина. Особую тревогу испытывал он за Соню Толстую — они подружились в 1923 году. «Утро принесло страшную весть о трагической кончине Есенина. Мучительно за него и скорбим за Соню Толстую, котор⟨ая⟩ вышла за него недавно замуж»,— пишет Волошин в январе 1926 года своей знакомой А. Л. Домрачевой. Желая вывести Соню из состояния тяжелой депрессии, в котором она оказалась после смерти Есенина, Волошин и Мария Степановна настойчиво приглашают ее в Коктебель.

Письма Волошина к Соне Толстой и ее матери, О. К. Толстой, вновь напоминают о глубокой отзывчивости, прозорливости, мудрости, что отличали этого человека. Строки волошинских писем дышат подлинным состраданием к безвременно ушедшему из жизни поэту и его молодой вдове. Выразительно, с предельной ясностью запечатлена в них судьба Есенина, истолкованная Волошиным как трагедия всей русской жизни. Справедливы и точны его отзывы о покойном. Нельзя, например, без волнения читать слова Волошина о «несчастном мальчике», ставшем жертвой «собственного успеха и собственной золотой крупицы». Или — его замечание о непосредственности Есенина, о его лирическом даре, подчас неподвластном общепринятым моральным требованиям.

Публикуемые письма Волошина хранятся в Отделе рукописей Музея Л. Н. Толстого (Москва), письма О. К. Толстой — в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде. Тексты писем даются выборочно, в сокращениях. В дальнейшем, однако, мы предполагаем опубликовать эту переписку полностью.

К. М. Азадовский

М. А. Волошин — С. А. Толстой

Коктебель, 3 января 1926

Милая Соня,

весть о гибели Есенина, которая лишь сегодня дошла до Коктебеля, глубоко потрясла меня — и, быть может, не столько судьбою запутавшегося и растерявшего себя «слишком русского» человека, даже не извечным трагическим концом русского поэта, которого «угораздило родиться в России с умом и талантом», сколько роком, тяготеющим над твоей жизнью, над выбором твоего сердца, дорогая бедная Соня...

Если тебе сейчас нужны уединенье, молчание и верные друзья — приезжай к нам. Всем сердцем с тобою

Макс.

О. К. Толстая — М. С. и М. А. Волошиным

Москва, 4 марта 1926

Дорогие, милые, добрые друзья мои Мария Степановна и Максимилиан Александрович, давно уже хотела писать вам (я должна ответ на письмо М⟨арии⟩ С⟨тепановны⟩), а особенно все это время, после наших ужасных событий. Но просто не могла, до того тяжело было. Соня получила ваше письмецо (мне даже пришлось прочесть ей его по телефону, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ все это время она не живет дома, а скитается по Москве), и знаю, что недавно она вам написала. Я с самого начала советовала ей поехать к вам, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ знала, что только у вас она смогла бы найти истинный покой и *нравственную* поддержку. Она в ужасном душевном состоянии. Она не плакала и не плачет, с ней не было никаких истерик или обмороков; на похоронах она не проронила ни одной слезы и была как каменная; но если бы вы видели ее лицо, выражение этого страшного душевного напряжения, а также отчаяния в глазах,— вы поняли бы, как она страдает. Она ведь никогда ни словом мне не пожаловалась на него и кротко, любовно переносила свою мученическую участь. Ведь слов нет, чтоб передать все, что этот несчастный, погибший человек выкидывал и как он был жесток и груб к ней! Я ведь с лета ушла из квартиры, захватив с собой Наташу, а они жили там, и с ним и его сестры, двоюродный брат и всякие типы, приезжавшие, уезжавшие. Образовался какой-то постоялый двор. С сентября месяца, со времени начала издания его стихов в Г⟨осударственном⟩ изд⟨ательстве⟩ и по мере получения громадных сумм, он стал пить все больше и больше и одновременно отношение его к Соне становилось все хуже и хуже. Он дико ревновал ее ко всем, обвиняя ее и ругая *часами* самыми непотребными словами. Все это от меня скрывалось. Мне уже потом рассказывали, что он даже бил ее! И она *все* терпела, не возражая ни слова, всегда молчала и только жалела его, как больного ребенка. Ко всему этому прибавлялось еще неискреннее отношение его сестры, что особенно выявилось после его смерти в связи с вопросом о его литера-

турном наследстве. Большое счастье, что Соня не обращает внимания на всякие сплетни. Чего только не говорят о его смерти, примешивая сюда и Соню. Сестра его тоже говорит, что он разлюбил Соню и уехал от нее навсегда. В этом не было бы ничего удивительного: разве мог долго и прочно любить такой больной, истрепанный и беспринципный человек? Скольких женщин он бросил на своем веку! Бедная, бедная Соня, *так* любить такого человека! Я до сих пор не могу проникнуться общим гипнозом, что он был «великий» поэт. Считаю его давно уже сумасшедшим и морально больным человеком, и большинство его стихов не только мне непонятны, чужды, но даже отвратительны, как что-то уродливое и скверное. Этот человек не *мог* дольше жить, он давно уже умер душевно, ему *нечем* было жить — никаких идеалов, никаких нравственных основ или принципов. Он жил только для себя, для своего наслаждения и был эгоистом до мозга костей. Сам он ходил в шелку, *все* белье, даже ночное, было не только шелковое, но шелкового крепа, а старикам родителям он почти не помогал, у них не было даже лошади. Сестры его тоже нуждались во всем, не имели даже белья, спали и до сих пор спят на всем нашем. Он тратил безумные деньги на кутежи, в два-три дня спускал с какими-то хулиганами всю получку из Г⟨осударственного⟩ изд⟨ательства⟩ (кроме всяких получек из журналов), а квартира осталась неоплаченной за 3 месяца, и у Сони не было ни башмак⟨ов⟩, ни калош — *ничего*. Он даже не собрался купить обруч⟨альные⟩ кольца. И она находит его добрым! Простите меня, вы, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, найдете это нехорошим с моей стороны, что я так критикую уже умершего, но я не считаю правильным общее преклонение, какое-то подобострастие. Лучше про *живого* человека не говорить недобро, чтоб не портить отношение к нему и не сеять зла. Но про мертвого, по-моему, *должно* говорить правду. Говорю это вам; конечно, не стану быть откровенной с чужими. Считаю его не только не добрым, но и не благородным. Он о Соне говорил гадости и чужим людям, а уж в пьяном виде позволял себе вести себя совсем непозволительно. Уехал в Питер, не оставив дома *ни* копейки и оставшись должным и дом⟨овому⟩ комитету и нескольким лицам. Т⟨ак⟩ ч⟨то⟩ когда Соне пришлось ехать в Ленинград, то она заняла. И вот только третьего дня из Комитета увековечения его памяти были уплачены эти долги. Мне же с лета еще он задолжал около 500 р. (у него тогда не было получек) и так до сих пор и не отдал, предпочитая прогуливать деньги. Надеюсь, что вы меня знаете настолько, чтоб не заподозрить меня в корысти или жадности, но я не могу не возмущаться, когда, с одной стороны, деньги бросаются на пьянство и дебоширство, а не уплачивается то, что должно; это показательно. Я считала его давно уже умершим и нравственно погибшим и не могла уже серьезно, без критики, относиться и к его писанию. М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, никто, кроме меня, так и не беспокоился о нем: ведь я обращалась к нескольким значительным лицам в литературном мире, могущим оказать на него влияние, прося их обратить внимание на его поведение, взять его от лица Союза писателей *под опеку*, поместить его куда-нибудь на лечение, спасти его от *самого себя*. Но увы, все это было напрасно! Большинство его «друзей» предпочитало с ним кутить и пить, на его деньги. А потом лили крокодиловы слезы, писали стихи, статьи, говорили речи. Некоторых из них я просто видеть не могу и так и заявила, что не подам им руки. Как вспомню все это ужасное время, все пережитое, то точно кошмар какой-то. И право же, даже не *он* так виноват, а вся эта среда, эта богема. Должна сознаться, что первые минуты, первые два дня по его смерти у меня на душе не было особенно доброго чувства к нему, у меня было «rancune»[1] против него за бедную дочь. Но когда я увидала его в гробу, то невольно заплакала, и сердце сразу смягчилось и даже простило ему. У него было очень, очень милое, такое скорбное лицо, и я вдруг увидела на нем его *душу*, которой совсем не чувствовалось последнее время. Мне стало ужасно жалко его, этого задаром погибшего, одаренного человека, и не так поэта жалко, как просто человека. И никогда не забуду мою первую встречу с Соней (в Доме печати). Она бросилась ко мне на грудь, обняла меня, вскрикнув: «Мамочка, прости ему!» — и замерла так. Я, конечно, расплакалась и могла только прижимать и гладить ее, и мне было легко ей ответить, что я уже простила ему, увидав его скорбное, милое лицо. Это, кажется, очень утешило ее. Мы сели в сторонку, она положила свою горемычную головку мне на колени, и так мы долго просидели молча, я только гладила ее. Она в этот вечер была еще какая-то мягкая, доступная. Но на следующий день, на похоронах, она стала какая-то каменная и уже неподступная. Должно быть, на нее очень неприятно и тяжело повлияло демонстративное и положительно неприличное поведение M-me Мейерхольд, которая устраивала истерики, чуть не обмороки и все время старалась выставлять напоказ своих двух детей, кот⟨орые⟩ носят имя Сергея Ал⟨ександровича⟩. (Но сына он определенно не считал своим.) А потом пошли эти истории с бумагами его, и тут выказала себя очень отрицательно его сестра, и Соня очень страдала. Держит она себя поразительно достойно и благородно, ни на что не претендует, но очень хотела работать над его бумагами. И теперь это поручено ей. Отчасти это дало ей дело, но, с другой стороны, она все время будет находиться в этой отравленной атмосфере его писаний, впитывать этот яд, эту болезненную психику. Вот почему я так рада вашему приглашению, а еще больше, что Соня соглашается. Она хочет ⟨...⟩ к вам, пока у вас тихо.

[1] злопамятство (*франц.*).

Но все это в зависимости от денег, у нее *абсолютно* не было и нет ни копейки, и она существует на гроши, кот⟨орые⟩ я уделяю ей из моего мизерного заработка. А работать она еще не в состоянии. ⟨...⟩

⟨Приписка сверху на первой странице письма⟩ Разорвите мое письмо и чтоб оно никак не попало Соне.

⟨Сбоку на той же странице⟩ Сердечно обнимаю вас обоих, милые, верные друзья.

Ваша О. Толстая

М. А. Волошин — О. К. Толстой

Коктебель, 18 марта 1926.

Дорогая Ольга Константиновна,

Ваше прекрасное и переполненное болью письмо нас потрясло глубоко. Я лично не знал и никогда не видал Есенина. В стихах его мне чувствовался поэт. Несомненно подлинный, но не глубокий, не умный и часто лишенный художественного такта. Смерть его поразила как новое звено в общем мартирологе русских поэтов: частное выявление общей судьбы талантливых русских юношей. Когда начался газетный апофеоз после его смерти и посыпались все лживые и преувеличенные статьи, стало горько и обидно за него. Все это слишком походило на посмертное издевательство над несчастным мальчиком. Как русская публика ненавидит своих поэтов живыми: издевается и клевещет и выдумывает гнусные сплетни, а мертвеньких, удушенных, за́спанных русскою жизнью, качает на руках и возносит как попрёк оставшимся в живых. Все то, что Вы пишете, я уже прочел между строк некрологов, воспоминаний и на фотографиях похорон с неприятно позирующей на первом плане четой Мейерхольдов. За эти посмертные почести стало еще жальче этого мальчика, ставшего жертвой собственного успеха и собственной золотой крупицы. Из поэтов это не первый. Лирика ведь это непосредственность и искренность. И ум, и строгая моральная требовательность к себе, необходимые человеку, часто вредят лирической непосредственности. В меньшей степени — все это было и в жизни Блока. Я помню его в периоды его пьянства и уличных шатаний. У Блока это было меньше. А у Бальмонта едва ли не больше, едва ли не безобразнее. Блока я знал мало. Бальмонта знаю очень близко и очень люблю его. ⟨...⟩ Это заносчивый, хвастливый, на публике всегда рисующийся и манерный поэт, в сущности очень скромный и застенчивый (!!) ребенок, совершенно исковерканный переменным душем то успеха, то презрения. Судьба Есенина мне представляется именно такой. И чем больше унижения, позора, искажения человеческого лика, тем крепче вяжет любовь к таким потерянным. Эта жалость, думается мне, и связала Соню так крепко. И хочется думать, что это пламя сплавит ее врожденное своеволие и капризность в тот крепкий, человеческий «толстовский» характер, что чувствуется в ней всеми ее друзьями. Мы об этом много говорили с Марусей ⟨...⟩

Максимилиан Волошин

⟨Приписка на обороте первой страницы письма⟩ Мне тоже не хотелось бы, чтобы Соня видела это письмо: она, верно, так ценит память Есенина как поэта, что мои слова могли бы сейчас оскорбить ее. ⟨...⟩

О. К. Толстая — М. С. и М. А. Волошиным

Лефортовский пер⟨улок⟩, 7,
кв⟨артира⟩ Чертковых,
Москва, 6 апреля 1926

Милые и добрые друзья, Мария Степановна и Максимилиан Александрович, что же это вы наделали, зачем прислали деньги Соне на дорогу? Помимо того, что и вам самим нелегко, Соня обрушилась на меня, вообразив, что я написала что-нибудь бестактное, понудившее вас выслать ей деньги. Я помню только, что писала, что раньше, чем ехать к вам, она съездит в Ленинград, *если* у нее будут деньги. Я лично все убеждала ее отложить эту поездку и ехать прямо к вам, но она упорно утверждает, что это необходимо, что ей надо собирать там какие-то материалы и т. п. Она в несколько лучшем состоянии, живет теперь уже большей частью дома (хотя на ночь всегда берет к себе нашу Марфу — прислугу, боится одна); но все так же вяла, бездеятельна и раздражительна. Я не могла помочь ей съездить туда поскорей, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ всю эту зиму была в ужасном безденежьи и только успевала затыкать то одну, то другую дыру, кот⟨орые⟩ образовались за время Сониного несчастного замужества. ⟨...⟩ *Если* она не поправится *душевно*, то она никогда не будет хорошим работником. Но что сделать, чтоб она принялась за себя или лечилась, или взяла бы себя в руки? На нее нужно сильное постороннее влияние. Мои уговоры только злят ее. Вот почему я так, так сильно желаю, чтоб она поехала к вам, чтоб пожила с вами обоими. У вас такой запас твердой веры в духовные силы человека и в необходимость жить ими и «возвеличивать» их в себе. Не могу без чувства умиления вспоминать о вас и всегда, всегда буду безгранично благодарна вам обоим за Соню и за себя. Ваше письмо, дорогой М⟨аксимилиан⟩ А⟨лександрович⟩, я, конечно, не читала Соне, хотя ей оно и было бы полезно своим трезвым отношением к поэзии Ес⟨енина⟩. Да, он был не умен, не знал меры, был бестактен. Да просто и не образован, не воспитан и внешне, и *душевно*, главное, без всяких принципов и идеалов. И мне так *больно* за Соню, что она боготворит его! Любить, жалеть несчастного — я понимаю это, но такое слепое поклонение — грех, да и не умно. С большим интересом читала Ваше письмо, не только сама, но и некот⟨орым⟩ друзьям, все находили Ваше суждение очень умным, верным и сердечным. Жалко, что нельзя напечатать, для многих было бы полезно. ⟨...⟩ Пока кончаю. Всего лучшего.

Ваша О. Т⟨олстая⟩.

Публикация К. М. Азадовского



Ольга Муравьева

«ТАЙНАЯ СВОБОДА» ПУШКИНА

Утверждение, что писательская судьба Пушкина, едва ли не самого любимого русского поэта,— трагична, может показаться нарочитым парадоксом. Однако оно основывается на совершенно объективном положении вещей: развитие русской литературы пошло по пути, фактически отрицающему взгляды Пушкина на сущность искусства и роль литературы в общественной жизни.

Главными теоретиками этого особого пути русской литературы были Белинский, Чернышевский и Добролюбов; позднее — Плеханов и, наконец, советские литературные критики. Революционные демократы называли пропагандируемое ими литературное направление «гоголевским», что вряд ли правомерно; но противопоставление, ими же провозглашенное, этого направления «пушкинскому» совершенно справедливо. «Гоголевское» направление, в их понимании, являет собой литература, «служащая не столько искусству, сколько обществу» (Чернышевский) и, соответственно, стремящаяся к активному и целенаправленному влиянию на общество, призванная непосредственно реагировать на насущные проблемы и заботы своих современников. В русле этой концепции, быстро занявшей — и продолжающей занимать до сих пор — главенствующее положение в общественном сознании России, литература становится одной из равнодействующих в борьбе передовых сил общества за утверждение тех или иных идеалов и даже конкретных социальных целей [1]. Этот поворот в общественном сознании начался уже при жизни Пушкина, и, скорей всего, именно он, а не абстрактная «отсталость» публики, определил нарастающее равнодушие к его произведениям. Не будь это Пушкин, мы были бы уже наготове с нравоучением: чувствовать нужно веянье времени, учитывать общественные запросы, держать, так сказать, руку на пульсе и т. п. Очевидно, однако, что Пушкин этого не делал не потому, что не догадывался; а потому, что был убежден: поэт не должен этого делать. Ни в коем случае.

Его эстетическим кредо было отсутствие всякой заданности, целенаправленного пафоса в произведении. Однажды он иронически сформулировал это в письме к Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у „Цыганов"? Вот на! Цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвиг, если только не украл у кого-то. „Думы" Рылеева и целят, да все невпопад». А в «Домике в Коломне» он лукаво уверял читателей в полной бесцельности и бессодержательности своего произведения. Естественно, что в этой системе ценностей совершенно исключалась сознательная ориентация на запросы и интересы, лежащие вне собственно искусства. Отсюда — и неизменно раздраженная реакция Пушкина на любые проявления прагматического подхода к литературе и, тем более, на «хозяйские» претензии публики. Интересно сопоставить его позицию с позицией Белинского. О том, что вызывает у Пушкина горечь и раздражение, Белинский пишет с восторгом: «...публика в живом соотношении со своими писателями: те производители, она — потребитель; те актеры, она — зрители, награждающие актеров своим сочувствием, своими восторгами. 〈...〉 Публика есть высшее судилище, высший трибунал для литературы».

Отягощенные страшным историческим опытом, мы, наверное, поежимся от последней фразы великого критика. Чистейший энтузиаст, Белинский, разумеется, не помышляет ни о чем дурном; но сегодня нам стоит задуматься над тем, почему так легко и естественно слетают с его уст слова «судилище» и «трибунал» применительно к литературе...

Между тем было бы абсолютно неверно заключить, что, с точки зрения Пушкина, писатель вправе не считаться с интересами общества. Напротив, он настаивает на их абсолютной ценности столь решительно, что не останавливается перед утверждением о необходимости цензуры. Он написал об этом совершенно ясно в главе «О цензуре» из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург». Это сочинение поэта мало пропагандируется, поэтому процитируем его рассуждения подробно. Пушкин возражает французскому публицисту, который иронизировал по поводу цензуры, предлагая установить ее и на частные разговоры: слово — это «общая принадлежность всего человеческого рода», но «грамота не есть естественная способность. 〈...〉 И между грамотеями не все равно обладают возможностью и самою способностью писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага так же чего-нибудь да стоит. Следственно, печать доступна не всякому (не говоря уже о таланте etc). Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.

Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».

Далее Пушкин в двух пространных абзацах спорит с точкой зрения, согласно которой можно судить сочинителя и его книгу только после ее выхода в свет. По его мнению, «мысль уже стала гражданином, уже ответствует за себя, как скоро она родилась и выразилась».

В устах писателя, натерпевшегося от цензурных притеснений, эти рассуждения звучат неожиданно, а уж нашего современника они могут просто возмутить. Прав Пушкин или не прав? — вопрос достаточно праздный. Никто не заставляет нас всегда и во всем соглашаться с ним, но важно уяснить внутреннюю логику его мысли, понять суть его позиции. В приведенном рассуждении легко выделить два тезиса: могущество печатного слова и необходимость цензуры. По внешней логике высказывания один из них вытекает из другого, но звучит скорее декларацией, чем закономерным выводом. Однако это умозаключение становится очевидным, если учесть самый первый тезис, который и является для Пушкина исходной точкой. Мы имеем в виду обескураживающе простодушное рассуждение, что не каждый-де может быть писателем: нужно знать грамоту, да и бумага чего-нибудь стоит, не говоря уже о таланте. Не принадлежи эти слова Пушкину, мы, наверное, расценили бы их как наивность, доходящую до нелепости. Можно выйти из положения, усмотрев в них коварную иронию, а заодно перетолковать и весь текст. Это не трудно: наше литературоведение прекрасно освоило метод интерпретации по принципу Козьмы Пруткова «не верь глазам своим». Все же более вероятно, что Пушкин сказал именно то, что хотел сказать. В утверждении, что человек, не обладающий талантом и даже не обученный грамоте, должен быть защищен в государстве так же, как и любой другой, ничего необычного нет. Непривычно и странно убеждение, что нужно защищать его интересы и интересы общества от «пишущих талантов».

Итак, суть проблемы вырисовывается следующим образом: для нас интересы писателей и общества совпадают, так сказать, по определению, Пушкин же в этом не уверен. «Поэзия, которая по своему высшему свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтобы силою слова потрясать вечные истины, на которых основано счастие и величие человеческое...» — писал он в другой связан. «Не должна» — то есть в принципе может и унизиться, и общество вправе себя от этого ограждать. В общем, нравится нам это или нет, но Пушкину явно чужда та идеа-

[1] Разумеется, я не хочу свести всю русскую критическую мысль к демократической критике и всю русскую литературу к «гоголевскому» направлению. Речь о том, что именно эти идеи обрели очень сильное влияние на умы, а в последние семь десятилетий были официально возведены в абсолют.

Муравьева Ольга Сергеевна — кандидат филологических наук, пушкинист. Печаталась в сборниках «Пушкин. Исследования и материалы», «Временник пушкинской комиссии», журнале «Вопросы литературы». Живет в Ленинграде.

лизация «класса писателей», которая сложилась в дальнейшем в русской культуре. Как не признавал он исключительности поэта в человеческом сообществе («средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»), не признавал он и исключительных прав «пишущих талантов» в обществе и государстве. При этом обращает на себя внимание, что Пушкин ставит под сомнение именно воспитательную функцию искусства. Он не хотел принимать «учительские» обязанности на себя и не очень доверял в этом смысле писателям вообще. По Пушкину, литература играет в жизни общества роль очень важную, но совершенно особую, в некотором роде обособленную. Подчеркнем парадоксальность его высказывания, приведенного выше: литература должна иметь не какую-то цель, а... никакой. Пушкин признает за обществом и государством право ограничивать власть литературы, претендующей на безраздельное господство над умами, но взамен он требует, чтобы общество и государство признали и обеспечили абсолютную независимость литературы. Но именно в этом литературе было отказано, и именно это являлось основной причиной всех конфликтов Пушкина и с обществом, и с властью предержащими.

Пушкин был убежден: «Никакой закон не может сказать: пишите о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на не подлежащие никакой ответственности. 〈...〉 Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого».

Нам, выросшим в условиях нормативной морали и эстетики, эти мысли, наверное, не покажутся столь уж очевидными. Но и в пушкинские времена очевидными они были далеко не для всех. Так, правящие круги ясно давали понять, что не склонны уповать на «совесть каждого», а рекомендуют каждому примирить свою совесть с официально предложенными концепциями и постулатами. Впервые русскому обществу была предписана четкая идеологическая доктрина (знаменитая формула С. Уварова: «православие, самодержавие, народность»), отступление от которой расценивалось как политическая неблагонадежность. Разумеется, тут же нашлись люди, готовые не за страх, а за совесть способствовать проведению этой политики в жизнь и разоблачать явных и тайных ее противников. Тогда же вошло в обыкновение выступать против неугодных от имени народа. Усилия были направлены на то, чтобы просвещенное меньшинство оказалось в своей стране в положении изгоев, которые своими крамольными идеями стремятся растлить народ и разрушить святой его союз с мудрым и заботливым правительством. Как можно было убедиться за последующие сто пятьдесят лет, идея эта оказалась исключительно конструктивной: претерпевая некоторые исторические модификации, она верой и правдой служила всем силам реакции, под какими бы лозунгами они не выступали.

Царская цензура (именовавшаяся, впрочем, цензурой министерства народного просвещения), получившая столь солидную идеологическую базу, занялась тем, чем, по убеждению Пушкина, ни в коем случае не должна была заниматься, а именно: «проникать все ухищрения пишущих». Вопреки § 6 Устава о цензуре, цензоры могли переложить на плечи автора ответственность за собственное самое произвольное и предвзятое толкование авторских мыслей. Следует отметить и такое многообещающее нововведение: для того, чтобы считаться воистину благонамеренным, писателю недостаточно было просто воздерживаться от критики официально провозглашенных ценностей, необходимо было самому эти ценности утверждать и пропагандировать. Так постепенно складывалась ситуация, емко охарактеризованная Пушкиным в известных строках: «Беда стране, где раб и льстец//Одни приближены к престолу,//А богом избранный певец//Молчит, потупя очи долу».

Советские историки сильно переусердствовали с описанием ужасов царского режима и результатов достигли, как водится, прямо противоположных. Приходится сегодня слышать и несколько иронические реплики по поводу невзгод, выпавших на долю Пушкина. Ссылки то на Черное море, то в родовое имение? Свирепая цензура, при которой удалось напечатать практически все? Деспотизм царя, в отношениях с которым были возможны взаимные компромиссы? В общем, нам бы его заботы!

Но ведь описанная выше ситуация, в сущностных своих чертах, очень напоминает ту, сложившуюся через столетие, которую справедливо считаем мыслимым пределом идеологического и правительственного гнета. Прибавим сюда и некоторые более частные приметы: «множественность цензур», при которой каждое сколько-нибудь могущественное министерство могло третировать литературу по своему усмотрению, политический донос под видом критического отзыва, высылка из столиц за вольнодумные произведения, закрытие журналов за неугодные умонастроения.

Не будем и лукавить: ситуация хоть и похожая, но, конечно, принципиально иная. В пушкинские времена литературе откровенно и официально еще не вменялась в обязанность пропаганда идеологических доктрин и обслуживание политического режима; уклонение от этих обязанностей еще не рассматривалось как политически враждебная акция; идейные и даже эстетические споры непосредственно еще не замыкались на карательный аппарат и т. д. В 30-х годах XIX века до этого еще далеко. Но обратим внимание на то, как угрожающе ясно уже наметились те идеологические модели, те общественные силы, которые готовы при благоприятном стечении обстоятельств зажать литературу в смертельные тиски. Именно против этих опасных тенденций вел Пушкин настойчивую и изнурительную борьбу. Так что ирония: «нам бы его заботы» — вовсе не уместна. Его заботы уже тогда были нашими заботами. Жаль, что мы этого не поняли.

Обратим внимание, что полемический пафос Пушкина не имеет конкретного социального адресата. Единственно осязаемый и неизменный враг поэта — «толпа» или «чернь». (Удобная и понятная формула «светская чернь», в основном, наше изобретение. У Пушкина это словосочетание означает, главным образом, то, что чернь бывает и светской тоже.) У Пушкина нет четких определений «черни», но суть того, что он имел в виду, достаточно ясна. В заметке «О критике» Пушкин писал: «...кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными побуждениями». Конфликт между поэтом и чернью и состоит в столкновении чистой любви к искусству и корыстных побуждений; он описан, в частности, и в стихотворении «Поэт и толпа».

«Корысть» в понимании Пушкина — это, собственно, утилитарный, прагматический подход к искусству, в пушкинском словоупотреблении — «польза» («...тебе бы пользы все!»).

Все это давало основания для того, чтобы представить Пушкина сторонником идеи «искусство для искусства». Такая точка зрения вызывала естественные возражения, но самый этот спор, на мой взгляд, бесплоден, ибо лишь уводит от существа проблемы. В общем контексте пушкинских взглядов его позиция может быть существенно уточнена. Пушкинское кредо — это не так называемое «чистое», то есть безразличное к общественной жизни, искусство, а независимое искусство. Пушкин, как известно, писал и памфлеты, и даже политические декларации типа «Клеветникам России». Но писал только тогда, когда сам считал это нужным, выражая при этом свою личную точку зрения. Попытки же поставить его творчество на службу тем или иным общественным силам, нацелить его на достижение тех или иных политических целей Пушкин отвергал с решительностью, не зависящей от характера этих целей.

Не удивительно, что на него постоянно обрушивались удары как справа, так и слева. Неизменно поляризованное русское общество требовало четкой и однозначной политической позиции. Противоборствующие силы мечтали видеть великого поэта выразителем своих и только своих интересов и потому негодовали, встречая с его стороны уклончивость, а то и явный отпор. О критике и нажиме со стороны официальных идеологов самодержавия мы наслышаны, но уже с начала 1820-х годов Пушкин подвергался и все более резкой критике «слева»; сначала — со стороны декабристов, потом со стороны вольнодумной молодежи, среди которой были Герцен, Огарев, Белинский. Общий смысл упреков сводился к тому, что Пушкин пишет не то, что требуется в настоящее время; не то, что могло бы способствовать справедливой борьбе передовых сил общества. Условно говоря, «левые» и «правые», добиваясь каждые своих целей, требовали от Пушкина, чтобы он был не только поэтом, но и борцом, политиком, общественным деятелем, воспитателем общества. А он не хотел быть никем, кроме как поэтом.

В стихотворении «(Из Пиндемонти)» он демонстративно заявляет о своем безразличии к политической борьбе, ибо интересы поэта лежат для него в иной плоскости:

Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти,
для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Популярность произведений Пушкина неуклонно снижается, колеблется его литературный авторитет и общественная репутация, но он упрямо прокладывает свою дорогу, «не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей».

Вопрос о том, следует ли льстить «силе», сложен на практике, но теоретически достаточно ясен. Сложнее обстоит дело с другим искушением, отмеченным Пушкиным. Никто ведь не считает свой образ мыслей «модным», все считают его «правильным»... И чем больше людей разделяют тот или иной образ мыслей, тем более правильным выглядит он в их глазах, тем более трудно ему противостоять. Но в глазах Пушкина покорность общему мнению была отнюдь не единением с массами, а «малодушием» и «шарлатанством». В статье о Баратынском, рассуждая не столько о нем, сколько о самом себе, Пушкин писал: «Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, 〈...〉 он шел своею дорогой один и независим». Так вырисовывался простой и неизбежный путь: «В других землях писатели пишут или для

толпы или для малого числа. У нас последнее невозможно. Должно писать для самого себя».

Очевидно, нужно позволить писателю не разделять наш правильный образ мыслей, не кричать возмущенно: «О чем бренчит? Чему нас учит? К какой он цели нас ведет?» Не забудем, что именно с этими вопросами обращается к поэту «чернь тупая»...

Может показаться оскорбительной самая возможность подобных аналогий; ведь мы-то любим Пушкина, мы ли его не любим! Культ Пушкина, дважды провозглашенный официально (в 1899 и 1937 гг.) и питаемый искренними чувствами сменяющихся поколений его читателей, сделался неотъемлемой чертой нашего общественного самосознания. Трудно хоть в чем-то уподобить той «толпе» из пушкинских произведений общество, сделавшее Пушкина своим кумиром. Но вот что поразительно: в то время, как мы, всем народом, убивались над Пушкиным и проклинали погубившее его светское общество; в то же самое время других поэтов, наших современников, публично оскорбляли и унижали, открыто преследовали, пинками выталкивали за пределы Отечества... Нам даже не приходило в голову, что в одновременности этих событий есть нечто циничное, нечто оскорбительное, в конце концов, для памяти Пушкина. В своей любви к Пушкину мы любовались собой и, не колеблясь, адресовали себе приветливые слова: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Хотя, быть может, более приличествовала ситуации совсем другая цитата: «...нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаянье».

Видимо, нужно признать: бессмертен не только Поэт, увы, бессмертна и Чернь. Вопрос в том, какова же роль общества в этом вечном конфликте Поэта и Черни. Встает ли оно на защиту поэтов и мыслителей своими социальными институтами, законами; наконец, своим *мнением*, могучим *общественным мнением*? Встает? Или лениво и равнодушно наблюдает? Или разворачивает все имеющиеся средства воздействия против них?

Драматическая ситуация, в которой оказался Пушкин, отстаивая право поэта на независимость как от «властей», так и от «народа», демонстрирует принципиально важную закономерность: прагматический, утилитарный подход к искусству одинаково хорошо уживается как с консервативным, так и с революционным умонастроением. Таким образом, этот подход становится основой для парадоксального сближения крайних идеологических и политических позиций, а порой и их волшебного взаимопревращения.

Нет никакого сомнения, что демократическая критика, провозглашая интересы собственно искусства второстепенными по сравнению с интересами общественного развития, руководствовалась самыми благими намерениями. Несомненно и то, что не чьей-то волей, но всей логикой исторического развития русская литература ставилась перед необходимостью принять на себя функции, не свойственные литературам других народов. Чернышевский справедливо заметил, что «у нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов. То, о чем говорит Диккенс в Англии, кроме его и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов».

Эти особые условия, в которых развивалась русская литература, особая ответственность, которая ложилась на нее в этих условиях, сообщили ей ее обычный, но ни на кого не похожий характер. Русские писатели XIX века не только исполнили свою общественную миссию, чутко отзываясь на беды своих соотечественников и неизменно выступая на стороне угнетенных,— они создали великие художественные творения, поразившие и восхитившие «более просвещенные народы». Стали для русского общества не только писателями, и пророведниками, и защитниками, и учителями. Наверное, ни Некрасова, ни Салтыкова-Щедрина, ни Достоевского, ни Льва Толстого не возмутил бы вопрос: «какая польза нам от твоих книг?» — вопрос, приводивший в ярость Пушкина.

Таким образом, главные итоги литературы XIX века опровергли пушкинские идеи о роли литературы в обществе. Но сегодня, готовясь подводить итоги веку XX, мы замечаем, что в нашем восхищении русскими классиками появился некий привкус горечи. Здесь нет нелепого желания в чем-то их упрекнуть. Как нам судить их! У них перед нами тьма преимуществ, а у нас перед ними только одно: мы знаем, что было дальше. Но именно это позволяет нам спросить их, наших великих учителей, почему они ничему не сумели научить свой народ?

Вся русская литература взывала к милосердию и состраданию, почему же русский народ так страшно легко мирился с беспощадной жестокостью? Как могло случиться, что общество, получившее в обладание самую совестливую в мире литературу, вычеркнуло слово «совесть» из своего лексикона? И, может быть, самый тяжелый для литературы вопрос: как же непрочна была ее гуманистическая традиция, если всего через двадцать лет после смерти Льва Толстого нашлись русские писатели, которые доставшийся им по наследству неслыханный авторитет «совести народа» употребили на то, чтобы разжигать ненависть и натравливать народ на беззащитных?

Было бы легче, если б мы могли найти какой-то тайный изъян нашей литературы, из-за которого мы вместе с ней попали в идеологическую ловушку. Печальней всего, что случилось это благодаря лучшим ее чертам: ее обостренной совестливости, ее стремлению быть активной общественной силой, ее жертвенной готовности, не раздумывая, «наступить себе на горло», если только это нужно для блага народа. Но не будет от этого блага...

Нет никаких оснований сомневаться в благородных побуждениях Чернышевского, утверждавшего: «Только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи». Но другие побуждения будут у тех, кто позже присвоит себе право судить, какие идеи удовлетворяют потребностям эпохи, а какие — нет; какие направления литературы следует развивать, а какие — затаптывать в грязь.

Речь идет не о моральной ответственности, а об объективном положении вещей, из которого явствует, что тезис о подчиненности искусства задачам общественного развития придуман не идеологами социалистического реализма. Они спекулировали на известных постулатах демократической критики, а те, освещенные нравственным авторитетом передовых сил России, по-прежнему сохраняли свое влияние на умы. Общество не сразу сообразило, что ценности подменили, что идеи, столько лет бывшие знаменем оппозиции, стали орудием подавления.

Мы узнали, к чему может привести, казалось бы, абсолютно надежный союз писателей и народа, их взаимное доверие. Теперь уже никогда не забудем, как писатели призывали: «Расстрелять, как бешеных собак!»

И народ послушно подхватывал: «Расстрелять!» Не забудем и того, как наотмашь били писателей магическими формулами: «народ требует», «народ возмущен».

Никто не предвидел такого поворота событий, вряд ли мог предвидеть его и Пушкин. Но опасность тезиса о подчиненности искусства общественно-политическим целям и идеалам, тезиса, с такой подозрительной легкостью переходящего от революционеров к реакционерам, он почувствовал безошибочно. Именуя одним и тем же словом «польза» все проявления утилитарного прагматического подхода к искусству, Пушкин вскрывал глубинную общность этих проявлений, внешне иногда далеких. В художественном мире Пушкина от уверенности публики в том, что поэт рожден для ее «пользы и удовольствия», совсем недалеко до страшного вопроса: «Что пользы, если Моцарт будет жив?» Потому он и твердил так настойчиво, что поэзия «не имеет никаких целей, кроме самой себя», что «истинный талант доверяет более своему суждению» и что пишет он исключительно для себя, а печатает только ради денег. Об этом написан и знаменитый трагический сонет «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной»).

Для кого же, в самом деле, писал Пушкин? Не хотят ли здесь убедить читателя, что писал он исключительно для собственного удовольствия?! Поспешим успокоить «общественных обвинителей»: Пушкин писал для народа. Вне всякого сомнения — для народа, для кого же еще! Но ведь народ — это не только те люди, которые живут сегодня, но и те, кто будет жить и через двадцать, и через двести лет. Да, и «ныне дикой тунгус», и «друг степей калмык». И именно для того, чтобы сказать нечто необходимое всем этим незнакомым грядущим поколениям, поэт стойко противится и «силе», и «модному образу мыслей», и претензиям публики, и нападкам журналистов, и даже народная любовь не имеет над ним власти. Ту единственную силу, которой должен покориться поэт, Пушкин называет то «искренностью вдохновения», то «чувством истины», то «веленьем божиим». Он пишет для самого себя не из гордыни: просто он послушен ни для кого другого не внятному веленью. «Усовершенствуя плоды любимых дум», он изыскивает истину для нас же, но отказывается делать это *за нас*.

В свое время мы взвалили на литературу весь груз нерешенных обществом проблем, на писателей — моральную ответственность за все, происходящее в стране. Несколько гениев, выдержавших эту чудовищную нагрузку, заложили в нас уверенность, что такое положение нормально и пребудет вечно; что литература всегда будет отважно отстаивать наши интересы, решать наши проблемы и учить нас жить. Иждивенческое отношение к литературе исключительно глубоко укоренилось в нашем сознании. В последние десятилетия, когда «философы, юристы, публицисты, экономисты», в основном, лгали и фарисействовали, а общество все больше погружалось в тяжелую апатию, некоторые писатели, по старой российской традиции, пытались сами решить все проблемы истории, политики, экономики. Когда же появилась возможность познакомиться с их книгами, выяснилось: часть читателей недовольна тем, что писатели решили эти проблемы не вполне удачно, другие же сетуют на недостаточное художественное совершенство их произведений. О том, что далеко не каждый, даже истинно талантливый писатель сможет в таких условиях создать

произведение во всех отношениях совершенное, можно было догадаться заранее. Но попрекать его этим — ход воистину нетривиальный, хотя для нас глубоко характерный. Здесь уместно вспомнить слова Чернышевского: «Не торопитесь осуждать русского писателя за недостатки его произведений, читатель: осуждайте за них себя. Вы виновны в жалком положении русской литературы: от вас она ждет и не может дождаться нравственной поддержки».

Литература не спасла нас в разразившихся социальных катаклизмах, не спасла она и себя самое. Нетерпимость, жестокость и насилие, воцарившиеся в стране, нравственно сломили писателей и породили фальшивую беспомощную литературу, которая тщетно пыталась исполнить свои традиционные общественные функции.

Настаивая на том, что у поэзии нет целей, кроме самой себя, Пушкин стремился сохранить искусство в суете будней и в бурях социальных конфликтов, уберечь его от людских амбиций, корыстных претензий, политических спекуляций. Сохранить — для людей же, ибо только независимое и неподкупное искусство дает им возможность выходить за рамки сиюминутных потребностей, временных целей; возможность корректировать систему ценностей, которая неизбежно искажается в борьбе частных интересов, выгод и теорий. Поэтому самые прогрессивные идеи и самые животрепещущие интересы не могут быть главной целью искусства: оно сразу утратит свое уникальное качество «меры вещей». Соответственно, и поэт — это не учитель, не кумир и не борец; поэт — это просто человек, не жертвующий ничем и не требующий ничего, кроме полноты и свободы самовыражения. Он не обязан нести никаких социальных функций, кроме одной: быть поэтом и хранить в себе ту же меру вещей, не зависимую ни от чего меру человечности и собственного достоинства.

У русской литературы есть будущее, и нам рано подводить итоги. Но самое время — отказаться от избирательного, догматического отношения к своему культурному достоянию. Мы вправе гордиться тем, что наша литература стремилась защищать народ и преобразовывать жизнь. Действительно, русская литература — это как бы больше, чем литература, так же, как и «поэт в России — больше, чем поэт». Но не забудем, что у нас есть и Пушкин. Пушкин, который не желал быть больше, чем человеком, и отказывался стать больше, чем поэтом; но стал, однако, центральной фигурой русской культуры.

Н. К. Телетова

О ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ СИВЕРС-АКСАКОВОЙ И ЕЕ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКЕ»

Осенью 1976 года, когда я начала бывать у Татьяны Александровны, в ее жилище постоянно толпились люди.

Хозяйка — худенькая пожилая дама среднего роста в строгой английской блузке с вертикальными складочками. Изготовление этих блузок по заказам «ответственных» дам некогда спасло Татьяну Александровну от нищеты и, может быть, гибели. Голубые, побледневшие глаза смотрели доброжелательно, но настороженно. Это выражение не поддавалось контролю, его выдрессировали мастера своего дела.

В квартире было две комнаты. Рядом жила тетя Дуся, некогда воинственная, но теперь подчинившаяся обаянию Аксаковой. Было тут и не только обаяние. Когда сын тети Дуси, грузчик, врывался к «тете Тане» и молил о трояке на поллитра, он неизменно этот трояк получал без малейшей заминки — несущественно было, есть ли в столе еще хоть рубль. Так соседи — «прониклись».

Приходящего Татьяна Александровна поила чаем. Над столиком висела полочка, где стояли баночка с кофе, чайник, две-три чашки. Хозяйке одиннадцатиметровой комнаты на Петроградской было за восемьдесят. Она располагалась ближе к окну, у письменного стола, а гость втискивался на стул между этим и чайным столиком и крутился в обе стороны — чай и беседа хорошо сходились.

Над письменным столом висели три фотографии. Короля Швеции — побочным сыном его был Сан-Микеле, книгу о котором в русском переводе с немецкого в 1969 г. издала Т. А. Аксакова, поддержанная в этом А. Т. Твардовским. Александра Александровича Сиверса-старшего, отца. И Александра Александровича Сиверса-младшего, брата, погибшего на Соловках.

Телетова Наталия Константиновна — кандидат филологических наук, автор книги «Забытые родственные связи А. С. Пушкина» (1981) и статей по истории русской и немецкой культуры. В «Звезде» печатались ее работы о Пушкине и Цветаевой. Живет в Ленинграде.

Последняя фотография — с черной ленточкой через нижний угол — изображала молодого крепкого русоволосого мужчину.

Аксакова не переставала радоваться людям, к ней приходившим. Хотя в долгой ее жизни как будто бы и не было одиночества, напротив,— то камера, заполненная семьюдесятью душами, то медпункт лагеря, куда постоянно шли и шли умиравшие от голода люди и где Аксакова была медсестрой, то село Вятские Поляны, где ей дозволялось жить на поселении и где она служила и медсестрой, и учителем немецкого и французского языка в школе... Люди, все время люди...

И вот — записаны многие имена, засвидетельствовано безвинное мученичество. Цепкая память, захватывающий и фиксирующий глаз, чувство долга были удивительны в этой женщине.

Досталось это и по наследству — отец ее, камергер и крупный чиновник в ведомстве дворцовых уделов, занимался генеалогией, историей. Был он близким другом пушкиниста Бориса Львовича Модзалевского, соавтором замечательного издания 1925 г.— «Алфавита декабристов».

Татьяна Александровна любила отца и несла служение России после его смерти. Отец передал дочери мешок скомканных обрывков — около 1500 — записей священника, а до того чиновника Константина Ипполитовича Ровинского (1862—1942), племянника известного деятеля культуры, сенатора, собирателя гравюр Дмитрия Александровича (1824—1895). С Ровинским вместе был А. А. Сиверс в ссылке, и так как бумаги не было, то записи свои Константин Ипполитович вел на оберточных листах, афишах, краях ненужных документов. Все это превращено было Татьяной Александровной в замечательные мемуары Ровинского, сданные в один из московских архивов. Также в архив сдала она и свои воспоминания...

Известный литературовед, тогда хранитель отдела рукописей Публичной библиотеки Москвы М. О. Чудакова 20.3.1977 г. в «Комсомольской правде» писала о том, что воспоминания Т. А. Аксаковой оставили — из всех вновь поступивших материалов — самое большое впечатление. Они были переданы на хранение в середине 70-х. Однако толстые папки машинописного текста продолжали курсировать по Ленинграду и вне его, а Татьяна Александровна была диспетчером их движения. Теперь они изданы — во Франции издательством «Atheneum», в двух томах (Париж, 1988).

У Аксаковой в «Семейной хронике» (так назвало ее мемуары издательство, связывая их через фамилию автора с первой «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова) свой отбор фактов, свои темы, свой метод фиксации, где последовательное изложение все время включает в свою ткань чужие судьбы, исторически важные эпизоды, видимые снизу, из потока гонимых.

Аксакова начала свою «хронику» в 1952 году в Вятских Полянах. Она указала в предисловии к ним дату и место рождения. Мы повторим ее, уточнив, и укажем печальную, вторую — смерти.

Родилась она в Петербурге в доме на Николаевской ул. (ныне Марата) 12/24 октября 1892 года. Скончалась, покинув Ленинград в первых числах сентября 1981 года, в городе Ижевске 3 декабря того же года.

В Ижевск она переехала к своему бывшему воспитаннику, врачу Михаилу Ивановичу Сабсаю. Еще в Вятских Полянах Татьяна Александровна взяла к себе подростка, мать которого навсегда уезжала к родным в Швецию.

В июне 1989 года М. И. Сабсай писал о Татьяне Александровне: «Могилы ее не существует. Такова последняя воля умершей».

В январе 1914 г. Т. А. Сиверс становится женой поручика Бориса Аксакова, через полгода отбывшего в действующую армию. В 1915 г. появляется на свет сын Дима. Обе революции 1917 года Татьяна Александровна проводит с ребенком и матерью в поместьях под Козельском, откуда однажды ночью пришлось бежать в Москву, так как дворянство поголовно вырезалось, расстреливалось, избивалось.

«Не ясен был только вопрос об участи детей до четырех лет. По одной версии им предстояло быть убитыми, а по другой — нет»,— замечает Татьяна Александровна.

Опустим последовательный комментарий к следующим годам, но выделим неизвестные эпизоды или даже целые сюжеты большой исторической важности, представленные Аксаковой.

Так, важен, например, ее рассказ об аресте и освобождении отца осенью 1918 г. в Петрограде. Взят он был в своей квартире на втором этаже дома № 17 по Миллионной улице. Дом был трехэтажный и имел как парадную, так и черную лестницы. 30 августа по черной лестнице бежал до последнего этажа и там был схвачен преследователями эсер Леонид Акимович Каннегисер, двадцатилетний поэт, ученик Гумилева. Содержали его до расстрела в Кронштадте. Он застрелил в упор главу петроградской «чеки» Моисея Соломоновича Урицкого, подписывавшего листы списков тех, кого затем уничтожало его ведомство.

Л. Каннегисер — друг Сергея Есенина, бывавшего у него. Отец Леонида — известный инженер. Ему и членам семьи удалось вскоре уехать в Берлин, избежав участи сына. Семья эта описана М. Цветаевой в очерке «Нездешний вечер».

Юноше, жертвовавшему жизнью, чтобы избавить Петроград от того, кто провел, в частности, массовые расстрелы его со-

граждан после 6 июля 1918 г., принадлежат восторженные и вещие строки:

Сердце! Бремени не надо!
Легким будь в земном пути,
Ранней ласточкой из сада
В небо синее лети...

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне...

Всех жильцов дома № 17 по Миллионной улице арестовали, полагая, что Каннегисер бежал скрыться к определенному и знакомому лицу. В их числе оказался и А. А. Сиверс-старший, доставленный затем в Петропавловскую крепость. Здесь он стал свидетелем погрузки арестованных на закрытые баржи, в которых прежде вывозили из города мусор. Суда набивали исключительно офицерами якобы для отправки в Кронштадт. Затем их топили в заливе...

Очень интересовало Т. А. Аксакову и прямо ее касалось так называемое «дело лицеистов» 1925 г., дело темное в деталях, но столь же ясное в целом, как и «дела» Шахтинское и Промпартии 1928 и 1930 гг. Если в двух последних уничтожалась техническая интеллигенция, не покорявшаяся «номенклатуре», то «лицейское дело» в каком-то смысле подготавливало «академическое» 1929 г., когда четыре академика — историки Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, С. Ф. Платонов и Е. В. Тарле — были лишены званий, поначалу арестованы, а затем сосланы. И историческая наука, и гуманитария в широком смысле (лицейский диплом приравнивался к высшему юридическому образованию) были разгромлены. Последовательное истребление членов издательства «Academia» в 30-е годы довершало этот процесс — интеллект преследовался в любых проявлениях.

«Лицейское дело» 1925 г. в искаженном, перевернутом виде рассматривалось много лет спустя в двух «литературных произведениях». Это повесть работника органов Льва Вениаминовича Никулина, позже писателя, «Мертвая зыбь» (1965) и повесть А. Сапарова «Опасные комедианты» («Звезда», 1972, № 4 и 5).

Даже название организации — «Честь и престол» (у Никулина) — было, видимо, изобретено, чтобы в самом заголовке обнаружить ненавистное для новой власти обращение к монархии, на самом деле далеко не популярной у большинства «бывших», мечтавших о реализации демократии в виде Учредительного собрания.

Впрочем, состав тех, кто должен был погибнуть — сразу или мученически в лагерях потом,— довольно точно определен Никулиным, который «цитирует» в своем произведении бывшего тайного советника юриста Путилова (единственная реальная фамилия — из лицеистов — у обоих авторов): «Путилов сказал, что организация после недавних арестов (очевидно, имеется в виду так называемое „дело Таганцева", когда „на доверие" удалось взять и убить 62 человека из петроградской интеллигенции) только оживает, снова собираются группы пажей, лицеистов и правоведов, бывших офицеров Преображенского и Измайловского полков, Михайловского артиллерийского и Павловского училищ».

Т. А. Сиверс-Аксакова сообщала об этом деле — письменно и устно — следующее.

В 1915 г. в 71-м выпуске окончил Лицей ее брат Александр. (Еще два выпуска состоятся весной 1916 и 1917 годов.) Поэтому все, что касалось лицеистов, касалось и Татьяны Александровны, знакомой с товарищами брата, который был на полтора года ее моложе.

В «Хронике» Т. А. Аксакова пишет об этом «деле» так: «Весною 1925 года в Ленинграде начался так называемый „Лицейский процесс". Говорить об этом деле, инициатором которого, как слышала, был Зиновьев, я буду очень кратко, так как, по существу, знаю очень мало, а именно: в апреле-мае все бывшие лицеисты, оставшиеся в СССР, были арестованы, около сорока человек лицеистов и их знакомых были расстреляны, а Шурик (брат Татьяны Александровны) получил десять лет Соловков с конфискацией имущества. Из участников процесса, до ареста, он изредка виделся с Мишей Шильдером, сыном бывшего директора Лицея, и своим однокурсником Грум-Гржимайло (Алексеем) — сыном известного путешественника-географа». Сноска Татьяны Александровны: «Шильдер погиб в 1925 г. Грум-Гржимайло оказался в числе немногих, выпущенных на свободу».

Заметим, что в 1925 г. в очередной раз отменялась смертная казнь, это ожидалось. И вот заключенными накануне декрета набили товарные вагоны на вокзале Ириновской дороги (находился на берегу Невы, в районе Большой Охты, вскоре был разобран, а ветка до Ржевки подсоединена к Финляндскому вокзалу), вывезли за станцию Пороховую, где их и расстреляли. Среди них были и обреченные по «лицейскому делу».

Александр Александрович Сиверс-младший стал легендарным лицом на Соловках — о нем пишут А. И. Солженицын, О. В. Волков, он упомянут в фильме М. Голдовской «Власть Соловецкая» (1988) и некоторых других источниках. Однако только благодаря Татьяне Александровне мы можем устранить ошибки всех летописцев СЛОНа.

Как явствует из мемуаров, «с конца лета 1929 г. в Ленинград стали поступать плохие вести из Соловков — настроение стало тревожным: всю 58-ю статью перевели на общие работы. Татьянка (жена А. А. Сиверса Татьяна Николаевна, урожденная Юматова), насколько мне помнится, в начале октября уехала в Москву к Екатерине Павловне Пешковой, этому прибежищу всех „униженных и оскорбленных". Много сделать возглавляемый ею комитет политического Красного Креста на Кузнецком, 24 не мог, но приходящие встречали там сочувствие и хватались за эту соломинку.

В начале ноября я получила открытку со штампом УСЛОНа, датированную 24 октября. А. А. сообщал, что используют его и его 10-ю роту на лесоповале, что ждут морозов, потому что тогда не придется работать весь день под дождем. Открытка была подписана так, как я его называла в далекие годы нашего детства: „Твой песик-братик"».

Через четыре дня после отправления открытки, 28 октября 1929 г., измученных людей, числом 300, расстреляли.

Через год, чтобы замести следы этого бессудного и оказавшегося известным расстрела, сказано было, что это произвол местных властей. Тогда расстреляли расстрельщиков, в частности, работника ИСО Иванницкого, который лично выполнял приказ и отзывался с большим уважением о Сиверсе, спокойно и мужественно принявшем смерть в свои 35 лет.

Народная молва называла популярного среди лагерников Сиверса комендантом, то есть, возможно, делегатом тысяч, выступавшим в защиту несчастных. Жена его, как и сын, спаслась во Франции, куда ее в своем купе увезла Е. П. Пешкова сразу после соловецкой трагедии.

Вокруг Сиверса складывались легенды. Происходила контаминация сюжетов — рождался эпос. Так, легенда говорит, что Т. Н. Сиверс имела свидание с мужем, после которого его повели на смерть, а ей довелось слышать выстрелы и крики.

Следует назвать имена участников этой трагедии, разворачивавшейся рядом с Сиверсом, о ней пишет, не называя имен, А. И. Солженицын. Речь идет о заключенном Георгии Михайловиче Осóргине, москвиче, офицере, который просил дать свидание с прибывшей женой, а потом уже, после ее отплытия на материк, лишать его жизни. Это было исполнено — не из человеколюбия, надо полагать, а для того, чтобы правда подольше не была известна за пределами Соловков.

Судно еще видно было с острова, когда Осóргина повели на расстрел. Добавим еще, что следствием этого свидания появилась на свет Марина Осоргина, покинувшая родину вместе с матерью при первой возможности. Жила она в Париже, была замужем и скончалась несколько лет назад, оставив пятерых детей, дружных и как бы отдаленно противостоящих своим существованием судьбе своего деда. Эпизод с Осóргиным оказался в легендах переданным Сиверсу.

Возвращаясь к биографии Т. А. Аксаковой, отметим, что жизнь ее в двадцатые годы связана была по большей части с Ленинградом. Сын и мать переселились в Париж, куда в 1923 и 1926 годах ездила Т. А. Отец в октябре 1928 г. был переведен из Эрмитажной библиотеки в отдел рукописей Библиотеки Академии наук. Вскоре ему было предъявлено обвинение в том, что он похитил дневник Станислава Понятовского, но Сиверс указал место, где он благополучно хранился. Арест — уже вторичный — кончился освобождением.

Но Александр Александрович снова арестован и в том же трагическом 1929 году отправлен на три года со Шпалерной улицы в Туруханск. Весной 1933 г. в силе был уже закон «минус шесть», и он поселился во Владимире, затем Тарусе, Можайске.

С конца 40-х годов ему дозволили жить в Москве, где он служил в Историческом музее (ГИМе). Ему он оставляет свои картотеки, тетради с генеалогическими разведками, очень ныне ценимые историками.

Скончался А. А. Сиверс восьмидесяти восьми лет от роду в 1954 году.

Фиксируя судьбы многочисленных друзей, знакомых, Татьяна Александровна как бы невзначай обращает внимание на один чрезвычайно знаменательный сюжет весны 1934 года, сюжет, давно канувший в бездну других трагедий.

Речь идет о Борисе Столпакове, сыне калужанки Софии Николаевны, урожденной Суворовой. Борис окончил университет, служил на Ленфильме. Был дружен с троюродным братом, носившим громкую фамилию Бобрищевых-Пушкиных.

Татьяна Александровна пишет: «Весной 1934 года я узнала, что Борис Столпаков и его три товарища (один из них — кузен Бобрищев-Пушкин) арестованы.

Родные терялись в догадках и ничего не могли узнать, так как заключенных сразу отправили в Москву. Наконец, ближе к осени, Софии Николаевне удалось получить свидание с сыном (кажется, в Бутырках). Через две решетки Борис ей сказал: „Мамочка! Не удивляйся и не осуждай — я должен был подписать, что собирался убить Кирова. Я не мог поступить иначе. Но это ничего — мне обещали: за то, что я подписал, мне дадут только три года, и все!" Через день всех четверых расстреляли. Надо добавить, что в ту пору С. М. Киров был жив и здоров и потому вся эта инсценировка казалась чем-то выходящим за грани человеческого разумения. Ошеломленная горем София Николаевна пришла мне поведать о всем этом... (Весною 1935 года, насколько я слышала, София Николаевна, ее сыновья и сестра были высланы в за-

падный Казахстан, но я с ними связь потерила.)».

Свидетельство Татьяны Александровны представляется политически и психологически очень ценным: убийство Кирова репетировалось — не действием, а в умах советских людей. Отметим, что лето 1934 г. Киров провел на востоке страны в связи с уборочной кампанией, так что знать, даже случайно, о суде не мог.

Связь Татьяны Александровны с матерью погибшего Бориса утратилась по серьезной причине: 11 февраля 1935 г. Аксакову арестовали. Через несколько месяцев содержания в ДПЗ на Шпалерной она была освобождена, но ее обязали сразу уехать на поселение в Саратов.

Пока «бывших» выселяли из Ленинграда по «дворянскому делу», уже арестованных к 1 декабря 1934 г.— расстреливали. Так, через два дня после убийства Кирова погибли 120 заложников. В их числе Татьяна Александровна упоминает участников «уструговского дела» — дела инженера Дмитрия Устругова и его друзей, осужденных за то, что пели песенки на слова великих князей...

3 ноября 1937 г. Аксакову арестовали уже в Саратове, как и многих других, туда попавших.

Дворяне шумною толпой
По эсесерии кочуют,—

с горьким юмором в 1936 г. писала Татьяна Александровна.

В декабре 1937 г. она получила «восемь лет исправительно-трудовых лагерей по литере К. Р. Д. ⟨...⟩ Когда мы задали вопрос: „А по какой статье мы получили сроки?“ — тюремный служащий несколько смущенным тоном ответил: „А какая же у вас может быть статья, когда вас не судили? Впрочем, приедете на место и там узнаете!“».

Назовем теперь последующие вехи пути Татьяны Александровны. Это лагерь Локчимлаг за Котласом, куда ее этап прибыл весной 1938 года. Затем второй лагерь, неподалеку, Пезмог. Так прошли годы 1938—1943-е. А потом Аксакову «актировали» и определили на поселение в Вятские Поляны Кировской области. В паспорте был указан § 39 — политическая ссылка.

Иногда приезжала она в Москву, однажды по путевке была в Кисловодске. Так продолжалось до 1967 года, когда чудом ей удалось вернуться на берега Невы. Здесь в 1976 году она написала стихи «О Сиверсах»:

Вот вкратце наша эпопея:
Отец — в низовьях Енисея,
А дочь — на Вычегде и Вятке.
Прошли года — и все «в порядке».
Руководители сменились,
Пред Сиверсами извинились,
Отец допущен был в Москву,
Дочь возвратили на Неву.

Но то, что было в Соловках,
Не позабудется в веках.

Дмитрий Бобышев

КОТЕЛЬНЫ ЮНОШИ

И девы тоже. А на самом деле — они уже давно не молодежь: в лучшем случае — им за 40, а то и все 50. Поэты, прозаики в расцвете творческого «акмэ», делавшие исподволь литературную действительность 70-х застойных и 80-х мутных годов, то есть — те, кто в последнем десятилетии должны бы получить полную меру успеха и приязни, читательской славы и гражданского уважения. И, тем не менее, ничего пока не получившие. Вот потому так напрашивается эта параллель с пушкинским выражением

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят...

Сорвавшись с легкого пера, эта необидная кличка «архивны юноши» стала обозначать группу московской интеллектуальной молодежи 30-х годов прошлого века, впоследствии образовавшую кружок «любомудров». Туда входили такие истинно талантливые люди, как Веневитинов, Шевырев и Одоевский, к ним чуть позднее присоединился Киреевский, а пушкинский приятель Сергей Соболевский был как бы всех объединяющим знакомцем. И, конечно, единило то, что все более или менее условно состояли при Московском архиве коллегии иностранных дел.

Почему же цветущие одаренные молодые люди, вместо того чтобы блистать на балах эполетами или строить головокружительные карьеры при дворе, либо в министерствах, занялись непритязательным делом, которое в первую очередь ассоциируется с книжной пылью и согбенными спинами?

Пожалуй, лучше всего эти мотивы выразил близкий им по духу современник В. Печерин, которого можно было бы назвать петербургским «архивным юношей» и который впоследствии сделался загадочным «невозвращенцем», странствующим по свету рыцарем-интеллектуалом. В своей книге «Apologia pro vita mea» («Оправдание моей жизни»), посящей также название «Замогильные записки», он пишет о собственных нравственных метаниях той поры. Выбрав своей духовной поддержкой стоицизм, он говорит, что «это единственная философская система, возможная в деспотической стране». И далее Печерин делает вывод: «Вот,— думал я,— вот единственное убежище от деспотизма! Запереться в какой-нибудь келье, да и разбирать старые рукописи».

Становится несомненным, что уход честного юношества искать себе поприще в «задней шеренге фаланги» — по выражению Фаддея Булгарина — был их ответом на николаевский режим, начавшийся с удавления пяти политических противников и с массовых ссылок оппозиции. Естественно, такой ответ был понят, выражаясь по-современному, как пассивный протест.

В удивительно схожих чертах подобное явление стало происходить чуть ли не полтора века спустя, в глухие десятилетия брежневского правления, а частично происходит и сейчас. С одним различием: архивы перестали быть сборищем «ненужных» бумажек, наоборот, они превратились в хранилища опасной, взрывчатой информации.

И честное интеллектуальное юношество, да и литераторы постарше шли в кочегары, ночные сторожа, наладчики очистных сооружений... В порядке самоиронии они, вероятно, и выдумали название для всего этого слоя, довольно многочисленного: *люмпен-интеллигенция*. Конечно, в эту социальную категорию, если не сказать класс, входили и неудачники, и графоманы, но много было и недюжинных талантов, личностей с сильными принципами и потенциалами. Таков стал их жизненный выбор. Существуя на мизерные зарплаты или на инвалидные пенсии, эти люди проявляли стоицизм, уже не только философский, а и практический.

Любопытно, что в предыдущую, хрущевскую, эпоху у Пастернака было опубликовано волшебное стихотворение «Ночь» с такой строфой:

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

Скорее всего, Борис Леонидович имел в виду настоящих истопников, то есть простой рабочий люд, который не спит, чтобы давать другим тепло. Но уже в то время, а особенно в последующую эпоху, этими истопниками становились поэты.

В разные времена среди них были и «трамвайный кондуктор» (или бухгалтер?) Б. Чичибабин — талантливый харьковчанин, единственный из них, кто сейчас действительно пожинает лавры, и многочисленные москвичи, например, «официант» И. Холин и уж не знаю кто, скажем, «детский считалочник» Г. Сапгир.

В более поздние времена — «церковный сторож» Ю. Кублановский и целая группа полуподпольных, именно *подвальных* литераторов, прославившаяся на весь мир скандальным альманахом «Метрополь».

Правда, с ними смешались, дав альманаху свои имена, ряд знаменитостей, официально признанных. Обе эти группы — *полуподвал и полуистеблишмент* — нуждались друг в друге. Первым были нужны вторые для придания громкости скандалу, и они этого добились, получив известность за рубежом и чувствительные неприятности дома. Но зачем этот союз нужен был знаменитостям, литературным баловням, которым и так разрешалось многое, запрещенное для других: от острых тем до формальных экспериментов? Ведь они уже были допущены в узкую полосу гласности, которая существовала и в самые глухие времена, но лишь для немногих, то есть была привилегией... Эта промежуточная элита, в поэзии лучше всего определяемая именами Е. Евтушенко и А. Вознесенского, распространялась и на смежные искусства, и если кого-то назвать, например, «Вознесенским театральных постановок» или «Евтушенко в живописи», то сразу понятно, какой режиссер или художник имеется в виду. В сущности, они представляли собой разрешенный неофициоз, иногда дерзили в печати или на сцене, пользовались благами своего положения и чувствовали себя, да и были, конечно, гораздо свободнее, чем обитатели «подвалов и котелен».

Дело не в благах — их-то они заслужили, дело в том ореоле гонимости, который они присвоили незаслуженно. Ведь чистая интуиция о политических веяниях, о том, как и насколько можно отклоняться от дозволенного, не могла бы обеспечить им безошибочный и столь долговременный успех, при том, что это вызывало невероятное раздражение с другой стороны, у настоящего официоза, у «честных» прославителей режима. Все это не могло не наводить на какие-то смутные предположения о поддержке сверху... Не думаю, чтоб осуществлял это сам Андропов, хотя ничего фантастического в том нет. Во всяком случае, об этом сенсационно свидетельствовала Е. Шевелева на писательском съезде (март 1987г.), где она даже цитировала стихи «поэта» Ю. Андропова. Но сама возможность таких предположений, желание их исключить и подтвердить мятежную репутацию, наверное, и были причинами короткого союза элиты с литературным подвалом.

Примерно в то же самое неблагоприятное время, что и «Метрополь» в Москве, в Ленинграде сформировалась другая независимая группа поэтов и прозаиков, которая начала изнурительную борьбу за признание. Нечего и говорить, что чуть не половина из них служила в котельных (с университетскими дипломами), в остальные

тоже соответствовали на разный лад «люмпен-интеллягентскому» статусу.

В отличие от москвичей, у них не было влиятельных союзников из либерального истеблишмента — в Ленинграде такая категория вообще отсутствовала. К тому же они имели дело с начальством (как литературным, так и идеологическим) более низкого, провинциального уровня, то есть, как правило, более опасливым, тяжелым на подъем. Зато, может быть, по своей инертности начальство смотрело сквозь пальцы на существование самиздатской периодики.

И та удивительным образом процветала: журнал «37» (редакторы В. Кривулин и Т. Горичева), альманахи «Часы» (редактор Б. Иванов) и «Обводный канал» (К. Бутырин и С. Стратановский), где печатались многие из котельных юношей и дев, например: поэты Е. Игнатова, Б. Куприянов, О. Охапкин, Е. Пудовкина, Е. Шварц, П. Чейгин, прозаики Е. Звягин, Б. Улановская, Ф. Чирсков и многие другие. Хотя эти издания и циркулировали в узком кругу (еще одна причина, почему начальство не беспокоилось), они давали стимул литературной жизни довольно большому созвездию одаренностей, укрепляли их уверенность в себе, в своем назначении и таланте.

В конце 70-х эта группа объявила себя «Второй литературной действительностью» или «Второй культурой» по отношению к официальной и потребовала от Союза писателей и от властей признания такого статуса. Можно было бы спорить с этим термином (например: а что вы считаете «первой»?), но ясно, что за словом стояло праведное стремление выжить, защитить свое авторское и человеческое достоинство, ответить, наконец, положительно на гамлетовский вопрос: «Быть!» В затянувшемся на годы сражении с бюрократией неофициалы все-таки одержали две крупные победы. Во-первых, власти их признали как литературный клуб, который был назван по году основания «Клуб-81». Им выделили нежилые помещения для встреч поблизости от Большого дома.

Все это — и топография клуба, и помещения — подвал и чердак — не лишено было символики, но все же «чердак», в литературных преданиях связанный со свободными и весело-голодными художниками-артистами-поэтами, меньше подходил для такой роли... Как сказано в той же «Ночи» Пастернака:

> Кому-нибудь не спится
> В прекрасном далеке
> На крытом черепицей
> Старинном чердаке.

Это годится, скорей, для парижской богемы. А для питерской самое подходящее место — полусырой подвал в тени могущественных «органов». Конечно, подвал — не Красная гостиная Дома писателя, но все-таки это была победа — один из редчайших случаев признанного «неформального объединения» задолго до наступления эпохи гласности.

А второй успех пришел много позднее — в 1985 году, когда наконец-то в издательстве «Советский писатель» они опубликовали свой многострадальный альманах «Круг». Первые отзывы о нем в советской прессе были написаны как бы сквозь зубы, но вскоре за альманах заступились критики из журналов «Нева» (№1, 1987) и «Октябрь» (№1, 1987), с сочувствием отозвалась и эмигрантская печать: Л. Чертков («Русская мысль», 1986) и Ю. Колкер (там же, 1987). В сборнике есть немало ярких образцов прозы: трогательный мини-роман Ф. Чирскова «Прошлогодний снег»; изысканно старомодная романтическая новелла об умершем бродяге-поэте Роальде Мандельштаме («Замерзшие корабли» Н. Подольского); ироническая фантазия Е. Звягина «Корабль дураков»... Именно в этой поздней ленинградской прозе была всего ощутимей душа Петербурга. И в значительной частипоэзии тоже. Громогласие скачущих ямбов О. Охапкина и витиеватость образного строя В. Кривулина могли бы объединиться под общей характеристикой «необарокко». А языческие мотивы С. Стратановского и, как ни странно, подобные же краски у во-что-бы-то-ни-стало-оригинальной Е. Шварц определяли другую, хлебниково-обэриутскую традицию, традицию эксперимента, несмотря на всю противоречивость этих понятий. А вот — тщательно выбранный органический лексикон П. Чейгина: «мерзлые зерна», «чирок», «спелая муха»... Или, вне новаторства и консерватизма, просто от души произнесенные строки Е. Игнатовой.

И все-таки многое в альманахе «Круг» показывало его вымученность. Прежде всего, обилие ничем ранее не проявившихся и никак не проявленных этой публикацией новых имен, облепивших те не столь уж многие, составившие ценность сборника. И, как нарочно, не особенно представительные подборки этих ярких авторов. Но не исключаю, что и нарочно, учитывая склонность внешних составителей к сглаживанию всего острого и необычного, к торжеству серости... Словом, «Круг» оказался слишком широким. Помимо того, при всех огромных потерях качества и темпа, сборник вышел в самое неудачное, сумеречное время: то ли на заре Гласности, то ли при закате Застоя, иначе говоря, между собакой и волком... Во всяком случае, литературные достижения альманаха показались вскоре довольно скромными в свете начинающихся перемен.

Прежде всего, старая гвардия оказалась несравненно лучше подготовленной к очередной, как она понимала, перемене курса, чем молодые литературные эшелоны. Мигом «перестроившись», но сохраняя прежнюю структуру писательско-печатных отношений, официоз продолжал (и продолжает) мертвой хваткой держаться за книгоиздательства и периодику. Журналы, переменившиеся во многих отношениях разительно, печатают почти те же списки железобетонных авторов, что и 10, и 20 лет назад.

Давно перешли в классическую бронзу те, чьи журнальные публикации «сделали» гласность: Ахматова, Джойс, Набоков, Оруэлл, Пастернак, Платонов. Им, конечно, предстоит долгая литературная жизнь, может быть — вечность, но в факте опубликования по существу нет никакого открытия: интеллигенция их читала в самиздате (и тамиздате). Эти великие книги давно стали классикой, а их печатают как новинки, оттесняя с журнальных страниц — нет, не старую гвардию и нет, не конформистов, а все тех же бывших и нынешних неофициалов.

Что же касается вполне живых эмигрантских писателей, возвращающихся в родную печать, то и они в политическом смысле утратили свою живость. К примеру, такие вещи, как «Чонкин» В. Войновича и «Верный Руслан» Г. Владимова, оказавшись использованными в кампании запоздалой десталинизации, лишились восхитительной дерзости — качества, которое так сильно привлекало к ним 10—15 лет назад.

А. Вознесенский в изложении Крэга Уитни («Книжное обозрение Нью-Йорк Таймс», 1990) объясняет ситуацию следующим образом: «В моем поколении нас не печатали по политическим причинам. Для этого поколения это вопрос конкуренции — Платонов и Булгаков сейчас конкуренты, и нет места для новых...» Но можно возразить, что Вознесенского печатали всегда как раз по политическим причинам и отнюдь не классики и не эмигранты составляют конкуренцию молодым. Поэтесса Юнна Мориц в интервью газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1990) предупреждает о другом: «А вот когда они распечатают все эти богатства, приносящие колоссальную прибыль,— пожалуйста, они откроют частные издательства для выпуска современной литературы. Молодых, у которых нет устоявшейся репутации, устоявшегося имени. Будут маленькие тиражи. Это даст повод говорить, что нынешняя литература не пользуется успехом, не популярна. И соответственно будут относиться к этим писателям. И все начнется по новой: трудная судьба, невозможность пробиться, нищета, унижения».

Кажется, в переходные эпохи появляется гораздо больше возможности для морального лавирования и манипуляций читательским вниманием. Но, как ни странно, мастера таких эффектов терпят значительные потери, заметно утрачивая свой престиж. Как пишет Наталья Иванова в статье «Поэзия в эпоху перестройки и гласности» (выпуск «Хроники революции», Нью-Йорк, 1990): «Парадоксально, Вознесенский и Евтушенко теперь более серьезны как авторы политических статей, чем как поэты».

Но менее всех выиграли на перестройке неофициалы. Их успехи несообразно скромны по отношению к потерям. Старшие предлагают им сомнительные блага перестройки: мертворожденные издательские кооперативы, унизительно малотиражные обоймы брошюр, при этом оставляя за собой несомненные блага все тех же привилегий, связей, массовых тиражей, авансов и премий.

Средние, переживая свой кризис, не поддерживают младших конкурентов. Однажды, еще в 60-х, Евтушенко сказал группе поэтов-неофициалов: «Я выпускаю свою десятую книгу, чтобы вы скорее выпустили ваши первые». Пустая фраза — с тех пор он напечатал еще десяток, если не два, а те поэты так я ходят в неофициалах. Но когда один из них, Евгений Рейн, спустя десятилетия все же опубликовал свой сборник («Имена мостов», М., 1984), то Евтушенко отозвался на него в «Литературной России» неожиданно цинично, с позиции обеспокоенного конкурента: «Рейну серединки с начинкой не досталось, а именно горбушка пирога, да еще с чужого стола».

А у сравнительно младших писателей перестройка отбирает даже горькую утеху — ореол непризнанности, особый престиж непокорства и правоты. Исчезает риск вовлеченности в самиздат, и вместе с опасностью испаряется образ тайного гуру, истинного авторитета в эстетике и морали, носителя запрещенного знания. Снимается запрет на великие книги XX века и теряется нужда в посредниках и пересказывателях... Поэтесса Е. Дунаевская, одна из этих младших, исповедуется в этом («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1989):

> Противна запоздалая награда.
> Мы были правы, а теперь пусты.

Сама свобода, отчисляемая по команде начальства, вызывает горькие чувства. «Пришло запоздалое снятье запретов»,— пишет В. Кривулин в стихах, опубликованных на Западе («Русская мысль», Париж, 1987). И там же: «Нет, не пьянит меня воздух, отпущенный сверху!»

И все-таки, несмотря на понятный пессимизм этих строк, «котельных юношей», как слегка постаревших, так и более молодых, нельзя назвать «выдохшимся поколением», они продолжают бороться... Но то и печально, что бой с ними все идет. Система продолжает их отторгать, хотя они время от времени одерживают новые победы; одна из них — специальный № 9 журнала «Нева» за 1989 год, целиком посвященный именно этой группе.

Тема последней эмиграции, еще недавно запретная — провожание близких, живых

людей навсегда, как бы на тот свет,— открывает прозаический раздел выпуска. «На отъезд любимого брата» — так называется повесть Б. Иванова. «В настоящее время — оператор газовой котельной»,— эпически сообщает о нем редакция, заключая довольно обширную библиографию профессионального писателя.

Б. Дышленко («работал художником... дворником, сторожем, кочегаром») касается еще более чувствительной темы в повести «Что говорит профессор». Его герой — знаменитый ученый, писатель, диссидент; в прототипы ему годятся многие истинные герои нашего времени — подвергается тайной слежке. Рассказ ведется от лица безликих лиц (в этом необычность приема) целого отряда гебистов, которые не только подслушивают и подсматривают, но пакостят и угрожают профессору, разыгрывают попытки покушений, диверсий, терроризируют полгорода, действуя столь топорно, что все кончилось бы их полным провалом и позорищем, если б не неожиданная (но очень хорошо подготовленная всем повествованием) развязка — смерть профессора от инфаркта.

«Служащий ВОХРа» И. Долиняк выбирает главным персонажем своей повести «Прогулка в дурное общество» служащего пропагандно-идеологической машины — обкомовского лектора. Химерическая лексика героя существует параллельно, не смешиваясь с уличной и заводской, так же, как и убогость полуголодной жизни рабочего люда с бравыми лозунгами об успехах социализма. Эффектным приемом (хотя и не таким уж новым) является вторжение метафизики в атеистическое сознание персонажа.

И наконец-то тема собственного подвального, подпольного выживания появляется в поэтическом разделе журнала, по существу, от первого лица. В. Кривулин пишет:

...поэту на Руси
судьба — пищать под половицей!

Несколько иначе разрабатывает эту тему Е. Игнатова, теперь уже эмигрантка:

На невезухе-лошадке писатель-непруха
гиблого слова из лесу вывозит возок.

Она же в стихотворении «Спас-на-крови», правда, лишь на символическом, назывательном уровне, касается жгучей темы: неправоты революционного террора, но идет дальше теперь уже расхожего публицизма. В одной строке поэтесса примиряет кровь жертвы и убийцы, накрывая их общим храмом:

...тяжеловесный Спас
поставлен на крови царя и террориста.

Лагерная тема, увы, давно не нова в отечественной литературе. Нет нужды перечислять блестящие имена, прогремевшие на весь мир, прокричавшие слова правды, горя и страха, которые не смел произнести «бессловесный народ». И все-таки эта трагическая тема далеко не исчерпана. Например, о новомучениках, пострадавших, положивших души свои за веру, только начинает писать историческая публицистика, причем, конечно, прежде всего о личностях известных, таких, как иерархи гонимой церкви, либо таких великих религиозных философах, как о. П. Флоренский и Л. Карсавин... А ведь:

Были и те, чей единственный след — это свет
над мерзлотою, над тундрой, где мощи
хранятся;
на деревянных табличках ни даты, ни имени
нет —
будут теперь номера вписаны в святцы,—

напоминает нам Е. Пудовкина, еще один «оператор котельной». Ее нарочито негромкий голос лучше любого окрика требует читательской тишины, подчеркивая вескость и правоту сказанного, причем не только в стихах трагического или религиозного содержания, но и в беспримесной лирике:

Двух ртов соприкасанье, а не уст.
Дыхание с простудой вперемешку.

Строки передают что-то очень существенное, относящееся прямо к душе Петербурга или, по крайней мере, к климату любовных свиданий с этой душой. Небольшая, только из трех кратких стихотворений состоящая подборка Пудовкиной, несомненно, очень удачно представила ее в журнале.

Но сказанное относится не ко всем авторам необычного номера. Например, С. Стратановского, да и Е. Шварц можно было бы показать ярче, крупней, соответственней их причудливо-ироническим дарованиям... Казалось бы, не беда: в следующий раз... Но в том-то и дело: а будет ли он? Журнал «Нева», отдав этим исключительным выпуском дань Перестройке, снова вернулся к «своим» авторам, на спокойно функционирующие отношения с «перестроившимися» членами все той же неперестроившейся структуры.

А что же остается нашим нонконформистам? Видимо, опять забираться в подвалы... Плюс — вылазки на Запад, в эмигрантскую печать, всегда сочувствующую независимым голосам метрополии. Роль западной печати существенно переменилась в формировании писательских репутаций и судеб. Если в 60-х самовольная публикация за границей могла приравниваться к государственному преступлению со всеми вытекающими результатами, то в следующие полтора десятилетия она вызывала все убывающий спектр неприятностей, впрочем, немалый: например, запрет на публикации дома. А поскольку котельным писателям терять было нечего (ниже подвала все равно не спустишься), то они при случае всегда пытались закинуть свои произведения на Запад. И публикации появлялись всюду: будь то изысканно-безобразный альманах М. Шемякина «Аполлон-77» или многотомная антология К. Кузьминского «Голубая лагуна», полная, наряду с самиздатскими шедеврами, всяческого мусора, и, конечно, многочисленные издания русской периодики Франции, Америки, Германии и Израиля. Выходили и отдельные книги за рубежом, причем даже в самые застойные времена: например, у Е. Игнатовой (1976) и В. Кривулина (1981), обе — в парижском издательстве «Ритм», а у Е. Шварц — в нью-йоркской «Руссике» (1985).

Теперь зарубежные книги, помимо чисто художественного, производят впечатление еще и как свидетельства непокорства авторов, их культурного сопротивления, воспринимаются как «патенты на благородство», и это справедливо. Даже государственное издательство «Советский писатель» в 1989 году, поддавшись, вероятно, моральному давлению, выпустило все-таки обойму их книжек, но каких? — тонюсеньких, микротиражных, словно для начинающих авторов. Отношение издателей к чуждым для них авторам видно и из кратких, но весьма небрежных представлений читателю, подписанных маститыми авторитетами.

Впрочем, не бо́льшим ли несчастьем для автора является вступление к зарубежному сборнику той же Е. Шварц (изд-во «Беседа», 1987): «Она служит медиумом невыговариваемого универсума, в котором человек оказывается на гигантских ступенях и мизерных провалах к коварному слову Бог» (Игорь Бурихин).

Может быть, лучше уж обойтись безо всяких иступлений, как в брошюровидном сборнике Елены Пудовкиной «Стихи», набранном в экзотическом месте: Данденонг, Австралия (1990). Брошюра эта оказалась содержательней, чем иной том: пятьдесят отборных произведений, одно лучше другого...

В ее стихах форма совершенно незаметна: она отступает перед естественностью произносимых слов — настолько они весомы, сосредоточенны и спокойны. Так отступает вещественное перед духовным. Даже предметы, расставленные кое-где в ее стиховом пространстве,— хотя и просты, и скромны,— одухотворены настолько, что, кажется, обладают разумом и совестью, как, например, в стихотворении «Тысячеглазый ангел нелюбви»:

...стакан сознался, что наполнен ядом,
кошмаром — зеркало, а тихая печаль —
отчаяньем.

Такое пристальное вглядывание за поверхность предмета (лица, пейзажа, события, чего угодно), в его сущность — свойство редкое, и оно, несомненно, составляет особенную черту личности поэтессы. Но, в то же время, у нее этот взгляд разработан настолько, что за ним угадывается основательная школа, дающая не только подход, но и метод. Я думаю, что в чисто литературном выражении — и через посредников, и прямо — эта школа восходит к лирике и прозе Райнера Марии Рильке, столь возлюбившего Россию, что даже в этом у него есть чему поучиться отечественным патриотам. Говоря же о стихах Пудовкиной, хочется определить главный рилькеанский пункт, ею воспринятый и осуществленный: созерцание предмета может быть отнюдь не пассивным, а, наоборот, деятельным, страстным и познавательным взглядом в его суть.

Но стихи — это ведь не только ритмически выраженные мысль и чувство, но также свет, цвет, объем, поза, поэтому некоторые строки и образы Е. Пудовкиной так близки питерским художникам-метафизикам: живописцу В. Левнтину и скульптору Ж. Бровиной, истинно *чердачным* жителям странного, вневременного города на Неве. Каждому она посвятила по стихотворному натюрморту, такому же темному и аскетическому, как и его аналоги в красках и формах.

Не менее сильна Пудовкина в резких зарисовках городского быта: ее сцены, передающие то гулкие звуки двора-колодца, то шепелявый диалог с юродивой Манечкой (современным подобием блаженной Ксении Петербургской), ничуть не импрессионистичны, а, наоборот, поставлены жестко и крепко, как у Сезанна. «Постановщик» этих сцен — духовный опыт, все более и более сливающийся с религиозным, то есть с опытом переживания Истины, но это слияние драматически замерло в неполноте:

...о вечности не кончена глава,
а о любви заплакана страница...

Наверное, такая неслиянность — к лучшему для поэзии, если появляются прекрасные классические строки, но для автора, чье сознание постоянно обгоняет сделанное, образы каждодневного существования становятся все мучительнее оттого, что видна их чудовищная библейская суть:

Во чреве зверя страшного живем.
Стоим в печи, как отроки, но только
не так чисты.
Горит на нас одежда,
пылают волосы, и лопнули глаза.
И вся-то жизнь — не больше, чем
надежда,
что хвалит Бога всякое дыханье:
и пот, и кровь, и жалкая слеза,
и этот крик, которым мы поем.

Негромкий, но внятный крик, которым «поют» стихи Е. Пудовкиной, слышен и в творчестве других ее коллег по перу и по котельной, отсюда — «мы». Их объединяет

еще однв темв — свободы как бывшего рабства, «падшего по манию» сверху:

Я просила свободы. И вот оно, чудо:
я могу написать обо всем. Но не буду.

О чем же она будет писать? Вопрос остается открытым. Но можно предположить, что новый опыт потребует новых слов, иных интонаций, и поэтесса, видимо, их уже ищет и находит. Любая книга, даже такая «условная», как у нее, является хорошей межой, не только отделяющей законченный этап литературной жизни, но и очерчивающей профиль поэта, формирующей его репутацию. Поэтому никакого количества журнальных публикаций не сравнить с отдельным сборником.

В этом смысле особенно повезло О. Охапкину — почти одновременно у него вышло сразу две книги: «Пылающая купина» в той же упомянутой обойме («Советский писатель», Л., 1990) и «Стихи» («Беседа», Париж, 1989).

Если в советском сборнике слишком чувствуется редактор, то в зарубежном, можно сказать, слишком чувствуется его отсутствие: книга, конечно, не выиграла от некоторых порой слишком подражательных стихотворений, а иные написаны явно на излете вдохновения. Зато другие великолепны, и в целом, несмотря на неровность книги, свобода от цензуры все же дает свои результаты: поэт выглядит ярким и сильным. В конечном счете даже перепады, стилистические сбои и смешанная лексика создают новый контрастный стиль, уже не классический, как в советском сборнике, а скорее необарочный. Это бы порадовало, проживи он подольше, известного ментора поэзии, массачусетского профессора и замечательного русского поэта Юрия Иваска, провозгласившего принципы «современного барокко». Такие контрасты, шероховатости и даже известная неуклюжесть, наряду с громогласностью звука, Иваск считал характерными для необарочной школы, которую сам же и представлял. Эти же черты являются особенностями и охапкинского стиля в стихах, помеченных 70—72 годами. Его новации направлены, как это ни странно, не в будущее, а в прошлое. Даже странный для современного слуха силлабический слог XVIII века им опробован: не лучше ли он выразит всю какофонию нашего времени?

Лира моя! Железа жестче звона
Звон твой в стихах встал. Гремишь,
как ворона.

Вспоминается «забавный слог» Державина. Сейчас это звучит странно, но потому и так интересно. Или в любовных стихах:

Что мне в том, если шея твоя прекрасна,
Если я кобенюсь не столь пристрастно,
Если ты в печенке моей засела!

Похоже на Ломоносова или даже Тредьяковского... И неожиданно оказывается, что архаика отнюдь не старомодна, несмотря на то, что она целыми десятилетиями систематически вычеркивалась и отвергалась советскими редакторами как атавизмы старорежимного или даже «мертвого» церковнославянского языка. Скорее всего это объясняется не просто личными вкусами издателей, но планомерным идеологическим наступлением на культуру, попыткой оттеснить прошлое в разряд как бы никогда не существовавших явлений. Притом церковнославянский играл роль нестрашного пугала, над которым можно потешаться, наподобие школьного скелета — наглядного пособия из класса анатомии. Но церковный язык выдерживает и это сравнение. Пусть он — скелет, пусть — костяк, но не мертвый, а живой, полный крепости и костного мозга. Это — основа нашего современного языка: литературы церковной и светской прозы, поэзии, молитвы и разговора.

«Пью вино архаизмов» — так начал В. Кривулин свою парижскую книгу стихов, и он был не первым, кто это провозгласил. Для Охапкина архаизмы означают большее: не только стилистическое опьянение, но и вечное вино религиозной Истины.

Заключающее сборник стихотворение «Благодарственная молитва на жизнь грядущую» и многие другие стихи прямо требуют библейской возвышенной лексики. Правда, Пастернак в стихотворных шедеврах «Доктора Живаго» живописал эти же или подобные им сюжеты языком естественным, бытовым, добиваясь от Евангелия поразительно живого, домашнего эффекта. Это было интимное чтение излюбленных страниц Нового Завета как бы наедине с собой, перед тем как пойти в церковь либо же отходя ко сну. Да не возбранится эта параллель, но простодушная вера Охапкина в братство всех поэтов позволяет ее провести и даже выявить охапкинские собственные отличия. Гулкие звуки, звательные падежи и не отдельные слова, а целые блоки библейских архаизмов в его стихах подразумевают какие-то купола, архитектурные своды и храмовые отзвуки. Это — те же евангельские страницы, но прочитанные не дома, а в соборе, причем непременно барочном, каких еще немало в городе святого Петра.

Муза Охапкина широко открыта литературной дружбе, многие его стихи посвящены стихотворцам-изгнанникам, стихотворцам-горемыкам, тем самым «котельным юношам», о которых и речь идет здесь.

Собственно, все то же продолжается с ними и сейчас: в самые странные часы суток они проходят мимо обветшалых имперских фасадов и шпилей и, спускаясь в подземелья, заступают на свои дежурства к гудящим топкам, котлам и бойлерам, поворачивают вентили и задвижки, следят за давлением газа и температурой огня, а затем садятся поудобней за рабочий столик. Спать не разрешается, зато о сочинительстве в трудовом уставе ничего не сказано... И они сочиняют в стихах и прозе новый миф о Петербурге, о сыром подвале, огненной преисподней и о сошествии туда живой души. При этом стиль их писаний может существенно различаться, но будь то авангард, барокко или ампир, история остается так же драматична. Вырвавшись на Запад и стоя на площади св. Марка в Венеции, один из этих «истопников», Юрий Колкер, произносит:

В котельные, вослед за Персефоной,
Камена петербургская сошла.
...Там, под имперской правильной иглой...
В ревнивой обездоленности братской
Пророков сонм ютился удалой.

Трудно передать лучше, чем в этих куртуазных строках, весь абсурд положения подвальных поэтов, но взгляд уже брошен со стороны, извне, как непроизвольный толчок памяти. Поэтому будет верней закончить этот очерк охапкинскими строками, обращенными к Кривулину, но, по существу, относящимися ко всему этому зло давимому, несправедливо замолчанному, сквозь огонь, воду и ржавые котельные трубы гонимому, но все еще певучему братству:

Друг подполья, юности червленой
Страшным краном крови ледяной,
Красным страхом переохлажденной,
Слышишь ли, оружьем прободенной
Жуткой жизни шелест слюдяной?
Что играть! Разыграна подполья
Сволочью зелена толчея.
Ни надежд, ни юности. Плюя
Ледяной, разжеванною кровью,
Я кладу колодой к изголовью
Календарь, где братья — ты и я.

Сентябрь 1990
Урбана, Иллиной



И. А. Ильин

МЕРЕЖКОВСКИЙ — ХУДОЖНИК

Русский религиозный мыслитель Иван Александрович Ильин (1882—1954) известен у нас прежде всего как автор крупнейшей в России монографии о Гегеле «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», в двух томах (1918). Естественно, что в истории философии его относят к неогегельянцам, хотя мировоззрение Ильина в равной мере складывалось и под воздействием христианской православной традиции.

В 1922 году вместе с большой группой выдающихся деятелей культуры Ильин был выслан из страны, поселился в Германии, а с 1938 года и до смерти жил в Швейцарии. На Западе философия Ильина приобрела черты законченной системы. Основной проблемой в ней является выработка «содержательного метафизического» созерцания, коренящегося в религиозно-пантеистическом человеческом опыте.

По Ильину, философский опыт обусловлен строгим наличием «предмета познания», и сама философия есть «адекватное понятие об абсолютности предмета».

В 1927—1930 годы Ильин был редактором и издателем берлинского журнала «Русский колокол». В 1930—1940 годы печатался преимущественно по-немецки.

Эстетическое кредо Ильина выражено в работе «Основы художества. О совершенстве в искусстве» (Рига, 1937). Для Ильина в творчестве «земной предмет» есть живой символ «большого, священного и главного». «Главное» же ассоциировалось с национальным. В речи о Пушкине 1937 года он даже говорил о «*своем национальном* символе веры».

Статьи и лекции Ильина о русской литературе остались при его жизни в основном не опубликованными. В сферу его интересов в разные годы входили Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь. Из своих современников он много размышлял об Иване Шмелеве, Ремизове, Бунине, Мережковском. Посмертно вышли его книги: «О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев» (Мюнхен, 1959); «Русские писатели, литература и художество. Пушкин, Шмелев, Мережковский. Поэзия. Фольклор» (1974).

Основной публикатор и исследователь наследия Ильина Н. П. Полторацкий так определяет принципы его подхода к анализу явлений искусства: «...Он выделяет четыре главные элемента: эстетический акт, материю, образ и предмет... Художественный *акт* автора (то, какими душевно-духовными очами он воспринимает и изображает мир), его художественную *материю* (какими словесными средствами он для этого пользуется), его художественный *образ* (какие внешние и внутренние образы он развертывает перед своими читателями) и его художественный *предмет* (к каким главным и глубоким жизненно-духовным постижениям и откровениям он ведет читателей)».

По трактовке Полторацкого, «художественно-символическая сторона искусства, выражающая мироощущение, человекоразумение и Богосозерцание художника, может для него оставаться и неосознанной, но не перестает от этого быть главной во всяком настоящем произведении искусства».

Выбранная нами для публикации заключительная часть лекции Ильина, прочитанной им 29 июня 1934 года в Берлинском Русском научном институте, нужна сегодня хотя бы потому, что произведения Д. С. Мережковского — без всякого внятного критического на них отклика — публикуются у нас последние два года в значительном количестве. Вышло уже и четырехтомное собрание его сочинений. Нелишне напомнить: в 1991 году исполняется 125 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти этого влиятельнейшего в русском зарубежье и русской предреволюционной культуре автора.

Текст печатается по первой публикации Н. П. Полторацкого в сборнике статей «Русская литература в эмиграции» (Питтсбург, 1972).

А. Арьев

Первое, что бросается в глаза, это то, что Мережковский, художник, романист и драматург, всегда держится за исторически данный материал. Он всегда занят крупными или великими фигурами истории — Юлиан, Леонардо, Петр, Наполеон, Аменотеп, Павел, Александр — и замечательными, сложными и смутными в духовном отношении эпохами.

Выбрав такое лицо или такую эпоху, он садится прилежнейше за архивную работу, читает первоисточники на нескольких языках, делает выписки и т. д. Эти выписки он приводит затем в своих романах. То он пользуется ими для создания больших живописных панно; то он конденсирует их и придает им форму выдуманного им самим дневника одного из героев романа, дневника, которого тот никогда и не писал; то он пользуется ими для сочинения фантастических разговоров или афористических заметок и т. д. Один из критиков Мережковского подсчитал, например, что из тысячи страниц его романа «Леонардо да Винчи» или «Воскресшие боги» — не менее половины приходится на такие выписки, материалы и дневники.

Однако это совсем не значит, что эти исторические романы можно рассматривать как фрагменты научно-исторического характера. Это невозможно потому, что Мережковский совсем не желает знать и устанавливать исторические факты; добытым материалом он распоряжается без всякого стеснения; и если бы кто-нибудь захотел судить о Макиавелли, Петре Великом или Александре Первом по Мережковскому — то он совершил бы величайшую неосторожность. Мережковский как историк — выдумывает свободно и сочиняет безответственно; он комбинирует добытые им фрагменты источников по своему усмотрению — заботясь о своих замыслах и вымыслах, а отнюдь не об исторической истине. Он комбинирует, урезает, обрывает, развивает эти фрагменты, истолковывает и выворачивает их так, как ему целесообразно и подходящие для его априорных концепций. Так слагается его художественное творчество: он вкладывает в историю свои выдумки и тасует и колдует в ее материале, заботясь о своих построениях, а совсем не об исторической правде; или иначе — он укладывает, подобно Прокрусту, историческую правду на ложе своих конструкций — то обрубит неподходящее, то насильственно вытянет голову и ноги. Вследствие этого великие исторические фигуры со всеми их дошедшими до нас следами, словами и чертами — оказываются в руках Мережковского вешалками, чучелами или манекенами, которыми он пользуется для иллюстрации своих психологически-диалектических открытий. Являясь как бы предшественником великого гения наших дней, призванного прозирать в жизнь всех исторических гениев,— я имею в виду пресловутого Эмиля Людвига, читая которого, стыдишься за него, что ему нисколько не стыдно выдумывать свои выдумки,— Мережковский тоже считает себя призванным художественно трактовать жизнь гениев и титанов и, конечно, обращаться с ними запанибрата.

Итак: он злоупотребляет историей для своего искусства и злоупотребляет искусством для своих исторических схем и конструкций. И в результате его история совсем не история, а литературная выдумка; а его искусство слишком исторически иллюстрировано, слишком эмпирически-схематично для того, чтобы быть в художественном отношении на высоте. Одно это обстоятельство освещает нам строение его художественно-творческого акта.

Беллетрист, который до такой степени ищет опоры в исторических данных, фигурах и материалах, который до такой степени льнет к эмпирическим фактам истории и так нуждается в них,— может быть легко заподозрен в том, что ему не легко дается работа творческого воображения, что он не справляется ни с образным составом своих произведений, ни с драматическим и романическим фабулированием. Ему, по-видимому, совсем не так легко облекать сказуемое им предметное содержание в эстетические образы и картины, объективировать помыслы и живые фигуры и следить за их имманентным развитием, за их поступками и судьбами. Хотелось бы прямо спросить — в порядке нащупывающего эстетического анализа,— а что, у таких писателей герои их произведений объективируются ли настолько, чтобы иметь пластически законченный душевно-духовный характер, совершать поступки и проходить убедительный для читателя лично-художественный путь?

Эстетическая функция образного фабулирования состоит у художника прежде всего в акте пластически зрелой телесно-душевно-духовной объективации — в убедительной и верной себе скульптурной лепке живого образа, героя или героини. Художник вылепливает из своего и чужого, исторического и фантастического пластилина — новое прометеево чадо, в котором он сам пребывает, и в то же время законченно его от себя отделяет и дает его образ как законченно-самостоятельную фигуру; и творческая воля и власть художника должны быть достаточны для того, чтобы выдерживать объективную самостоятельность героев, с одной стороны, а с другой — пребывать в героях, драматически творя изнутри своею волею их решения и их поступки. Фабулировать — творить фабулу романа — значит волевым образом приводить в движение и совершать имманентный закон художественно созданных образов.

Художественный анализ произведений Мережковского убедил меня в следующем:

функция воли в его художественном акте чрезвычайно слаба. Это выражается прежде всего в безмерном прибегнии к исторической фабуле, хотелось бы сказать — к биографии каждого данного исторического лица. Затем — в выборе художественно обрисовываемых героев: так, Юлиан Отступник или совсем не действует, или из какого-то слепого упрямства пытается действовать в безнадежном направлении; Леонардо да Винчи совсем не совершает поступков; драматическая ситуация Александра Первого и заговорщиков-декабристов состоит в том, что они не умеют и не могут действовать; художественно воссоздать образ Наполеона Мережковский не сумел — вышла неубедительная и натянутая биография; Петр Великий — волевой титан — вышел у него отвратительным, свирепым зверем; а в эпопее крито-египетской — мы находим только пассивно страдающих героев и не способных к действию людей. Итак: в художественном акте Мережковского — воля представлена почти всегда *безволием;* волевые герои — свирепы и зверски; их почти нет — прочие безвольны.

Но и функция волевого отбора — у Мережковского-писателя — абсолютно не на высоте: протяженно-сложенность его романов свидетельствует отнюдь не о размерах его фабулирующей силы, а о неумении строго и четко выбирать только то, что художественно необходимо. Мережковский-писатель не имеет отцеживающей, отбрасывающей, конденсирующей волевой власти — его романы только выиграли бы от сокращения — в них плещется море художественно ненужного, в них, по крайней мере, половина художественно обходима и является литературным балластом. Поучительно сравнить его в этом отношении с Чеховым, у которого объективированные герои безвольны и беспоступочны — воли *творимой* нет, а субъективно-творческая функция отбора находится на чрезвычайной высоте — воля *творящая* исключительна.

* * *

Обратимся теперь к силе воображения у Мережковского.

Художественное воображение Мережковского имеет свои, совершенно определенные границы. По своей основной установке Мережковский человек чувственного опыта и чувственного воображения (экстравертированный субъект, прикованный к показаниям тела и материальным образам). Но всего замечательнее то, что, прикованный к наружному, чувственному, материально-земному, он страстно, болезненно-страстно интересуется и занимается — по крайней мере, умом, отвлеченной мыслью — теми проблемами, которые по силам только интровертированной душе, углубленной, ушедшей в свои колодцы и оттуда созерцающей мир по-духовному.

Как человек внешне-чувствительный Мережковский владеет только тем, что он видит,— материальными обликами земного мира; его ослепляет, его чарует пространственно-пластический состав мира и образов; больше всего ему говорят скульптура, архитектура и живопись — и притом не в их тонком, глубоком, сокровенно-духовном значении, но в их выявленном, материально-линеально-перспективно-красочном составе. Внешнее внешних искусств — вот его стихия. Мережковский — мастер внешне-театральной декорации, большого размаха крупных мазков, резких линий, рассчитанных не на партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует,— это как бы большие кинематографические стройки, преувеличенные оперные декорации, гигантские сценические эскизы или макеты для взволнованных массовых сцен, разыгрывающихся на фоне античных городов или гор средиземного бассейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских пейзажей,— почерпывая материал для них не столько в природе, сколько в обломках и остатках развалин и музеев.

И если попробовать расспросить его ценителей и почитателей о том, что же им собственно нравится у Мережковского, что именно так хорошо у него, то обычно получаешь два ответа: «грандиозно» и «красиво» — не глубоко, не значительно, не прекрасно — а только грандиозно и красиво. И действительно, красочные картины декоративного ансамбля ему нередко и весьма удаются — ну, как у Семирадского, у Рубенса, у Паоло Веронезе, иногда у Тициана или Бронзино. Например: солдатский бунт в военном лагере Юлиана Отступника; парад легионов во время грозы; вакхическое шествие кесаря Юлиана со жрецами, с чернью и пантерами; процедура одевания герцогини Беатриче Моро во Флоренции; охота и хозяйство герцога Моро; полет ведьм, колдунов и оборотней на гору Брокен, постепенно превращающийся в языческую вакханалию; Саванарола во Флоренции, сожигаемый на костре; придворный бал и наводнение в Петербурге при Петре Великом и т. д.

Если читать это как бы издали, с галерки, или прищурясь, чтобы не придираться и не замечать деталей; если осматривать эти картины так, как озираешь театральные декорации — где важно только общее впечатление, взятое издалека, где нельзя и нелепо фиксировать в бинокль Цейса использованные лоскутья, доски, куски картона и т. д.,— тогда можно получить зрительно-фантазийное наслаждение. Но если надеть настоящие эстетические очки, то, как только поставишь и не снимешь внутренние

художественные требования, вдруг видишь себя перед пустой и холодной стряпней, которая может лишь очень условно претендовать на значение; она никак не может сойти за главное или заменить его; она остается только декорацией — выписанной с преувеличенным, перенапряженным импрессионизмом и от времени до времени прерываемая аффектированной аллегорией или нарочитым, выдуманным безвкусием (см., например, «Петр и Алексей», т. IV, с. 244). И когда вникнешь в такие картины — то видишь, что все это не более чем эффектная декорация.

Экстравертированная природа романиста выражается в том, что он в своих описаниях держится за ткань внешних чувственных образов, их описывает, ими занимает свое и читательское воображение, а к душевно-духовной, внутренней жизни своих персонажей и героев подходит через внешнее. Читатель все время видит себя засыпанным конкретно чувственными единичными деталями, внешними штрихами и подробностями, которые он в конце концов не может ни исполнить, ни использовать, ни оценить, и наконец начинает давиться и задыхаться. И все это всегда статически взятые, изолированные штрихи — навязывающиеся внешнему глазу, уху, обонянию, вкусу. Эти черточки, эти единичные мазки удаются Мережковскому особенно не тогда (как это бывает у Бунина), когда он описывает красоту природы, но тогда, когда он описывает человеческие мерзости — в уличной жизни, в кварталах черни, в человеческих болезнях, во внешнем виде отвратительных уродов и т. д.: уличные ссоры и драки, рев и вонь; визг и вопли, несущиеся из публичного дома; вой прокаженного старика, который жалуется на судьбу и скребет свои белые корки и т. д. Словом, выражаясь собственными словами Мережковского: «зловонное дыхание черни — запах людского стада».

Вот пример такого описания: вот казнят брата кесаря Юлиана, кесаря Галла,— предательски, потихоньку, наскоро, в палатке, чтобы солдаты его легионов не могли спасти его; голова его отрублена — надо ее унести: «Не за что было ухватить гладкую выбритую голову. Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось ему неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановенье заставляло некогда склоняться столько человеческих голов». Сцена в высшей степени характерная для кисти Мережковского, который всегда готов угостить себя и читателя отвратительными подробностями, душемутящими деталями, реалистическими, совершенно не нужными, тошнотворными описаниями — с тем чтобы сейчас же истолковать их глупому читателю символически или аллегорически. И один читатель потрясается и приковывается, внешняя мерзость мира пробила наконец его носорожью впечатлительность; а другой читатель морщится от отвращения — «зачем это нужно, когда это в художественном отношении не необходимо?» Понятно, что такими описаниями легко поразить и разбередить душу читателя, но очень трудно описать и осветить внутреннюю жизнь своих героев.

Здесь поучительно сравнивать Мережковского не с мастерами и ясновидцами *внутреннего* опыта (Достоевским, Шмелевым), а с мастером чувственной живописи Буниным. Бунин — человек природы, естества, инстинкта и чувственного видения: он берет человека извне и с необычайной силою и наглядною точностью показывает через внешние проявления его — жизнь его инстинкта. Мережковский совсем не человек природы и живого естества. Напротив: трудно было бы найти другого такого беллетриста, который был бы настолько *чужд природе* или даже *противоприроден.* Мережковский совсем не целен в своем внутреннем инстинктивном укладе — подобно Бунину. Напротив, он совершенно раздвоен, сломлен, он носит в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним; в этом преимущественно и проходит все его литературное творчество. Его любимый эффект состоит в том, чтобы описывать некий якобы мистический мрак, внезапные переходы из темноты к свету и наоборот; при этом подразумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак, там уже царит жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там есть уже что-то «мистическое».

Наподобие этого — творит и живет и сам Мережковский. Он носит в себе расколотую, расщепленную душу: мрачно пугающее и пугающееся воображение; и холодный, диалектически-самодовольный рассудок. И слишком часто читатель чувствует, что ведет его, Мережковского,— именно рассудок. Рассудок анализирует, расчленяет, противопоставляет: получается формальная диалектика — А и не А; Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивается только тогда, когда он устанавливает *дихотомию* — две противоположные стороны — как будто бы некое непримиримое противоречие; установив его, он начинает блуждать вокруг него, играть им, многозначительно подмигивая при этом читателю; он думает, что от этого противоположения родится что-то значительное, глубокое, мистическое, и сам начинает вести себя как некий мистический жрец. Начинается диалектическое священнодействие; противоречия непримиримы — тело мира разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света — жрец мистически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, что А и не А — где-то в последнем свете суть *одно и то же.* «Мужчина или женщина?» — Противоречие. Разрыв. Мрак и ужас.— «Ничего». Мужчина есть

женщина. Женщина есть мужчина. Тайна. Откровение. Исцеление. «Добро или зло?» — Противоречие. Разрыв. Трагедия мира.— «Ничего». Добро есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и диавол — одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист есть Христос. Тайна мира разоблачается. Откровение. Примирение. Исцеление. «Бог или человек?!» — Бог есть человек. Человек есть бог. Мудрость. Глубина. Озарение.

Нужды нет, что у сколько-нибудь честно думающего и искренно чувствующего читателя — делается ощущение головокружения, корабельной качки, тошноты; и больше того: смуты, соблазна, отвращения. Нужды нет, что это противоестественно и противодуховно. Это Мережковского не смущает и не огорчает; напротив — тут-то он и наслаждается своим мнимым глубокомыслием, почерпнутым из соблазнительнейших сект и ересей Древнего Востока; тут-то он и упоется своими псевдомистическими играми. Натура раздвоенная и неисцеленная; натура сломленная и в самой сломленности своей ищущая сладостных утех, Мережковский выдумывает и вынашивает свои диалектические загадки, вываривая их сначала в рассудке, потом в живописующем воображении, приклеивая их или пытаясь вдохнуть их своим героям и их земной судьбе. Эти диалектические тайны — его гомункулы. Он и сам гомункулезная натура — вечно выдумывающая свои рассудочные ужасы, для того чтобы живописно изобразить их в эффектно-декоративных панно.

Вот главное затруднение его художественного акта, вот камень его преткновения: Мережковский — экстравертированный живописец, у которого нет ни способности, ни мужества принять себя как такового, жить из цельного инстинкта, творить из него, раскрывая его,— и не посягать ни на какое мистическое глубокомыслие; и в то же время он рассудочный выдумщик, который носится отвлеченной мыслью над водами непонятной ему интровертированной души и над ее проблемами и размышляет об этих тайнах и проблемах в отвлеченном, гомункуло-образном порядке — *выдумывает о них, никогда не поживши в них,* и борется с безнадежной, непосильной задачей — разгадать и описать интровертированную жизнь гения не изнутри, а снаружи, по внешним деталям и по эффектным декорациям. Как только Мережковский пытается ухватить жизнь человеческого инстинкта и описать ее, перед нами встают раздвоенные натуры — мужчины, которые не могут быть и стать мужчинами, и женщины, которые не хотят быть женщинами; томящиеся фигуры — проблематические души — несчастные недотепы — противоестественные комбинации.

Томление этих безвольных душ с поврежденным инстинктом (как Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, фараон Ахенатон в «Мессии») Мережковский пытается истолковать и использовать в религиозном смысле и направлении, и притом по схеме:

Христос или Антихрист.

Отец или сын — в мистическом отношении...

И так выясняется, что Юлиан Отступник — Антихрист, и притом благородный Антихрист, привлекательный; что Леонардо да Винчи — сразу и Христос и Антихрист; а фараон Ахенатон (явно гермафродитская натура) — Христос, у которого, однако, не хватает храбрости признать себя Христом.

Из всего этого возникает своеобразная, сразу и больная и соблазнительная, половая мистика; мистика туманная и в то же время претенциозная; мистика сладострастно-порочная, напоминающая половые экстазы скопцов или беспредметно-извращенные томления ведьм. У внимательного, чуткого читателя вскоре начинает осаждаться на душе больная муть и жуть; чувство, что имеешь дело с сумасшедшим, который хочет выдать себя за богопосещенного пророка. Читатель начинает томиться подобно этим больным героям,— но по-своему: то отвращением, то тоскою, то скукою; жаль этих больных и отвратительно; и в то же время не веришь ни им, ни в них — ибо чувствуешь, что они порождение искусственно выдуманной абстракции.

Беспомощно стоит Мережковский перед простою и классическою тайною человеческого инстинкта, как перед неразрешимою для него загадкою, и создает искусственную, мертвую диалектическую схоластику. Ибо сущность схоластики состояла в том, что люди пытались отвлеченно умствовать о том, что им не было дано в опыте, так, как если бы это все-таки было дано им каким-то рационалистическим, априорным способом. Так Мережковский и остается беспомощно стоять перед тайнами человеческой души в качестве умственного рассудочника.

Правда, там и сям ему удается остро и тонко подметить своим экстравертированным глазом точный и меткий внешний образ и художественно его использовать. От времени до времени у него всплывают такие сочно набросанные, обычно мимолетные, фигуры — меткие, зло очерченные, поверхностно намеченные типологические кроки; всплывают и навсегда исчезают — так что потом они больше не появляются, и не знаешь, зачем он их показывал. Но как только Мережковский берется за большую фигуру и за сколько-нибудь более сложную психологию — так читатель видит себя как бы в пустом темном поле, на котором он с трудом и опасением различает и нащупывает темные дыры и ямы; спотыкаясь, скользя, почти на четвереньках он въезжает в них и видит, что художник, взявшийся ему это показать, сам в полной беспомощности, фонарь его не светит, он предал, покинул читателя — хотя и продолжает делать мину знатока и говорить громким авторитетным голосом.

Если при этом у Мережковского имеется какой-нибудь исторически подлинный материал — как для Леонардо или Петра,— тогда читателю позволяется сшить кое-как эти исторические лоскутья своим собственным воображением; материал вываливается — и читатель беспомощно пытается выполнить вместо романиста, за него, не выполненный им художественный синтез. Если читатель пытается это сделать, тогда он скоро замечает, что романист *своей* работы предварительной просто не выполнил; мало того, что романист со всей своей априорно рассудочной диалектикой просто *мешает* ему в этом деле: вдруг романист, следуя своей диалектической схеме,— все делит на противоположности, извлекает из души Леонардо да Винчи — безнравственного садиста (надо показать, что он-де антихрист); а потом вдруг Леонардо да Винчи предстает добрейшим и нежнейшим человеком, который все прощает, все понимает и живет в божественном (надо показать, что он Христос). И первое столь же неубедительно, сколь и второе; и то и другое — нехудожественная выдумка — схема вместо живой души — логические абстракции вместо гениального духа.

Если же подлинного исторического материала мало — как от Юлиана, Ахенатона,— то все распадается на куски: Мережковский берет внешнюю историю Юлиановых поступков; подставляет под поступки соответствующие свойства — как схоластики делали: спит человек — значит, у него спательная сила (vis dormitiva), питается — значит у него есть питательная способность (vis nutritiva), и т. д.— и приписывает эти свойства своему герою. Но живой синтез этих свойств, художественно законченная скульптура характера — не создается; нити тянутся к центру — и не встречаются в нем; центр остается пустым, под знаком вопроса; и герой распадается на куски, на отдельные художественно-психологически не связанные деяния, с которыми читатель не знает, что начать — ворох неожиданных черт, свойств, настроений — бессвязный агрегат состояний, слов и поступков.

Мережковский вообще не создает и не дает своему читателю — единую душевно-духовную скульптуру героя; зрело объективированный личный характер; пластику души; завершение индивидуальности; создание воображающего ви́дения. То, что может дать внешнее наблюдение и умственное обобщение,— он дает. Но то, что должно дать художественное отождествление,— индивидуализация, персонификация, связующая множество в закономерное и необходимое единство,— он не дает совсем.

Великие люди — а он вместе с Эмилем Людвигом любит их толковать и себя через них показывать — оказываются у Мережковского не людьми и не великими. Это какие-то пустые бочки, расставленные искусным фокусником, из коих можно вынуть все что угодно, стоит только заранее вложить это туда; а на бочке написано: гений — такой-то! Всегда безнадежная попытка выдумать жизнь гения в отвлеченной умственной реторте и выдать этого гомункула за живую, глубокую, Богу предстоящую душу,— ибо гениальность всегда есть особое трепетное предстояние души Богу — так, что через это предстояние Господь входит в душу, обитает в ней и говорит из нее. Внимательное чтение, изучение и исследование привело меня к тому выводу, что Мережковский совсем не представляет себе, как думает, чувствует, любит, воображает, исследует *гениальный и умный* человек; что ему это в опыте не дано от природы, а приобрести это опытом он не смог и не сумел.

Мало того, живой процесс другой души — ему вообще не доступен, он знает только свою душу — отвлеченно умствующую рассудком и бесплодно-сладостно томящуюся инстинктом. Вот пример: в романе «Воскресшие боги» он приводит сочиненный им самим дневник одного из учеников Леонардо — Джиованни Бельтраффио. Этого Бельтраффио он сам описывает как глупца, путаную убогую голову, маленького труса, не способного ни к какой самостоятельной мысли. И вот в дневник этого глупого путаника Мережковский вносит в качестве мыслей самого Бельтраффио — все то, что на протяжении веков думали и рассказывали разные люди о Леонардо да Винчи, между прочим, и умные люди, умные зрелые мысли, которых современник Леонардо совсем и не мог иметь — тем более этот глупец. Бельтраффио на самом деле исторически не был глупцом, картины его обнаруживают и чувство формы, и мысль, и грацию. Мережковский делает из него глупца. Пусть. Но у глупца — психологически — неизбежно будут одни глупые мысли.

Однако психология, психика, целостный организм души совсем не интересуют Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, как знает. И это для Мережковского характерно, определяюще. Поэтому у него люди часто совершают поступки и произносят слова, которые не соответствуют ни их возрасту, ни их характеру. Автору это сейчас нужно — и это вставляется... Что? Нехудожественно? А ему нравится... Каждый

герой становится как бы пустым портфелем, в который автор вложит — сортируя свои огромные материалы и бесчисленные выписки — то, что больше никуда не устраивается и не помещается. Однако для таких описаний, как церковный собор, происходящий в присутствии Юлиана Отступника,— этот образ портфелей еще слишком невыразителен. Автор исчисляет там много ересей, такое множество, что он не может создать столько живых лиц по числу этих ересей. Тогда он делает следующее: он пользуется лицами, как карточками для каталога ересей; шел епископ такой-то — его ересь была вот в чем, шел священник такой-то — с такою-то ересью и т. д. Потом все они начинают на соборе галдеть и драться — каждый владеет якобы истиной; все срамят в побоище свою мнимую очевидность — и победителем остается Юлиан.

Замечательно, что читателю никогда не удается полюбить героев Мережковского — Мережковский не вчувствуется в своих героев, не вчувствует в них и своих читателей; не любя, показывает нелюбимое и не вызывает к нелюбимому никакой любви. В художественном акте Мережковского много внешнего чувственного любования красивостью, много нервного аристократического отвращения к уродству; и никакой любви ни к кому. Любовь у Мережковского распалась на сентиментальность и жестокость, выражаясь в терминах научного психоанализа — на мазохистическую и садистическую компоненту. А в любви — даже осталась холодною; холодно восторгаясь внешней красотой, холодно и зло отвращается от вони, грязи и уродства — и не светит своим героям любовью и не греет их. Это не живые люди, заставляющие петь, плакать, любить и молиться вместе с ними,— а теоретически-патологические загадки, которые надо диалектически разгадать.

И когда Мережковский описывает садистические деяния своих героев, то злые дела не открывают читателю путн в душу злого героя — психологически все пусто и мертво; а на делах и настроениях диалектический ярлык — Антихрист. А вот все расплылось в сентиментальное безволье, в беспоступочную немощную доброту, в сладость беспредметного умиления — и опять нет художественного синтеза; а на делах и состояниях героя ярлык — Христос. И вот весь спор между язычеством и христианством вырождается во взаимные перекоры: вы, христиане,— бесхарактерные, безвольные, сентиментальные недеятели, и, по Мережковскому, язычники в этом правы; а вы, язычники,— жестокие, бесчеловечные, быкобойцы и человекоубийцы, и, по Мережковскому, христиане в этом правы. Но на самом деле ни благородная жестокость, ни животная жалость и сентиментальность — не есть любовь.

Однако это не последнее основание, не самая глубокая причина, мешающая читателю полюбить героев Мережковского. Последнее основание в том, что Мережковский сам не любит своих героев — ибо он во всем любит только себя и свою отвлеченную диалектику. Именно поэтому — он не бережет своих героев, не ценит их, не гордится ими, не ликует с ними и не плачет. Замечательно, что он их всегда компрометирует. Да, да — именно — компрометирует. Все, за что он берется, описывая, показывая, раскрывая,— он всегда в последнем счете компрометирует и губит; все — будь это человеческий образ, идея или религии. Все, чего он коснется,— вдруг увядает, блекнет, вступает в состояние тления и гниения, разлагается, растекается в стоячее, злоуханное болото или повертывает к читателю отвратительное, порочное лицо. Помните, как у Гоголя в «Страшной мести» — колдуну кажется, что все оскаливает ему зубы в страшном, непонятном смехе. Или как у Овидия — бог Вакх приговорил царя Мидаса к тому, что все, чего он коснется, будет превращаться в золото. Так, кажется мне, некий страшный демон приговорил Мережковского к тому, что все, чего он коснется, будет предаваться соблазнительному тлению и гниению. Понятно, что эдакое любить невозможно. И понятно, с какой тревогой многие из нас услышали, что Мережковский — вообще не познавший самого себя и не ведающий ни своих границ, ни своих недугов — взялся писать книгу о Христе Иисусе. И тревога наша была не напрасна: два тома, написанные им, полны духовного соблазна.

Так и в романах его. В тот миг, когда вы соглашаетесь художественно вчувствоваться в душу Юлиана Отступника — понять его настроение и поверить, что он борется за свою святыню, ибо он верит в своих богов,— выясняется, что он в них не верит; вы учуяли в нем доброту, чувствительное сердце — он совершает отвратительную свирепость. И так во всем. Вы видите, что доброта не только слаба, но что она предназначена впасть в идиотизм. Храбрый — честолюбец, своекорыстен, жаден; верующий — неискренен и не верует; искренний человек искренен, но именно поэтому он есть хищное животное и т. д. Вы начинаете озираться — и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить,— и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского все двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко — все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно — по средневековому выражению, все есть skandalum — скандальный соблазн. Все — душевное, духовное, умственное — таково, что невольно начинаешь молиться — не введи же меня в искушение — и откладываешь книгу.

Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов,— суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито — вон он, языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вон сущая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии — язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. Соблазн проснулся за каждым кустом; добро оказывается злом, зло есть добро. А вот эпоха Просвещения и языческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна,— там истинное вожделенное пастбище для Мережковского. Мережковский есть ненасытный лакомка соблазна, он великий мастер искушения, извращения и смуты.

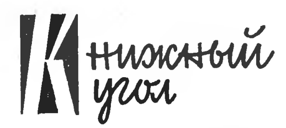
Вот примеры тезисов и образов, вечно выдвигаемых им в романах,— а его романы и образы его всегда суть лишь иллюстрации к тезисам: в мире нет никакого зла; если кто говорит — нет никакого бога, то это тоже хвала Господу; кто служит ангелу зла, тот мудр; это хорошо, когда женщины публично показываются голыми; злодей должен иметь ангельски-благочестивое лицо; все хорошо, все свято — и так далее, без конца. При каждом таком утверждении, при каждом двусмысленно-соблазнительном образе читатель невольно спрашивает себя: как? что? почему же это так? как это понять? это парадокс? или, может быть, я неверно прочел? что это, надо понять прямо, как сказано, или это ирония? или аллегория? или просто кощунство? или прямо мерзость? Нет, нет. Так и понимать надо, как сказано. Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращено. Вот благочестивая, искренно верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря,— он может себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца или не стыдись. От руки найденного идола — совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое — «из почтения к Богоматери». Человек имеет две ладанки — с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа римский прикладывается к Распятию — а в распятии, внутри у него, Венера. Чистейшая кровь Диониса — Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечери христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва — на колдовское заклинание. Христос — Митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение.

Изумленно следишь за этими образами и провозглашениями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? И почему русская художественная критика, русская философия, русское богословие десятилетиями внемлют всему этому — и молчат? Что же, на Мережковском сан неприкосновенности?..

Теософия это? Но тогда это искажено, выдумано, ложно. Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все законы художественно прекрасного. Религия это? Нет — это скорее безверие и безбожие... Если совокупить это все вместе, то получится некая единая атмосфера — атмосфера больного искусства и больной мистики, некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту.

Что же означает всеевропейская популярность Мережковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама есть больной туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия религиозной и художественной очевидности. Но тогда и судьба ее будет зависеть от восхода духовного солнца. Ибо взойдет солнце духовной очевидности — и все осветится верно, и больная слава растает, как туман.

Мережковский не одинок и в этих своих соблазнительных блужданиях. И я верю, что когда над Россией взойдет духовное солнце — то все будет пересмотрено в духе и все найдет свое верное место.



Раздел ведет Ив. Толстой

НАБОКОВ В ПЕЧАТИ

Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) был автором около 60 книг, считая не только книги, написанные поначалу на русском или английском, но учитывая и авторские переводы, поскольку в набоковском случае произведение создавалось почти что заново, а труд, вкладываемый в переводной текст, был равен новому созданию книги. Его творческий путь начался в 15-летнем возрасте, когда он издал брошюру, содержащую одно-единственное стихотворение. Сам автор спустя много лет не мог вспомнить ни названии, ни содержания этого текста. Брошюра в обложке фиолетового цвета, с эпиграфом из «Ромео и Джульетты» — вот и все, что помнил Набоков об этих годах. Впрочем, писатель запамятовал также, что не только печатал свои стихи в Тенишевском журнальчике «Юная мысль», но даже входил в состав его редколлегии, утверждая, что не отдавал «школе ни одной крупицы души».

В 1916-м выпускает сборник «Стихи», подписанный «В. В. Набоков» (в той же типографии «Унион», где почти одновременно его отец В. Д. Набоков печатает свою книгу очерков «Из воюющей Англии», отпечатано 500 экз.); в «Других берегах» *Н.* говорит: «...первая эта моя книжечка стихов была исключительно плоха, и никогда бы не следовало ее издавать».

Осенью 1917-го семья *Н.* покидает Петроград, а следом в столице выходит альманах «Два пути», составленный из стихов *Н.* и его одноклассника Андрея Балашова.

В Ялте *Н.* печатает несколько стихотворений в газете «Ялтинский голос», для одного из музыкальных представлений переводит стихи с немецкого и участвует в постановке пьесы А. Шницлера «Флирт».

Эмигрировав в Англию и учась в Кембридже, *Н.* печатает стихи и рассказы — главным образом в берлинской газете «Руль», где его отец состоит одним из соредакторов. В 1921-м *Н.* пользуется псевдонимом «В. Сирин», «Вл. Сирин». В 1920-м печатает в лондонском научном журнале свою первую статью по энтомологии («Несколько замечаний о крымских чешуекрылых»). Много занимается стихотворными переводами (из Р. Брука, Ронсара, Верлена, Теннисона, Байрона, Рембо, Гете), а также прозаическими: «Николка персик» («Кола Брюньон») Р. Роллана и «Аня в стране чудес» Л. Кэрролла.

В марте 1922-го в Берлине от выстрелов двух террористов (Таборицкого и Шабельского-Борка) гибнет отец, В. Д. Набоков. С его помощью были уже подготовлены (при содействии Саши Черного) сборники стихов учившегося в Англии сына: «Гроздь» и «Горний путь»; они выходят в Берлине в 1923-м.

Увлечен пьесами в стихах: «Скитальцы», «Смерть», «Дедушка», «Агасфер», «Трагедии господина Морна» (1923—1925); некоторые из них публично им прочитаны, некоторые поставлены в Кенигсберге («Кавалер лунного света»), в Берлине (театр «Синяя птица» под рук. Я. Южного). Самая важная пьеса *Н.* 1920-х — «Человек из СССР», поставленная в 1926-м в Берлине (ее первый акт был напечатан в «Руле»).

В 1926-м выходит его первый роман «Машенька», отмеченный критикой и вскоре переведенный на немецкий язык в том же крупнейшем издательстве Улльштейга, которому принадлежала и газета «Руль», и русскоязычное отделение «Слово», где «Машенька» вышла в оригинале. Также появились русский и немецкий варианты романа «Король, дама, валет» (1928).

К 1927 г. относится первый и последний случай печатной полемики с *Н.* в СССР: в ответ на стихотворение *Н.* «Билет» Демьян Бедный публикует в «Правде» свое — «Билет на тот свет».

1929—1930 гг.— время ярко вспыхнувшей славы *Н.*: он выпускает сборник рассказов и стихов «Возвращение Чорба», повесть «Соглядатай», но главное — роман «Защита Лужина», принесший ему повсеместный успех.

Эта пора отмечена началом длительной вполследствии вражды между *Н.* и сторонниками литературы как «человеческого документа» — Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым. Сперва *Н.* напечатал язвительную рецензию на роман «Изольда» И. Одоевцевой (жены Г. Иванова); затем последовал злобный выпад Г. Иванова против *Н.* в № 1 сборника «Числа», рассказ *Н.* «Уста к устам» (высмеивающий неких двух корыстных издателей столь, по-видимому, прозрачно, что в редакции «Последних новостей», где работал Г. Адамович, набор был рассыпан), многочисленные рецензии Г. Адамовича, отказывавшие *Н.* в принадлежности к русской литературе, и мн. др.

В 1932 г. *Н.* печатает роман «Подвиг», в 1932—1933 гг.— «Камеру обскура», в 1934 г.— «Отчаяние»; все они появились на страницах «Современных записок» — самого престижного «толстого» русского журнала в изгнании. В 1930-е *Н.* осуществил издание своих книг на английском, французском, чешском и шведском языках.

Романами «Приглашение на казнь» (1935—1936) и «Дар» (1937—1938) *Н.* практически поставил точку в писании русской прозы. В 1937 г. он покидает Германию и поселяется на юге Франции, где пишет две пьесы для русского театра — «Событие» и «Изобретение Вальса». Первая из них была напечатана в «Русских записках» и поставлена на сцене под руководством Ю. П. Анненкова; впоследствии — постановки в Праге (1938), в Варшаве, Белграде и Нью-Йорке (1941); «Изобретение Вальса» было впервые поставлено на русском языке в Оксфорде (1968).

В 1938 г. в Париже *Н.* заканчивает свой первый роман на английском языке — «Истинная жизнь Себастьяна Найта». В 1939-м печатает рассказ по-французски, а в 1940-м в последнем номере «Современных записок» — начинает свой последний русский роман «Solus Rex», оставшийся незаконченным.

Марк Алданов еще накануне войны уступил *Н.* свое преподавательское место в летней школе Стенфордского университета, так что в мае 1940-го семья *Н.* покидала Францию, имея официальное приглашение в США.

В 1941-м вышел по-английски «Себастьян Найт», но остался практически незамеченным: имя *Н.* еще ничего не говорило американскому читателю. Роман «Под знаком незаконнорожденных» (1947), сборник «Девять рассказов» (1947) и воспоминания «Убедительное доказательство» (1951) не приносят ему существенного успеха. Слава появляется лишь с издания на английском языке «Лолиты», и то не первого, парижского (1955), а второго, американского, издания (1958). Незадолго до этого грандиозного успеха *Н.* успевает выпустить русскую версию мемуаров («Другие берега», 1954), сборник довоенных русских рассказов «Весна в Фиальте» (1956) и английский роман «Пнин» (1957). В 1958-м *Н.* переводит роман Лермонтова «Герой нашего времени» на английский язык и начинает искать издателя для своего громадного перевода «Онегина» с тысячестраничным комментарием.

Появление фильма по «Лолите» (режиссер С. Кубрик, 1962) и романа «Бледный огонь» (1962) делает *Н.* классиком современной англоязычной литературы.

1960-е были посвящены многочисленным переводам теперь знаменитого писателя своих романов с русского на английский язык и писанию «Ады» (1969). В 1966 г. Пейдж Стегнер выпустил первую монографию о творчестве *Н.*, а в 1967-м Эндрью Филд — первую биографию. В 1970-е вышли последние два романа *Н.*— «Прозрачные вещи» и «Взгляни на Арлекинов».

После смерти писателя и выхода сборника стихов (1979) началась публикация его наследия: появились «Лекции о литературе» (1980), «Лекции об „Улиссе“» (1980), «Лекции о русской литературе» (1981) и «Лекции о „Дон-Кихоте“» (1981), переписка с американским критиком Эдмундом Уилсоном (1979), рассказ «Волшебник» (написан в 1940-м, напечатан по-английски в 1986-м), переведенные сыном на английский язык пьесы (1984) и «Избранные письма» (1989).

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

Надежда ПОЛЯКОВА. Стихи 3
Зоя ЖУРАВЛЕВА. И услышал и иной голос, или Глубоко личные разговоры с пустыней Гобн. *Повесть* 6
Давид РАСКИН. Стихи. *Вступительная заметка А. Кушнера* 41
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. *Роман (продолжение)* 45
Михаил ВЕЛЛЕР. Хочу в Париж. *Рассказ* 100
Глеб ГОРБОВСКИЙ. Остывшие следы. *Записки литератора (окончание)*. . . . 114

МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

Я. ЭФРУССИ. Записки инженера 145

ПУБЛИЦИСТИКА

За мир без ядерного оружия

Ю. А. МЕДВЕДЕВ. И вновь правда, которая во вред? 164
Строки из писем жителей Казахстана 169
Турсынхан АБДРАХМАНОВА. Казахстанская Невада. Светочи. *Стихи. Перевод с казахского Ильи Фонякова* 172
От редакции 173

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

«Про мертвого... должно говорить правду» (Из переписки Максимилиана Волошина с О. К. Толстой и С. А. Толстой). *Публикация и вступительная заметка К. М. Азадовского* 175

КРИТИКА

Ольга МУРАВЬЕВА. «Тайная свобода» Пушкина 180
Н. К. ТЕЛЕТОВА. О Татьяне Александровне Сиверс-Аксаковой и ее «Семейной хронике» 186
Дмитрий БОБЫШЕВ. Котельны юноши 190

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

И. А. ИЛЬИН. Мережковский — художник. *Вступительная заметка А. Арьева* . . 198

КНИЖНЫЙ УГОЛ

Набоков в печати 206

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати». Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.